

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ  
МИР

6

НОВЫЙ  
МИР

6

2004

2004



# НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

## БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

В 2004 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2005 ГОДА

«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ. Роман с китайцем;

ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);

ЮРИЙ БУЙДА. Переправа через Иордан (книга рассказов);

ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Все люди умеют плавать (рассказы);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА. Акустика дальнего шторма (стихи);

РУБЕН ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО. Новая книга (публикация нового произведения лауреата Русского Букера предполагается осенью одновременно с испанским изданием);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Эти квартиры (рассказ);

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое Василии и подвижнице Серафиме;

ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. Гардеробщик (повесть);

ВЕРОНИКА ДОЛИНА. Старые французские песни (стихи);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Холст (роман);

АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический роман);

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Святая земля и вокруг нее (эссе);

АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (роман);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

ОЛЕГ ЛАРИН. Вот так и живем (дневник сельского москвича);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. В долине блаженных (роман);

ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);

**ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;**  
**МАРИНА ПАЛЕЙ. Хутор (повесть);**  
**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);**  
**ПИНДАР — МАКСИМ АМЕЛИН. Героические оды (с древне-греческого);**  
**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);**  
**ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Новая повесть;**  
**ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;**  
**ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);**  
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);**  
**ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);**  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);**  
**АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;**  
**АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. Автопортрет в лицах (рассказы);**  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной кол-лекции»;**  
**РОМАН СОЛНЦЕВ. Книга провокаций;**  
**МАРИНА СТЕПНОВА. Хирург (роман);**  
**ИРИНА СУРАТ. Мандельштам и Пушкин (статья третья);**  
**АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);**  
**ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Птица счастья (повесть);**  
**АНТОН УТКИН. Крепость сомнения (роман);**  
**МАКСИМ ШАПИР. «А ты прекрасна без извилин...» (эстетика небрежности в поэзии Пастернака);**  
**СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);**  
**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;**

а также стихи **МАРИНЫ БОРОДИЦКОЙ, ИРИНЫ ВАСИЛЬКОВОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ИНГИ КУЗНЕЦОВОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ;** статьи, обзоры, эссе **КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, АНДРЕЯ ЗУБОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, МАКСИМА КРОНГАЗУЗА, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ЭРИХА СОЛОВЬЕВА** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2004 году: \$ 10.

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_





## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах: ООО «Паолине» (Большая Никитская, 26/2, т. 291-65-15), ПК «Фаланстер» (Большой Козихинский пер., 10, т. 504-47-95), ООО «Анега Р» (Большая Дмитровка, 12, т. 229-34-53), «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий пер., 5/7, т. 951-93-60), ООО «Викмо-М» (ул. Нижняя Радищевская, 2, т. 915-27-97), ООО «Анега Д» (ул. Никольская, 19/1; т. 921-58-27).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

### *Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

# НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6 (950)

Июнь, 2004 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ТАТЬЯНА БЕК — Служенье птиц, стихи	7
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ — Бабушкин спирт, повесть	10
ГЕННАДИЙ РУСАКОВ — Горло дней, стихи	27
ЮЛИЯ ВИНЕР — Снег в Гефсиманском саду, повесть	32
МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ — Погоди минутку, стихи	74
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Парад облаков, рассказы из летней тетради	78
МАКСИМ ВОЛЧКЕВИЧ — Тот циферблат, стихи	95
ОЛЕГ ЗОБЕРН — Тихий Иерихон, рассказ	98
СТАНИСЛАВ МИНАКОВ — Сказ о явлениях блаженному Тимофею	105

### ВРЕМЕНА И НРАВЫ

РЕВЕККА ФРУМКИНА — Феномен репетиторства как социальная практика	107
--	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — Опыт петербургской интеллигенции в советские годы — по личным впечатлениям	116
М. Л. ГАСПАРОВ — Памяти Сергея Аверинцева	124

### БЕСЕДЫ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Не дерево, а роща. Беседу ведет Татьяна Бек	127
--	-----

### ОПЫТЫ

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ — Привет Ахметьеву	140
---------------------------------------	-----

### КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Люди как люди. Работа как работа	142
--	-----

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Леонид Бородин — «Царица смуты». Из «Литературной коллекции»	149
--	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Полищук. На ветру трансцендентном	159
Ирина Роднянская. Горит Чухонцева эпоха	167
Ольга Канунникова. Из жизни парадоксов, или Некоторые устрицы несчастнее других	172
Дарья Рудановская. Язык ночи	179
Юрий Каграманов. Еще об исламе	181

---

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА	186
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	192
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ЕКАТЕРИНЫ КОРНИЛОВОЙ	199
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	204

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	210
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	214
SUMMARY	240

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ВАЛЕРИЯ ПОПОВА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ И. П. БЕЛКИНА  
ЗА ЛУЧШУЮ ПОВЕСТЬ ГОДА!  
(«Третье дыхание» — «Новый мир», 2003, № 5, 6).**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
МИХАИЛА ГАСПАРОВА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА!**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.



---

---

ТАТЬЯНА БЕК

\*

## СЛУЖЕНЬЕ ПТИЦ

\* \*  
\*

Вы заварите чай. Вы покурите.  
Вы любовь наречете крамолой...  
День пустой, как кладовка без рухляди,  
Абсолютно свободный и полный.

Но велением плоти ли, духа ли  
Нам разумного выбора мало...  
И, конечно, вы снова расчихали  
Ближе к вечеру зов криминала.

Вы напьетесь. Вы песню затынете.  
И начнется иная раскладка —  
Ночь кривая, как улица памяти  
Героической жертвы порядка.

\* \*  
\*

Февраль. Достать чернил и плакать!  
Писать о феврале навзрыд...

*Б. П.*

Обращаюсь к другу — философу и трубадуру:  
— Послушай дуру.  
Хватит вращаться на публике флюгером —  
Лучше уж огородным пугалом  
Застыть среди воронья,  
без вранья! —

А он отвечает,  
превосходство свое храня:  
— Глупая правдолюбца,  
не распекай старика.

Смерзлись века.  
Твоя метафора — врет.  
Время раздуло щеки, воды набирая в рот,  
Засим приветствуя позднеимперский штиль...



А я, шальная, раздвигаю *вширь*  
 Линейку ритма и полоску смысла  
 (Так на плечах качала коромысло  
 Хмельная баба из поселка Вырь), —

Зачем? Затем, что столкновеньем эр  
 Моя душа контужена жестоко —  
 Живет, однако... И под звуки рока  
 Поет свое, как древний пионер.

\* \*  
 \*

*Н. Ш.*

Ты себя довела до последней кондиции,  
 До дрожащих поджилок, ладоней и губ,  
 До античных руин — и в осанке, и в дикции,  
 Где одна лишь гордыня ногою ни в зуб.

Ты, как с факелом, сходишь с базарным багульником  
 В преисподнюю города (проще — в метро):  
 Изнутри — исключение, тайнопись, уникум,  
 А снаружи — Башмачкин, шубейка, з е г о.

Ничего не поделаешь: кризис истории,  
 Иссякание голоса, личный тупик..  
 Впрочем, длящийся финиш твоей траектории —  
 Тоже чудо и пусть безобразный, но пик!

— О, скажи мне:

ты видишь ли Замысел издали,  
 Сквозь чужие пиры на исходе пути, —  
 Мой несчастный багульник?

...От снега очистили,  
 Обломали — поставили в банку — цветы.





---

---

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

\*

## БАБУШКИН СПИРТ

*Повесть*

1

**Л**ишний раз сбежать за отверткой Кольке нравится гораздо больше, чем сидеть на месте. Зато его дядька, Дядя Слава, экономит каждое движение, и дважды подняться с реки на угор для него смерти подобно. Он будет, кряхтя и матерясь, тащить на себе сети, канистры, выпадающий топор, будет останавливаться и вытирать пот, но выпрет все зараз. Если он едет зимой на «Буране» по воду, то обязательно уложится в один рейс — туда Татьяне и обратно себе, и порожняк исключается. И когда подается из избы, то обязательно с кем-нибудь — «в одну дверь», и хотя это по-северному, зимнему еще понятно и оправдано, то выражение «пойти в одну ногу» — уже его личное изобретение.

Дядька действительно экономил на каждом движении и оставил в жизни только самое необходимое. Лет шесть назад он уволился со своей краткой и невразумительной работы учетчиком в хозяйстве, причем удачно и будто почуя разразившийся вскоре скандал — выплыла афера с солярой, заваренная начальником, и Бабушка, Дяди Славина мать, с трагическим облегчением восклицала: «Ой, отнеси Господь!» — не веря счастью и представляя, какого переплета избежал Дядька.

Жизнь о ту пору была помягче, а главное, сам Дядька шевелился, случались у него деньжата на питье и курево, худо-бедно он рыбачил, но потом и «Буран», и моторы, и прочее, доставшееся от непутевого отчима по кличке Дед, потихоньку изнашивалось, бензин подорожал и стал труднее в добыче, да и сам Дядька подуспокоился за Бабкиной спиной и пенсией. Жизнь продолжала дорожать, он постепенно бросил пить, потом курить, а потом и работать, поскольку и это требовало пусковых трат. В конце концов он настолько сократил количество действий, что впал в своего рода анабиоз, и, сбросив балласт, оставил на плаву лишь свой неспешный распорядок. В оцепенении его не было ничего жалкого, линия его, как рельсина, только крепла, с нее осыпалось ненужное, и сам он в любой лени оставался настолько уверенным, что, даже лежа пластом на кровати, вид имел самый справедливый и, если трогали, отзывался грозно и решительно.

Вставал он рано, посмеиваясь над лежебоками, и, опершись на штакетник, долго смотрел на Енисей, шурясь от лучистого и густого солнца и наслаждаясь тем, что застал мир до того, как человек спугнет его своей возней. Утром воздух был, словно сыворотка, резким, плотным и не разбавленным суетой, и какая-нибудь ворона, ошарашенно глянув блестящим глазом, вспархивала в двух шагах, шумно и шелково взбив крыльями.

---

Тарковский Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина по специальности «география и биология», работал на Енисейской биостанции. С 1986 года охотник в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Рассказы и повести печатались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник» и др.

И звезды тоже стояли еще близко, но небо уже отходило, оставляя бледнеющий месяц, как на покосе литовку — до следующей росы. И как приликала ночью, так же повально отливала природа от человеческого жилья, всякий раз будто вздрагивая и дивясь его пробуждению, и в этой ее каждодневной забывчивости было что-то и наивное, и грозно-предупреждающее.

Все белее, ярче и теплее солнце. Сосед уже что-то колотит, где-то взрывает мотор, и тает утренняя острота и свежесть, и только овсянка, сидя на столбике, еще вяжет свой серебряный узелок.

Дядька разбирался с собаками, пару раз проходил по земле граблями, сливал зеркальную воду с круглой плоскости бочки, обходил и осматривал весь стоящий на высоком угоре двор. Угор с их домом и с огородом казался лбом жизни, бастионом, на котором Дядька вел себя как на корабле, благо дом стоял на самом задранном и верхнем по Енисею месте, совсем рядом с тайгой, от которой угор с домами тянулся обостренно голо и обрывался пологим скосом к устью боковой речки, напоминая древний миноносец с обратным клоном носа. И жизнь казалась особенной на этом месте, словно на вилах поднятом перед броском куда-то ввысь. Всегда и виднелась эта лишь высь и гигантская даль Енисея, затянутая то туманом, то снежной светящейся завесой, и вечно у горизонта что-то сеялось, никогда не приближаясь и не касаясь лица, но именно такая сухая белесость, испепеляющая седина пространства и задавала главное ощущение этого бескрайнего плаванья.

Хоть угор и был как крепость, но его то подмывало в ветер весенним Енисеем, то резало въедливым снеговым ручейком, и рыхлую брешь приходилось заваливать хламом, дровяной щепой, а с одной весны пошел он лопататься от неравномерного оттаивания мерзлоты, и трещина эта ходила, гуляла и все ширилась, и Дядька думал, какие бы изобрести скобы, чтоб его стянуть, как плот.

Дядька обхаживал угор как живое существо, очесывал как зарод, был при земле как при печи или при тесте. Посылал обходом ручей, перекидывал за ограду надутый снег, подкапывал глины умазать печь, с угора же ловил багром лес в большую воду, будки собачьи переносил, ремонтировал желоба и ставил под потоки бочки. Все природные потоки направлял куда надо и даже электричество пустил мимо счетчика напрямки в мастерскую, будто оно тоже было небесным.

Передельывал собачьи катушки. То собаки сидели отдельно по будкам, у каждой кол с цепью и каждая как на посту, в гордой и боевой отдельности, как перед номером. То вдруг сделал длиннющий, на несколько собак, блиндаж, и они сидели там в ряд, словно боевые единицы. Собаки у него имели свое непонятное назначение, не для охоты или для нарты, а сами по себе, будто ценились своим видом, шерстяными теплыми мордами, усами, и нужны были, чтобы он сам себе нужен был. За кормежкой собак следил строго: «Мама, ты кором сварила?» Слово «кором» обязательно именно так произносилось, как и «пилимени», с дополнительным шажком, с лишним окончем гласной, дающим дыхание слову, привыкшему к простору и не терпящему друг о друга спотыкающихся согласных. В иных местах из тех же соображений согласную вовсе отбрасывают — «бинок», «мотоцик».

«Кором» исчезал в мгновение ока, и накормленные собаки при появлении хозяина пару раз сигнально шевелили хвостами, а Дядька машинально и удовлетворенно кивал.

Охотился Дядька вместе с Василием, шуряком, — тот выделил ему избушку на краю своего участка и посадил там пограничником, чтоб не лез сосед, — но Дядька и там не шустрил и жил в свое удовольствие, а когда его спрашивали: «А ты чё себе дорог не наделаешь, кулемок не нарубишь?» — отвечал, извинительно морщась: «Н-на... Неохота как-то. Люблю я так вот... спокойно. У избушки покопаться или сеть поставить», — или пуше того, превращая добытчиков в рвачей, говорил сладенько, мол, нам много

не надо, мы помаленечку... Бывало, ленился ведро ягоды набрать и, зная вину, огрызался уже вовсе зло и напористо, мол, что, опять тайгу гррр-а-бить, как вы все?! Звучало это глупо и по-спекулянтски, и мужики лишь пожимали плечами и усмехались.

Не охотник, собаку брал в тайгу всегда не ту, которую нужно для дела.

— Ты на хрена Рыжую взял? От нее толку нету, а вот Дружка бы, наоборот, надо, еще осень пересидит в деревне — и хана кобелю.

Дядька ответил, что «речи не может быть», чтобы Рыжую не взять — настолько с ней дружба.

Василия Дядька уважал. Тот был пахарь и, имея врожденный хват к любому делу, чуял повадку и перестык всех деревьев и железяк, снегов и льдин, удивительно правил и их силами, и своими руками. Знал на несколько ходов, куда и как поползет зачекированное в чаше бревно, обо что ударится, где его отобьет о кедрину, а где заломит, и все видел уже сделанным. Даже ввязываясь в незнакомое, ставил так, что плясало под его дудку, и, садясь за чужой, новый и непривычный мотор, с двух прощупов газа вникал в него глубже хозяина, и тот, рассчитывая похвалиться, оказывался почти опозоренным.

На охоту Вася завозил Дядьку на своем моторе и бензине, и тот от него зависел по уши. При этом и подсмеивался, что Василий в деревне долго спит и что не помнит, где какие весла и бочки оставил по осени, и гордился и своей памятью, и ранним вставанием, совершенно не сказывающимся на числе сделанных дел, потому что после сытного бабушкиного обеда решительно поднимался, шел в свою комнату, где остаток дня проводил в полудреме у небольшого отдельного телевизора.

Василий вставал тяжело, приходил в себя, чухался, пил чай с молоком, кряхтел, раскачивался и готовился к работе долго, зная себя и будто сомневаясь, стоит ли ввязываться, а ввязавшись, ложился костью. Не любил попок-праздников, потому что гудел капитально и подробно, прихватывая и второй день, а потом матеря себя на чем свет за порушенный рабочий настрой. Как все медленно запрягающие, так же трудно отходил и, отпахав, расслаблялся до беззащитности, лежа после бани и излучая детски-розовый блеск, — не то что Дядька, способный сразу после быстрой и воздушной помывки отправиться под угор.

Василий бился круглый год на промысле, рыбалках и хозяйстве, расходовал невероятное количество железа, сил, бензина, дерева, сена, и все вроде бы уходило в отвал, в дрызг, он срабатывался сам, срабатывая и технику, и жизнь его напоминала бешеный скрежет наждачного круга по лезвию топора, в котором все стачивалось под корень, и единственно неподвижным снопом искр стояло золотое ядро дома с лучистым личиком дочки.

Летом Вася, разделавшись с делами, черный от масла, вывозил Светку на косу купаться, и она сидела в коляске «Урала» отдельной принцесской. Как нарочно, его все стопорили, приглашали перекурить, донимали вопросами то о методе черновой чаши при рубке в угол, то о регулировке клапанов на «двести тридцать восьмом» дизеле, и он останавливался, размазывал по морде просоляренных комаров и курил и подробно объяснял, а потом, косясь на дочку, всплискивающую: «Па-а-ап, ну пое-е-ехали», нетерпеливо нащупывал ногой рычаг стартера.

Дома все было заставлено рассадой, жужжал сепаратор, громоздились ведра с обратом, тянулись полупосаженные сети, пищали котятка. Во дворе толпились снегоходы различных образцов, коровы хлюпали по навозной жиже, все это то твердело, то оттаивало, то присыпалось снегом, и особенно мучительно для дерева, и для железа, и для хозяев были эти переходы, и настолько непролазна и неподъемна была жизнь, что, казалось, стоит на месте и все силы идут на то, чтобы не покатились она назад, устояла и не осыпалась, и казалось порой, что ничего не происходит, и только вращается наждак, стираясь о топор, или буксует Васин «Бурани», зависнув



промеж торосин на юбке. Орет двигатель, дико вращаются гусеницы, а сам «Буран» стоит и не шевелится, пожирая бензин и ремни, в то время как Дядькин «Буран» так же не двигается — но только в сухом гараже в полной тишине и при сладком покое хозяина.

Хотя в отрешении Дядьки был и свой аскетический героизм, и своя линия, и если у него кончалось горючее, то, в отличие от обычных людей, в таких случаях либо занимающих под отдачу, либо проворачивающихся и любой ценой добывающих «гарь», Дядька просто переставал ездить, и выходило, если так пойдет — он вообще замрет-замшеет, станет частью природы, обманув измельчавшую жизнь, но не поддавшись на суету. И казалось, если бы все так забастовали, то проучили бы извертевшийся мир, и жизнь снова обрела бы тот вдумчивый строй, когда говорил человек с природой без посредников и, не зарясь на приварок, шел в нее как в лавку, платя простым трудом и не забывая взглянуть в небо.

Приезжал скупать пушнину бывший охотовед, хлебнувший денег, де-белый и белобрый. Таежные мужики были снаружи заскорюзлые, как в корке, и внутри мягкие, а тот, наоборот, снаружи подавался, но внутри твердел арматуриной. Отошедший от тайги, но привыкший верховодить, он теперь подлаживался под мужиков, завоевывал их и особенно неуютно чувствовал себя при Дядьке, который ближе всех казался к какой-то первой правде и так ею потрясал, что было неловко и за свои деньги, и за деятельность, и за раздавшееся лицо, и деловая правда его казалась лукавой и последней с конца.

Сам Дядька был длиннорожий, с выразительными, живо глядящими глазами и порой имел выражение стоящей в траве щучары — такое же неподвижное, немного хитрое, немного веселое — дескать, самому смешно, как затаился. Майка с черными бретельками, витые руки, выпуклые ключицы. Худой и крепкий, с темным узором волос на груди и темным красновато-синеватым телом. По руке от локтя вниз вдоль длинного шрама белая строчка — когда-то разбился в городе на мотоцикле. Пришел в больницу вывинчивать болты, и врач спросил, под общим наркозом делать или под местным, и Дядька сказал: «Давай под местным!» И вот врач пыхтит, елозит отверткой в мясе по шлицам, срывает их и никак не отвернет, а Дядькина морда ширмой отгорожена, и Дядька из-за ширмы участвует: «Чё, никак?» — или: «Слышь, а там винты-то накрест или какие?» И маленький Колька так любит эту историю, что всегда просит рассказать, особенно на ночь, — отца-то нет, а мать с Бабкой не шибкие рассказчицы.

Служил Дядька в армии где-то в северном городе, там же и остался на работу строить общежития. Там и пили оравой, там и женился, там и сын родился. Там, приходя на развезях, воевал препирательски с тещей, пока та не приварила его сковородкой по реповищу. С того дня все и посыпалось, и уехал он обратно к матери, где, побузив лет пяток, стал потихоньку замирать и заранее жить как дед.

Дядька не будет продлевать дорогу с ловушками ради десятка соболей, а потом куда-то ехать покупать коленвал или гусеницу. Все, что досталось ему, — это навсегда: Енисей, угор, мать, листовни, затекающие смолой по затеси, морозобойная трещина в березе, зарастающая рубцом — будущим топорищем, и непонятно: почему моторы перестают работать, почему на валах не нарастает сработанный металл и гусянка не берется за ночь свежей резиной? Он и от мертвого железа ждал, как и от земли, — вечного, возобновимого, и если бы в болотине сочился бензин или масло выдавляло в камнях, он и желобье подвел бы, и все собрал и сцедил.

Ветер, снег Кольке нипочем. Больше всего любит он прицепиться к «Бурану», когда едут за дровами или по воду. Прилипнет сзади за бочкой,

ноги то на полозьях, то срываются, и всего обдувает, обдаёт выхлопом, летит в морду снег и гарь. Он нагулявшийся, разгоряченный и под шапкой мокрый, и рукавицы тоже мокрые, и снежная пыль тает на красном лице, а Бабка выходит на двор и кричит:

— Коля! Кольча! — надрывно, громко, так, что всех даже раздражает ее крик, бессмысленный, бесполезный. — Ты чё домой не идешь, арифметику не решишь? От яскорь тебя!

Уроки делать неохота. Читать особо неинтересно, ни Бабушка, ни мать не читают, зато телевизор работает с утра до ночи. Коля наизусть знает все рекламы и всех певиц, а бывает, и смотрит вместе с Бабушкой сериалы, в это время его даже с уроками не дергают. Бабушка смотрит, переживает, восклицает. Галька, Колина мать, тоже смотрит, поправляет Бабушку, посмеивается над ее несообразительностью.

Больше всего на свете Колька любит, заезываясь то на одно, то на другое, убраться куда-нибудь, забыв, за чем пошел. Смотреть на трактор он может часами. Вот зимой под вечер тащит трактор с деляны воз, и среди кедринок попадает длинная зеленая осина, которую тракторист подцепил себе на дрова. Она ветровальная, лежалая и вся изъедена зайцами, и в том, что где-то там в тайге ее грызли зайцы, а сейчас она на свету и трубой едет по деревне, есть что-то забавное и даже таинственное, и от этого дорога, пройденная лесинкой, кажется особенно дальней. Вот трактор оставил воз рядом с длинным листвяжным хлыстом, который ему надо тоже забрать. Развернувшись, он едет вдоль хлыста и вдруг, резко и проворно вильнув, подкидывает гусеницей, пододвигает комель к голове воза, и в этой его мощной и проворной подножке есть что-то и мастерское, и хулиганское.

Вот ясным весенним утром Коля идет в школу по деревянному тротуару. Он расчищен, покрыт голубым инеем, и на нем горным хребтом густая тень от сугроба. Тень отступает за солнцем, иней оттаивает, повторяя зубчатый контур, но с отступом, и поэтому рисунок двойной — темный хребет с шершаво-синей каймой.

### 3

Бабушка, Дядька, Колькина мать Галя и Коля живут вчетвером, но хоть у Дядьки и у Гальки разные отцы, беда охреначить стакан и потерять голову одна. Дядька, правда, свое отгулял, и сейчас пора Галькина. Мужа у Гальки нет, а попыток выйти замуж было не перечесать, но ничего «путнего» не выходило: хоть и начиналось хорошо и даже романтично — кончалось руганью.

Бабушка все время волновалась то за Кольку, то за Гальку, то за Дядьку, то за убежавшего котятку. Придумывала переживания на ровном месте, запускала в себя тревогу и уже не могла заснуть, расшатываемая сердцебиением, вздутая давлением. Ей все мерещилась беда, век она преувеличивала опасность, словно специально среди спокойной жизни отвоевывала разбег, пространство для заботы. Чтобы было где развернуться, по-бульдозерному сдать назад, а потом врыться и завалить любовью, да так, что, казалось, вот возьмет слишком глубоко и сорвет сердце. Так и жила в горестной панике, беспокойстве, имевшем единственный смысл: «Ой, да как же они без моей заботы будут?! Ой, да как Коля поедет? Ой, да как не замерзнет, ой, да комар задавний заест, да за борт упадет! Ой, да кто Славу накормит-обстират!» И, чувствуя, что недолго ей жить, старалась всех впрок напитать заботой. Жила своей любовью, зависела от нее жалчайшим образом и ничего не могла поделать. Ходила еле переваливаясь на клюке, все силилась уследить Колю ли, Дядьку и все отставала-теряла, и эта пространственная немощь изводила ее под корень. Колька где-то бегал, а она, упустив его, кричала истошно и оседала посреди дороги так бессильно, что думалось: а что бы Дядьке, черту, не поделиться с дивана запасом движенья!

И Дядька, и Галька висели на Бабушке вечной болью и заботой. Оба непристроенные, непутевые — гонористый и с правилами Дядька и разгильдяистая Галька. Бессемейные, каждому половинки недостает, и обе недостачи на Бабке. Дядька — было дело — крепко бухал, но и работал нахрапом, была цель, круговорот свой: рыбы добыть-продать, компанию собрать, и Бабушку это изводило и гробило долгие годы. Тяготясь врожденным экономством, по пьяни транжирил, спускал нажитое, наворачивал бездействие, затевал жуткие какие-то обмены, что-то тащил — и был другим, бедово-деловым, предприимчивым. Гулял напропалую; сорвался в клуб, лез в самое пекло, в заваруху, а получив по рылу, дивился на порванную майку и, потирая челюсть, успокаивался просветленно и сыто.

Теперь он и не пил почти, и Бабушка обихаживала это непитье, боясь нарушить и пошатнуть, и было на душе светло и надежно. Хотя и грусть и горечь оставались, и Дядькино успокоение вдруг тревожило, будто чуяла она в нем излет страстей и затухание жизни, и, глядя на его экономию, даже подумала однажды: «Ну хоть бы запил он, чё ли-то» — и когда Дядька изредка и неопасно взгуливал, почти радовалась.

Домашних Дядька «строго вел», и потому всегда обстиран был, в чистых рубахах и майках, и накормлен трижды в день, и шаньгами и стряпаным, и чаем с анисом напоен. Кушал всегда со знанием дела и сидел с видом кормильца, мол, все держу и стою на том.

Все: и Дядька, и Галька, и даже Коля — были спокойны и заняты своим нутром и поругивали Бабку, и выходило, будто она только всех тербит и дергает. Вот она по старинной бабьей привычке собирает кокорник — старые плавничные корни на растопку, вот лезет с палкой и мешком по мокрым камням — обдирает бересту с березы, оставшейся с весны и ишорканной будто крупной шкуркой. И никого на помощь не позвать — заругают, а уж чужим пожаловаться вовсе не смей, Дядька быстро выговор даст: «Што, мама, перед людьми позоришь!»

В пору Дядюшкиного пьянства успевала Бабкина душа ныть и за семейную Галькину неурядицу, и за Колькину безотцовщину. Теперь Галькин раздрай продолжался загульностью. Дядька почти не работал, себя даже не обеспечивал, осень и ползимы сидя на охоте как на даче. Жили на Бабушкину пенсию, на огород, да просили слезно начальство, чтобы Гальку устроили на пекарню. Кольке требовались то ранец, то учебники, то одежда, поэтому и жили в долг, и счет в истрепанной и толстой магазинской тетради пух, как вспревшая рыба.

С работами у Гальки обстояло так же, как и с мужиками, — поначалу красота и все не могли нарадоваться, а потом она взбрыкивала из-за пустяка или прогуливала по пьянке и уходила, оскорбленная и по уши виноватая.

## 4

Сладковатым именем «Дуняша» назвал свой пароход, грамотно и красиво сваренный из двух барж, Кирюха по кличке Босая Голова, лысый, с неторопливой улыбкой и весь в кожухе вязкой и умелой речи. Ухмылялся, здоровался, принимал заказы на муку и сахар и увозил чинить телевизоры, спаленные дизелистами, решившими испытать отремонтированный «двести сороковой» и так поддавшими напруги, что разом вылетели десятка два аппаратов. Рыбу Босая Голова брал неохотно: «Не понял, борода? Говорю, она мне на хрен не облокотилась, в городе завалено все, ты чё модный такой?» — и так сбивал цену на нежнейших весенних сигах, что глаза у мужиков тухли и они тащили мешки и бочата к мотоциклам, качая головами и цедя матюги.

Кроме обычных продуктов Босая Голова возил спирт, раздавал желающим на продажу и следующим рейсом собирал выручку. Спиртуган был



настолько мерзопакостный, что резиновая отрыжка била покупателя еще сутки, но чем гаже шумряк, тем лучше он ценился забулдыгами, которым если налить приличной водки, еще и поволокуют, что воды поднесли. Спирт брал в городе задарма, отдавал канистрами втридорога, а продавали его еще с тройной накруткой. Затаривались бабы, дивясь появлению живых денег и тому, что ничего не надо делать, потому что синяки бегали ежечасно, и, хоть противная была затея и беспокойная, мужики мирились, тем более что возбухни, тут же получишь: «Ах, не дело, говоришь, спиртом торговать, а смотри-ка — на твоей охоте совсем озолотились, Василинке ни сапожек не купим, а мне уж и вовсе нечего в город напялить в больницу съездить — такая дороговизь».

Появлялось хозяйство: тетрадка, мерная мензурка, такая же стеклянная воронка. То и дело наносило кислым сухим душком, и бесконечные банки вроде с водой казались, но приглядишься — тяжелей, зеленой, ту же стоит трехлитровый круглый сгусток, и в нем, как в линзе, все уже заранее кривится. Сколь набито туда веселья, какая пружина уложена, сколько людских вывертов и как волшебна мала банка по сравнению с пьяным полем, что, вот-вот расширяясь, разольется, переплавляя округу.

С вечными бухарями-страдальцами, на отдачу тяжкими, а в просьбе налить изощренно липучими тяжелой всего, хоть ясно, что рассчитаются когда-нибудь делом ли, рыбиной. А вообще хорошо: надо бревна перекидать или с сеном помочь — кликнул на спирт работничков, а они того и ждут и так молниеносно все сделают, что забота одна: лишь бы чего не своротили. А то и приличный мужик зайдет — надо с работягами рассчитаться, с трактористом, или гости навалились, а в магазин опоздал.

Пластиковая бутылка, с которой пришли остяки во главе со Страдиварием, как снаряд. Боекомплект распахивают под фуфайки, он выпадает из штанов, а его все тащат в какой-нибудь истлевший блиндаж и там бьют по себе с такой силой, что потом расползаются, шатаясь и падая, как в бою. За зиму погибло от пьянки человек пять, по большей части замерзнув и будучи насквозь больными, кто туберкулезом, кто еще чем, так приглушенным водкой, что конец наступал под ее прикрытием, и смерть развивалась в спиртовом тепле, дав умереть, не протрезвев.

Зато какой заряд в этой бутылке, какой емкий, огромный мир. Дал, особенно вместе с оравой, и все как на место встало, и кажется — и хрен с ним, с делом, что не задалось с утра, не беда, что трактор разулся и с дровами отпустило, — завтра вывезем. И грязюка после дождя, да и ладно — грязь не отравя. Развели водой, и потеплела бутылка, взялась белой мутью, и ее еще встряхнули, завили змейкой, кого-то отправили:

- Пожрать возьми, Серьга, и курить!
- Ково?
- Курева, глушня!

Бывает, и работающий мужик попадет случаем в спиртовой слой. Шахрахнет из выпуклой прозрачной бутылки, будто уже натянувшей и уложившей в себя округу, и сам выпуклее и прозрачнее станет, а вокруг все замрет, успокоится, вот трактор стоит молотит, вот пилорама громоздится, вот глина с солярой чавкнула под ногами, и все родное, единственное, вот полез в кабину тракторист, и встряслось жирное сочащееся тело «семьдесятпятики», и уже уверенно, ладно вписано оно в жизнь, и ничего, что неказистая она, зато ясно — наша и другой не будет.

Брали спирт обычно самые обтрепанные, бедовые и от этого еще больше раззору добавляли в свою жизнь. Молодые, но уже подбитые, сумрачные, и особенно странно и страшно за баб, когда они на пару с мужьями цепочкой тянутся туда, где керогазят, или стоит одна такая на перепутье деревянного тротуара — руки в рукава и вслушивается, куда свинтил мужик, и, разьедаемая обидой, ревностью — бросил, скотинка, не взял, обхитрил, — вдруг устремляется на махах, хватив следу. Это уже не гулянка

никакая — гуляют нарядно и весело, то песняка задавят с провизгом, то танцы такие откроют, что на всю деревню слышать, а то с веранды выскакивает на перекур раскаленный мужик в парадной рубаше или дикошара я восторженная девка.

Нет. Тут надрыв, бубнеж или крики. Ресурс всегда случайный и быстро кончается, хозяин предлагает продать «вихревский» маховик. Продавец, обязательно не владелец и чаще один и тот же остяк с коммерческой жилкой, бежит сбавлять то одну запчасть, то другую, и в конце концов все оседает у работающей половины деревни. Должно выйти некрасиво — пьющие оказаться без штанов, а трезвые обогатиться, но мир мудро придуман — чуть перевес, и пьяные стащат у трезвого лишнее, например мотор, и пропьют по запчастям. Сегодня, например, пропивают редуктор, и пьянка сама как редуктор, угловатая, шестеренчатая, завтра — коленвал, и загул кочевряжистый, с периодом, а послезавтра — блок цилиндров, и посиделка увесистая и монолитная.

Деревню словно стекло сечет, по одну сторону пашут, по другую — трава не расти. И не мешаются половины, и пьют-то не с горя — а так просто, молодые от здоровья, а пожилые по судьбе. Глянешь на две деревни, и подумается: «Объему сколько и как богато живем!» — и покажется, что угор лопнул из-за двоежизния.

А когда не остается ни коленвала, ни самолова, ни веревки, по черно-белому снежному утру стаскиваются еле живые в один проходной дом, где из-под истерзанных фуфаек вылезает совсем маленький, давно плюнувший на себя хозяин со склеенной рожей. Хоть и морозяка, он даже печку не топил, и вокруг такой бардак и разор, что тошно, а если добавить ужас похмелья, то вообще непонятно, как жить, но все как-то по-рабочему привычно разрешается — кержачок бывший заезжий тут же окопался, и вот побежал кто-то его белок сдавать, которые хоть и невыходные — подпаль такая, что смотреть стыдно, но на пузырь хватит. И вот уже развели, вот пошло, потекло, облегло сердце, и всех как осадило, и вот уже слово за слово перекурили и по делам разошлись.

А потом снова заварится где-то с одного краешка завитком поземки и пойдет по деревне, и снова завыла убитая жизнь, и падает, хрипит запившийся Страдиварий, уже давно бросивший охоту, и толстая и нелепо-очкастая Вера-Одуванчик выползает из косой халупы, и все друг друга находят, и братаются, и с полуслова корешатся со случайно заехавшими, и так потом понимающе здороваются, что кажется, не просто водка, а что-то такое большое, понятное и доброе навек связывает, да так, как никакой работе не под силу.

Раз проснулась Бабушка в четыре утра от грохота, мата и собачьего визга. Полубездомный остяк Страдиварий ломился к Одуванчику, где — ему чудилось — пили, но не открывали, и он, схватив в две руки небольшую белую собаку, лупил ею в дверь что есть силы и хрипя: «Откройте, падлы!» Потом спал у крыльца, просыпался, орал, вставал, как труп, страшный, и падал, и никакой доброты и шири уже не было, и душа в спиртовом тепле давно сгнила и спарилась, и лишь опарышевым месивом блестя-шевелилась на ее месте злоба, смерть, воровство и вечная ложь. И вся дрянь и беда по пьяни происходила: то колуном по башке сестра от брата получит, то маманя сынулю ножом тыкнет, и тут же санзадание со сказочной обязательностью, и мощный «Ми-восьмой» грохочет, и врач тебе с чемоданчиком, и брезентовые носилки. А Бабушка, изведенная то давлением, то сахаром, стесняется вызвать фельдшера, с норовом бабенку, и терпит, последние таблетки экономя, и зреют в ее душе страшные слова, сказанные кем-то из рациональных приездных, донецких строителей: «Побыстрее бы вы спились и сдохли, кон-нчен-ные вы!» И с особым и злым оттягом это слово говорится: *кон-нчен-ные*, потому что лишь с виду пьянка — дело хорошее и веселое, а снутри нет болезни ее страшнее, по-

тому что от радикулита — хребёт, от кашля — легкие, а с похмелья душа отнимается. И страшнее всего не за Страдивария, а за таких, как Колька, при крике и попойке растущих. И стыдно, что не по силам его вызволить, и вот тешимся надеждой, что водка еще с детства до того обрыднет, что вырастет он привитым от нее мощно и навсегда.

А ведь каким разряжением тянет в себя детская душонка и небо, и рябь на реке, и слова взрослого, как изнывает эта пустота по теплому и разноцветному, с каким хлопком наполняется и как жухнет, когда грязюки хватанет и, успокоившись, посереет вместе с жизнью.

## 5

Дядька, слегка подзаработав в тайге, суровел и, все тратя на себя, Бабушке выделял вовсе смех, не забывая рыкнуть за столом: «А чё масла нет?» Зато на охоту его собирала Бабушка, отдавая последнее и излавиравшись меж тремя магазинами, где везде брала под запись и каждый раз придумывала историю, всплакивала и выслушивала, как осточертели продавщице покупатели своими долгами.

Оставшихся дома собак и вовсе нечем бывало кормить, и она наводила помойную бурду с катюфельными очистками, благо картошка была. Со страху ее садили много, а потом еле снимали, и она подгнивала в сыроватом подполье. Бабушка варила ее утром и вечером и почти силком скармливала, давала Дядьке в тайгу с запасом на собак, которые хоть и набивали ею брюхо, но особо не веселились.

В тайгу совала Дядьке дополнительную бутылку, и называлось это «на случай, если ноги промочите», хотя все прекрасно знали, что Василий кончает спиртное еще по ходу заброски, чтоб потом не отвлекало. Однажды Бабушка запрятала бутылку в Дядькин спальник, который остался в первой избушке, пока развозили груз. Вернувшись, проколевшие и одичавшие, они обнаружили булькающий подарок, едва не кокнув, вытрясая спальник, и история долго на разные лады пересказывалась по рации.

Покупала Бабушка бутылочку и к празднику, и мучительно выходило, потому что хоть ни Дядька, ни Галька по-простому, то есть без угрозы загула, не умели выпить, но и не уважить их в праздник было нельзя, а тем более оскорбить намеком на их тяжкую повадку. С другой стороны, она понимала, на что подбивает, и так переживала, что подскакивало давление, достигавшее у нее нечеловеческих величин и гробящее глаза, один из которых уже видел еле-еле.

Ни просить, ни тем более требовать Бабушка не умела. Если что-то ей было надо, лекарства ли, просто помощи, прямо не говорила, а кряхтела, стеснялась, намекала окольно, и приходилось догадываться, и это бесило Василия, «в дохлый корень» замученного «семейкой». И особенно неловко ей было перед кочевряжистой фельдшерницей, каждый вызов которой выливался в дело, и никакие доводы посторонних, что это «ее работа», не действовали — Бабушка чувствовала себя вечно виноватой перед всем белым светом, и перетерпеть, махнуть рукой было привычнее всего. А уж про вызов санзадания и говорить нечего, Бабушка переживала, что вызовут, увезут, а все окажется не по-настоящему, и ее заругают, и в другой раз, когда по правде прижмет, уж точно не полетят.

Какое-то вечное беспокойство ее травило, как никотин, от которого к ночи тошно, а с утра и минуты не прожить, и, конечно, Колька был просто страстью. Вот туристы мылись у Василия в бане и оставили майку, и надо попросить, а она не решается, а Васе некогда догадываться, и он срывается: «Мама, ну что? Что? Говори!» Вот отложили Кольке на учебники, а Галька потратила на кофточку, потому что сразу надо выкупить и больше не привезут, и Колька губу прикусил, хотя и неприхотлив, как мужичок, и всякие шоколадки, игрушки его не волнуют, а вот новый ранец или сапоги нужны.

А вокруг все торгуют, и Бабушка, кряхтя и сомневаясь, поддаваясь на советы уже замаранных, решила, потому что сил не было никаких — так задавила нищета и нерадивость близких, что взяла она у Босой Головы канистру, и начались банки, пластмассовые бутылки, мерная мензурка и стеклянная воронка.

Успех промысла состоял в умении не давать в долг, и, хотя процент допустимых потерь был, умелые коммерсантки сводили его до минимума, покрывая недостачу калымом. Жизнь давно превратилась в неравную войну трезвых и пьяных, и выходило — жить натрезвяк и при порядке беспокойно и неудобно. Даже к неторгующим вваливались, прося на пузырь, насильно суя что-нибудь на продажу, и так скандили, что хозяин был готов на все, лишь бы гость уволокся. Главным орудием мучителей было терпенье, и понятно, что половина проданного висела на Бабушке в виде долгов, а она только причитала.

Но была в Бабушкиной жизни и радость: прежняя пекариха увольнялась, и благодаря Бабушкиным хождениям и просьбам Гальку взяли, хоть рабочие места и были нарасхват.

Бабушка когда-то сама была пекарихой и при рассказах, как тесто месишь в огромном ларе, оживала, и глаза загорались. Радовалась по-детски воспоминаниям и тут же всплакивала горько. Когда пытали, лучше ли, хуже теперешней была жизнь, вскрикивала: «Что т-ты! Конечно, лучше!» — потом осекалась: «Какая жизнь? Волóхала как корова!» — и в конце концов путалась, подтверждая нелепость и лукавство подобных вопросов. Но вообще, как послушаешь, все в ту пору лучше было: и люди, и собаки, а мука настолько великолепная и таких немислимых сортов, особенно какая-то пеклеванная, что только диву даешься.

В пекарном деле и впрямь есть от праздника, от чуда, и что-то остро-молодое чует в закваске и в том, как пекариха растит тесто и выхаживает, а оно лезет, как потом схватывается, если вовремя поймано, а если дать волю и зазеваться — целый поселок замрет без хлеба. Поэтому, когда разрезают кирпич, будто вскрывают тайну, и глядит ноздреватым рисунком срез пекаринного мастерства. И хлеб живой, пока свежий и дышит, и когда ломают, дырчатая плоть тянется пружинисто и чуть отдает кислинкой, а позже, перемораживаясь и усыхая, становится обычной и будто опавшей. Так вот в подмогу, в трезвую чистую пользу идет живая природа дрожжей, и если в другую, бражную сторону эту живь направить, совсем другое выйдет.

Хлеб можно взять прямо на пекарне в одиннадцать или потом в два часа в магазине. С ним вечная забота — то не хватит всем, то, наоборот, останется. Черствеет он быстро, а свежий такой вкусный, и хрустящая корка так податливо проминается в пористую мякоть, что с маслом умнешь булку, не заметив. Особенно с чаем, который по утрам пьют с молоком, и оно клубится, расходясь в чае бежевым облаком.

## 6

Галька тоже торговала, подменя прихворавшую Бабушку, управлялась с воронкой и мензуркой и корябала в долговой тетрадке, и сама, пропитавшись спиртовыми парами, была как пьяная. Бабка спирт половинила, дробила и, разлитый в бутылки, прятала по углам. Основной запас спустила в подполье старого дома, теперешней Дядькиной мастерской. Дядька чинил старый мотор, в очередной раз надеясь, что от стояния в нем срассется разболтанный коленвал, и, как назло, уронил в подполье отвертку. В ответ блеснуло зеленое пузо пятилитровки, и тут забрел с половинкой вала дальний сосед — тихий, но отчаянный домашний бухарь Минька, с которым Дядька еще ни разу не кувыркнулся. Надежда собрать мотор, комичность вскрытия бабушкиной закладки с помощью упавшей отвертки,

отвисшая челюсть Миньки при виде столь стратегического запаса — все это придало новый разворот жизни, и от неожиданности картины Дядька сорвался, но долго не выдержал и на следующий день к вечеру одыбался и гуд прикрыл.

Доступ к домашнему бухалову придал и Галькиной жизни новый блеск. Бывало, на празднике она гульнет, а потом когда убежит похмелиться, а когда и осядет и перетерпит под Бабкин и Колькин надзор; а тут никуда и бежать не надо: все дома стоит!

Внешность у Гальки из тех, что посередке, — может и на красу скатиться, а может и в страхоту — как постараться. Уже ушла от нее и тонкость молодая, и присадищность в корме появилась, руки, плечи налились, но и бабье засквозило новое, манящее, и сама она как томится этой спелостью, уже чуть горчащей, и все глядит, пьет даль и глаза суховато щурит, веки углит, и рот ее напряженно приоткрыт и смят. Брюки у нее есть в цветочек, короткие до колен, а под ними золотые икры, прогонистые, как две капли смуглой смолы, две стерлядки, сверху выпуклые, а к лодыжкам сходящиеся породисто и сбежисто. В огороде она, перегнувшись по полам, копается, майка задрана, и мужики поглядывают без стеснения, но не видят будущую невесту — все уже известно, бросовая баба. И от уходящего ли времени, от душевной сумятицы все ясней пригорелая забота, вечное раздражение, с которым она говорит, неопрятно шлепая ртом и будто не уважая слова, да и всей жизнью брезгуя.

Время от времени она красила волосы и ходила в запотелом пакете, отчего лицо казалось голым и большим и маленькой — макушка с катышком волос, и на праздник готовилась, красилась серьезно и старательно, а уже в загуле мазалась напропалую, ярко, цветасто и будто напяливая маску. Надевала черную короткую юбку, черный жакетик и черные туфли на каблуках. В пляске белые крашенные волосы то собирала, то распускала, взбивая пятерней, трясла головой, и все прыгала, ходила по кругу, играя голыми плечами, загорелыми и прохладными, и, подбегая к столу, опрокидывала стопарек и неслась дальше — по-новому высокая, постройневшая на каблуках. Икрами-стерлядками, и подъемом ног в сбруйке ремешков, и развеваяющейся химически-белой гривкой, и накрашенным лицом — всем целила она в общее, витринное, и попадала. И, упиваясь этим попаданием, плясала, то вырываясь капризно из жадных рук, то кидаясь в другие и глядя сквозь лица в свои грешные дали.

Колька этого не выносил и мог схватить за руку, оторвать от лыбящегося плясуна: «Мама, ну хватит, пошли!» Переживания его постоянные, он так ими проеден, что говорит о ее пьянке спокойно и по-взрослому. Раз кому-то из женщин угораздило брякнуть: «Коля, иди мать заведи из магазина». Мать на развезях стояла в магазине и скандалила из-за бутылки, которую не давали в долг. Коля тащил ее по улице и плакал и грозил, что не пойдет завтра в школу, потому что стыдно, и назавтра вправду не пошел, несмотря на уговоры, и весь день пролежал, как больной. К вечеру ходил осунувшийся, с провалившимися глазами, и Бабушка говорила: «Гляди, парнишку как оборвало!»

На другой день не было ни черного костюма и ни туфель, были обычные калошки, бледное лицо с потемневшими глазами, опохмелка у товаров кислой бражкой и пропадание на сутки-двое в какой-нибудь вечно пьющей избе. На второй день — черные провалы глаз и в опухшем лице тошнотворное что-то и трупное. Веки треугольные, а глаза острые и жгут, как углями. На щеках малиновые сосудики. Бабка стонет: «Да это чё такое-то, я ничё не понимаю, две дочери люди как люди, а эта кобыла стакан увидела и как с хрена сорвалась! Хоть бы за работу держалась, а то нисколько не дёржится, так хоть деньги на пекарне платят, уж ладно припеку нету-ка».

Ночью металась по койке, бормоча несуряцицу, скрипела зубами, как ведьма, орала, днем отлеживалась, и Бабка говорила: «Совсем девка запи-

лась, лежит как скелет — одно основание осталось». Галька приходила в чувство и спала, и сердце, попавшее не в те руки, с верным усердием гнало кровь и билось до конца, и выходило шиворот-навыворот: не дух тянет немощное тело, а тело зачем-то тащит упирающуюся душу.

После гулянок Галя впадала в рьяную уборку, будто из себя выгребая грязь и дурь, и Бабушка отмечала с гордостью: «Убралась вчера». Казалось, чуть что, она убирается, как простоватая зверюха, которую всюю обложили, а она то в домик, то из домика, то вдруг лапами затарабанит по колесу, а то вдруг опилки выгребать начнет из гнезда и думает, что спасется.

Грубо и хватко отжимала Галя парящее белье на снегу перед баней. Несло слабо ароматцем порошка и мощно — простором, ветром. И на ветру белье особенно сырым казалось, и отжатые наволочки, пододеяльники жгутами лежали в тазу, на них падал снег, и они стыли, а на веревке каменили кровельной жестью Колькины рубашки, штаны в заплатках и покачивались, похрустывая и вымораживаясь. И был свой дрызг и иступление в Галькиных красных руках, засученных рукавах, и проходящему Василию думалось: «Чтоб тебя саму бы, дуру, выжать да на ветер повешать, чтоб, сука, протрезвилась».

...Поползень, или, по-Бабушкиному, дятелóк, остукивает избу снаружи, перепархивает, косится на Кольку в окно. А Коле задали к празднику звездочку из бумаги сделать, и он показывает: «Мам, посмотри, хорошо получилась?» А мать сидит у телевизора в халате, опухшая, животно полная трехдневной пьянкой, и бросает зло: «Нормально!»

## 7

К Ваське тянулись решительно все в доме по причине исключительной храбрости этого кота, тем более что бывал он дома не часто, уходя и пропадая неделями независимо от погоды и времени года. Казалось, даже наиболее прельщали его именно самые суровые времена, а лето он переживал со скукой, и никаких особых чувств в его душе оно не вызывало. У этого непобедимого кота была скуластая, в серых шрамах морда, широкая за счет густой и крепкой шерсти на бакенбардах, и уши обтертые, повядшие и отмороженные. Одно почти под корень сносилось и торчало лепестком-клапанком, с серым мертвым ободком. Сам пепельный, бусый, будто опаленный жгучим морозным ветром, снежной далью, никогда под ногами не путался, хвост не задирает, как домашние ластящиеся прихлебатели. Сыто сходящий на конус и полосатый, был он у него вытянут в толстую стрелу, а когда ел, опущен тяжело, как у больших и серьезных кошек, и загнут на кончике.

Уйдя из дому, он мог встретиться в чужом и дальнем месте, продираясь через собачьи порядки к любимой кошке или выдвигаясь на склад рубиться с крысами. Узнающий Кольку по вздоху и шагу, встреченный в походе, даже и сойдясь с ним глазами, глядел сурово и собранно, требуя того же служения, и Колька сомневался, Васька ли это, и вдвойне мучился.

Зато какое было счастье, когда котиче врывался, стремительный, как снаряд, и с таким запасом холода в шерсти, будто там помещался целый мир — зимний, бездомный, пахнувший морозно дизельными и кочегарками, и от контраста между холодами-опасностями и уютом дома сжималось сердце. Раз приполз с разбитой головой, и его перевязывали, но, едва поправившись, снова ушел в ночь. Иногда слышали низкое и стылое мэ-э-у! Мурчал редко, больше из жалости-обязанности к хозяевам, сипло, со сбоями, будто урчащее устройство было простужено и посохло-потрескалось, как старая гармонь.

Колька обычно засыпал на боку, но при коте — на спине, и кот приходил, тепло и тяжело ложась на груди. И Колька вздымал его дыханием аккуратно, боясь спугнуть, и кот, которого начинало кренить, встречным напряжением перемещал вес, держась, как на палубе.



Умирают в деревне каждый год и обычно зимой, будто кто-то подскребывает, подчищает жизнь, и она становится проще, пустее. У Гали две старшие сестры — Татьяна за Василием и Надежда за Женькой. У Жени год назад умер трудяга отец, механик прежней, геройской заправки, запускавший в мороз самые несусветные дизеля и копавшийся в своих очочках на резинке с неживым «вихрюгой» с такой верой в его оживление, что он от этого будто и взревал. Едва отметили годовщину Дедки, как умерла его жена, и вышло за полмесяца: Дедкина годовщина, тети Нюрины поминки и девятины.

Татьяна, Надежда, Галя, родственницы дальние-ближние, просто женщины приходят, и идет работа — режут, рубят, стряпают блины, готовят винегреты, салаты. Селедка-туруханка под шубой, кутья, пироги такие-сякие, чего только нет. Двери настезь — стол накрыт. Все вешают одежду, проходят, едят, поднимают. По три стопочки выпили, закусили и выходят, освобождая место. Слов, речей, тостов никто не говорит. Не принято, неохота ли, не умеют ли, а главное — и так все понятно. Лучше лопатой ли, пилой помочь. А вот обставить гладко, словами красивыми и прочувственными — этого нет.

За столом словечко за словечко разговорчик о том о сем вполголоса, про сети, что их плесень завалила, или что рябина нынче задавная — соболь на капкан хрен забил. После стола мужики курят в кухне за печкой, там уже поживей разговоры, и Женька тоже поддерживает, не обижается.

Три раза, как по волшебству, накрывался длинный стол в Жениной избе, и проходила вдоль него вся деревня — Дедка и Баба Нюра уважаемые люди были. И три раза подряд с тем же стараньем готовили женщины стол, и казалось, если бы смерть с катушек слетела и еще чаще навывалась, то сражались бы за память и уважение, пока последняя не рухнула и уж некому бы стало поминки отводить.

А вообще поминки для кого горе, а для кого праздник, место, где можно пожрать и стопаря дармового пропустить, особенно если с похмелюги. Для рыщущих бедолаг по сравнению с буднями — пропитыми, нищими, убогими — это подарок. И не просто нальют три стопки, а еще и винегрету, салатъев, блинков подложат с маслом, всего, чего хочешь. Для таких чем больше смерти — тем лучше. Вечный праздник, вечное застолье. Только и обедали бы.

Зашли как-то два братца, один совсем неживой, а другой уже урвавший где-то пускового стопарьца. Оказавшись за столом, он вдруг развеселился, что-то стал плести, пропустил три рюмахи, пошел покурить, а потом бодренько и свойски вернулся на место, что-то собираясь рассказать и заранее улыбаясь. Надежда его не пустила:

— Поминка все-таки, не пьянка.

Тот лезет. Та железно:

— Сказано — не праздник.

Если б сидел тихо и не шарахался, никто бы и слова не сказал. Второй братец, которого все еще трясло, как пилораму, так и делал. Надежда стояла за спинами и следила за рюмками, как только посуда освобождалась, она наливала, и казалось, ниоткуда из-за спины появлялась молчаливая рука с большой бутылкой. Братец был по уши в себе, все в нем ломалось и отходило. Напряженный, как палка, переживший неловкую смену гостей и высидевший дополнительную стопку, он изо всех сил старался не показать нетерпенья, и когда наконец подняли, засуетился и неверной рукой промазал, не схватил и опрокинул стопку. Сердце его оборвалось, но напрасно, потому что на этой земле всегда нальют, и винегрету подложат, и дрызг на столе подотрут.

— Ну, давайте, мужики, подымайте.

— Ну, чтоб пухом земля...

## 9

Галька ухитрялась, несмотря на пьянку, наколоть дров в пекарню, притащить на нарточке воду во фляге и нагреть ее в чугунном баке и постряпать хлеб, и хотя он частенько то недоподнимался, то пересиживал, все-таки успевала к роковым двум часам притащить его к магазину, где уже ожидала бабья толпичка, еще благосклонная, но справедливая и всевидящая.

С катушек Галька слетела уже полностью, к шести вечера шла на пекарню, ставила ставку, топила и возвращалась домой к баночке, из которой наливалась смертью с привычным удовольствием, и, уже добренькая, отзывчивая, доливала из банки и доразводила, черпая кружкой из бочки енисейную водицу — такую прозрачную, что казалось, река и домашнюю жизнь силится осветить покоем и смыслом. Живая и чистая вода травилась в банке, бралась дрожью, студенисто завивалась в спиртовом удуше, а спирт, разойдясь, только прирастал собой. И один простор погибал, а другой набухал и ширился и чем сильнее распирал душу поддельной ширью, тем жалчее и безобразней гляделась она снаружи.

Колька все ждал kota, даже ночью спрашивал, не пришел ли, и все ему мерещилось мяуканье. Кот как ушел с осени, так и не появлялся, и Бабушка долго переживала: «И куда запропастился, от ведь своеобышник какой». И однажды сказала в сердцах:

— Совсем оттрекся!

Утром после тети Нюриных девяти, когда Коля был в школе, а Галя на пекарне, Бабушка вдруг так затосковала, что пошла искать kota. Она вышла на двор вылить ведро, и ей вдруг показалось, что Васька орет где-то рядом, вот точно слышит, но уже из-под крыши соседской стайки, и она подходит, но все глушит свист ветра. Порыв севера проходит, и она думает пройти еще дальше по улице, до дома тетки Дарьи, где живет Васькина знакомая кошка, — раз уж вышла. Ветер попутный, но очень холодный и при неловком повороте задувает в рот, как в неживой предмет, поет, как в бутылку, и дыхание загоняет назад, достигает до сердца, и Бабушку мутит. Тут бы передохнуть, да у Дарьи замок. Затряслась земля, и проехал с возом трактор и вовсе задавил грохотом, забил глотку солярным выхлопом, снежной пылью стеганул мокро и стыло. Поползли заснеженные хлысты, кедрины с иголками, и сук здоровенной лиственни, вспарывая снег, едва не подкосил Бабушку. Сук проехал дрожа, и дрожь этого судорожного и тяжелого скольжения передалась Бабушке. Она повернула назад, но трактор так изнохратил дорогу и порыв окрепшего ветра так толкнул в глотку, что стало ясно — без перекура не дойти и поэтому проще доковылять по ветру до пекарни. И Бабушка пошла, превозмогая одышку и опираясь на палку, вспоминая свою работу на прежней пекарне и греясь мыслями о пухлом и хрустящем хлебе.

## 10

На тети Нюрины девятины Галька набралась и к ночи оказалась в одной бедовой избенке. Там, совсем пьяная, валялась в темноте, и кто-то ею пользовался, потом провалилась в сон, потом кто-то еще забрел и на нее взгромоздился, она дернулась: «А? Кто? Кто?» — а навалившийся успокоил рабочим баском: «Да свои!» Утром Гальку, еще пьяную, разбудили, и она потащилась на пекарню, где из нее с потом стала выходить водка, оставляя на погибель. Что-то она напортачила с тестом, перебухала воды, а потом, когда посадила хлеб, не выдержала и отбежала в поисках опохмелки и вернулась за несколько минут до прихода Бабушки, которую поразил горелый запах, едва она, переводя дыханье, отворила дверь.

Галька с черным взглядом, с тошнотворно бледным лицом и крупными каплями пота на лбу металась по пекарне. Урчал, вращаясь, армейский

барабан-автомат, и она судорожно вынимала из него счетверенные формы. Хлеб из них выполз и по четыре булки спекся уродливой черной крышкой. Галька со страшным грохотом выколачивала его о железный стол, но он так пригорел, что не вываливался, и она ставила его стойком на пол, как мебель. Тот, что удалось выколотить, лежал пачками, держась на корке, как на грибной шляпке. Спаянные горелой крышей сиамские близнецы не желали расставаться, и, когда Галя пыталась разломить живую и уродливую плоть, корка тянулась дальше и рвала бока. Бабушка, отбросив палку и что-то восклицая, резала ножом. Кое-какие кирпичи были не так черны и бесформенны, а некоторые безобразны — корка содрана и торчит голое пористое мясо.

Галька, задыхаясь, собирала их в мешки и таскала в нарточку. Пока везла в магазин — там уже стоял народ, — Бабушка вытрясала оставшиеся формы и пилила спекшиеся хлебные пачки, а когда допилила, села на чурку и несколько раз пропела:

— Что же я наделала...

## 11

Детская бригадка по стариковской подмоге долго собиралась к Бабушке. Обсуждали, как лучше: сначала спросить, что ей нужно, или сразу принести. Кто-то сказал: может, ей конфет купить? Может, воды притащить? Да нет, Дядя Слава из тайги вернулся. Наконец собрались, постучали. Самый здоровый малый здесь оказался самым робким и, переминаясь, выдавил:

— Глафира Прокопьевна! Мы это... Вам помочь пришли, может, чё убраться надо или воды принести?

Бабушка, чуть оторвав голову от подушки, ответила слабым и сырым голосом:

— Ничего, ребяташки, не надо. Я помирать буду.

Бабушку полуобездвижило. Фельдшерница добилась санзаданья, и наконец вертолет прилетел. Бабушка никуда не хотела ехать, и ее хором уговаривали родные, фельдшер и врач — молодой грубосколоченный малый в халате. В крытом дворе толпились мужики, нести решили на носилках, чтобы на «Буране» не растрясти.

Колька изо всех сил смеялся, лыбился, надел шапку Дядькину задом наперед: «Смотри, Дядя Слава!» Тут и на молодого кота нашло, стал носиться с диким видом, прижав уши, топыря хвост, то взмывая по столбу, то заходя боком, непонятно кого скрадывая. Бабушку уговорили. Постелили на брезентовых носилках, с койки переложили на одеяло и, когда разворачивались по комнате, несколько раз остерегли мужиков, чтоб не ошиблись: головой-то вперед. Бабушку мутило, кружилась голова, на одеяле она провисала, и ее почти сложили, но вот уже сени и носилки.

Морозно скрипели шаги. Бабушка лежала на носилках, и мимо проплывала деревня, которую она не видела и по которой она будто шла искаженным неверным шагом, и по колыханиям носилок и скрипучему отзвуку проезжаемых стен догадывалась о знакомых поворотах. Завернутая в одеяло, отгороженная его краями, она видела только небо, ее словно вложили в него, и даже солнце освещало ее по-другому, чем остальных идущих. Вокруг внизу громоздились стайки, избы, бегали собаки, кто-то пронесся на «Буране», обдав выхлопом, а потом вдруг все решили, что солнце слепит Бабушку, и Галька побежала домой за черными очками. Она долго догоняла и держала очки наготове, и они некоторое время плыли рядом с Бабушкиным лицом, а потом медленно легли на него и, призванные защитить от слепящего неба, только подчеркнули его бездонность. Солнце ей и не мешало, а оправа только холодила, но Бабушка чуть приоткрыла в благодарности рот.

Дядька в эти дни был необычно собранный, серьезный и окрепший. Что-то угловатое и сильное появилось в его лице, и даже хорош он стал по-новому в своей заботе, если позабыть про сумрачность, скорбность век и притушенных глаз. Он догнал Бабушку уже на полпути к площадке. Руки ее лежали на груди. «Все хорошо, мама, я с тобой», — быстро сказал Дядька и взял их своей большой кистью. Они ответили крепко, почти вцепившись, и пальцы ее улеглись в его руке, как в гнезде. Так в три руки и дошли они до вертолета.

Все эти дни она была при смерти, как при работе, а страшно было остальным, каждый из которых хоть и делал свое дело, но не простирали Бабушкиного нутра на себя, и даже основательный Василий не допускал происходящего до головы, поскольку при своей капиталности мог бы и не сдюжить. И все от страха и жалости не понимали простоты и нестрашности Бабушкиной заботы именно потому, что у всех было их сотни, а у Бабушки одна.

Все изо всех сил старались нести получше и сосредоточивались на мелочах, на которые в обычное время не обратили бы внимания. Здоровым мужикам, видящим все через мозоли, тесно было в этих тихих минутах и странно думать о рукоятке носилок, и они переспрашивали, мол, не пора ли перехватиться, и тот, кого спрашивали, понимал, что хоть это не ноша, но что и товарищу надо прикоснуться, причаститься, понести Бабушкино исхудалое тело.

## 12

Кольке казалось, что Бабушкина смерть — нелепый переплет, из которого только он ее может вызволить, расколдовать, и что ей обязательно надо поскорей вернуться. И действительно, на расстоянии смерть не доходила, и думалось: вдруг она не умерла, а осуществив крайнюю мечту Дядьки, впала в оцепененье до лучших времен.

Бабушку никак не везли обратно, тянулась какая-то катавасия с вертолетом, но в конце концов и он вылетел. Было это уже ночью, погода стояла премерзейшая, с низкой облачностью и почти ураганным северо-западом. Из-за плохой видимости вертолет шел Енисеем и совсем низко. Последний прямой плес летел долго и медленно, километров за пятнадцать был слышен ненормально тяжелый звук двигателей и лопающийся перестук — ответ лопастей на удары ветра. То, что случилось дальше, вызвало всевозможные толки, из которых наиболее правдоподобной выглядела уренгойская версия. Что, дескать, в Подкаменной почему-то вместо туруханского экипажа в вертолет засел залетный уренгойский, не знающий площадок.

Вертолет с пылающими фарами зашел на посадку и уже завис, взбивая белесое облако, и его завивающиеся края почти поглотили машину, когда резким ударом северо-запада ее кинуло на деревню, и она, прочертив колесом в метре от Дядькиной головы, чудом выровнявшись, взмыла вверх, едва не завалившись на провода. Не заходя на второй круг, вертолет улетел в Туруханск, потом под утро снова появился над деревней, сужая круги. Грозно грохоча и пикируя, он трижды заходил на посадку, но улетел в Подкаменную, так и не сев, словно почерневшие и взъярившиеся небеса не желали отдавать Бабушкино тело земле. Только в обед он снова прилетел и, без приключений сев, вернул покойницу, проболтавшуюся между небом и землей шестнадцать часов.

Потом копали могилу, пилили «Дружбами» землю, и было ощущение мерзлой и неподъемной ее тяжести, грубости и огромности, несоизмеримой с человеком, который, оказывается, совсем тонко на планете живет, а чуть копни, вот она, сыра земля, холодная и простая. Странно бывает стоять по пояс в подвале, когда голова среди уюта, а внизу сырой холод, и сыпучий срез со следом лопаты, и корешок травинки. И что-то есть свер-

бящее в этом корешке, будто глядишь на жизнь из-под низу, и потому так хорошо, выбравшись на свет, протрезвиться — оказывается, земля человеку дана, чтобы небу служить.

Когда попросились и поцеловали неузнаваемое, геологически-спокойное Бабушкино лицо, Надежда шепнула что-то Андрею Иванычу, человеку пожилому, уважаемому и виды выдававшему, и тот чуть выдвинулся навстречу могиле, помолчал и сказал: «Ну что, Глафира Прокопьевна... Прожила ты жизнь долгую, трудную, вынесла то, что не дай Бог кому вынести. Все мы знаем, работала как проклятая, детей растила, а теперь вот видишь, как... провожаем тебя. Прости, если что не так... Прости всех нас, и пусть будет пухом тебе земля».

Одному мальчишке поручили прибить крышку к гробу. Пока прощались, он теребил в руках гвозди и молоток и волновался, что гвоздь не воткнется в твердое дерево, отскочит или согнется, а все будут смотреть, как он подведет, а оказалось, там дырочки уже под тканью приготовлены, и никто не смотрел, и все воспринимали то, что он делал, как должное. И как-то благодарно в нем стало за эти заранее пробитые дырочки, за то, что не пытали его взглядами, а верили, и на всю жизнь запомнил парень эти похороны и в следующий раз уже не боялся, а делал как взрослый.

На поминках снова был длинный стол, и снова перед этим целый день резали, рубили, месили и варили женщины, и снова приходили, тихо раздеваясь, пристраивая шапки и рукавицы, люди, и, сев на освободившееся место, аккуратно подцепляли кутью и макали блин в блюде с маслом. Дядька сидел на кухне и курил с мужиками, собравшимися на выход, Татьяна и Галя дежурили за спинами. Зашли два братца, помогавшие копать могилу, а потом прибежал Страдиварий со своими вечно безумными глазами, и его как-то по-особенному чуть не под руки усадили, а он, дрожа всем телом, опрокинул стопку и начал есть. Ел он даже не жадно, но как-то свято, как ест собака после ста верст пробежки. И сидел за столом не как Братцы, у которых лишь водка на уме, а как человек, у которого неприкаянность лишилась различимого предела.

Колька лежит, на груди качается кот Васька. И хоть Бабушки нет, и маму с работы выгнали, и Дядька опять прикрикнул, а все почему-то не замирает в нем и сама собой нет-нет да и народится радость, и теперь вот не может заснуть, и все в нем светится, живет, искрит новая жизнь, и представляются то дяди Васино веселое лицо, то удочки налимьи непроверенные, то снег и солнце.

Долго еще ждать Кольке, и долго будет томить тоска, изводить снегом и неподвижностью, черно-белым контуром снежной деревни, пока не настанет весна, не обтаит угор и первая овсянка не перевяжет кровоточащую душу серебряной песенкой.

Сидя на столбике, она вяжет свой узелок, но ее родниковое ликование умиляет лишь до тех пор, пока не понимаешь, с какой протерозойской отчетливостью и отрешенностью кладет она в теплеющий воздух свою руладку, звучащую уже не как детский щебет, а как исповедь рода, ни разу не погрешившего перед Богом.



---

---

ГЕННАДИЙ РУСАКОВ

\*

## ГОРЛО ДНЕЙ

1

...А я любил его. Он вряд ли это знал.  
Я был тогда зажат и хмуро скрытен,  
писал, но плохо. Рвано говорил.  
И молча удивлялся, почему  
он привечал меня, мальчишку... Вместе с Людой?  
Она была — свечение.  
И вот  
обоих нет.  
...Я помню: он лежал  
с покинутым лицом спокойной меди  
на сцене, в малолюдном ЦДЛ.  
От пола дуло. Пахло небреженьем  
и пыльной тканью старческих кулис.  
А я подумал: — Вот и он ушел... —  
И тут вдруг — вспышкой — понял, что «уходят».  
И закричал, заголосил, забился:  
— Не надо, не хочу, еще не мне! —  
Взлетел и рухнул, стал безумной мышью,  
вонзился в пол, зарылся в темноту...  
Не разжимая губ, не сдвинув тела.  
И не заплакав.  
Господи, прости!  
Прости мне грех внезапного прозренья,  
отступничества стыд.  
Прости мне, что их нет,  
а я, глухой и полусумасшедший,  
пишу о них  
и смерти не ищу.

2

Я соскучился по строке,  
непрерывной, как речь идиота,  
чей захлёб говоренья, горячечный выброс слюны  
отражает процесс непрерывного миропознания  
и фиксацию сонма простых мелочей.

---

Русаков Геннадий Александрович родился в 1938 году в Воронежской области. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького, закончил 1-й Московский педагогический институт иностранных языков. Много лет работал переводчиком-синхронистом в Организации Объединенных Наций. Автор нескольких лирических книг. Лауреат Малой премии им. Аполлона Григорьева (1999). Живет в Москве.



Мне понятно желанье угнаться за множеством множеств,  
 перечислить, назвать, обозначить, поставить в столбцы —  
 страсть каталогизации, жажда  
 хоть однажды застигнуть творенье врасплох:  
 и на карту, в тетрадь, в дигитальное изображение!  
 Вот закат — почему? Что такое трава?  
 Вдруг — зеленое, с детским лицом, вылезает  
 из-под ног и щекочет подошву... Зачем — щекотать?  
 Раскаленный, огромный,  
 шар уходит макушкой в кипенье металла,  
 и уже заломило суставы от предошущения жара —  
 там, за семь поколений до нас, далеко.  
 Мелкорезной ботвою полыни  
 убажен огород. Лето было обильным:  
 мед с большим диастазным числом, корнеплоды,  
 обмирание слив, загорелые женские ноги  
 по лодыжки в пыли  
 и налипший на них курослеп.  
 Если я еще жив, то за счет этой силы гляденья:  
 восьмигранный, в пространство наставленный глаз,  
 разъяренная линза, прожегшая август. И сразу —  
 упадание сердца. А рядом, за шаховским домом,  
 местный ангел стоит, запрокинув лицо.  
 И бормочет, бормочет, не слыша себя за словами:  
 — Эти множества множеств...  
 — Застигнуть творенье врасплох...

## 3

За ночь дом выстывал. Батареи еще шипели,  
 но их костлявое тепло уже не грело.  
 Мыши начинали безобразничать под плинтусами:  
 кидались чем-то тяжелым и страшно рычали  
 (так им казалось). Я ставил кастрюльку на огонь  
 и варил овсянку скорого приготовления.  
 Она нагревалась и начинала отплевываться  
 толстыми каплями. Запотевали окна.  
 С кряхтением просыпался домовый  
 и прыгивал с книжного шкафа. Мы слушали,  
 как, хрустя суставами, ходим оба по дому.  
 — Зарядку надо делать, — говорил я ему.  
 Он привычно огрызался: — Вот ты и делай. —  
 Он давно уже не выходил — да и куда тут пойдешь?  
 Всюду были свои домовые, а здесь он все будто при деле:  
 боялся, что ненароком помру,  
 ночами подходил к моей постели,  
 фонариком светил в лицо. Я знал:  
 когда меня не станет, дом умрет.  
 Сначала в нем отключат воду, следом газ.  
 От холода сбегут худые тараканы.  
 Потом со всем нажитым барахлом настрополятся мыши,  
 ведя полуслепую дедушку в надтреснутых очках.  
 (За время нашего соседства в их семействе  
 не значилось насильственных смертей.)  
 Последними затихнут звуки:  
 шуршание отклеившихся обоев, хруст полов,  
 покончившая с собой люстра,  
 прыгнувшая вниз...

И тогда  
домовой ляжет на книжном шкафу,  
как ложатся смертельно уставшие люди,  
и начнет истоньшаться,  
думая, почему же я умер с такой непонятной улыбкой...  
И ему ни за что не додуматься:  
это я улыбался при мысли о том,  
что не буду присутствовать при уходе  
последнего близкого мне  
существа.

## 4

Я, помню, в детстве все бежал куда-то...  
Трава мне в рост, а я бегу, бегу.  
Где склон — качусь, где яма — там прилягу,  
оставлюсь в небо, но опять бегу,  
теперь уже отвесно, как по стенке,  
пришлепывая драным башмаком.  
(Тут важен бег, он что-то означал:  
меня никто не сможет задержать,  
когда бегу, я неподвластен взрослым.)  
А там, на небе, кто-то ждет меня.  
Не Бог, но кто-то. С Богом не играют,  
а этот, ждущий, кажется, не прочь.  
С тех пор я больше так уже не бегал.  
А нынче удивился: — Почему? —  
И вновь представил: я бегу, бегу.  
Меня все ищут, мама чуть не в слезы,  
а я, больной и старый, некрасивый,  
давя траву, бегу навстречу лугу,  
навстречу маме, памяти, годам.  
И незаметно убегаю в небо.  
Меня все ищут: — Гена, что за шутки? —  
А я бегу, бегу себе, бегу...  
Где тот, кто мог бы поиграть со мною?

## 5

Есть много форм любви.  
И я в тебе сгорю.  
Я стану пепел, прах. Я взгляд, глядящий мимо,  
в себя, в касанье губ, в дрожанье тишины.  
Там белое окно протиснуто в пространство.  
Ты снова пронесешь медлительность ресниц  
поверх моей судьбы, краями задевая,  
меж тысячами лиц найдя мое лицо.  
И боковой пробежкой паука  
промчится тень.  
Татьяна, что же с нами?  
Зачем я встал в ночи и сердце в руки взял,  
как спящего оснулого ребенка,  
и чувствую взбуханье жарких вен?  
Сожги меня, сожги!  
Как вытерпеть любовь  
и бедный порх листвы,  
державшейся за звук, за сотрясение ветра?

На пальцах пляшет дождь, как маленькая жизнь.  
 Не плачь, еще не плачь — мы встретимся в забвенье.  
 Пусть я в тебе покуда догорю.

## 6

...То было время,  
 великое в своей жестокости  
 и страстности. И мы  
 в нем жили.  
 Теперь я знаю: мы и были время.  
 Петров и Сидоров, Горбенко, Люда, я,  
 Андреич, Вера, Вовка-недомерок,  
 живые, мертвые и ждущие рожденья —  
 мы были время.  
 Нас несла река,  
 а мы в ней были и вода, и берег.  
 Кружило солнце. В небе, поперек,  
 огромным прочерком редел форсажный след.  
 Подкрылками треща,  
 я мерил день длиной перемещений:  
 глухая стрекоза, чирок, пчела —  
 не помню, кто.  
 У «Сокола» трезвонили трамваи.  
 На Алабяна Люда открывала  
 слепящее окно в бессмертье, в тридцать лет,  
 которые кончались под Нью-Йорком,  
 над бешеными кручами Салева  
 и возле грядок Кащенко... Пора.  
 Пора вернуться в пятьдесят девятый,  
 в позор сиротства, в гиблый Мелекесс,  
 в кусочничество, в «Житие Христа»,  
 где выцветший от старости осел  
 и колченогий Иисус с какой-то веткой,  
 немыслимые шляпы саддукеев.  
 И папа за спиной у Крупской... Нет,  
 жена-птенец,  
 ты закрываешь окна,  
 тебя зовут Татьяна,  
 ты жива.  
 И я приснюсь тебе  
 наперсточником с Курского вокзала.  
 И время-гаечка склюет с окна мой хлеб.  
 И я, с разбитым ртом,  
 как рыба на кукане,  
 опять о память бьюсь  
 и закатил глаза.

## 7

Когда приходят дни спокойной крови,  
 тяжелых рук и медленных ветров,  
 которые выплескивают реку  
 на середину поймы,  
 я понимаю,

что время зрелости моей вошло в меня  
и начинает говорить словами  
сухими и горячими, как губы,  
как громыханье августа на крыше...  
И сладостью слюны сочится рот.  
Я говорю: — Достоинство и вера. —  
Столбы дождей сместились на восток.  
В огромной чаше закипает осень.  
И напряглось дыханьем горло дней.  
Мы слышим ветер, просыпаясь ночью.  
И нас уже приподнимает время  
над черной перекопанной землей.



---

---

ЮЛИЯ ВИНЕР

\*

## СНЕГ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

*Повесть*

Самих был десятый ребенок у своего отца и единственный сын. А его отец у своего отца был тринадцатый и тоже единственный мужской отпрыск. Поэтому отец и дед непременно хотели женить Самиха как можно раньше, чтобы дожидаться продолжателя рода. Когда Самиху было четырнадцать лет, они собрались с деньгами и сосватали ему семнадцатилетнюю Наджму, и, к великой радости всей семьи, через год у Самиха родился сын.

Самиху было приятно, что он угодил отцу и деду, приятно было называться по имени сына — Абу Тайсер, но жена и ребенок никак его не интересовали. Еще через год Наджма родила второго сына, Вошди, и тогда Самих решил, что большего семья не вправе от него требовать. Он сказал отцу, что в деревне, на отцовской земле, от которой зависели еще пять его незамужних сестер, ему на хлеб все равно не заработать, поэтому он оставит пока жену с детьми дома, а сам уйдет в Иерусалим и будет там учиться и работать. Отец не хотел этого, но, с тех пор как у Самиха родилось двое крепких, здоровых мальчиков, он испытывал перед сыном некоторую робость и не посмел его остановить.

Самих поселился у тетки в Старом городе и устроился в гараж, мыть машины. Зарабатывал он немного, но это были его первые деньги, и он тратил их почти все на себя, благо тетка пока ничего не требовала за хлеб и кров.

Раз в две-три недели Самих ездил домой, спал с женой и давал ей немного денег. И то, и другое все больше его тяготило. В городе он насмотрелся на стройных, легко и красиво одетых туристок и израильтянок, а у Наджмы был рыхлый выпяченный живот, испорченная татуировкой кожа на лице, и носила она все время одно и то же застиранное черное платье, вышитое матерью Самиха. Денег тоже было жалко. Жена и дети все равно жили на всем готовом, а Самиху нужна была одежда, такая, как у всех городских парней, да и других расходов было много.

Самих стал ездить домой все реже. Тем не менее к восемнадцати годам у него уже было трое детей, и он, набравшийся городских познаний, сказал жене, чтобы она пошла в больницу и перевязала трубы. Жена испугалась, заплакала и пожаловалась отцу Самиха. Отец, страстно желавший как можно больше внуков-мальчиков, начал было ругать Самиха, но Самих был уже городской человек, слушать отца не захотел, расплевался с ним и с женой и почти совсем перестал бывать дома.

Теперь надо было бы и впрямь чему-нибудь поучиться. Например, хорошо бы стать механиком в том же гараже. В гараж приезжали чинить свои машины консульские чиновники и работники ООН, и механики по-

---

Юлия Винер родилась в Москве, закончила сценарное отделение ВГИКа. Прозаик, поэт. С 1971 года живет в Израиле.

долгу разговаривали с ними по-английски и зарабатывали хорошие деньги. Самиху уже немного надоело жить у тетки, спать в одной комнате с ее детьми. Телевизор у тетки был старый, черно-белый, а о видеомагнитофоне и думать было смешно. В то время как у многих его приятелей были и видео, и цветной телевизор, а у некоторых даже автомобили. Самиху тоже хотелось, для этого нужны были деньги. Самих купил несколько учебников по автомеханике, но они были или на иврите, или на английском и только один на арабском. На иврите Самих болтал свободно, по-английски кое-как, но читать не умел толком ни на одном языке, так как со времени женитьбы бросил учиться. В школе для автомехаников Самиху сказали, что сперва надо закончить хотя бы семь-восемь классов, и потребовали много денег за обучение.

В сущности, ему было неплохо и так, а научиться можно было постепенно и в гараже, присматриваясь к механикам. Старый Валид не раз говорил ему, что руки у него хорошие. Самих дал себе срок до осени — как раз исполнится девятнадцать, он напросится к Валиду в помощники, и тот его всему научит. А оставшиеся летние месяцы Самиху хотелось еще погулять.

Но вышло так, что гулять ему пришлось не по своей воле и долгие, чем он планировал. В гараже поставили моечную машину, и Самиха уволили.

Теперь он часами простаивал на углу улицы с другими парнями. Изредка ему удавалось навязаться в проводники какой-нибудь растерянной паре туристов, и он таскал их по Крестному пути, повторяя фразы, подхваченные от бесчисленных местных гидов: «А здесь Господа нашего Иисуса Христа подвергли бичеванию... А здесь Господь наш Иисус Христос споткнулся под тяжестью креста...» Туристы были всегда недовольны Самихом и пытались от него отделаться, но он не обращал на это внимания, зная, что в конце концов они обязательно что-нибудь заплатят.

Он еще раньше заметил, что люди из Европы и Америки, особенно молодые, как-то участливо предупредительны к нему и его товарищам. Самих не вполне понимал почему, но видел, что, если он, подражая другим, повторял: «Добро пожаловать в мою страну» — или: «Мы, палестинцы, любим гостей», — предупредительность туристов удваивалась и они менее решительно отбивались от непрошенных услуг. Правда, Самих замечал, что между собой все эти люди употребляли совсем другой род вежливости. Он не мог бы объяснить, в чем разница. Просто он чувствовал, что в глубине души он этим людям неприятен, что на самом деле они относятся к нему свысока и с некоторой брезгливой осторожностью, как к больному хотя и опасной, нечистой, но любопытной болезнью, которую они по каким-то своим соображениям решили считать почтенной и заслуживающей симпатии. Впрочем, Самих не тратил времени на размышления, а просто пользовался этим, когда удавалось.

Один раз ему повсчастливилось заманить в кафе двух больших бело-розовых шведских девушек с голыми, заманчиво подрумяненными солнцем плечами и ляжками. От шведок он денежного профита не ждал, а сидел с ними в кафе под завистливыми взглядами приятелей и терпеливо слушал, понимая с пятого на десятое, как девушки выражали сочувствие его тяжелому положению и объясняли ему, что они, шведки, делают у себя в Швеции для его благополучия. Затем Самих проводил их в молодежное общежитие, где они остановились, и там убедился на деле, какие у них гладкие спины и бока и какие мускулистые животы и ноги.

Шведки и в постели были доброжелательны и вежливы. Они подробно и нестеснительно объясняли Самиху, чего, где и как они хотят. Некоторые их требования смущали Самиха, другие казались просто противными. Однако мужское достоинство требовало, чтобы он все это выполнил. Он скоро обнаружил, что, несмотря на четыре года женатой жизни, очень мало что знает и умеет. Тем не менее девушки как будто остались им довольны, хвалили за силу и готовность.

Но когда он предложил встретиться снова, вдвоем или с каждой по отдельности, они отговорились экскурсиями и близким отъездом. Самих как бы в шутку сказал, что тогда он приедет к ним в гости в Швецию, и они так же шутливо наказали непременно их навестить. Но адресов не предложили, и Самих ушел из общежития с неясным чувством, что ему не только ничего не дали, но, наоборот, обманом что-то у него отняли.

У приятелей, однако, это происшествие прибавило ему авторитета, и он с новым интересом стоял на углу и приставал к женщинам-туристкам с предложением показать достопримечательности Старого города либо выпить чашечку кофе. Постепенно репертуар его расширился, вместо того чтобы повторять как заведенный стандартные фразы: «Не могу ли я вам помочь?» — или: «Вы из Америки? Я люблю американцев», — он начал придумывать разные уловки, чтобы привлечь к себе внимание. Держал в руках английскую книгу и просил прохожих туристов растолковать ему непонятное слово. Спрашивал девушку, не студентка ли она, и если оказывалось, что студентка, объяснял, что и он студент, но — тут он грустно понижал голос — лишен возможности учиться... Это последнее пользовалось особым успехом и приносило ему порядочный доход как в денежном, так и в других измерениях.

Все это тешило Самиха, как азартная и увлекательная игра. Но настоящего удовлетворения не давало. Заработок был ненадежный, и Самих знал, что в профессию это превращать нельзя, а надо искать работу. Тем более, что и тетка намекнула раз, другой, а потом прямо спросила, не собирается ли Самих возвращаться домой.

А женщины и девушки шли вереницей мимо Самиха, изредка останавливались, брали свое и исчезали, не оставляя взамен ничего, кроме дешевых подарков и неопределенной усталости. И Самих начал подозревать, что излюбленные разговоры его приятелей о доступных и изголодавшихся западных женщинах, которые утомлены своими бессильными бледными мужчинами и ищут горячей, темной крови, — что все эти разговоры не многого стоят. Такая женщина, говорили приятели, способна без памяти влюбиться в восточного мужчину, если только он сумеет по-настоящему ей угодить, и тогда делай с нею что хочешь: хоть бросай с издевкой, хоть обирай до нитки, а лучше всего привяжи к себе как следует, женись и поезжай жить туда, к ней, в золотую Америку или Европу, где всем заботам и тревогам конец. Последнее для Самиха было бы несколько затруднительно, но Самих не сомневался, что, подвернись только случай, как-нибудь это можно было бы устроить. И кто бы там, в Европе или в Америке, узнал когда про животастую Наджму и ее сопляков? Но случай никак не подворачивался, хотя Самих нравился женщинам и скоро научился делать то, что они хотели, без особого отвращения. Самих и его приятели наперегонки хвастались друг перед другом своими успехами у туристок, но до сих пор ни один не женился и не уехал, и даже встретиться с одной и той же девушкой дважды мало кому удавалось.

Женщину, проходившую по улице Акбат эд-Дарваш, где жил Самих, он зацепил просто по привычке, как зацеплял всех одиноких неместных девушек. Вернее, он подумал, что она неместная, и по одежде, и по чему-то неуловимому в облике. На самом же деле она была израильтянка, хотя и сравнительно недавняя. Милочка приехала из России несколько лет назад. Сейчас она шла к своему любимому человеку, голландцу по имени Ангелус, который жил в маленьком домике в Гефсимании, на склоне Масличной горы.

— Эй, мисс, — крикнул Самих по-английски навстречу женщине. — Мне кажется, мы с вами знакомы.

Женщина шла задумавшись и при окрике Самиха запнулась и остановилась, вежливо глядя на него близорукими глазами. Самих увидел, как



готовность узнать знакомого быстро сменилась на ее лице выражением сдержанного неудовольствия. Тем не менее он храбро продолжал:

— Вы меня не узнаете? Мы же с вами недавно разговаривали.

Женщина еще секунду поколебалась, боясь обидеть невзначай, но потом коротко качнула головой, слегка улыбнулась и зашагала дальше.

Наметанный взгляд Самиха поймал эту мгновенную, нерешительную улыбку, это короткое колебание в близоруких глазах. Оценил он и удаляющуюся фигуру женщины. Положим, «мисс» с его стороны было просто любезностью. Женщина была по меньшей мере десятью годами старше Самиха. Не бог весть какая добыча. И не блондинка — итальянка, наверно, или француженка. По сравнению с любой известной Самиху шведкой или датчанкой ничего особенного. Ростом невелика, тонкие руки и ноги, небольшая голова на тонкой шее. Но при этом полные круглые бедра и зад и тяжелая грудь, колеблющаяся под белой блузкой. И эта не совсем решительная улыбка... Самих быстро нырнул в боковую улочку, пробежал кружным путем и выскочил на эд-Дарваш у дальнего угла, обогнав медленно идущую женщину.

А Милочка действительно так и не была вполне уверена, что никогда не встречала этого красивого жуковатого парня. Такие же жесткие, тщательно расчесанные черные волосы, черные глаза с красноватыми белками, пухлые губы под аккуратно подбритыми усиками, такие же свежееотглаженные рубахи, растянутые до середины мускулистой груди, и тесные джинсы были у множества молодых арабов, с которыми она имела дело, когда, по пути к Ангелусу, заходила на почту, в магазины, в аптеку на улице Салах эд-Дин в восточном Иерусалиме. Возможно, она и сталкивалась с ним где-нибудь там, и даже обменялась несколькими словами. И она досадовала на свою нецепкую память.

У поворота на эль-Муджахеддин Милочка подняла голову и вздрогнула: все тот же парень в свежей белой рубашке, с жуковатыми глазами в длинных ресницах стоял перед нею и улыбался ей прямо в лицо. Милочке стало смешно, и она, уверенная теперь, что это просто уличный пристава-ла, весело помотала головой, хотя и знала, что делать этого не следует. И конечно же, парень немедленно пошел рядом, трогая ее за локоть и быстро выбалтывая свой набор английских фраз. Она все так же весело, но решительно отстранила его, нырнула во встречную толпу туристов, и Самих потерял ее из виду.

Потеря была невелика, и Самих тут же о ней забыл. Но спустя несколько дней, играя с приятелем в нарды у входа в кафе около Иродовых ворот, он снова заметил издали эту женщину. Она быстро шагала на своих тонких ногах, слегка клонясь набок под тяжестью большой сумки с продуктами. На этот раз она гораздо меньше была похожа на туристку. Самих заколебался, но не мог удержаться от соблазна покрасоваться перед приятелем:

— Видишь вон ту, в красном платочке? Гляди, как я ее сделаю.

Он подскочил к женщине:

— Здравствуйте, мисс. Узнаете? Это я. Как поживаете?

Милочка узнала его. Но ей было жарко, сумка оттягивала руку, она устала, и назойливая игривость молодого человека раздражала ее.

— Спасибо, хорошо, — сухо ответила она, не останавливаясь и не повернув головы.

— Не хотите ли выпить чашечку кофе? — бубнил парень на своем школьно-туристском языке и терся локтем о ее плечо.

— Оставь меня в покое, — резко бросила женщина на иврите.

Ну так и есть. Израильтянка. Чтоб ей пусто было. Не стоило и стараться. Надо было плюнуть и повернуть назад. Но приятель смотрел на Самиха, услышать же, на каком языке они говорят, не мог, и следовало еще немного поманежить тетку, а потом сделать вид, что это он сам не за-

хотел, и бросить ее. Продержаться при ней еще минутку-другую, заставить ее как-нибудь повернуть голову и улыбнуться, а потом сделать за ее спиной, на приятеля, грубый жест и уйти.

А Милочка, ускоряя шаг и уклоняясь от жесткого плеча парня, думала с досадой, что раз уж он привязался, то мог хотя бы предложить понести ее сумку, от которой занемели пальцы и ломило спину. Ей было так тяжело, что она наверняка отдала бы ее парню, и улыбнулась бы ему, и сказала бы что-нибудь хотя и расхолаживающее, но необходимое.

Но Самиху и в голову не приходило ничего подобного, и он с разгону все бормотал про свой кофе. Милочка сказала с чувством:

— Послушай, да пошел же ты к черту!

А Самих как раз кое-что придумал. Он забежал спереди, ухватился рукой за узел своего шейного платочка, выпрошенного когда-то у одной из северных девушек, и предложил:

— Давай меняться, а? Тебе нравится мой платочек? Смотри какой — шелковый! А мне нравится твой.

Милочка даже не взглянула на его платок. Не задумываясь, она сдернула с головы свой, сунула парню в руки, пробормотала злобно сквозь зубы:

— Только отвяжись, отвяжись! — и почти побежала дальше.

А Самих остался на месте с большим красным платком в руках.

\* \* \*

Зима в этом году была теплая, но в самом начале марта вечером пошел сильный снег.

Снег шел всю ночь, и в Гефсиманском саду, как и во всем Иерусалиме, повалило и поломало множество деревьев. Ночь была беспокойная, в воздухе висело глухое напряжение; спалось плохо. Ангелус встал в половине седьмого и едва смог открыть дверь: молоденький кипарис, посаженный им с осени, согнулся до земли и упирался верхушкой в дверь. Лимонное дерево низко свесило крону, в снегу вокруг растерянных блестящих лимонов уже образовались серые проталины, в развилке поломанных ветвей сидел круглый снежный каравай.

Тревожно и обманчиво пахло наступающим долгим ненастьем, бесконечными сумерками под глухой снежной шубой, тусклым низким небом. Сознание отчетливо говорило, что это Иерусалим, жаркий южный край и начало весны, что снег уже начал таять и к полудню исчезнет совсем и завтра будет тепло и солнечно, а через две-три недели навалится душный пыльный ветер из пустыни, — но обоняние твердило свое: зима, метели, звездный очерк еловой лапы на морозном стекле, накатанные ледяные полосы между сугробами на рыночной площади...

Ангелус любил жару гораздо больше, чем холод. Любил свободу от душных зимних одежд, прикосновение нагретого воздуха к обнаженной коже, любил ощущение доверчивой безопасности в горячей бане бесконечного лета.

Полтора-двух теплых месяцев дома, в Голландии, часто перебиваемых дождями, ему всегда было мало. Даже все его сердечные дела начинались и расцветали в теплое время, когда не только тело, но и душа освобождалась от части своей принудительной защитной коры, — но теплого времени было мало, и чувства редко успевали укорениться настолько, чтобы пережить долгий период холодной спячки.

Может, это и было одной из причин, почему он так надолго и как будто бесцельно задержался в этом далеком от родины краю. Была и еще причина, и, кажется, гораздо более важная, но думать о ней, угадывать, в чем она заключается, не было никакой надобности.

С блаженной мыслью о близком долгом-долгом лете Ангелус еще раз втянул в легкие обманчивый снежный воздух, отвел в сторону облеплен-

ный снегом кипарис, распахнул дверь настезь и сбросил тапочки. На пухлой белой поверхности ведущей к дому дорожки не было ни единого порока, ни единого следа. Держа тапки в руке, он повернулся лицом к двери, шагнул горячей от постели ногой в снег и, легко ступая на носки, пробежался по дорожке задом наперед. У колодца он остановился и вернулся в дом в обход, протискиваясь между заснеженными деревьями и промочив насквозь ночную рубашку. Как он и предполагал, снег на каменной дорожке уже подтаял с исподу, и следы его босых ног, ведущие к дому, отчетливо и загадочно чернели на гладком белом полотне.

На пороге дома Ангелус оглянулся на свой садик, на колодец и дальше вниз — на пологий склон Масличной горы, на коренастые оливковые деревья в долине Кедрона, на розовеющую стену Старого города по другую сторону долины — и в сотый раз рассмеялся от своей удачи, оттого, что ему удалось найти себе такое жильё.

Прежде чем поселиться в этом домике на Масличной горе, Ангелус поменял множество квартир. Они были всегда так называемые меблированные, поэтому самым тяжелым предметом у него был ящик с книгами, но и он не увеличивался от раза к разу, потому что Ангелус при каждом переезде выбрасывал большую часть детективов и эротических журналов.

Время от времени хозяева повышали плату. Ангелус начинал искать новую квартиру, за прежнюю цену, и обычно находил, но похуже предыдущей. Впрочем, все квартиры, которые были ему по карману, были плохие, поэтому особенной разницы он не замечал, а только жалел, что так много времени уходит на поиски.

Ангелус жил так уже почти десять лет и о перемене образа жизни думал редко. Можно было, конечно, жениться. Ангелус был хорошего роста, голубоглаз и светловолос, и девушки его любили. Два или три раза одни на время поселялись с ним в его квартире, другие звали его жить с ними. Однако он не женился. До недавнего времени ни одна девушка не привязывала его к себе достаточно сильно, а главное, было какое-то смутное чувство, что еще не время, что сначала от него что-то требуется, прежде чем он сможет со спокойной совестью осесть прочно, основать собственный дом и родить детей. Что именно от него требуется, он понятия не имел. Сам он от себя требовал не много, а окружающие — и того меньше. Чувство это вмешивалось только тогда, когда Ангелус приближался к какому-нибудь важному решению в своей жизни, а тогда он безоговорочно и сразу подчинялся ему.

Можно было также вернуться домой, в Голландию, где жили его родители и младший брат Ринц. В свое время, после очередной войны между евреями и арабами, он и приехал-то сюда всего на одно лето, без всяких других планов. Страна была экзотическая, про сельскохозяйственные коммуны тогда писали, что в них установлен новый порядок человеческих взаимоотношений.

После нескольких месяцев работы в кибуце первый энтузиазм значительно остыл, ребяческая надежда найти здесь новое общество испарилась, экзотическое очарование сильно поблекло. Тем не менее что-то помешало Ангелусу вернуться домой вместе с группой молодежи, с которой он сюда приехал. Вернее, он просто почувствовал, что остаться ему будет легче, чем вернуться. Раздумывать почему он не стал, а, как всегда, подчинился этому своему внутреннему чувству. Он переехал в Иерусалим тоже не раздумывая и не выбирая, и прошло четыре года, прежде чем он наконец собрался на родину. Но и тогда он не был уверен, что уезжает навсегда. Он не уволился с карандашной фабрики, где тогда работал, и хотя и заплатил своему тогдашнему домохозяину, но ничего ему не сказал. И, как оказалось, кстати.

В Голландии шел дождь, и глаз его отдыхал на сверкающей зелени и умилялся толстым черно-белым коровам на влажных лугах. Желудок, от-

выкший от полновесной, солидной пищи, сперва несколько протестовал, но быстро освоился и радостно принимал нежную телятину с черной подливкой, жирную тушеную колбасу с горохом и густые желтые сливки к душистому яванскому кофе. Городок, где жила семья Ангелуса, мало изменился за эти годы: открылся второй супермаркет, на центральном канале стало больше яхт с иностранными номерами, на большой церковной улице, рядом со старой школой Ангелуса, поселились два обширных семейства из Турции.

Родители были рады видеть старшего сына, хотя, как обычно, говорили мало. Брат тоже был очень рад; он вырос, превратился из подростка в молодого мужчину, такого, каким был Ангелус, когда уезжал. Он тоже собирался вскоре покинуть дом родителей, но это не вызывало ни у кого никаких вопросов. Он снял полуразрушенную квартиру в Амстердаме, ездил туда на конец недели и отстраивал ее своими силами. Родители видели квартиру, видели девушку, с которой Ринц собирался там жить, знали, где он работает и где собирается учиться. Ему было девятнадцать лет, и он не делал ничего неожиданного.

В ближайшую субботу Ангелус разыскал свой велосипед и поехал с Ринцем в Амстердам, но прежнее обожание подростка-брата превратилось в трезвый, оценивающий мужской взгляд, а велосипед с отвычки казался тяжелым, путался в ногах — поездка не доставила Ангелусу ожидаемого удовольствия.

Брат был очень горд своей квартирой, и не зря; Ангелус от души хвалил и восхищался. Брат предложил снять заброшенное помещение по соседству и вместе отстроить его для Ангелуса. Ангелус благодарил, сказал, что подумает, но думать не стал. Еще и недели не прошло, а ему уже хотелось назад. Ему было холодно, все время знобило, а лицо горело сухим жаром. Непрерывный мелкий июльский дождь, который поначалу так приятно изумил и освежил его, скоро начал проникать до самых нервов, несмотря на желтый блестящий дождевик и резиновые сапоги, подаренные братом. Глаз вдруг заскучал на плоской, разграфленной каналами на четкие влажные прямоугольники зеленой равнине, затосковал по белому сухому солнцу, по раскаленным серым и розовым холмам, по пыльной, усталой зелени, по смуглым лицам и блестящим глазам иерусалимцев. Окраска природы и вещей начала казаться ему назойливо, анилиново яркой, а люди и их лица, наоборот, — тусклыми, подернутыми мутной пленкой. Длинные, светлые европейские вечера тянулись бесконечно, и Ангелус плохо спал после них.

В воскресенье мать предложила, чтобы он пошел с нею в церковь. Мать была католичка, а отец протестант. Оба были люди сдержанные, отлично владевшие собой; различие в вере лежало между ними как неширокий, но глубокий ров, не мешавший им жить в согласии, но и не позволивший за тридцать лет совместной жизни приблизиться друг к другу больше, чем требовала того общая спальня. Сыновья росли католиками, но вера, как, впрочем, и почти все остальное, не являлась предметом обсуждения.

Родители не ждали от детей любви или помощи, им и в голову не пришло бы, что они могут нуждаться в том или другом. От детей требовалось одно: уважение. Помимо внешних признаков этого уважения — и нечастый визит в церковь был одним из них — проявить его можно было, став «человеком». Родители никогда не указывали сыновьям, что они должны делать. Выбор принадлежал им.

Но оба брата с детства знали, что обязаны «стать людьми», чтобы родителям не пришлось краснеть перед другими. И точно так же теперь они знали, что Ринц находится на предназначенном ему пути и что Ангелус с этого пути — сошел. И, значит, преступил завет уважения к родителям. Родители и не догадывались, а если бы догадались, то были бы обескура-

жены и даже оскорблены тем, что старший сын давно испытывает к ним обоим гораздо более сильное чувство и совсем не то, какого они от него требовали. Чувство это позволяло ему простить их жесткую сдержанность, их педантизм, их нетерпимость, их порядочность и чистоплотность и даже их холодность к нему. Чувство это было — жалость. И такая острая, такая настойчивая, что с возрастом он мог ее вытерпеть только вдали от них.

Ангелус обрадовался, что пошел с матерью к службе, когда оказалось, что она привела его не в прежнюю маленькую, душную церковку на рыночной площади, а в так называемую Старую церковь.

Начатая постройкой много веков назад, она соответствовала грандиозным планам и мечтам тогдашних католических отцов города. Но они не сумели достроить даже огромный центральный неф; протестантская ересь скоро закрыла для них доступ в души и карманы верующих, да и городок, против ожиданий, вырос за все эти века едва вдвое. Тем не менее церковь постепенно достраивалась: к посережнему от времени средневековому кирпичу присоединялись новые кирпичные полотноща, темневшие и красневшие по мере того, как дата достройки приближалась к нынешнему времени. И вот теперь, за годы отсутствия Ангелуса, деревянный корабельный каркас, поставленный на земле вверх дном, полностью заключился в кирпичную оболочку. Несмотря на смешение стилей и эпох, церковь была великолепа, и Ангелусу приятно было думать, что, что бы ни произошло в будущем с верой и религией, мощная эта постройка в его родном городе без труда сможет простоять столько же, сколько уже стояла.

В Бога Ангелус не верил с тех пор, как узнал, что такое понятие существует и в него можно верить. Можно и, видимо, нужно, потому что многие верили или говорили, что верят. Но Ангелус этой потребности не ощущал, хотя, зная, что это огорчит родителей, долго скрывал от них.

Он не прошел даже обычной стадии юношеского возмущения против Бога. Возмущаться и отвергать было некого. Бог не вызывал у него ни возражений, ни сомнений, ни протеста. Он был просто не нужен, ему не было места в общем устройстве мира. Мир и все, что он в себе заключал, превосходно держались вместе без всякого постороннего участия. Мир, то есть все, что человек знал, и то, чего он не знал, заполнял сам себя без остатка, полностью соответствовал самому себе и полностью объяснял сам себя, не оставляя ни малейшего зазора для вопроса: почему? Ответ настолько полно и очевидно содержался в самом вопросе, что Ангелусу иногда становилось вчуже обидно, что другие тратят столько душевных сил на постановку этого вопроса, не говоря уже о поисках ответа.

Конечно, разумом Ангелус понимал, как хорошо, как отдохновенно было бы, если бы устройство мира допускало существование Бога или хотя бы возможность в него верить. Он отлично понимал эту страстную потребность препоручить кому-нибудь хотя бы часть непосильного, неизбывного, неотвязного бремени человечности. Пример был рядом — его родители: эти двое горьких, бессильных, одиноких людей все же барахтались кое-как на поверхности, держась за хрупкие соломинки веры, пусть каждый своей, но ведущей в одном направлении — к нему, к Тому, который знает, *что они есть*. Так что Ангелус ясно видел, в чем смысл веры. Но возможности переложить часть собственного груза на иные, более сильные плечи он не видел. Его это не огорчало — и не радовало. Таков был порядок вещей. И следовало не протестовать, не возмущаться, а быть частью этого порядка и наилучшим образом делать то, что в этих условиях можно сделать.

Отец расспрашивал, как ему жилось в чужом краю. Ангелус охотно рассказывал про первое время. Про свою работу в сельской коммуне в жаркой долине на границе с Иорданией, про причудливую, разношерстную, но в самом разнообразии своем странно одноликую компанию добровольцев из разных стран. Про горько-сладкий вкус горячих от солнца грейп-

фрутов и про баскетбол в раскаленной тьме по вечерам, под слепящими фонарями. Про свои первые попытки освоить жесткий, неподатливый древне-новый местный язык и про снисходительное дружелюбие хозяев.

Но все это продолжалось всего полгода. Дальше рассказывать было труднее. Отец молча выслушал перечень различных мест работы, которые переменял Ангелус, квартир, в которых он жил, и задал неизбежный вопрос:

— И каковы же твои планы теперь?

И Ангелус, который до сих пор еще колебался, ответил не задумываясь:

— Я поеду назад. У меня билет на двухнедельный групповой рейс, так что через неделю.

Отец не удивился, словно ничего иного и не ждал, и только спросил:

— Зачем?

— Да так.

— У тебя там, может, девушка осталась?

Ангелус невольно усмехнулся:

— Девушек там много. Но нет, я не к девушке хочу вернуться.

— К чему же тогда? Или, может, ты надумал перейти в их веру? Я бы не удивился. В конце концов, это самое существенное, что там есть.

Ангелуса поразило спокойствие, с которым отец задал вопрос.

— Нет, — осторожно ответил он. — Их вера привлекает меня не больше, чем любая другая.

— Тогда зачем? С какой целью? Потерять еще несколько лет жизни?

Ангелус не мог ответить. Он знал лишь, что хочет и должен вернуться. Это была простая уверенность, ни на чем не основанная, ничем не подкрепленная. А отец требовал разумной цели, ответственного решения.

— Мне хочется, — сказал Ангелус негромко. — Мне там нравится. Я хочу там жить.

Ангелус отлично знал, как возмутит отца такой ответ. И говорил так намеренно, давая отцу основания видеть в нем упрямого, бестолкового недоросля, а не взрослого, отдельного и сложившегося человека. Родителям куда легче с ним расстаться, если им будет за что его винить. Отец с облегчением поддался на уловку:

— «Хочется», «нравится» — когда же ты станешь взрослым? Тебе уже двадцать три. Когда же ты собираешься начать жить? В тридцать лет? В сорок?

— Я уже начал, отец. Я уже взрослый. Ты хочешь, чтобы я остался здесь?

— Это ты сам должен решать.

— Скажи, что я вам нужен, и я останусь.

Как и ожидал Ангелус, мысль о том, что он может в ком-то нуждаться, рассердила отца, и он, едва сдерживаясь, сухо объяснил Ангелусу, что родители его не инвалиды, в присутствии его не нуждаются, а хотят лишь, чтобы он стал человеком, но на это пока рассчитывать, видимо, не придется, а потому «поговорим, когда ты повзрослеешь и поумнееешь». Ангелусу было больно, но он знал, что так гораздо лучше. Так у отца нет сознания, что он теряет сына навсегда.

За всю оставшуюся неделю отец едва обменялся с Ангелусом двумя десятками слов. Мать ни о чем не спрашивала, видимо, отец что-то ей сказал.

Ангелус предложил, чтобы родители навестили его в Иерусалиме. Он знал, что матери давно этого хочется. Она вопросительно посмотрела на отца.

— Навестить тебя? — спросил отец. — Твоя меблированная квартира достаточно велика для приема гостей?

— Там наверняка есть гостиницы, — сказала мать.

— Может быть, мы со временем и совершим поездку по святым местам, — сухо сказал отец. — Это никак не связано со случайным пребыванием нашего сына в святом городе.

Перед самым отъездом Ангелус пошел прогуляться по городу и зашел на кладбище. По сохранившейся с детства привычке он пересчитал семейные надгробия. Последний раз их, помнится, было пятьдесят два, а теперь он насчитал пятьдесят шесть, один камень красного гранита с фамилией ван Дюрэн затесался между Донингенами. Местечко, которое Ангелус присмотрел для себя в последний свой визит на кладбище, было уже занято, и Ангелус выбрал новое, не хуже прежнего, в тени большой голубой ели.

Он знал, что и это место недолго будет пустовать, но ему приятна была мысль, что, когда придет его время, он ляжет в землю, насквозь пропитанную многовековым родственным прахом. Хотя он и собирался уехать, а может быть, именно поэтому, он рад был, что побывал дома, где все, даже кладбищенская земля на много пядей вглубь, неоспоримо принадлежало ему. Прожив четыре года среди евреев, он познал цену этому преимуществу.

Все это было годы назад. С тех пор Ангелус оставил карандашную фабрику и перешел на молочный комбинат, потом работал санитаром в глазной больнице ордена св. Иоанна — там можно было и дольше остаться, и платили прилично, но тяжело было смотреть на полуслепых детей, ощупью пробиравшихся по сводчатым коридорам и горбившихся над кубиками и книжками. Потом Ангелус встретил на базаре веселого, пухлогрудого Юки, еврея алжирского происхождения. Юки пригласил его к себе домой, познакомил со своей женой Моник и тремя настойчивыми, быстроглазыми детьми, и вскоре они открыли вместе мастерскую по починке велосипедов и детских колясок.

Юки занимался административной и финансовой частью, а Ангелус прилежно чинил, но заказов было не слишком много, а Юки, как Ангелус вскоре начал подозревать, занимался и другими, не велосипедными делами. На вопросы Ангелуса он только смеялся и показывал ему щегольски аккуратные бухгалтерские книги. И доля Ангелуса в доходах была хотя и не роскошная, но он смог перебраться на приличную квартиру и присмотрел себе стереофоническую систему хорошей марки.

Тут пришла полиция, их обоих арестовали и наложили арест на имущество, к счастью, Ангелус стереосистемы еще не купил, а остального было не жалко. Ангелус провел одиннадцать дней в предварительном заключении, после чего вмешалось голландское посольство, да и полиция, видимо, убедилась в полной невинности Ангелуса по части невелосипедных дел. Его крепко оштрафовали и велели покинуть страну в течение сорока восьми часов. Юки сел на три года, а Ангелус съездил на месяц на Родос и через Хайфу вернулся в Иерусалим, отдохнувший и загорелый, с твердой решимостью больше такому риску не подвергаться. Он поработал немного подносчиком на стройке, а потом устроился техником на завод холодильников Калтермана, где ему помогли оформить солидное разрешение на работу.

С квартирами ему долго не везло и становилось все хуже, пока однажды, с год назад, знакомый грек-ювелир из Старого города не сказал ему, что на Масличной горе, при русском монастыре в Гефсимании, сдается домик-развалюха, без электричества, без водопровода и без канализации, а потому очень дешево. Ангелус в тот же день слетал в монастырь, посмотрел домик, поторговался для приличия с матерью экономкой и тут же подписал договор на два года, с правом продлить его по истечении срока.

Домик был арабской постройки, с толстыми стенами, сводчатым потолком, арочными окнами и весь состоял из одной большой квадратной комнаты. В нем очень давно никто не жил, и монашки, видимо, решили сдавать его ввиду инфляции, подорожания и общего оскудения источников дохода.

Домик был завален старым ненужным барахлом. Ангелус раскопал там две ржавые лампы-трехлинейки, почистил их, наполнил керосином и при

их свете две недели работал по вечерам, расчищая и отскребая внутренность домика. Постепенно обнаружилось, что в доме был узорчатый красно-коричневый плиточный пол, который Ангелус сперва отдраил скребком, потом отмыл стиральным порошком, а под конец, восхищаясь затейливым узором и блестящей свежестью красок, навошил и отполировал мягкой шерстяной тряпкой.

Большую часть стекол в трех окнах пришлось поменять; разошедшиеся оконные и дверные рамы тоже нуждались в замене или хотя бы в покраске, но это Ангелус решил отложить на потом. Ему не терпелось переселиться в свое новое жилье. Он нанял арабского грузчика с пикапом, обошел барахолные лавочки в религиозном еврейском квартале и купил себе все необходимое: двустворчатый платяной шкаф времен Мандата, круглый раздвижной стол и три продавленных венских стула, двуспальный диван-кровать стили модерн пятидесятых годов и маленький туалетный комодик, вполне подходящий для кухонной посуды. Старую двухконфорочную газовую плиту и керосиновую печку Фридмана он получил даром от знакомых.

В арабской компании по доставке газовых баллонов долго не соглашались снабжать его газом, но ему удалось уговорить их на условии, что от шоссе до дома он будет таскать баллоны сам. Он поставил два баллона под окном, протянул медную трубку сквозь прогнившую оконную раму и подсоединил к плите, установленной на комодике. В этом углу была его кухня.

Для туалетного уголка ему хотелось найти рукомойник, какой был у них дома в детстве, с пистоном вместо крана и с раковиной, под которой стояло в шкафчике ведро для грязной воды. Но такой умывальник пока не попался. Пришлось удовлетвориться тазом и кувшином. Для более солидного мытья Ангелус купил цинковое корыто и, для нагрева воды, пятнадцатилитровую ресторанный суповую кастрюлю.

Больше всего возни было с отхожим местом. Низкий каменный сарайчик пристроен был к задней стене дома, и, когда Ангелус расчистил репейник и заглянул внутрь, он увидел, что вся яма доверху завалена камнями, землей и всяким древним мусором. Как ни хотелось ему строить все своими руками, но он боялся не угадать, в какую сторону направлен подземный сток для нечистот, и нарушить старую систему канализации. Ангелус сговорился с двумя арабскими рабочими, которые обещали ему сделать из уборной игрушечку. Когда они пришли, однако, выяснилось, что они имели в виду только надземную часть работы, а расчищать выгребную яму отказались наотрез, уверяя Ангелуса, что порядочный человек такую работу делать не может. В конце концов Ангелус произвел расчистку сам, а арабы сидели поодаль и, посмеиваясь и зажимая носы, хотя запаха давно никакого не было, руководили его работой. Затем они быстро и аккуратно починили сарайчик, прорубили в нем окошко, навесили дверь, залили пол бетоном и выложили внутри каменный сидячий толчок, поверх которого Ангелус вцементировал массивное пластмассовое сиденье с крышкой. Уборная действительно стала как игрушечка.

Колодец был в хорошем состоянии, так как монашки пользовались им для поливки окружающего домик небольшого фруктового сада. Ангелусу пришлось лишь купить два ведра и веревку и откачать верхнюю воду, замусоренную лимонными листьями и хвоей. И в тот же день он переселился в свой дом.

\* \* \*

Сначала Самих был очень доволен трофеем. Приятель завистливо поцокал языком, дома Самих дал платок тетке, и та его выстирала и выгладила. Свой старый платочек, по чести сказать порядочно уже заношенный, Самих отдал одной из племянниц, а сам стал носить новый, красиво оттенявший его смуглую грудь.



И очень скоро он снова увидел женщину, шедшую по эд-Дарвашу. На этот раз она была не одна, а с высоким беловолосым туристом. Самих даже ухмыльнулся — тоже, видно, вроде него, ловит северных иностранцев. И даже не подумал отойти в сторону, а так и стоял, ухмыляясь женщине прямо в лицо, уверенный, что та в присутствии своего мужика не осмелится потребовать платок обратно, хотя, очень возможно, и хотела бы.

Выглядела она сегодня совсем иначе, чем в прошлые разы. Ни усталости, ни раздражения на ее лице не было, глаза сверкали и играли, вся кожа была розовая и гладкая, а зубы в смеющемся рту белые и блестящие. И смотрела она на своего иностранца так, что у Самиха что-то больно и завистливо шевельнулось повыше желудка. И он великодушно решил отойти в сторонку, не портить ей отношений с иностранцем.

Но в этот самый момент женщина заметила Самиха — трудно было не заметить ярко-красное пятно у него на груди. Она приостановилась и дернула своего иностранца за руку. Иностранец тоже посмотрел на Самиха, с улыбкой слушая, что говорила ему женщина. Жаловалась, наверно.

Сейчас, подумал Самих злорадно, сейчас он перестанет улыбаться и не исключено, что бросится на Самиха. Самих ничего не боялся, а поджидал схватки с некоторым даже удовольствием. Он напряжил плечи на случай, если придется драться, и ноги — если придется удирать. Все это было совершенно лишнее. Иностранец дослушал, засмеялся и дружелюбно помахал Самиху рукой. И они прошли мимо.

После этого Самих перестал носить красный платок. И на улицу стал выходить реже. Он боялся, что опять встретит эту женщину и ее иностранца. Эта мысль была ему противна. Раньше он был убежден, что женщина отдала ему платок из страха, из естественного почтения всякой женщины перед всяким мужчиной. Он вообще никогда еще не сомневался, что любая женщина его хочет, как, впрочем, хочет она любого сильного, молодого и настойчивого мужчину. И если она отказывается и упирается, то только потому, что стесняется и боится или обстоятельства неподходящие, и вообще, женщинам от века так положено. И он носил красный платок гордо, как знак своего мужского превосходства, как свидетельство своего умения получить от женщины то, чего он хочет, и, может быть, как залог чего-то большего в будущем. Возьмет ли он это большее, верил Самих, зависело только от него, от его желания.

А женщина, давшая ему этот залог, должна была чувствовать себя виноватой и скрыть это обстоятельство от своего мужчины. Она должна была пройти мимо и сделать вид, что не знает Самиха. Не ответить, даже если бы он заговорил с ней. Это было бы не обидно, а естественно и даже лестно.

А она взяла да прямо пальцем показала иностранцу на красный узел на шее у Самиха. Она несколько не чувствовала себя виноватой. И смеялась. Оба они смеялись над Самихом!

Самих вспоминал теперь то, на что раньше и не подумал бы обратить внимание. Как пренебрежительно, свысока она с ним говорила, как сунула ему этот платок, не думая, не глядя, с той самой брезгливостью, которую иностранные туристы так тщательно скрывали. Но то иностранцы, люди из другого мира. С ними и разговор другой. А эта сука, израильянка поганая, она-то чем так хороша, что позволяет себе смеяться над мужчиной? Сука, сука, потаскуха жидовская с голыми ногами и руками. Самиха пекло и томило, и каждый раз, как он вспоминал смех женщины и иностранца и особенно его дружелюбный взмах руки, ему становилось тошно и хотелось то ли сплунуть, то ли выпить воды, то ли ударить кого-нибудь изо всей силы.

Самих заскучал в городе и поехал домой. Отец был рад, дети лезли на колени, кланялись подарков. Подарков он не привез — денег не было. С женой Самих сперва решил не спать, не хотел больше сопляков. Но по-

том не выдержал и так измордовал ее в постели, что она потом целый день ходила раскорякой. Это его еще больше разозлило, и он поддал ей кулаками.

Вернувшись в Иерусалим, Самих принялся искать работу. Некоторое время он мыл полы на почте, потом поработал грузчиком на хлебовозке, а потом теткин муж через приятеля устроил его в городское управление, на дорожно-ремонтные работы. Самих стал работать пневматическим молотком, разбивать на куски и выворачивать старый асфальт, где ему велели евреи. Здесь платили неплохо, но Самих ненавидел свою работу, ненавидел свой тяжелый горячий механизм, который бился и грохотал у него в руках, пронизывая все тело омерзительной дрожью, ненавидел жирную асфальтовую пыль и тех людей, которые указывали ему, что и где делать.

Об учебе он больше не думал. Он как-то вдруг перестал верить в себя, в то, что ему удастся быстро и легко научиться какому-нибудь доходному и почетному делу. И за туристами почти перестал гоняться — не было ни сил, ни времени, руки, лицо и волосы были всегда грязные и отпугивали чистеньких иностранцев, да и Самих потерял к ним прежний интерес. Вместо любопытства и спортивного азарта они вызывали у него теперь завистливое и угрюмое раздражение. Ему не хотелось теперь ни заигрывать с ними, ни выманывать у них подачки, а хотелось подойти и сказать что-нибудь грязное и грубое, особенно девушкам. Самих начал давать тетке каждый день немного денег, она перестала ворчать, и после работы он чаще всего сидел дома.

Сначала Самих вспоминал иногда про девушку и ее иностранца. У него было смутное чувство, что это они заставили его взяться за теперешнюю работу, что это они виноваты в том, что даже в свободное время у него дрожат руки и ёкает в животе, что голова набита звенящей пустотой, а в носоглотке комом стоит вонючая дорожная пыль. Он теперь не боялся встречи с ними. Выходя изредка на улицу постоять с приятелями, он клал в карман заново выстиранный и выглаженный платок. Он представлял себе, что он сделает, когда встретит женщину. Он ей эту тряпку в морду бросит. Сперва плюнет на платок, а потом швырнет ей прямо в морду. А может, если представится случай, и похуже что сделает.

Но женщина не появлялась на улице Акбат эд-Дарваш. Может быть, догадалась, как неразумно она поступила, оскорбив Самиха на глазах у другого мужчины, почувствовала, что опасно ей теперь с ним встретиться. И постепенно Самих перестал ее высматривать, перестал класть красный платок в карман, а потом как будто и совсем забыл.

Милочка же, конечно, и не догадывалась ни о чем, никогда даже и не вспоминала жуковатого арабского парнишку, которому отдала когда-то один из своих многочисленных голландских платков. И ходить через Старый город она перестала только потому, что нашла более удобный, более близкий путь к дому Ангелуса.

\* \* \*

Ангелус крикнул с порога:

— Милочка, вставай! Снег!

В комнате было холодно. Милочка спала с головой под одеялом. Ангелус подбежал к кровати, отдернул одеяло, тряхнул в заспанное лицо мокрой полой рубахи:

— Снег! Весь сад завалило!

Милочка, не открывая глаз, заслонила лицо рукой и спросила:

— Много?

— Полно! Пошли бабу лепить!

— Хорошо, — вздохнула Милочка. — Автобусов не будет. На работу не пойду. И ты не ходи.

Она снова натянула одеяло на голову.

Но Ангелуса распирало. Хотелось скакать, громко кричать, хотелось пробежаться по своим заснеженным владениям. Но жалко было делать это одному. Он откинул одеяло, плюхнулся в постель рядом с Милочкой, прижался своим холодным мокрым телом к ее теплому, разнеженному, обхватил заледеневшими ногами ее голые икры. Она завизжала и заехала ему локтем в подбородок:

— Садист! Осатанел.

Ангелус выскочил из постели, налил из ведра воды в чайник и поставил на плиту. Но газ зажечь не успел. Милочка высунулась из-под одеяла:

— Хлеба нету, забыл, хозяин?

Ангелус все еще не вполне привык к тому, что ближайшая лавка находится в получасе ходьбы, что нельзя запросто выскочить и купить хлеба или молока, и в доме у него часто недоставало разных продуктов. Самому ему это было все равно, но, когда у него ночевала Милочка, он очень старался, чтобы все было. И вот забыл самое важное — хлеб.

— Я сейчас к монашкам слетаю, авось дадут.

— А раньше давали?

— Я не пробовал.

Он стал одеваться.

— погоди, — сказала Милочка, вылезая из постели, — дай сапоги в уборную сбежать.

Она вернулась и забралась обратно в постель, и Ангелус натянул нагретые ею сапоги.

— Теплые, — с удовольствием пробормотал он.

— Теплые, — передразнила Милочка, — зачем теплые болвану, который босиком по снегу бегаёт. Да еще задом наперед.

— А, ты заметила? — ухмыльнулся Ангелус. — Как странно, правда?

— Очень странно, — пробурчала Милочка, — особенно когда он протудится и будет валяться в жару. Да кругом ни души. То-то странно будет.

Ангелус засмеялся, откинул одеяло, поцеловал Милочку в мягкую шею, схватил свою ярко-синюю спортивную куртку и выбежал из дома.

\* \* \*

Отец Джейкоб Баркер шел из Вифании в город покупать обувь на предстоящий весенне-летний сезон. Поход этот был запланирован заранее, и отец Джейкоб не видел причины откладывать его из-за снега.

В прошлом году ему не удалось собрать нужные средства, и он проходил всю весну, лето и осень в тех же шнурованных башмаках на толстой подошве, в которых ходил и зимой. Ноги прели и набухали в тяжелых башмаках, между пальцами появилось свербящее раздражение, от которого с трудом удалось избавиться, а у башмаков, которыми отец Джейкоб очень дорожил, сильно стоптались подметки, и вифанийский сапожник взял порядочно денег за починку. И для здоровья, и для сохранности обуви полезно было сменить башмаки на более легкие, и снег или ведро, а покупать их надо было уже сейчас.

Тем более, что денежные обстоятельства отца Джейкоба значительно поправились в этом году. Сначала его навестил англиканский теолог, интересовавшийся той эзотерической, почти отмершей ветвью христианства, приверженцем и единственным представителем которой в Иерусалиме вот уже тридцать лет был отец Джейкоб. Теолог прожил с ним две недели в его комнатке в Вифании, умилялся пасторальной неприхотливости его обихода, воде в каменной цистерне, латаным простыням, развешанным во дворе, лоханке, в которой отец Джейкоб обливался по утрам, медному примусу, на котором он готовил рис с жареными кабачками, и неподъемной тяжести ундервуда, на котором перепечатывал свои рукописи. А отец

Джейкоб с удовольствием делил с англичанином удобства, которые тот не задумываясь мог себе позволить: частые поездки в город на такси, ужины в хороших ресторанах, привозной сыр, шоколад и ветчину, покупаемые гостем в дорогих деликатесных магазинах, его душистый шампунь и мыло, его запас отличной писчей бумаги.

Пристыженный простотой и убожеством отца Джейкоба, теолог непрерывно извинялся за свои барские привычки, за свою неспособность отказаться от них даже на две недели, за то, что он оскверняет чистоту и отрешенность его жизни своим вторжением. Отец же Джейкоб считал все эти слова ненужным кокетством и только жалел, что англичанин приехал так ненадолго.

Отец Джейкоб действительно хотел и любил жить просто и скромно, но чрезмерное самоотречение добродетелью не считал и в бедности своей видел отнюдь не заслугу, а неудачное стечение обстоятельств, со временем должностующее измениться. Но как ни пытался отец Джейкоб объяснить гостю, что и он предпочел бы жить в квартире с канализацией и водопроводом, и есть более разнообразную пищу, и спать на нелатаных простынях, и чаще менять одежду, и не испускать бумагу с обеих сторон, — англичанин не мог или не хотел ему поверить. Во искупление своих плотских излишеств он замучивал хозяина за полночь учеными разговорами и расспросами.

Впрочем, отец Джейкоб и сам был рад поговорить с человеком, любившим и знавшим разноязычные версии Ветхого Завета почти так же хорошо, как и он сам. Не избалованный симпатией и интересом, он охотно рассказывал гостю о своем тернистом пути от римско-католической церкви, покинутой им еще в молодости, в Канаде, через греко-католическую и греко-православную — к его нынешней, когда-то мощной и обширной, а теперь полуисчезнувшей, но для отца Джейкоба единственно праведной Восточной церкви. Ныне даже между учеными-теологами мало кому было известно, что это не мертвая историческая реликвия, похороненная под прахом времен, а живая вера, горящая устойчивым пламенем в груди человека, который сам, один, без всякой посторонней поддержки нашел эту веру, познал ее и жил для нее и в ней. И отец Джейкоб наслаждался столь редким для него пониманием и сочувствием собеседника.

Пожаловался он ему и на то, как враждебно и пренебрежительно относятся к нему, пастырю без паствы, церковнослужителю без храма, отцы других, богатых и влиятельных иерусалимских церквей, как чинят ему препоны на каждом шагу, не позволяя проповедовать в селениях, некогда прилежавших Восточной вере, отбивают у него немногочисленных потенциальных новообращенцев, чернят его в глазах властей предрержащих. Со всем этим отцу Джейкобу приходилось жить изо дня в день, но он отнюдь не падал духом, ибо верил в свою миссию и в свои силы, а рассказал он об этом гостю в откровенной надежде на солидное даяние и, может быть, даже регулярную поддержку от сочувственного слушателя. Но англичанин и тут предпочел не вполне его понять и, уезжая, оставил ему лишь небольшую сумму «на книги».

Одну или две книги, давно им облюбованные, отец Джейкоб действительно приобрел, но в основном деньги пошли на покупку отреза прочного серого сукна и на шитье новой рясы, ибо старая, носимая им бесслезно летом и зимой, выгорела и истончилась, а главное, так неистребимо пропиталась запахом пота, что отец Джейкоб даже сам от этого страдал. Ничего постыдного в таком распоряжении деньгами даятеля он не видел, так как знал, что сейчас, пока не наступил день торжествующего возобладания самой чистой, самой благодатной формы христианства, духовное ее присутствие в Иерусалиме зависит от его, отца Джейкоба, физического существования. В том, что этот день рано или поздно наступит, отец Джейкоб не сомневался. Оберегать же свою уязвимую плоть было одной из его обязанностей.

Таким образом, у него появилась новая, свежая ряса. А тут он закончил небольшую, но изящную работу по сверке перевода древнего сирийского текста, заказанную ему Иерусалимским университетом, и часть денег немедленно отложил на покупку обуви.

Еще до покупки он прошелся по армянским и арабским обувным лавкам Старого города, где все было значительно дешевле, чем у евреев. Но качество товара показалось ему не вполне надежным, и он решил, не жалея денег, купить в еврейском магазине самые прочные и удобные спортивные туфли, приличного черного цвета, на легкой эластичной подошве и с ортопедической прокладкой в подъеме. Для этого он теперь, с утра пораньше, отправился из Вифании в западную, еврейскую часть Иерусалима, в религиозный квартал, где цены были все же посромнее. Сделав покупки, отец Джейкоб собирался зайти к знакомому раввину, которому он хотел предложить свеженайденный аргумент в давно начатом талмудическом споре. Чтобы не смущать раввина и его соседей, он сменил свой обычный наряд на цивильный костюм и плащ и, как всегда в редких случаях, когда он снимал рясу, чувствовал себя не вполне одетым, непривычно легким и молодым.

\* \* \*

По прямой до русского монастыря можно было, казалось, камнем добросить. Но Ангелус знал, что ощущение это обманчиво. Да и не было туда прямого пути. Нужно было спуститься вниз по извилистым, усеянным камнями тропкам, обогнуть стену, зайти с фасада, через ворота, и лишь тогда добираться до кухни.

Он мчался вниз по заснеженной тропе, скользя и подскакивая на невидимых камнях и выбоинах, раскинув для равновесия руки и не чувствуя под собой ног. Иногда он даже взглядывал вниз — ноги были на месте и исправно делали свое дело, но он не ощущал ни толчков, ни выбоин, а летел как на лыжах по накатанной лыжне. Раз-другой он прыгнул, спрямляя зигзаги дорожки, а потом понесся по целине, почти по прямой, круто вниз, не глядя. Задняя стена монастыря быстро надвигалась на него. Ангелус открыл глаза.

Впереди на снегу мелькало светло-желтое пятно. Ангелус прибавил скорости и приблизился к нему. Собака. Щенок-подросток, месяцев пяти, длинноногий и длиннохвостый. Почувствовав за спиной Ангелуса, щенок не остановился, но и не свернул в сторону, а продолжал бежать перед ним, выдерживая небольшую дистанцию. Ангелусу хорошо видны были его острые лопатки, костлявый крестец и туго обтянутые короткошерстой шкуркой крутые ребра. Ангелус попытался догнать щенка, но тот, не оглядываясь, ускорил бег. Ангелус притормозил, но расстояние между ними не увеличилось. Ангелус остановился, взметнув по бокам два снежных веера. Щенок тоже остановился и повернул к нему длинную узкую морду с вислыми ушами и черными глазами в желтых ресницах.

— Ты чей? — спросил Ангелус.

Щенок смотрел на него голодным, безразличным и тоскливым взглядом. Ангелус присел на корточки и протянул руку:

— Пошли со мной?

Щенок вытянул шею, удостоверился, что в руке ничего нет, и попятился. Ангелус сделал шаг вперед. Щенок, не отводя от него взгляда, бокот отпрыгнул назад.

— Пошли, — сказал Ангелус, пытаясь дотянуться до него рукой, — попросим у монашек хлеба.

Щенок заворчал и отпрыгнул еще дальше.

Ангелус выпрямился:

— Пошли, пошли. И тебе достанется.

Щенок заворчал громче и завилял хвостом.

Ангелус двинулся вперед, не обращая больше на щенка внимания. Он давно потерял дорожку и теперь, очнувшись от своего бездумного спуска, обнаружил, как трудно идти по заваленному камнями, крутому и скользкому склону. Щенок трусил параллельно, низко свесив голову на длинной шее и не глядя на Ангелуса.

\* \* \*

Обнаружив, что воды в ведре не хватит для умывания, Милочка надела старые башмаки Ангелуса, взяла лопату и стала расчищать дорожку к колодцу. Отбрасывая мокрый снег на вскопанные Ангелусом грядки, она скоро вошла в ритм однообразных движений и начала думать о том, о чем думала неотрывно каждую минуту, свободную от сна, работы или общения с людьми, на протяжении последних месяцев — с тех пор, как познакомилась с Ангелусом.

Милочка не понимала, что с ней происходит. С первого же дня, проведенного с Ангелусом, она сказала себе, что не понимает этого человека, и сразу решила не беспокоиться по этому поводу: он был сделан из иного, незнакомого ей материала и пришел из незнакомого ей мира, но это казалось несущественным для тех легких и наверняка недолговечных отношений, которые она планировала с ним. Накопив со времени развода порядочный опыт общения с разными мужчинами, Милочка немного устала от непрерывной борьбы со своими партнерами. Все они, каждый на свой манер, сознательно или бессознательно стремились доказать ей и миру, что они мужчины, тем самым постоянно вынуждая Милочку в ответ доказывать, что она женщина. В душе Милочка считала это ненужной и обидной тратой сил, но до сих пор думала, что иначе не бывает, и изворачивалась, как умела.

С Ангелусом вдруг оказалось, что изворачиваться и доказывать не нужно. Как будто Милочка все время жила задерживая дыхание и вдруг почувствовала, что может спокойно дышать полной грудью. Ощущение было редкостное, и этим следовало пользоваться, пока не пришел конец.

Однако же, несмотря на всю эту житейскую мудрость и на радость общения с Ангелусом, скоро появилось какое-то неясное беспокойство, быстро перешедшее в непрерывную тревогу. Милочка, мгновенно оставлявшая своих приятелей, как только они обнаруживали признаки более серьезной привязанности, Милочка, со дня развода превыше всего ценившая свою свободу, возможность думать и поступать по-своему, никого не стесняя и не огорчая, начала испытывать нечто, сразу лишившее ее этой драгоценной свободы: страх за Ангелуса. Напрасно напоминала она себе: «Меня это не касается, он сам по себе, а я сама по себе», напрасно твердила: «Мне все равно, мне все равно», — страх не проходил, а рос. И без всяких к тому реальных оснований. Ангелус был здоров и благополучен. Соперниц у нее не было, хотя Милочка по женской слабости ревновала его к тем девушкам, которых он любил до нее. Но это легкое, немного даже щекочущее чувство ревности не шло ни в какое сравнение с тем гнетущим страхом, с тем предчувствием, что Ангелуса у нее отнимут, которое все чаще накатывало на нее без всякой причины.

Милочка пыталась рассуждать рационально, ругала себя за непривычные и неприличные собственнические наклонности, называла себя бабой, наседкой, но ничто не помогало. Наконец она пришла к очевидному выводу, который на время поставил все на свои места: Милочка поняла, что попросту влюбилась в Ангелуса. Тревога ее и паника были естественны, так же как и желание безраздельно владеть этим человеком и страх его потерять. Милочка честно призналась себе, что столь ценная ею свобода ей больше ни к чему, если это означает свободу от Ангелуса. И несмотря на

прочно укоренившееся отношение к самому слову «замужество», решила, что хочет выйти за него замуж. И при первом же удобном случае сказала об этом Ангелусу. Он посмотрел на нее с удивленной улыбкой и сказал:

— Ты тоже об этом думала? Вот совпадение!

— Ха! Совпадение! — с нарочитой развязностью сказала Милочка. — На мне, я думаю, это большими буквами написано.

— А на мне?

— На тебе?

По знакомым Милочке правилам игры ей следовало бы обидеться или хотя бы огорчиться, что он не выразил той же готовности, с которой она решалась на шаг, столь противоречивший всем ее недавним убеждениям. Но он повторял настойчиво, все с той же недоуменной улыбкой:

— На мне написано? Что на мне написано, ты видишь?

И у нее упало сердце, и вместо обиды или огорчения накатило вдруг все тот же знакомый безрассудный страх, что его у нее отнимут, и она крикнула со злостью:

— Ничего на тебе не написано! Ничего я не вижу! Взял себе эту жидовскую манеру отвечать вопросом на вопрос!

С тех пор разговора о женитьбе не было, и тревога не оставляла Милочку. Вместо того чтобы вести себя с Ангелусом так, как подсказывало ей все ее существо и как вел себя с нею он, она теперь часто дулась, обижалась, придиралась к мелочам, злилась, если он не угадывал невысказанные перемены в настроении, требовала помощи в делах, с которыми отлично могла справиться сама, словом, делала все то, что так ненавидела и презирала в обращении многих своих подруг с мужьями и что было ей так мучительно в собственном поведении с бывшим мужем.

Все это никак не соответствовало тому, что она привыкла думать о себе и о своем отношении к мужчинам за счастливые последние пять лет. Это ее сердило и унижало, и она становилась все более резка, раздражительна и напряжена. Дело дошло до того, что она чувствовала себя в безопасности только тогда, когда Ангелус был у нее на глазах. Она силой заставляла себя не звонить ему по пять раз в день на работу и не бегать к нему домой каждый вечер. Ангелус, разумеется, замечал это, но не сердился и не смеялся над ней. И это бесило Милочку еще больше. Какого дьявола, почему он не ответит ей той же монетой, не гаркнет, не устроит сцену с криками и взаимными обвинениями, именно такую, какие так ненавидела Милочка в своей прежней, замужней жизни? Почему, наконец, не пошлет ее подальше вместо того, чтобы терпеть истеричную русско-еврейскую бабу в своей упорядоченной голландской жизни? Она даже неоднократно начинала ему что-то в этом роде говорить, а он не понимал ее и наконец сказал:

— Не надо так тревожиться, Милочка. Вот увидишь, все наверняка будет так, как мы хотим. Ты же знаешь, что я тебя люблю.

Сказал — и, видно, сам удивился. А Милочка не удивилась. Она и раньше знала, что он ее любит. Она только не понимала, как это ей — ей, Милочке Шмуклер, — выпало такое чудо. Этот человек, о котором она с колющей болью в сердце думала, что он сокровище, редкостная находка, миллиардный выигрыш в лотерее, голубоглазый добрый принц, каких в жизни не бывает вообще, а уж для нее, Милочки, и подавно, вел себя так, будто в самом деле любил Милочку. И не ту, которую она с таким трудом и тщанием выстроила за последние пять лет, — самостоятельную, сексапильную, деятельную, довольную жизнью молодую женщину, — а вот эту растрепанную, назойливую, зависимую бабу, которая кому угодно могла отравить существование. И Милочке стало стыдно за свое нетерпеливое бабское желание поскорее привязать его к себе пустым формальным актом, из-за которого, как она уверяла себя, и было все ее беспокойство. Но тут он прибавил:

— Все будет так, как мы хотим, и, я думаю, скоро. Вот только...

— Что?

— Вот только мне надо сперва...

— Что тебе надо? — спросила Милочка, холодея.

Он не отвечал, смотрел на нее с недоуменной улыбкой.

Милочка забыла весь свой стыд и все свои разумные соображения. Она обхватила Ангелуса за голову и прошептала:

— Давай уедем, убежим, давай спрячемся куда-нибудь...

Ангелус засмеялся:

— Давай спрячемся! — и потащил ее в постель.

Это было вчера вечером, и все скоро растаяло в безопасном постельном тепле и близости. Но ночь Милочка спала плохо, может быть, из-за снега, думала она теперь, не желая поддаться беспокойству, которое опять нарастало в ней тем сильнее, чем дольше отсутствовал Ангелус.

\* \* \*

В монастырской кухне приход Ангелуса сильно всполошил двух молодых послушниц-арабок. Ангелус заговорил с ними по-английски, потом на иврите, но они, отступив в дальний угол, отворачивались и закрывали лица платками. Ангелус вспомнил, что монастырь русский, и выкрикнул одно из немногих русских слов, которым Милочке удалось его обучить:

— Хлеб! Хлеб!

Одна из послушниц приспустила платок, глянула на Ангелуса круглым черным глазом, набрала в грудь воздуху и пронзительно взвизгнула по-русски:

— Матушка! Матушка Агния!

Ангелус оглянулся. В дверях стояла низенькая, плотная монахиня в черном клобуке и синем фартуке поверх длинного черного одеяния. Она недовольно, но спокойно обратилась к Ангелусу, видимо тоже по-русски. Ангелус улыбнулся ей, извинился по-голландски, потом перешел на иврит, увидел, что его не понимают, и закончил тем, что опять повторил:

— Хлеб! Хлеб!

Монахиня вошла в кухню, открыла дверцу большого буфета, вынула буханку стандартного магазинного хлеба (Ангелус почему-то надеялся, что они пекут свой), протянула его Ангелусу и проговорила по-английски:

— Возьмите. Но, пожалуйста, не превращайте это в привычку.

Ангелус начал было объяснять, что он живет в домике наверху, но монахиня перебила его:

— Я знаю. Это, однако же, не оправдание. Мы не поощряем визиты посторонних в наши жилые помещения.

Ангелус смущенно пробормотал:

— Извините, я просто по-соседски...

— Нет. Ваш дом расположен достаточно далеко от нас, и пусть оно так и останется.

— Да, конечно. Я понимаю, — согласился Ангелус. — Я не должен был. Спасибо за хлеб, и больше это не повторится. Но, может быть, вам что-нибудь понадобится — я умею всякую ручную работу...

— Вы прекрасно навели порядок в своем доме. — Монахиня слегка улыбнулась. — Но нам ничего не надо, благодарствуйте. У нас свои работники.

Ангелус еще раз поблагодарил за хлеб и повернулся уходить, но монахиня проговорила с некоторым колебанием:

— А эта молодая особа там с вами... ваша жена?

Далеко или нет, а все им известно. Ангелус сдержал улыбку:



— Это моя... э...

Молоденькие послушницы в тылу кухни неслышно захихикали.

— Мы предпочли бы, чтобы это была жена, — твердо закончила монахиня, движением руки отпуская Ангелуса.

Они предпочли бы, а? Улыбаясь и качая головой, Ангелус направился к воротам. Они предпочли бы! Что же, так и жениться для них?

То ли из-за снега, то ли еще отчего Ангелус чувствовал себя сегодня непривычно: голова была легкой, звонкая, как от алкоголя на пустой желудок, краски и формы казались резче и ярче, запахи острее и чище, звуки определеннее и мелодичнее, чем всегда, а у сердца что-то дрожало и прыгало, то расширяясь и окатывая тело жаром, то сжимаясь и стягивая кожу холодными мурашками. И ноги в тяжелых резиновых сапогах опять несли его как заведенные.

Араб-сторож у ворот, один из тех двоих, что чинили ему уборную, кивнул на хлеб у Ангелуса под мышкой и засмеялся. Ангелус засмеялся в ответ и вышел за ворота. А может, и впрямь? Может, скоро и женюсь, подумал он. Может, скоро и можно будет, прибавил он про себя, сам не зная почему.

Ангелус зашагал по узкой аллее между двумя каменными стенами. Внизу, на дне долины, невидимой за стенами францисканского монастыря, жадно шумел Кедрон, насыщаемый водой от тающего снега. К грохоту мчащейся по узкому ложу воды присоединился другой грохот, быстро нарастая и перекрывая все иные звуки, — вой моторов, дребезжание тяжелого металла, визг мощных тормозов, лягание неповоротливых сцеплений на неровностях дороги. Ангелус знал, не видя, что по Иерихонскому шоссе движется в долину Иордана колонна тягачей с танками на платформах.

Стены обеих монастырей кончились, можно было поворачивать вверх. Ангелус глянул мельком на шоссе, но не стал любоваться заснеженным ущельем, а скорее перевел взгляд наверх, на склон, на свой маленький домик, едва видневшийся сквозь обвисшие деревья. Перед домиком копошилась черная фигурка — Милочка разметала дорожку. Ангелус огорчился — как же она без сапог? — и заторопился домой.

У самого поворота вверх, сбоку от тропы, сидел желтый щенок.

— Ох, да я тебя забыл совсем, — сказал Ангелус и оторвал горбушку от буханки.

Щенок пристально смотрел на хлеб, но не подходил.

Ангелус отломил кусочек и бросил на снег рядом со щенком. Тот отскочил назад, в сторону шоссе. Ангелус начал было уговаривать его не бояться, ему очень хотелось подманить щенка, взять его с собой, но голос его тонул в приближающемся грохоте металла, и надо было спешить домой. Ангелус размахнулся и бросил щенку всю горбушку. Горбушка легонько стукнула щенка по лбу, он в ужасе подпрыгнул на месте всеми четырьмя лапами, повернувшись в воздухе на сто восемьдесят градусов, и рванул вниз по склону, прямо на еще пустое, но уже содрогающееся от близкого грохота шоссе.

Головная машина вывернулась из-за скрывавшей ее стены. Ангелус ринулся вслед за щенком, размахивая буханкой и крича:

— Стой! Стой, дурак!

Щенок на бегу свернул назад морду, увидел нагоняющего его Ангелуса, вильнул вправо, влево, и Ангелус слишком поздно понял, что не надо было бежать за ним, щенок остановился бы сам. Но теперь он совершенно потерял голову от ужаса и от грохота, справа и слева были высокие заборы; Ангелус остановился, но щенок уже не видел этого, он видел только отрезок шоссе, опять пустой между прошедшей первой машиной и еще не надвинувшейся второй, и длинные ноги понесли его прямо туда, он выскочил на залитый талой водой асфальт, с разгону домчался почти до

середины и, наверное, успел бы проскользнуть под носом у неповоротливой, громоздкой военной машины, но в это время за спиной у него просвистело на встречной полосе такси и обдало его густым веером воды с песком. Щенку, видно, залепило нос и глаза, он заметался, потерял направление, и бампер тяжелой машины надвинулся совсем близко.

Ангелуса отделяло от шоссе шагов, наверное, тридцать, он не мог, не мог успеть, человек в высокой кабине, вероятно, даже и не видел щенка, а если видел, не захотел бы, да и не смог бы так быстро затормозить огромную грохочущую массу, напиравшую сзади на его машину, тут не бежать надо было, а лететь. Ангелус закрыл глаза и сделал последний отчаянный бросок вперед. Ступни его болезненно грохнулись об асфальт, руки вцепились в задние ноги щенка, но это еще не все, теперь надо было оттолкнуться занемевшими от удара ногами, поднять в воздух свою собственную тяжесть вместе с тяжестью щенка и перенести ее на тротуар по ту сторону дороги.

Тяжело дыша, Ангелус стоял на тротуаре, прижимая к себе замершего щенка и буханку, чудом не выроненную из рук. По всей длине шоссе стоял леденящий душу вой тормозов, серо-зеленые чудовища неудержимо проползали еще десяток-другой метров и останавливались одно за другим. И стало тихо. Из всей колонны только водитель второй машины, от которой Ангелус со щенком сумели увернуться, знал причину остановки. Этот водитель выскочил теперь из своей кабины и бежал к Ангелусу, и Ангелус приготовился к страшной, заслуженной ругани и, может быть, даже к аресту. Он задержал продвижение целой огромной колонны. С армией шутки плохи.

Водитель, худой парень с темногубым смуглым лицом, добежал до Ангелуса и выбросил вперед руку, Ангелус думал — для удара, и у него не было свободной руки заслониться, щенок оказался больше и тяжелее, чем представлялось на расстоянии. Но вместо удара парень вцепился ему в плечо, затем обхватил пальцами шею сзади, беззвучно открывая и закрывая рот, словно и ему не хватало воздуха.

— Ты как это сделал? — выдохнул наконец парень, сжимая пальцами шею Ангелуса.

— Прости, не сердись, — попросил Ангелус. — Моя вина. Но я боялся, что ты его не видел...

— Ну да, да, — нетерпеливо крикнул парень, — но как ты это делаешь?

Щенок испуганно забился у Ангелуса в руках, Ангелус прижал к себе локтями его ноги, щенок задергал вытянутой шеей, глянул вокруг дикими глазами и запихнул морду глубоко под мышку Ангелусу.

От головы колонны подкатил джип с сопровождающим офицером. Офицер соскочил на мостовую и резко спросил молодого водителя, что здесь происходит.

Парень заговорил быстро, возбужденно, его горловой акцент мешал Ангелусу понять все, что он говорил, но ясно было, что парень видел, как Ангелус бежал за собакой по склону, что ради собаки он не стал бы тормозить, да и уверен был, что та проскочит, а потом уже не видел ее, из кабины не видно, а смотрел на человека на склоне, и этот человек, то есть Ангелус, сделал что-то, Ангелус не понял что, парень весь дрожал, видимо оттого, что чуть не задавил человека. Подошли еще несколько водителей, офицер, как Ангелус и ожидал, начал резко выговаривать ему за безрассудный поступок и одновременно ругал молодого темногубого солдата за остановку.

— Вы правы, вы правы, — повторял Ангелус, прислушиваясь к тому, что отвечал водитель, а тот все твердил одно и то же, Ангелус улавливал отрывки: «Бежит, бежит... метров двадцать... и вдруг р-раз... схватил его и р-раз... я бы не остановился, но как он это делает... не меньше как двадцать метров... бежит, бежит и р-раз!» Кто-то из водителей засмеялся, дру-

гой выругался: «Не морочь голову, Эли», а третий потрогал безвольно ви-сящую ногу щенка и сказал: «Ничего ему не будет, перепугался только».

— По машинам! — сердито крикнул офицер, затем спросил Ангелуса: — Вы турист? Откуда?

Ангелус ответил. Увидев, как немедленно смягчилось сердитое напряженное лицо офицера, он почувствовал особенную неловкость и поспешно прибавил:

— Но я давно здесь живу.

— Все равно, — сказал офицер. — Не знаю, как у вас в Голландии, а у нас положено собаку на поводке держать.

— Хорошо, я буду, — немедленно согласился Ангелус, не стоило объяснять офицеру, что собаку эту он только сегодня встретил. — Еще раз, я очень сожалею, что наделал вам всем хлопот.

Но офицер уже отвернулся от него и крикнул темногубому водителю, который один остался стоять на мостовой:

— Приказ слышал?

— Но, командир, спросите же его, спросите, как он это сделал? — взмолился парень.

Сзади по всему шоссе нетерпеливо гудели задержанные машины. Офицер махнул рукой в сторону тягача, вскочил в свой джип, и тот немедленно рванул с места.

— Э-эх, — сказал парень и качнулся было к Ангелусу, глядя на него расширенными, недоумевающими глазами, но сзади выли заведенные моторы, головной тягач уже стронулся с места, парень взялся рукой за губу, сильно дернул ее книзу и побежал к своей машине.

Ангелус медленно перешел шоссе позади последней платформы и, очутившись на другой стороне, почувствовал, что его руки, обнимавшие щенка, свело судорогой. Он нашел большой камень, уже обтаявший и влажно дымившийся под ярким солнцем. С трудом согнув дрожащие ноги, он сел на камень, выронил в снег буханку и осторожно опустил щенка к себе на колени, кое-как собрав в кучку его длинные, безвольно раскинутые ноги. Щенок не шевельнулся, только напряг шею, удерживая голову у Ангелуса под мышкой.

\* \* \*

Милочка кончила расчищать дорожку, набрала воды, умылась, зажгла газ под чайником и печку и включила радио. И стала накрывать на стол к завтраку.

Радио просигнало восемь часов и начало передавать последние известия. Главным событием был, разумеется, снег. Милочка с опаской прислушалась к тому, что говорило радио об автобусном движении: некоторые маршруты, по мнению радио, уже начали или скоро должны были начать работать, но, к счастью, не те, которые вели к местам работы Милочки и Ангелуса. Дальше Милочка слушала невнимательно, но уловила, что ожидаются беспорядки в арабской части Иерусалима и в Старом городе в связи с тем, что несколько членов парламента намерены побывать в большой мечети на Храмовой горе.

Зачем они туда идут, с неясным любопытством подумала Милочка, если заранее знают, что это вызовет беспорядки. Впрочем, она, как большинство выходцев из России, не вникала по-настоящему в запутанные подробности арабско-еврейских отношений, придерживаясь простого и ясного мнения, что евреи в своей стране имеют право ходить, куда желают, а значит, и на Храмовую гору. Вся эта политика, по чести сказать, мало ее занимала, она лишь подумала: не забыть сказать Ангелусу, чтобы не ходил сегодня в Старый город, — и выключила приемник, не дожидаясь конца последних известий.

\* \* \*

Самих, в отличие от Милочки, не собирался пропускать рабочий день по случаю снега. Накануне муниципальный подрядчик предупредил, что, хотя прогноз обещает снег, работы будут проводиться как всегда и те, кто не выйдут утром, будут уволены.

Самих ненавидел свою работу, но местом дорожил и был рад, когда обнаружил, что его автобус ходит. В автобусе он тоже услышал последние известия по израильскому радио. И он тоже слушал невнимательно и насторожился, только когда речь зашла о визите еврейского начальства на Храмовую гору.

Самих не мог бы сказать, верит ли он в Аллаха; он, бывало, и пиво пивал за компанию с туристами, и пост в Рамадан соблюдал плохо, и съел однажды предложенный ему девушкой из Дании бутерброд с ветчиной. Он, правда, иногда ходил по пятницам в мечеть, потому что и теткин муж, и многие его приятели ходили. Хаживал он туда раньше и в немолитвенное время, потому что туда валом валили туристы и иногда удавалось что-нибудь перехватить.

Среди посетителей часто бывали и евреи, и Самиху это было все равно, так как от них никакой поживы не ожидалось. Время от времени туда, к большой мечети, пробиралась особая кучка евреев, которые пытались там молиться по-своему; полиция быстро их выгоняла. Самих не знал истории конфликта между евреями и мусульманами вокруг Храмовой горы и не интересовался ею. Он родился и вырос в мире, где евреи на каждом шагу делали что-то такое, что было не нужно, вредно или оскорбительно для арабов, Самих принимал это как данность и не вникал в детали.

Тем не менее сейчас, услышав, что в Старом городе ожидаются беспорядки, Самих не раздумывая сошел с автобуса на следующей остановке и пешком отправился домой.

\* \* \*

Отец Джейкоб был в том возрасте, когда тело еще исправно и послушно подчиняется законным требованиям своего хозяина, но уже не позволяет распоряжаться собой бездумно и нерасчетливо и немедленно мстит за любое излишество. Поэтому отец Джейкоб упорядочил свою жизнь таким образом, чтобы, никогда не бездействуя, никогда и не перенапрягаться; не ставил себе непосильных задач, но пристально следил за тем, чтобы исполнять все посильные.

Поскольку он предпочитал ходить пешком, отсутствие автобусов ему не мешало, наоборот, приятно было дышать свежим воздухом, не загаженным выхлопными газами, да и дешевле. Все маршруты были у него давно рассчитаны до минуты. Дома он еще успел вымыть посуду после завтрака, выгнать на улицу кошку, послушать последние известия в восемь часов и вышел из дому как раз вовремя — магазины открывались в девять.

Он шагал широким, размеренным шагом, не торопясь и не мешкая, думая одновременно и о предстоящей покупке, и о том, как деликатно, но остроумно он подколлет ученого еврея своим неопровержимым доводом. Поскольку оба эти занимавшие его предмета были уже вполне продуманы и решены, часть его сознания оставалась свободной для размышлений о том, что он услышал по радио.

Вопрос о Храмовой горе и о доступности ее для евреев давно и живо интересовал отца Джейкоба. Он-то отлично осведомлен был о всех сложных и мучительных перипетиях конфликта и давно пытался для себя решить, чью сторону следует ему держать. И каждый раз, будучи честным человеком, наткнулся на непреодолимые препятствия, мешавшие ему ре-

шить вопрос однозначно. Сейчас он снова быстро перебрал в уме противоречивые доводы с обеих сторон.

Евреи утверждают, что на горе Мория находится скала жертвоприношения, то место, где Авраам готовился принести Господу в жертву сына своего Исаака.

Мусульмане же считают, что не Исаак был жертвенным агнцем, а Ишмаэль, от которого и пошел весь род ислама.

Тут, по совести сказать, отец Джейкоб склонялся на сторону евреев, за ними явно было право первенства, даже если, как утверждают некоторые авторитеты, скала жертвоприношения вообще находилась совсем в другом месте. Евреи построили на горе Мория свое святилище, а затем и второе на месте разрушенного, задолго до того, как Мухаммад явил миру свое пророчество. Значит, опять право первенства за ними. И когда халиф абд-эль-Малик построил на том же месте, и именно вокруг скалы, свою великолепную мечеть в конце седьмого века, он сделал это не столько ради святости этого места для мусульман, сколько главным образом для того, чтобы продемонстрировать тогдашним местным жителям, по большей части христианам, величие и могущество ислама, чтобы они почувствовали, что власть халифов Умайя — вещь прочная и долговечная, а не очередной набег диких кочевников из пустыни.

До этого момента отец Джейкоб определенно держал руку евреев. Тем более, что его вера безоговорочно включала в себя дохристианский иудаизм и послехристианский иудаизм считала отнюдь не порочным или злокозненным, а лишь неполным и прощала евреям их заблуждения как проявление вполне понятной человеческой слабости. По его убеждению, между иудаизмом и христианством не было истинного противоречия; если бы иудеи не познали единого Бога, у людей не было бы и пути к познанию Мессии; за это человечество обязано евреям вечной благодарностью. Послехристианское же их упорствование в своем заблуждении было вещью преходящей и не шло ни в какое сравнение с великой их заслугой.

А помимо глубокого теологического убеждения отец Джейкоб питал к евреям простое сердечное сочувствие. Сквозь все их высокомерие, сквозь их крикливую самоуверенность, их скверные манеры и чиновничью бездарность, от которых он так часто страдал в этой стране, неизменно виделась ему тяжкая тень их неприкаянности, непривязанности, ненадежности их земного существования. Однако же, говорил себе отец Джейкоб, с этой ненадежностью они просуществовали на свете тысячи лет. Как знать, может быть, их предназначение и заключается в том, чтобы вечно напоминать роду человеческому, как нелепо и безрассудно называть эту землю и эту жизнь «своей».

Их теперешняя попытка обрести прочность и обоснованность при помощи государственного устройства на Святой Земле представлялась ему хотя и прекрасным, но преждевременным экспериментом, вероятнее всего обреченным на неудачу: и в их словах «это наша земля», «это наша страна», «мы здесь у себя дома», произносимых часто и с вызовом, ему слышалась все та же неуверенность и неприкаянность, от которой щемило сердце.

Возвращаясь, однако, мыслью к Храмовой горе, отец Джейкоб видел, как осложняется положение с течением времени. Положим, постройка большой мечети на Храмовой горе была актом политическим, а соседствующая с ней аль-Акса и вовсе перестроена была из христианской церкви. Но с тех пор прошли века, строения эти обросли легендами и эмоциями, освященными временем.

Та нездешняя, дальняя молитвенная обитель, куда то ли во сне, то ли наяву Магомет совершил ночной полет из Мекки и откуда затем он взошел к Аллаху, со временем нашла свое земное пристанище в Иерусалиме, на Храмовой горе. Божественный скакун эль-Бурак, несший на спине своей пророка, прынул в небо с того именно места, где ныне стоит большая ме-

чень, и на скале жертвоприношения осталась неизгладимая вмятина — след его копыта.

Отец Джейкоб убежден был, что легенда эта — позднейшего происхождения, ибо провел много часов в мечети Омара, расшифровывая надписи на ее стенах, и нигде не нашел ни малейшего упоминания святости этого места для ислама в связи с Магометовым вознесением. Тем не менее он не считал, что это дает основание отбросить притязания ислама на Храмовую гору. Вера, даже построенная на заблуждении, была в его глазах бесценным сокровищем, и обращаться с нею следовало бережно. Тем более, что и сейчас опять святое это место стало для палестинских мусульман средоточием их национальных чувств. И чем дальше, тем упорнее и отчаяннее цеплялись они за иллюзорную арабско-мусульманскую суверенность этого места; фанатическая привязанность к нему питалась неудовлетворенными национальными чувствами, не находящими себе иного выхода.

Это арабская сторона дела.

Теперь — евреи. Евреи — хитрый народ, с одобрением думал отец Джейкоб. Победно вступив в арабский Иерусалим в шестьдесят седьмом году, они подчинились требованиям дня и оставили управление всем огромным мусульманским комплексом на Храмовой горе в руках мусульманского совета. И тем сразу убили нескольких зайцев. Во-первых, не стали возбуждать лишнюю смуту среди местного, только что покоренного населения. Правда, отец Джейкоб помнил, что в те дни Большая мечеть отнюдь не была для магометан таким средоточием страстей, каким стала за последние десять — пятнадцать лет. Но все-таки. Во-вторых, весь мир увидел, как уважительно евреи относятся к чужой религии, которая к их собственной относилась совсем иначе. А главное, им тем легче было тогда оставить священную гору в магометанском ведении, что они сами, подчиняясь заветам своих мудрецов, не имели даже и права всходить на то место, где некогда стоял их храм.

Да, как это ни парадоксально, для верующего еврея было бы святотатством вступить в пределы столь священного для него места.

Что великий иудейский Храм, и первый, а затем и второй, стоял именно на этом холме, соглашались почти все авторитеты, и светские, и религиозные. Но никто не мог с уверенностью сказать, где находилась в храме Святая Святых. То тайное, укрытое от непосвященных глаз место, где находились данные Господом Израилю скрижали Завета и куда раз в год вступал первосвященник пред лицо Господа и произносил его грозное и невыразимое Имя. Столь велик был его священный ужас, что порой, произнеся непроницаемое, он падал наземь без чувств — на этот случай к ноге его привязывали веревку, дабы извлечь тело из неприступного места.

И эта картина, и вся неразрешимая запутанность предмета, тянувшаяся прямо в сегодняшний день, так явственно представились отцу Джейкобу, что ему вдруг стало жарко и душно. Привычная охота к рассуждениям покинула его, и тренированный мозг мгновенно и полностью выключил эту тему.

\* \* \*

Чайник начал бурлить и поплевывать, Милочка поставила его для сохранности тепла на печку и накрыла полотенцем.

И что это он так долго не идет?

Милочка начала ощущать легкий холодок над желудком, но твердо приказала себе не дурить, а лучше хоть немного прибраться в доме. А для того, чтобы поднять себе настроение и встретить Ангелуса весело, стала вспоминать, как она с ним познакомилась.

Полгода назад она праздновала очередную годовщину своей жизни в Израиле и позвала к себе людей. Ей лень было много возиться, хотелось

непринужденного, бесцеремонного веселья, поэтому она пригласила только русских, таких же, как она, сравнительно недавних иммигрантов, чтобы без формальностей и чтобы не напрягаться по части языка. Купила водки, копченой рыбы, маслин, соленых огурцов, сварила картошки и нажарила котлет, а потом отодвинула мебель к стенам и предоставила гостям веселиться кто как может.

Правда, многие ее знакомые считали, что праздновать тут нечего, что пребывание их на новой родине обернулось совсем не так, чтобы отмечать годовщины прибытия, да и вообще дух истинного веселья они невозвратно оставили позади, в России.

Однако же все приглашенные пришли. Люди они все были довольно молодые, вокруг тридцати, все уже преодолели самые болезненные первые годы приспособления к новой жизни и, несмотря на частые и интенсивные склоки, рады были предлогу собраться своей компанией. Да и водка, выпитая в умеренном количестве, но со множеством ритуальных жестов и восклицаний, быстро произвела свое действие, и все пошло как по маслу.

Было именно так, как Милочке хотелось, — беззаботно, пьяновато и легкомысленно, и она позволила себе отпустить тормоза. Плясала с двумя своими бывшими, теперь женатыми, любовниками, каждому по очереди объяснив, как ему повезло, что он женился не на ней, и с удовольствием выслушав их сожаления по этому поводу. Потом, вызвав добровольца из числа гостей, уложила его на ковер и демонстрировала, как она лечит физиотерапией своих пациентов, жена «пациента» обиделась и потребовала, чтобы он отвез ее домой. Все стали их отговаривать, и в это время пришел еще гость с незапланированным приятелем.

Приятель, светловолосый и светлолицый, оказался голландцем, но все уже слишком разгулялись, чтобы стесняться присутствием постороннего. Да и голландец был вполне на высоте, болтал на иврите, хвалил котлеты, мгновенно догнал остальных по части выпивки, пел, валял дурака и танцевал не хуже прочих. У женщин он был нарасхват, и Милочке не удалось даже разок пройти с ним. Все не сговариваясь решили, что если он кому и достанется, то Ларисе Малышевой. Она была самая европейская на вид, совсем не похожа на русскую еврейку, длинноногая, с прямыми сильными плечами и узкими бедрами, с русой челкой, искоса падавшей на широко расставленные серые глаза. И было только справедливо, что голубоглазый северный человек почти весь вечер провел рядом с ней. Милочка радовалась, что он не скучает, и даже и не пыталась обратить на себя его внимание. Было и без того весело, и расходиться начали поздно.

Провожая к дверям очередную пару, Милочка краем уха слышала, как голландец переговаривается с приведшим его приятелем:

— Пора и нам?

— Ты, наверное, Ларису будешь провожать? А я тогда вот эту компанию подброшу.

— Ладно, — согласился голландец. — Слушай, а где вот тут была такая маленькая, толстенная?

— Которая?

— Ну, маленькая такая, черненькая, все тут вертелась, а теперь не вижу.

К двери подошли еще люди, и Милочка не слышала продолжения, но она сразу догадалась, что голландец имел в виду ее. И хотя слова могли показаться обидными, тон был совсем не обидный, наоборот.

Тут к ней подошла прощаться разгоряченная, сияющая Лариса, а вместе с ней и он. Лариса нагнулась и крепко, благодарно поцеловала Милочку в обе щеки. И он тоже нагнулся, поцеловал Милочку в губы и сказал:

— Это ты, оказывается, наша хозяйка!

— Я, — ответила Милочка, глядя снизу вверх в улыбающиеся северные глаза.

— А завтра ты гостей принимаешь?

Милочка ясно увидела, как мгновенно опало счастливое лицо Ларисы, и в другой раз она, может быть, и пожалела бы подружку, но сейчас нико-го жалеть было нельзя, и она ответила быстро и без запинки:

— Тебя — да.

Милочка тогда так и решила, что это ей подарок от судьбы к ее годов-щине. Ей-то как раз было что праздновать.

Приехала она в Израиль с мужем. Милочка вышла за него очень рано, неполных восемнадцати лет, и не по любви, а от неуверенности в себе. Пять лет замужества она прожила сперва в полном недоумении, а потом в тоске и скуке, и, если бы не переезд в Израиль, возможно, до сих пор жила бы с мужем, отравляемая сознанием своей непригодности, опутанная чувством вины, жалости и безысходности.

Милочка была у своих родителей одна. Ребенком она часто болела — что-то с легкими, с бронхами, была слабенькая и тощенькая. Родители держали ее дома, доставали по знакомству справки от врачей, чтобы Ми-лочка могла учиться экстерном, нанимали ей репетиторов. Милочка была поздний ребенок, она смутно знала, что до ее рождения отец «пострадал», лишился, как и многие его коллеги-евреи, аспирантского места в институ-те, не мог найти работы и должен был уезжать каждую зиму из Москвы куда-то в Мичуринск, где преподавал в школе рабочей молодежи. К кон-цу пятидесятых годов он вернулся домой, но аспирантуры заново добить-ся не сумел, стал и тут преподавать в школе, а когда родилась Милочка, ему пришлось подрабатывать частными уроками, чтобы ни в чем ей не от-казывать.

Мать рассказывала, что отец до Мичуринска был «не такой», а весе-лый, самоуверенный и предприимчивый. Милочке трудно было в это по-верить, да сначала ей и было все равно. А позже, когда она подросла, он стал ей неприятен своей вечной озабоченностью, своим скопидомством, своим полным отсутствием интереса к чему-либо, кроме семьи, своим не-прерывным трусливым шипением по поводу соседней, сослуживцев и на-чальства. Все было не по нем, вечно он всё и всех критиковал, и по ночам Милочка привыкла засыпать под нескончаемый саркастический шепот, несшийся с постели родителей. Мать тоже работала, но не так много, как отец, потому что должна была выхаживать и откармливать Милочку. В этом она находила радость и удовлетворение и была совсем не такая желчная, как отец.

Милочка была приучена часто и питательно есть, приучена была к тому, что еда ее сильно отличалась от еды родителей — потому что ей было «нужно», — и долго не видела в этом ничего странного. Долго не ка-залось ей странным и то, что у нее нет подруг, и даже свое нехождение в школу она привыкла считать неизбежным и полезным для себя. Она мно-го читала, слушала радио и смотрела телевизор, знала, что страна, где она живет, огромна, сильна и устроена в общем и целом прекрасно, и была довольна собой и жизнью. Злобная воркотня отца была следствием его скверного характера, на который иногда жаловалась со вздохом и мама, и Милочка по ночам просто зажимала уши подушкой.

Но к двенадцати годам стало очевидно, что Милочка совершенно здоро-ва, к тому же отец постарел, устал, начал давать меньше частных уроков, больше бывал дома, и Милочка сама запросилась в школу.

И тут оказалось, что Милочка, умненькая и хорошенькая девочка, ма-мина и папина радость, вовсе не красавица и не умница, а «бомба», «боч-ка», «жиртест», «мясокомбинат», «кушай, детка, кушай, никого не слу-шай». Училась она с легкостью, сказывались домашние занятия и обиль-ное чтение, но плохо понимала, о чем говорят между собой другие ребята, не знала простейших игр, считалок, популярных песен и анекдотов, не могла разобраться в интригах, в расстановке сил и иерархии своего класса.



За неизменно хорошие отметки ее считали выскочкой и показухой, а за все остальное — дурой ненормальной.

Вдобавок на первом же уроке произошло нечто, совершенно для нее тогда непонятное и неожиданное, что надолго подпортило ей отношения со школой и с самой собой.

Началось все нормально. Учительница, немолодая женщина с седым пучком и с веером симпатичных морщин вокруг глаз, погладила Милочку по голове и посадила рядом с курносой мальчишкой, тоже довольно толстым. Пока учительница разбирала бумаги на столе, Милочка разглядывала соседа.

— Эй, жирная, чего пялишься? — беззлобно спросил мальчишка.

— Сам ты жирный, — храбро ответила Милочка.

— Тебя как зовут, жирная?

Без всякого дурного предчувствия Милочка ответила:

— Шмуклер Милочка.

— Чего? — сказал мальчишка. — Шмукля?

— Шмук-лер, — с расстановкой произнесла Милочка. — А тебя как?

— Мук-лер, — так же с расстановкой повторил мальчишка. — Ага. Вас понял, Мук-лер Шмилочка.

Учительница жестом потребовала тишины, и Милочка решила рассчитаться после. Ей было досадно, что она назвала себя «Милочка» вместо солидного, взрослого «Людмила», и жалко было домашнего, мамино, ласкового имени, противно исковерканного мальчишкой, но обиды она не почувствовала. Ей даже как бы польстило, что она сразу же сделала первый шаг на пути в тот особый школьный мир, где, как она знала из книжек, у всех обязательно были свои, часто нелепые и смешные, прозвища и клички.

Учительница объявила:

— Ребята, у нас в этом году много новеньких. Давайте познакомимся с ними.

Она стала называть фамилии, и ребята вставали один за другим и говорили: «Я русский, родился там-то, учился там-то, мой папа делает то-то...» — а все смотрели на них с любопытством и слушали.

Милочка была последняя в списке и успела набраться духу. Ей даже хотелось, чтобы ее вызвали поскорее, потому что другие все говорили почти одно и то же, а у нее все-таки история была необычная. Она встала почти не робея и заговорила отчетливо и бойко:

— Я русская, родилась в Москве, училась дома, экстерном, потому что...

— Шмуклер, — прервала ее учительница негромко.

Милочка остановилась с разгону. По классу пронесся тихий шелест, учительница подняла руку, и все стихло.

— Шмуклер, — повторила учительница негромко и, как показалось Милочке, ласково, — ты этого еще не знаешь, но мы в школе привыкли говорить только правду. Ты тоже должна этому научиться.

— Но я правду говорю, — уверенно ответила Милочка. — Я сильно болела, и поэтому...

— Шмуклер! — Учительница слегка повысила голос, но не сердито, а укоризненно, и Милочка не испугалась. Ей очень хотелось угодить седенькой учительнице и поскорее доказать, что и она привыкла всегда говорить правду. Она не могла понять, почему у всех сошло гладко, а у нее заело. — Не торопись, Шмуклер, подумай и начни с начала. И так?

Милочка подумала, но ничего не придумала. Она набрала в грудь воздуха, выдержала долгую паузу и сказала медленно, как хотела учительница:

— Я русская, родилась в Москве, учи...

— Ребята! — громко обратилась к классу учительница. — Шмуклер не умеет говорить правду. Она научится. А мы должны ей помочь. Давайте ей поможем.

- Давайте, давайте! — радостно загудел класс.
- Ш-ш! Как вы думаете, ребята, Шмуклер сказала нам правду или нет?
- Нет! Врет! Неправду!
- Давайте попросим ее сказать правду.

Происшествие превращалось во всегда желанный ученическому сердцу спектакль, и класс готовно захлопал в ладоши:

- Просим! Просим! Пусть скажет правду!
- Милочка пыталась догадаться, что им нужно.

Экстерном она училась, это правда. Болела — у мамы все справки есть. И в Москве родилась. Еще она сказала, что она русская. Тоже правда. Это ведь и все говорили, и учительница их не останавливала. Правда, в разговорах папы с мамой часто упоминалось, что они евреи, и Милочка знала, что это обстоятельство чем-то сильно мешало им, но это было их сугубо домашнее, семейное обстоятельство. Она вовсе не собиралась его скрывать, но с какой стати говорить о нем именно сейчас, во время первого знакомства с классом? Не станет же она рассказывать, например, что маме с папой всегда не хватает денег или что у них в комнате проваливается паркет. Все это их, папины и мамины, взрослые заботы, в которые дети не вмешиваются. Другие тоже ничего не говорили о своих семейных обстоятельствах. Какое отношение они могли иметь к школьной жизни Милочки? Нет, не может быть, чтобы от нее ждали этого. Но тогда чего?

- Ну, Шмуклер? — сказала учительница.

Милочка молчала.

- Ты скажешь нам, кто ты?

Милочка молчала.

- Кто ты, Шмуклер?

Милочкин сосед по парте тихо проговорил: «Муклер Шмилочка».

- А ты, Шмуклер, к тому же и упрямая!

И Милочка, все еще отбивавшаяся, все еще пытавшаяся объяснить свою невзгоду тем, что она толстая, или тем, что она училась экстерном, или даже тем, что ее белый нейлоновый фартук, сшитый мамой, отличался от магазинных фартуков других девочек, вдруг отчетливо поняла, что они имели в виду именно *это*, добивались от нее признания именно в *этом*. А ведь признаться можно только в дурном, и — да, она хотела, хотела это скрыть, но теперь нельзя было ни скрыть, ни сказать.

Милочка села на скамью и закрыла лицо руками.

Класс разочарованно зашелестел.

Учительница вздохнула и сказала:

- Шмуклер не только врунишка, но и трусиха. Бойтся признать свою ошибку. Ну ничего. Она научится.

Милочка научилась с одного урока и ошибку свою никогда больше не повторяла, хотя, в чем она заключается, так, в сущности, и не поняла.

И относиться к самой себе и к жизни она начала несколько иначе, без прежней безусловной доверчивости. С началом школы жизнь ее перестала быть тем теплым, интересным и дружелюбным местом, в котором ей повезло родиться и пробыть целых двенадцать лет, где ее любили, хвалили и баловали. И сама она теперь казалась себе не тем, чем казалась раньше.

Раньше она привыкла думать о себе с безусловной симпатией, наверняка не хуже других, а кое в чем, может, и лучше. Теперь же все в ней самой было ей противно, все не так, как у других.

Противное имя. Клаву Чучину звали Чучка, Колю Волкова звали Серый, Марину Офицерову звали Генеральша — а ее звали Шмилочка, Шмилочка Муклер.

Противное жирное тело, раскормленное мамой. Милочка знала теперь, что только еврейские мамы так раскармливают своих детей. Случайно Милочка услышала, как одна учительница сказала про нее другой: «Типичная

еврейская красота», — и потом долго и недоуменно рассматривала в зеркале свои слишком черные и слишком блестящие глаза, свой тонкий, высокий, слишком четко очерченный нос, свой слишком пухлый и слишком красный рот с легкой тенью над верхней губой.

Противны ей были и собственные мозги, которые, против Милочкиной воли, схватывали слишком быстро и слишком много и потом тупо скучали, пока нормальные ученики доходили до всего нормальным медленным путем, с повторениями, объяснениями и поворотами вспять. Несмотря на все усилия, Милочка долго не могла заставить свою голову работать так, как у всех: в любом предмете она неизменно видела не то, что видели другие, замечала нелепости, несоответствия и смешные или, наоборот, трогательные и волнующие стороны там, где другие ничего такого не замечали. Раньше все это казалось Милочке естественным и интересным, но в школе она узнала, что это не так, что все другие думают иначе, и ненормальность ее мышления обнаруживалась, к Милочкиному позору, всякий раз, когда она открывала рот. Поэтому теперь она старалась побольше молчать, а домашние задания, чтобы избежать недоразумений, заучивала слово в слово. Учителя говорили про нее: «Старательна, но для евреечки туповата».

С годами, впрочем, она сбросила чрезмерный вес, хотя настоящей худобы ей так и не удалось добиться; чрезмерная быстрота и острота восприятия тоже замедлились и притупились до обыкновенной пристойной сообразительности.

Дольше всего Милочка попадала впросак со своей манерой всегда замечать и считать главным не то, что замечали и считали главным другие. Но постепенно она научилась выведывать исподволь, что думают о предмете окружающие, и сообразовывать с этим свои высказывания. А для полной безопасности она стала покрывать свои мнения своего рода клоунадой. Любые свои слова, даже самые надежные, она на всякий случай сопровождала ухмылкой, нарочито неуклюжим движением руки, иногда даже легким подпрыгиванием на месте вроде балованного ребенка, изрекающего забавные словечки на потеху взрослым. Она как бы наперед давала понять слушателям, что это она нарочно, для понту, смеху ради. Она даже прослыла острячкой, ей так и говорили: «Ну, ты острячка, Шмилочка», и Милочка в ответ ухмылялась, хотя сама не видела в своих словах ничего смешного или остроумного, а часто, наоборот, высказывала свои самые задушевные мысли.

На этих условиях, в качестве клоуна, ее постепенно приняли в компанию сверстники, тем более что к шестнадцати годам Милочка сильно изменилась внешне.

Одноклассники Милочки, слишком привыкшие к ее паясничанию, оставались к этому нечувствительны, но на улице молодые мужчины оглядывались и часто пытались завязать знакомство. Это приводило Милочку в смятение. Молодые люди, пытавшиеся ухаживать за Милочкой, наверняка ошибались, принимали ее за что-то другое. Рано или поздно ошибка должна была обнаружиться, и тогда поклонник должен был с отвращением ее отбросить. И Милочка, не дожидаясь этого, торопилась обнажить свою истинную сущность, пускала в ход привычные клоунские приемы и дурацкие обидные шуточки, за которыми чувствовала себя в безопасности, и знакомство быстро сводилось к недоуменному, но для нее, как она думала, безболезненному концу.

После школы она даже и не пыталась поступить в институт, хотя мама очень настаивала. Но папа к тому времени уже умер, изойдя бессильной желчью, а маме с Милочкой было не справиться. Милочке не хотелось заниматься никакой умственной деятельностью и очень хотелось еще похудеть, и она поступила в физкультурный техникум на физиотерапию. Там

она очень скоро встретила своего будущего мужа. Хотя Милочка и думала иногда о замужестве, но, зная все свои вывихи, совершенно на это не надеялась, а уверена была, что умрет старой девой. И когда преподаватель лечебной физкультуры, ничем особо Милочку не привлекавший, но вполне приличного спортивного вида и, кажется, незлой, влюбился в Милочку и проявил серьезные намерения, она сказала себе, что это, возможно, единственный ее шанс и надо брать, что дают.

Милочка заметила, что опять начала думать о неприятном, а Ангелус все не возвращался.

Прошло уже около часа, в комнате стало тепло от печки и газовой плиты, сваренный Милочкой кофе остыл. Но беспокоиться, разумеется, не следовало. Что могло с ним случиться в женском монастыре? Наверно, монахини его заговорили, а он по своей деликатности не может от них отделиться. Или хлеба ему там не дали, и он все-таки побежал в лавку. Да, скорее всего в лавку. В Старый город. А там, может, хлеба еще не подвезли по случаю снега. Или вообще еще закрыто, и он ждет. И там... Приспичило же мне этого проклятого хлеба требовать. Обойтись не могла, принцесса? Нажарила бы, например, картошки, никакого хлеба не надо. Вот и нажарь, ожесточенно проговорила Милочка вслух, начисть и нажарь и не дури себе голову.

\* \* \*

Оставив удручавшие его мысли о Храмовой горе, отец Джейкоб с облегчением вдохнул снежный воздух и снова стал замечать окружающий мир.

Он уже вошел в Иерусалим, миновал Францисканскую церковь с ее аляповатым, но давно присмотревшимся и потому не резавшим глаз мозаичным фронтоном и подходил к мосту через долину Кедрона.

Шоссе над ущельем огорожено было с обеих сторон каменным парапетом, на котором часто сидели туристы и паломники, любуясь прекрасным видом на святые места и щелкая фотоаппаратами. Но сейчас для туристов было еще рано. Слева, по другую сторону дороги от отца Джейкоба, стояла небольшая, сравнительно недавно построенная греческая православная церковь, вид которой каждый раз вызывал у отца Джейкоба невольную досаду. У этой церкви тоже не было прихожан, она открывалась только по большому праздникам два-три раза в году, и выстроили ее жадные греки для того лишь, чтобы закрепить за собой попрочнее кусок бесценной земли в святой Гефсимании. Ниже уровня дороги, невидимое непосвященному глазу, под церковью скрывалось целое большое здание, разбитое на обыкновенные квартиры, которые расчетливый поп-киприот, держатель церкви, сдавал внаем жильцам, чаще всего еврейским молодым парам либерально-богемного толка. У отца Джейкоба были там даже знакомые, но он ходил к ним редко, не желая лишний раз вступать в греческие владения.

Избегая смотреть на нелюбимое здание, отец Джейкоб опустил глаза и увидел впереди на тротуаре небольшую желтую собаку, которая сидела на тающем снегу, прижавшись к парапету боком и уткнув в него морду. Отец Джейкоб собак побаивался, особенно тех, что без хозяина, и подумал было, не перейти ли ему на другую сторону.

Но хозяин был тут же, в нескольких десятках шагов.

Высокий широкоплечий молодой человек в синей куртке стоял во весь рост на парапете. Под сверкающим утренним солнцем, непривычно отражаемым белыми полотнищами снега, человек казался огромным и очень ярко одетым. Он стоял спиной к дороге, спокойно свесив руки по бокам, и тихонько покачивался взад и вперед, с носков на пятки, глядя вниз, в долину. Отец Джейкоб знал, что смотреть там не на что, кроме запоро-

шенного черной дорожной пылью и замусоренного рваными пластиковыми мешочками участка при доме, тоже принадлежащем грекам. Высоты там было не меньше десяти метров, и, хотя молодой человек наверняка обладал отличным чувством равновесия, отец Джейкоб, забыв про собаку, с некоторым беспокойством наблюдал его небрежную позу и это его покачивание. Он невольно ускорил шаг.

В это самое время молодой человек раскинул руки и сильно качнулся вперед. Отец Джейкоб побежал. Но добежать не успел. Слегка оттолкнувшись ногами, молодой человек бросился вниз, в долину.

Желтая собака зашевелилась, отвернула морду от стенки парапета и, вытянув кверху длинную шею, нюхала воздух.

С больно колотящимся сердцем отец Джейкоб подбежал к тому месту, где только что стоял молодой человек. Он заглянул за парапет, кляня себя за медлительность и с ужасом ожидая увидеть внизу жалкую кучку разбитой плоти.

Однако человек еще только приземлялся. Как раз в это мгновение ноги его коснулись пухлого снега, он неловко присел на корточки, но тут же выровнялся, слегка подпрыгнул и пробежал несколько шагов. Остановился, повернулся лицом к парапету, снова покачался немного с носков на пятки. Затем, глубоко согнув колени, рывком подбросил себя на полметра от земли, замер на секунду — отец Джейкоб видел, как содрогалось от напряжения его вытянутое тело, — и, сильно опираясь разведенными в стороны руками на воздух, начал медленно подниматься.

Отец Джейкоб, замерев, смотрел на юношу и едва успел отшатнуться от парапета в последнюю секунду, невзначай смахнув наземь валявшуюся там початую буханку хлеба. Прямо на него из-за парапета выплывала голова молодого человека — сперва потные волосы, затем напряженно расширенные невидящие глаза, крепко стиснутые губы, затем показались плечи, распластанные большие белые руки, окаменевший от усилия торс, ноги с оттянутыми носками — человек завис над парапетом и мягко на него опустился.

— Уф! — сказал молодой человек, толчками выпуская задержанное дыхание.

— В-вы... ничего? Не... не ушиблись? — пролепетал отец Джейкоб.

— А? — переспросил молодой человек, с видимым трудом сводя глаза в фокус на отце Джейкобе и сконфуженно улыбаясь. — Да нет, тут ведь невысоко, и там мягко, снег... Просто захотелось проверить...

Но отец Джейкоб уже не услышал его слов. Вообще ничего больше не слыша и не видя вокруг, он резко повернулся и, не разжимая судорожно стиснутых на груди рук, быстро зашагал, почти побежал прочь.

А Ангелус оглянулся по сторонам, убедился, что поблизости никого больше нет, и снова повернулся лицом к обрыву.

И начал: немного покачался — и вниз, на уже вытоптанную его ногами вмятину в снегу. Постоял минуту — и вверх, на парапет. И еще раз. И еще. Переждал, пока прошли люди, и снова. С каждым разом спуск становился более плавным, подъем менее мучительным. И каждый раз, поднявшись, Ангелус говорил себе с восторгом: да, это я, это происходит со мной! И никак не мог остановиться.

Наконец тело начало ему отказывать, и он, покачавшись с сожалением еще немного, прыгнул с парапета на мост. И увидел на тротуаре буханку. Хлеб уже успел подмокнуть в грязной снежной каше, Ангелус недоуменно потрогал его носком сапога и хотел откинуть в уголок, где копилась куча мусора, но тут на глаза ему попался желтый щенок. Он разломал хлеб на куски и сложил аккуратной горкой на тротуаре. Затем тихонько свистнул щенку. Недоверчиво поглядывая исподлобья вверх, щенок подкрался к хлебу, схватил кусок и, рыча, отбежал в сторону.

\* \* \*

Самих только еще подходил к теткинскому дому, а уже жалел, что вернулся. И чего сорвался? Тетка, наверно, прибираться начала, ворчать будет.

В городе было все как обычно. Народу на улицах немного, только ошалевшая от снега мелкота носится и вопит. Туристов вообще почти не видно — рано для них, поспать любят. Да они и одежды-то с собой теплой сюда не берут, как же, жаркий южный край, идиоты. Одни только немцы какие-то с голыми коленками — «Я-а, я-аа», злобно передразнил их Самих — да кучка японцев со своими видеокамерами, этим все нипочем. И лавки на базаре только-только начали открываться, да половина и совсем не открывается. Тихо и пусто... Побежать быстро опять на автобус? Ну, опоздает немного, скажет, из-за снега, может, и помилуют... Да зачем он и вернулся-то? Поглядеть, как друзья из пограничной охраны оцепляют все подходы к священной территории? Полюбоваться издали, как подъезжает к воротам вереница красивых блестящих автомобилей с еврейским начальством? Большое дело, ну, поднимутся на гору, ну, посмотрят кругом, чего и ищут-то, неизвестно — как пришли, так и уйдут.

Тетка действительно занималась уборкой и встретила его неласково, не хотела даже в комнату пускать, а ему обязательно нужно было переодеться. Тетка вынесла на порог его чемодан, и он тут же, на пороге, быстро натянул чистые джинсы и сменил запачканную рабочую куртку на новую, кожаную, с красивыми молниями на рукавах и карманах.

Рядом топтались два младших племянника, жадно заглядывали в чемодан, лезли грязными лапками. Один потянул из-под кома рабочей одежды ярко-красный уголок. Самих тихо ругнулся, племянники прыснули в стороны. Самих вытащил красный платок, сунул в карман, затянул чемодан ремнем и пошел.

\* \* \*

Всю дорогу в опустевшей голове отца Джейкоба билась одна мысль — скорей куда-то пойти, кому-то сообщить, рассказать, объявить...

Машинально он дошагал до еврейской части города и только тут несколько опомнился. Куда пойти, что объявить? Ему стало стыдно за свою растерянность. Почему он так поспешно и трусливо убежал? Да, конечно, он увидел нечто, чего никто в мире никогда еще не видал. Но ведь этому наверняка имелось какое-то рациональное объяснение. Отец Джейкоб с энтузиазмом следил за новейшими достижениями науки и техники и глубоко верил в их почти неограниченные возможности. Как же это он не остановился, не расспросил молодого человека, не попросил его повторить свое невозможное действие? А может быть, это была просто какая-то аберрация зрения, трюк иллюзиониста? Тем более надо было расспросить, проверить, убедиться... Что же именно он увидел? Что это было? И кто это был?

По инерции он добрался до намеченного магазина — и тут обнаружил, что не помнит, зачем сюда пришел. Оставалось лишь неутолимое стремление поскорее кому-нибудь рассказать, такое сильное, что впору было остановить первого встречного. Вот когда отец Джейкоб пожалел о своем одиночестве. Кинуться в полицию? На радио, на телевидение? Там его, быть может, и выслушают. Но, разумеется, не поверят, сочтут за сумасшедшего. Если же вдруг поверят, сразу побегут разыскивать юношу, а эта мысль была отцу Джейкобу нестерпима.

Раввин в Бухарском квартале! И выслушает, и за сумасшедшего не примет!

Не выбирая мест посуше, отец Джейкоб зашагал кратчайшим путем прямо по расквашенному снегу. Желание рассказать жгло так сильно, что,

подходя к знакомому дому, он даже не глянул на себя в витрину соседней лавочки, чтобы убедиться, что цивильный наряд его благопристойен и не шокирует чопорного рабби.

Рав Хаим был занят с учениками, но сразу заметил, что гость его сильно возбужден. Велев молодым людям продолжать занятия попарно, он осведомился о здоровье отца Джейкоба. Но тот, не желая втягиваться в докучливый ритуал, только нетерпеливо махнул рукой, и рав Хаим недоуменно приподнял бровь.

И тут возбуждение покинуло отца Джейкоба.

Да полно, было ли это, видел ли он это? Неужели он сейчас станет говорить этому самоуверенному, полному еврейского скепсиса служителю чужой религии, что видел чудо? А ведь до сих пор рав Хаим относился к нему не без уважения, хотя отец Джейкоб и ловил порой на его лице скрытую усмешку превосходства. Однако обширные познания отца Джейкоба, его безупречный, со всеми сефардскими придыханиями и гортанными звуками иврит и прекрасный арамейский импонировали ученому раввину, а непривычное смирение гостя ему даже льстило.

Отец Джейкоб вздохнул с сожалением, но остановиться уже не мог. Пробиваясь сквозь гудение учеников, он как можно суше и прозаичнее изложил увиденный им эпизод. Раввин слушал молча, не выражая ни недоверия, ни изумления.

Отец Джейкоб замолчал. Молчал и раввин.

Ученики исподволь разглядывали гостя и еле слышно пересмеивались.

— Вы мне не верите, — грустно сказал отец Джейкоб.

— Да почему же. — Раввин вздохнул и опустил глаза вниз, на ноги гостя.

Отец Джейкоб невольно проследил за его взглядом и увидел, что с башмаков натекло на ковер. В другой раз это сильно смутило бы его, но сейчас он только поехал и подобрал ноги под стул.

— Почему бы и нет. Верю, что видели. — Раввин снова вздохнул. — Да и погода нынче такая, что всякое... — Он неопределенно пошевелил в воздухе тонкими пальцами и привычно взялся за длинный завитой локон. Затем повернулся и, доставая с полки у себя за спиной одну из толстых книг, проговорил другим, оживленным тоном: — Я полагаю, реб Яков, вы пришли опровергнуть постулат, который я сформулировал в прошлый раз?

— Я... да, действительно...

— Ну-ну, посмотрим, как вам это удастся!

— Да... нет, но... как же?

— Что — как же? А, вы все об этом... — По лицу раввина скользнула знакомая отцу Джейкобу снисходительная усмешка и тут же исчезла, сменившись выражением грустной укоризны. — Я всегда подзревал, что вы, христиане любых оттенков, не довольно крепки в вере. Всё-то вы ищете чудес, доказательств, подтверждений. Даже вы, причастившийся стольких подлинных истин. Разве мало вам, что весь наш мир — одно великое чудо? Всевышнему ли потакать вашей слабости мелкими тривиальными фокусами?

— Так вы думаете, это просто фокус?

— А вы как думаете?

— Я не знаю, что и думать.

— А что он сказал? Как объяснил?

— Никак... Я не спросил...

— Не спросили? Как же так?

— Я... мне стало страшно... я ушел...

— Страшно! — торжествующе воскликнул раввин. — Страшно? Вы увидели нечто, что показалось вам чудом, — и испугались? Не возликовали при виде снисхождения Господня, пусть чудо и ложное, в чем я убежден и в чем вы не захотели убедиться — не вознесли благодарственную молитву, а трусливо пробежали мимо! Ну и чего после этого стоит ваша вера?

Отцу Джейкобу вдруг невыразимо жалко стало прежней своей жизни, трудной, но спокойной, без сомнений и колебаний. Теперь, он знал, не будет ему покоя, и эта прежняя жизнь представилась ему такой счастливой, такой безмятежной, что отец Джейкоб чуть не заплакал. И разговаривать с раввином больше совершенно не хотелось.

— Вы правы, наверное, — неловко пробормотал он и встал.

— Куда же вы, реб Яаков?

— Да я тут... по делам...

Усмешка исчезла с лица раввина.

— Сидите, реб Яаков, сидите, мой друг. Сейчас вам принесут кофе. Вы удручены? Простите меня, я чрезмерно поспешил с выводами. То, что вы рассказали, заслуживает более подробного разговора. Давайте же рассудим спокойно. Да вот, — рав Хаим снова обернулся к книжной полке, — я вам сейчас на эту тему прочту из...

— Нет-нет, это вы меня простите, — торопливо перебил его отец Джейкоб, отступая к двери. — Мне в самом деле пора. Мне нужно...

Нужно ему теперь было только одно — вернуться поскорее на то же место и... что?

Трудно было ожидать, что там все осталось как было, что юноша по-прежнему стоит, покачиваясь, на парапете моста через Кедрон. Но отец Джейкоб не рассуждал и не загадывал, а шел, торопился изо всех сил, проехал даже часть пути на подвернувшемся автобусе и только твердил про себя как заклинание: «Это снег, снег, это странный отраженный белый свет...»

\* \* \*

К тому времени, как Милочка дочистила картошку, руки у нее так похолодели, что едва держали нож.

Ни уговаривать, ни ругать себя не имело больше никакого смысла. Ангелус отсутствовал почти полтора часа. Радио сказало, что начальственный визит на Храмовую гору протекает как намечено, что на мусульманском кладбище у Львиных ворот наблюдается некоторое скопление враждебных местных элементов, но силы безопасности полностью владеют ситуацией и надеются избежать эксцессов.

Милочка выключила печку, скинула башмаки Ангелуса. Как глупо, что она, не поверив прогнозу погоды, пришла сюда вчера в легких туфлях, но ничего не поделаешь, башмаки слишком велики, — и выбежала на тающий снег.

\* \* \*

Ангелус стоял и смотрел, как щенок ест. Ему и самому хотелось есть, он нагнулся и выбрал кусок хлеба почище и посуше, потом отошел немного, снял с парапета полосу ноздреватого снега, скатал его в плотное яблоко и с наслаждением набил рот хлебом и снегом. Как хорошо! Шампанские пузырьки радости покалывали разгоряченное тело острым холодком. Расслабившиеся мускулы блаженно гудели.

Но где это он? Как он сюда попал? Ангелус повел вокруг неузнающим взглядом.

Вокруг него была то ли сказка, то ли театральная декорация. Справа крепостная стена, в ней ворота... Заснеженное ущелье с радостным шумом воды, а левее — пологий склон горы, покрытый бело-зеленым ковром, там и сям уставленный ярко раскрашенными церковными зданиями... Взгляд его заскользил выше, выше и сам безошибочно отыскал наверху маленький домик, едва видный среди испятнанной снегом зелени.

Мой домик, с радостным изумлением подумал Ангелус. И сразу все стало на свои места. Иерусалим, Гефсимания, а рядом Старый город, во-



рота Святого Стефана, они же Львиные... А слева Масличная гора, и на горе его домик, а в домике его ждет Милочка.

Милочка! Она ведь его ждет! И это вот как раз хлеб, который он должен был ей принести! Сколько же времени прошло? Часы он забыл надеть, но, кажется, порядочно. Милочка сердится, а если он не принесет хлеба, рассердится еще сильнее.

Ангелус улыбнулся. Милочкин гнев смешил его и трогал, а еще больше его трогало горькое раскаяние, которое неизменно наступало вслед за вспышкой. Иногда он и вовсе не понимал, почему она сердится и на что обижается, от чего у нее внезапно меняется настроение, но это не раздражало его, а умиляло. А иногда и восхищало, ибо сам он на такие острые эмоции был не способен. Огорчали его лишь Милочкины страхи. Сам-то он боялся только одного — что он, прохладный и пресный европеец, закованный в броню условностей и приличий, скоро наскучит этому пылкому, непосредственному, переменчивому и перепутанному существу, словно сошедшему со страниц русского классического романа.

Вот и сейчас Милочка, наверно, уже начала тревожиться. Она тревожится о нем! Радостное возбуждение, не покидавшее его с самого утра и достигшее, казалось, апогея минуту назад, усилилось до такой степени, что Ангелус не выдержал, подпрыгнул и повисел немного в воздухе, не касаясь ногами земли. Но тут же опомнился — вдали по дороге шли люди. На свете есть милый сердцу человек, который тревожится, как бы с ним чего-нибудь не случилось! Не бойся, Милочка, ничего со мной не случится и случиться не может. Теперь у меня есть все и даже больше, чем у других, теперь я все могу, теперь я так счастлив, что ничто меня не тронет и не огорчит.

Вот разве что твоя ругань, ухмыльнулся про себя Ангелус, когда я явлюсь домой без хлеба. А впрочем, вот же близко ворота, а за воротами — лавка.

— Ну а ты небось наелся и не пойдешь теперь? — спросил он щенка.

Щенок тем временем, хватая куски, отбегал на все меньшее расстояние. Последний кусок он взял уже без жадности, подержал в пасти и выронил к ногам Ангелуса. Ангелус нагнулся и почесал между длинными вислыми ушами, щенок задергал кожей и поднял щетину на загривке, но не отошел.

— А то пойдем? Грех замаливать? — Ангелус подтолкнул щенка под тощий зад в сторону ворот.

Щенок низко нагнул голову и уперся всеми четырьмя лапами. Ангелус толкнул сильнее, щенок проехался немного по скользкому тротуару и сел.

— Ну, если так, извини, — сказал Ангелус, — больше никак не могу, — и зашагал к воротам. Может быть, щенок сам побежит за ним. Но когда он обернулся, щенок сидел на прежнем месте и смотрел на него отчаянными глазами.

— Ах ты упрямая скотинка, — пробормотал Ангелус, быстро вернулся и схватил щенка на руки. Тот не сопротивлялся, а снова сунул голову Ангелусу под мышку и затих.

\* \* \*

У ворот русского монастыря знакомый араб-сторож со смехом сказал Милочке, что да, Ангелус был, веселый такой, хлеба ему дали, и он ушел, давно уже.

Милочка побежала дальше. Значит, гуляет где-нибудь, на снег любитесь, решила она с замирающим сердцем. Ноги у нее промокли сразу, но она этого не чувствовала. Ох, как я его сейчас изничтожу, твердила она себе. Как я его сейчас... Я там сию с ума схожу, а он гуляет себе, веселый такой... Ну я ему сейчас... Милочка явственно увидела, как покаянно зажмурятся обожаемые голубые глаза, а твердый рот чуть сожмется, удержи-

вая улыбку, — конечно же, она знала, что он посмеивается над ее гневом, и сердилась еще больше, и любила его еще больше — нет, решила она внезапно, не буду я его ругать, не буду упрекать, а обниму, прижмусь, уведу его в наш тихий, теплый, неприступный домик, только бы найти его, найти его поскорее.

Милочка добежала до моста через Кедрон, и тут ей пришло в голову: может, он встретил знакомых, живущих вот здесь, при греческой церкви, и они затащили его к себе? Она готова была уже сбежать по ступенькам, ведущим в нижние этажи, в жилые квартиры, когда заметила на другой стороне немолодого мужчину в темном старомодном плаще, с большой полуседой бородой, задумчиво стоявшего у парапета. Милочка бросилась к нему:

— Простите, вы тут давно стоите?

Мужчина был явно не араб, но не походил и на туриста, и Милочка заговорила с ним на иврите.

— Я... да... стою... — невпопад ответил мужчина, но тут же перевел на Милочку рассеянный взгляд и повторил более внятно: — Да, я здесь... стою... некоторое время.

— Вы случайно не заметили, не проходил тут молодой человек, высокий такой блондин в синей куртке? С буханкой хлеба в руках?

Мужчина внезапно оживился:

— Ах, так это была его буханка! Какая неловкость! Я ее нечаянно сбросил прямо в снег и даже не поднял...

— Значит, вы его видели? Когда? Куда он пошел? — лихорадочно допытывалась Милочка.

— Вот это, видимо, остатки от нее, — продолжал человек, указывая на кучку раскисших хлебных корок. — При нем собачка была, она, наверное, пое... — Человек вдруг задохнулся и прошептал еле слышно: — Вы его знаете? Кто он? Откуда он?

— Я вас очень прошу, — Милочка напрягла все силы, чтобы говорить медленно и убедительно, чтобы ее слова дошли до этого, видимо, безумного прохожего, — пожалуйста, скажите мне, когда вы его видели и куда, в какую сторону он пошел?

Человек не отвечал, только дышал прерывисто и ищущим взглядом смотрел на Милочку.

— Налево? Во-он туда? — Милочка, как ребенку, показала ему на дорожку, ведущую вверх, на гору. — Или туда? — Она махнула в сторону греческой церкви. — Или, может быть, туда? — И она вытянула руку по направлению к Львиным воротам.

Человек все молчал, и Милочка подумала с отчаянием, что никого он не видел, что все это фантазии — еще и собачку какую-то приплел, — но тут рассеянный взгляд человека сосредоточился, и он проговорил отчетливо и разумно:

— Да, высокий молодой человек в ярко-синей куртке. Мне тоже необходимо его найти. К сожалению, я не видел, куда он направился отсюда. Это было уже давно, больше часа назад, и, когда я уходил, он был здесь. — Человек похлопал по парапету. — Значит, вы его знаете?

Больше часа назад! Господи, где же он? Милочка только досадливо махнула рукой и рванулась было дальше, но человек мягко удержал ее за локоть:

— Может быть, вы знаете, куда и зачем он шел? И так мы сможем его найти?

Мы! Сил нет, сейчас привяжется!

— Да за хлебом же, за этим самым хлебом! — нетерпеливо крикнула Милочка. — И зачем только вы его сбросили! И, — Милочка недоуменно посмотрела на человека, — как, откуда сбросили? Что он вообще здесь делал, ему совсем не по пути!

— Он... — человек настойчиво смотрел Милочке прямо в глаза и снова начал задыхаться, — он... он здесь...

Милочка высвободила локоть и побежала к воротам.

Не было у нее сил ждать, пока этот псих растелится, да и так все было ясно: потеряв каким-то образом драгоценный хлеб, Ангелус решил все-таки угодить ей и пошел в Старый город, в лавочку. И ждет, глупый, пока она откроется. Все, как она и думала. Теперь, скорее всего, уже купил и идет назад. Вот сейчас, в любую минуту, он попадется ей навстречу, вот он сейчас выйдет из ворот — Милочка близоруко сощурилась, но разглядеть издали не смогла, увидела только, что площадь перед воротами уставлена полицейскими и военными машинами и там идет какое-то шевеление, ну да, начальственный визит, но бояться нечего, силы безопасности полностью владеют ситуацией... Сзади слышались торопливые шаги, Милочка обернулась и увидела, что странный человек в темном плаще догоняет ее. Путь к воротам шел в гору, Милочка сильно устала, но все же прибавила шагу. И как раз в это время мимо нее замелькали один за другим блестящие лимузины, и Милочка с облегчением поняла, что визит благополучно завершился.

\* \* \*

Ни одного из своих приятелей Самих дома не застал. И на углу, где они обычно стояли, тоже никого не было. Он подошел к кафе, с хозяином которого часто играл в нарды, — может, тот что знает, может, видел кого из парней, — но кафе было закрыто. Самих сунулся к одному подходу к большой мечети, к другому — везде солдаты и полиция, а народу мало, и никого знакомых.

Получалось, что один Самих оказался таким дураком, бросил все, прискакал, рискуя рабочим местом. Еще и переоделся неизвестно ради чего. Второй раз тетка чемодан не вынесет, да и поздно теперь.

Работе скажи прощай. Ну и черт с ней. Неужто он не найдет, где дерьма нахлебаться? Слава богу, грязной работы у евреев хватает. А в конце концов, можно и домой уехать, в деревню. Денег он подкопил, а с деньгами и дома хорошо пожить. По крайней мере уважение, никто погонять не будет. И все ему будут рады — а тут кто ему рад? Спокойная деревенская жизнь представилась вдруг Самиху такой заманчивой, что ему захотелось немедленно собраться и уехать. Но неясно, когда будет попутный автобус, да и нельзя оставить недополученные за эту неделю деньги.

Деваться было некуда, заняться нечем, и Самих брел потихоньку в сторону Львиных ворот, теперь уже просто потому, что на нем была красивая новая куртка, а там, он знал, были люди.

\* \* \*

Войти в Старый город Ангелус успел и даже хлеб купил, хотя и вчерашний, но выйти не успел — все подходы к Львиным воротам оцепили солдаты пограничной охраны. Вместе с ним около оцепления стояло порядочно народу, и он узнал, в чем дело. Надо было ждать.

У Ангелуса устали руки. Он с трудом высвободил голову шенка у себя из-под мышки и поставил его наземь. Шенок сразу сел ему на ноги, прижался мордой и всем телом.

Состояние счастливого сна, в котором жил сегодня Ангелус, начинало незаметно меняться. Он все шел и шел домой, к Милочке, и все никак не мог дойти. И теперь он так безнадежно опаздывал, что ему стало грустно и показалось вдруг, что он и не дойдет никогда, и Милочку никогда не увидит, все будет идти и идти, и забывать, куда и зачем шел, и снова вспоминать, и каждый раз это будет удар в сердце, вот как сейчас, когда он

вдруг осознал, что утро проходит, солнце стоит высоко, снег почти растаял, а он выскочил из дому на минуту, за хлебом к завтраку, и было это давно-давно...

Но тут оцепление распалось, солдаты вразвалку потянулись к воротам, а за ними задержанные оцеплением люди. Ангелус подхватил щенка, сунул его, чтоб не держать руками, под расстегнутую куртку, доверху затянул молнию и двинулся вместе со всеми.

Самих увидел эту толпу издали и заторопился — может, там что происходит. По дороге он на всякий случай выломал из разбитой ограды небольшой, но увесистый кусок бетона с торчащим из него обрезком железного прута.

И Милочка тоже увидела — сначала солдат, которые выходили из ворот и неторопливо разбредались по своим машинам, а потом, вперемешку с ними, туристов и местных жителей, и среди них мелькнула ярко-синяя куртка.

А затем произошло что-то — она даже не поняла что: около самых ворот образовалось вдруг какое-то завихрение, солдаты начали снова выскакивать из машин, раздался негромкий щелчок, и от ворот навстречу Милочке побежали люди. В сторону мусульманского кладбища поползло низкое мутное облако, у Милочки сильно запершило в горле, она пробиравалась вперед, вытягивая шею и пытаясь найти глазами синее пятно, нос ей раздирало едкой кислотой, глаза заливало слезами. Какой-то встречный мужчина сунул ей руку прямо в лицо, Милочка хотела оттолкнуть чужую руку, но бежавший рядом с ней бородатый человек в темном плаще выхватил то, что держала эта рука, и прижал Милочке ко рту и носу. Дышать стало легче, и Милочка увидела, что это была разодранная ногтями половинка луковицы.

На подходе к воротам у Самиха тоже защипало в носу и в горле, и он с удовлетворением понял, что бежит не зря. Он выхватил из кармана красный платок и закрыл им рот и нос.

Когда упал первый камень, Ангелус уже выходил из ворот. Шедший неподалеку от него солдат охнул, схватился рукой за плечо, и сразу все сбилось в кучу, закрутилось, сверху летели камни, кто-то упал, неразборчиво зарычал мегафон, Ангелуса отнесло обратно к воротам, он пытался пробиться вперед, тут у него запершило в горле, защипало в носу и в глазах, ничего нельзя было разглядеть, щенок вывинтил голову из-под ворота куртки и, отчаянно чихая, рвался наружу, Ангелус пытался запихнуть его обратно, но мешала буханка, и щенок выкарабкался к нему на плечо. Ангелус удерживал его одной рукой, боясь, что он спрыгнет и его затопчут, а другой, не выпуская буханки, пытался пробиться вперед, прочь. Он оказался здесь случайно, это была не его схватка, не его война, ему было здесь не место, его место было там, наверху, на Масличной горе, в мирном теплом домике с милой женщиной...

Камень ударил щенка прямо по носу, морда сразу облилась кровью, и щенок, даже не пискнув, обмяк под рукой у Ангелуса. Ангелус прижался ухом к мягкому животу — сердце билось, но кровь текла сильно, много ли там этой крови, надо скорей к ветеринару или как-нибудь еще остановить. «Пустите, пустите!» — закричал Ангелус, и ближние, увидевшие кровь, немного раздались, но дальше опять шла толчея, Ангелус вытянул шею, ища просвета.

Он вытягивал голову и шею все выше, выше, и за шеей потянулось вверх все тело, Ангелус оттолкнулся ногами от земли, а рукой от соседних спин и плеч и приподнялся над толпой.

Низко над землей стелился едкий желтоватый туман, сквозь который свистели камни. Солдаты теснили толпу обратно в ворота, но Ангелус успел подняться над головами. «Куда, куда!» — крикнул ему один из солдат и попытался схватить его за ногу, но Ангелус оттолкнулся носком от его руки и поднялся выше.

Свободное пространство было совсем близко, за двумя рядами военных машин. Сбоку, со стороны мусульманского кладбища, на машины и на выпрыгивавших из них солдат валился град камней, в ответ им из толпы солдат затрещали выстрелы. Следовало подняться еще выше, чтобы перенестись через машины и не попасть под камни, но не хватало сил, мешала буханка, щенок неподвижно лежал на плече, на державшую его руку капала кровь, неужели он не успеет донести его до ветеринара. Ангелус завис над полупрозрачным облаком, которое медленно тянулось вниз, в долину, и увидел Милочку. Какой-то бородатый человек в темном плаще прижимал руку к лицу Милочки, а она вырывалась, пыталась идти против потока бегущих прочь людей.

— Милочка! — кричал Ангелус. — Милочка, уходи! Беги, Милочка!

Он увидел, как Милочка обеими руками вытерла глаза и обратила к нему невидящее лицо с широко открытым ртом.

— Где ты? Где ты-ы?! — не услышал, а догадался Ангелус.

Человек в темном плаще тоже поднял к нему залитое слезами лицо, и Ангелус узнал странного старика, который так поспешно убежал от него на мосту через Кедрон. Человек этот вскинул обе руки вверх, видно было, как открывается в крике обросший бородой рот, а затем, все так же вздевая руки к небу, рухнул на колени.

Ангелус не слышал его крика, но слышали окружавшие старика люди. Один, другой обернулся на бегу, глядя по направлению его взгляда.

Их примеру последовали еще несколько.

И еще.

По всему пространству перед воротами волной пошло равномерное движение. Солдаты, туристы, случайные прохожие, парни с камнями в руках на мусульманском кладбище один за другим поворачивались и начинали смотреть вверх, туда, куда указывали вздетые руки.

И останавливались.

Перестали летать камни. Замолкли выстрелы. Онемел мегафон. Застыли на месте бегущие люди. Порывом ветра отнесло в сторону вонючее облако. И стало тихо.

Ангелус знал, что надо немедленно спускаться. Но прямо под ним стоял крытый брезентом армейский грузовик, а вокруг него кучка задравших головы солдат с опущенными автоматами. Ангелус напряг плечи и колени и сделал рывок вперед, Милочка была совсем близко, теперь надо было только плавно опуститься, уже невысоко, не уронить хлеб в слякоть, все смотрят, это нехорошо, разговоры пойдут, но зато стрелять перестали... Из ворот — никто туда не смотрел, никто не заметил — вылетел небольшой ярко-красный сверток и, описав над толпой дугу, ударил Ангелуса сзади в выстриженную шею. На полдороге с него слетела красная тряпка и тут же была затоптана толпой.

Ангелусу показалось — как пчелиный укус, как странно, откуда сейчас пчелы, он хотел отмахнуться, но руки висели вдоль тела, хотел опереться хотя бы ногами на воздух, но воздух больше не держал его, воздуха вообще больше не было, щенок зашевелился и начал сползать на грудь, как бы не упал, дышать нечем, помогите, Милочка, помощи...

И Милочка успела, успела подбежать, и отец Джейкоб тоже, Ангелус упал прямо на их подставленные руки, и они упали все вместе, и громко завизжал придавленный их телами щенок.

\* \* \*

Ангелуса похоронили в родном городке, правда, не под той голубой елью, которую он себе выбрал, но близко. Приехал его брат Ринц и забрал тело и все прочее, что осталось от Ангелуса.

Милочка на похороны не ездила — никому и в голову не пришло ее позвать, ее не считали ни вдовой погибшего, ни даже его близкой подругой, друзьям она ничего не рассказывала, боясь сглазить, только Лариса Малышева ревниво догадывалась, но и она не знала, как далеко зашло у нее дело с Ангелусом. Знали, пожалуй, только монашки в русском монастыре, но молчали, хотя и осуждали. А у самого Ангелуса друзей близких не было, приятелей же, с момента знакомства с Милочкой, он видал редко и в личную свою жизнь не посвящал. Полиция тоже скоро оставила Милочку в покое.

На память об Ангелусе у нее остался только желтый щенок — это мне вместо ребенка, с горькой ухмылкой говорила себе Милочка. Разбитый нос у него скоро зажил, он отъелся и вырос в большого стройного пса, но не приручился, остался неласковый и пугливый, хотя Милочку за хозяйку признавал.

Когда улеглось немного первое возбуждение и первая скорбь, отец Джейкоб сказал себе со спокойствием, удивившим его самого, что он не знает — и никогда не узнает, — что это было, и кто это был, и какого искать в этом смысла. В одном он уверен, сказал он себе: после того, что произошло, евреи и арабы никогда больше не смогут, да и никто не сможет проливать кровь ради разрешения своих споров. Хотя средства массовой информации писали и говорили о событии мало и невнятно, отец Джейкоб не сомневался, что о нем очень скоро узнают везде и это произведет на всех потрясающее, очищающее действие. И в этом и заключается настоящий смысл чуда.

Однако шло время, в полиции расспросили отца Джейкоба всего один раз, все аккуратно записали и больше не вызывали. Разговоров о произошедшем он не слышал, так как мало с кем общался, в Вифании, где он жил, никто ничего не знал, а когда он попытался рассказывать, весь его непонятный рассказ вместе с выводами был воспринят соседями-арабами как еще одно доказательство его симпатии к евреям, в которой его и так давно подозревали.

Он разыскал Милочку, но она едва узнала его и разговаривать не могла. А когда, выждав немного, он пошел к ней снова, оказалось, что она там больше не живет и нового адреса не оставила.

Он долго не мог успокоиться, пошел-таки и на телевидение, и в две израильские газеты, и даже в одну арабскую, добился, чтобы его приняли. Везде его выслушивали на удивление вежливо, недоверия не выражали, отвечали успокоительно, но неопределенно, и последствий это никаких не имело.

Опубликована была стандартная официальная версия: во время беспорядков в Старом городе погиб от брошенного арабским террористом камня голландский гражданин Ангелус Ван Дюрен, ведется расследование. Что же касается беспорядков, то они, разумеется, по-прежнему возникали там и тогда, когда возникали к тому соответствующие предпосылки.

Дело в том, что, хотя чудо произошло на глазах множества людей, никакого документального свидетельства о нем не осталось. Находившиеся на месте телерепортеры рутинно снимали начальственный визит, а затем и стычку у Львиных ворот и, когда все замерло, направили свои видеокамеры туда, куда смотрели все. И глазами, естественно, увидели то, что видели все. Однако через видеокамеры не заметно было ничего из ряда вон

выходящего, получились просто кадры неподвижной толпы на фоне Львиных ворот, и только на одной кассете смутно мелькнуло в неразберихе что-то синее, тяжело падающее на головы.

Позже, разумеется, запечатлен был лежащий на грязном асфальте светловолосый человек, и его лицо с неподвижными голубыми глазами, и его откинута в сторону рука, выронившая буханку белого хлеба, и окровавленный длинноухий щенок на руках у полицейского, и молодая полная женщина, стоящая на четвереньках у тела, и коленопреклоненный бородастый старик, и кусок бетона с торчащим обрезком ржавого железного прута, — но как и откуда человек упал, из видеоматериала не было ясно, а значит, нечего было ни подтверждать, ни отрицать.

Свидетельства же очевидцев решено было считать следствием редчайшего оптического эффекта, возникшего в результате сочетания необычных атмосферных условий и действия слезоточивого газа.

\* \* \*

А Самих, по правде сказать, даже и не рассчитывал попасть в Ангелуса. Просто выглянул из ворот, готовый к действию и удивленный, что все вдруг затихло, увидел парящую над площадью фигуру ненавистного иностранца и, не раздумывая, обернул свой камень в платок, раскрутил, как пращу, и метнул. Когда же увидел, что попал и иностранец валится вниз, сразу сообразил, что дело плохо, и быстро убрался. Никто даже и не заметил, что это он метнул. И надо же, не такой уж и тяжелый был этот кусок бетона, а иностранец, оказывается, тут же и кончился. Наверно, концом прута задело. Даже жалко немного — он так занятно висел в воздухе, совсем как в кино. Вот бы узнать, как он это делал, что за трюк.

Было сильное искушение похвастаться перед приятелями, но благоразумие взяло верх. Виновного разыскивали, всех парней, бывших на кладбище, таскали в полицию, допрашивали, а его не тронули. Тем не менее на следующий же день Самих собрался, плюнул на недополученные деньги и уехал в деревню — как раз вовремя, к рождению четвертого сына. И что самое интересное, ему даже приятно стало, что у него столько детей. Молодец Наджда, что не послушалась, не перевязала трубы. Пусть рождает, пока рождается, тем более мальчиков. Теперь, пожалуй, можно бы и девочку сделать, в семье пригодится, — хотя мальчики, конечно, лучше, почетнее.



---

---

МИХАИЛ ПОЗДНЯЕВ

\*

## ПОГОДИ МИНУТКУ

### Односпальное

Когда вдруг один человек второму говорит под одеялом:  
«Нет, я не потяну!» — и резко отворачивается к стене,  
каждый из них остается наедине со своим идеалом  
и тянет-потянет одеяло на себя, спиной к спине,

тянет-потянет, согреться не может, силясь не соприкоснуться,  
будто за спиной раскаленные, оголенные провода,  
а за окном зима, и каждому скоро начинает казаться,  
что другой источает мертвецкий холод и что вся правота

за тобой, — и тогда один (или второй) должен сказать: «Из окон  
тянет мертвецким холодом!» — и во сне все теснее, теснее, тесне...  
прилепиться друг к другу, в одеяло закутываясь, как в кокон,  
из которого бабочка о двух крылах выпорхнет по весне.

### На годовщину 16 июля

Погоди, погоди минутку! Сейчас я  
попытаюсь выразиться понятней,  
сформулирую свою мысль яснее.  
Человек не кузнец, но кузнечик счастья:  
он сидит, согнув коленки, на травке,  
весь в зеленом, цветом сливаясь с нею,  
и не только цветом. Ползет по-над ней  
сероватое облачко вроде тряпки.

Его жизнь половинка на серединку,  
но сейчас нет счастливей его на свете,  
на груди расстегнутая рубаша  
припорошена тополиным пухом;  
что-нибудь из Моцарта или Баха —  
нет, из Шуберта! — он поет под сурдинку,  
ибо, как написано в Новом Завете  
от Матфея: «Блаженны нищие духом».

Ощущенья подопытного примата,  
нет, сильнее, кузнечика на травинке:  
человек с кузнечиком так похожи!



Человек встает, в лице ни кровинки.  
Сероватое облачко розовеет,  
ветерок с Камышинки-речки веет,  
пробегают гурьбой мурашки по коже.  
Счастья нет. Счастье здесь, где травка примята.

### Ты

Плачущая: «Зачем ты меня отпустил?»  
Плачущая: «Как смел ты меня впустить?»  
Ты, которую наконец я простил.  
Ты, которую мне предстоит простить.

Чем тебе теперь я помочь могу,  
в твоём горе выгоревший дотла?  
Чем помочь я тебе могу — ни гугу  
мне из города С. про свои дела?

Кто вам я — в делах твоих и в твоём  
горе луковом — труден вопрос весьма-с;  
разберитесь вы там, без меня, вдвоём,  
со своими любимыми, кто есмь аз;

ясно ведь, что аз есмь чужой, чужой,  
не такой, как он, не такой, как он, —  
медною мерцающий чешуей  
аспид, василиск, пернатый дракон,

третий лишний, пятый угол, щитом  
вам обеим служащий от темноты, —  
перед вами я виноват лишь в том,  
что тебя и тебя называю «Ты»,

«Ты» — не тыча — нежно вода перстом —  
не в кровавые язвы — но по груди  
и по животу — виноват я в том,  
что, куда ни пойду, впереди — гляди! —

плачущие вы человечки мои,  
раскрывающие под дождем зонты,  
слез горючих не прячущие — смотри! —  
в унисон повторяющие слово «Ты».

### Пляшущая в темноте

Тихая девственница в инвалидной коляске,  
втайне молившаяся не о мужеской ласке —  
плодоношенья алкавшая, деторожденья,  
нет, не животные братья твои, но растенья,  
да и не меньшие — старшие мудрые братья:  
сызмальства носят они погребальные платья.

В те три июньские вечера, что мы смотрели  
«Пляшущую в темноте», — под землю, в костре ли  
тысячи тел осиянных, тянувшихся к свету  
тьмой облеклись. Но я верю, тебя с ними нету,

как и потерянного мною сына, — я верю:  
вы с ним ушли на тот свет потаенною дверью,

вы с ним кладбищенской глиной укрылись для вида.  
Вика, я верю словам псалмопевца Давида:  
не до конца погибает терпенье убогих —  
мертворожденных, слепых, слабоумных, безногих.  
Их настоящая жизнь — после смерти, незримо,  
но ощутимо течет, наподобье Гольфстрима.

В те три июньские вечера, плача: «О Боже,  
как же она, эта Бьорк, на Вику похожа!» —  
«стой» нажимала подружка. И я, утешая  
плачущую в темноте, ощущал, что чужая,  
прежде неведомая, ты все ближе и ближе.  
Быть по-другому возможно ли? О, николиже.

Вика, мы ближе и ближе к тебе понемногу.  
Смерть не стоит впереди, но бежит с нами в ногу.  
Вика, я вижу так ясно ту вашу прогулку  
к Волге, по круто летящему вниз переулку, —  
как понесло колесницу твою, и возница,  
наша с тобою подружка — во сне не приснится! —

некой нездешнею силой ее развернула  
резко за миг до падения... Ты не моргнула  
глазом, не вздрогнула, не повела даже бровью.  
Ты захлебнулась в больнице не кровью — любовью  
переизбыточной в мире расчетливом этом.  
Тот, кто любовью исходит, зовется поэтом.

Вот отчего был тобой от руки переписан  
«Демон». Одета ныне в порфиру и виссон,  
сидя уже не в коляске своей, а на троне,  
Вика, ты с нами не чуждою, не посторонней  
тенью присутствуешь, но соучастницей, иже  
с кроткой улыбкой следит, как все ближе и ближе

делаются две души посторонних, два тела,  
жизнь прожигавшие врозь. Ты на троне сидела  
с нами, когда, наконец посмотрев окончанье  
фильма печального, выключив свет, от отчаянья  
иль преизбытка любви начала она — Боже! —  
быстро кружиться...

И я, задыхавшийся, лежа  
на животе, уперев подбородок в подушку,  
завороженно, блаженно взирал на подружку,  
пляшущую в темноте.

### На Страстной. Выдержка

Бог умрет. На сей счет последних сомнений  
не осталось вечером в Понедельник,  
в ту минуту, когда, попросив: «Ты мне не  
звони до праздника», — твой подельник

телефонную трубку с таким повесил  
облегченьем, с каким умывают руки  
палачи поневоле, — почти что весел  
и нисколько не подозревая о муке

предстоящих дней. И во вторник было  
еще чувство, что сделано все как надо,  
но уже в среду вечером то знобило,  
то бросало в жар, всю ночь из окна то

запьянцовские долетали песни,  
то далекие петушинные всхлипы.  
До утра шепча: «Воскресни, воскресни!» —  
я воображал, как легко могли бы,

трубку сняв, мы забыть о нашем обете  
немоты и — хотя бы заочно — кофе,  
поболтав, испить... Но в меркнувшем свете  
началось уже восхождение к Голгофе.

И когда я в пятницу на колени  
перед Плащаницею опустился,  
помышлений не было ни о зле, ни  
об аде — но лишь о том, что простился

в понедельник с жизнью, что Бога нету,  
что Его в могиле сырой зарыли.  
Я въезжал в субботу в истину эту,  
как и в то, что последний раз говорили

мы с тобой в понедельник, — до острой рези  
во всем теле, будто был в мясорубке...  
Но уже долетало «Христос воскрес!»  
с того света из телефонной трубки.



---

---

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ

\*

## ПАРАД ОБЛАКОВ

*Рассказы из летней тетради*

### «МЫ С ТОБОЙ ОТВОРИЛИ КАЛИТКУ...»

*Светлой памяти Ольги Покровской,  
детского врача из Вологды.*

**И**а чердаке живут голуби, воробьи и ласточки, а пониже мы, все остальные: дети, старики, летние гости... А еще пониже, в конурах и сараюшках, братья меньшие: собаки, кошки, кролики, черепахи, курицы, ежи... Ноев ковчег нашего двора.

Я лежу на теплой крыше сарайки и смотрю на паучка. По невидимой мне паутине он деловито прошмыгнул мимо моего носа и полез дальше, в небо, исчез из виду. Тогда я решил, что буду принимать парад облаков. Они как раз выстроились надо мной по ранжиру. Первым наплывает облако, похожее на грозную крепость. Такое огромное, что оно вряд ли вошло бы на самую большую площадь нашего города. За ним почтительно следуют облака поменьше, мирные медлительные толстяки. Одно растрепанное маленькое облако и вовсе, похоже, ничего не знает про парад, летит совсем низко, каким-то своим курсом. Неожиданно от него отрывается клочок, пушинка и довольно быстро несется к земле. Я тоже прыгаю на землю и бегу ловить облачный клочок. Оказалось — перышко. Лебединое или гусиное; такое белое, что я не смею его выбросить, прячу в карман.

Вдруг жалобно скрипнула и распахнулась калитка. Кто там? Просто ветер.

Когда-то о нашей калитке написал стихи Фет. Конечно, Афанасий Афанасьевич писал о своей калитке и о своем. Но сейчас я вижу перед глазами нашу. И двор очень похож.

В темноте, на треножнике ярком  
Мать варила черешни вдали...  
Мы с тобой отворили калитку  
И по темной аллее пошли.

Шли мы розно. Прохлада ночная  
Широко между нами плыла,  
Я боялся, чтоб в помысле смелом  
Ты меня упрекнуть не могла...

В нашем дворе не варили черешню, она у нас не росла. И аллеи за калиткой не было, а только две липы в саду, яблоня, рябина да куст бузины. Но запах остывающего варенья, синий дымок, лесная прохлада, наполняющая в сумерки низину с огородами... Тепло и шероховатость серой ще-

---

Шеваров Дмитрий Геннадьевич родился в 1962 году. Окончил Уральский государственный университет. Печатался в журналах «Новый мир», «Смена», «Урал». Живет в Подмосковье.

колды. Остывающая пыльная тропинка... Это все наш двор. И первое чувство, и растворенность в нем всего мира, и боязнь немого упрека любимых глаз, и страх уединения, и желание его...

Как мне сейчас очевидно главное достоинство нашего двора: *избавленность* от чужих глаз. Дощатый забор, длинные сараи и заросли крапивы у канавки-речки закрывали нас от взглядов прохожих. Калитки же не запирались наглухо, вертушки-щеколды были лишь там, где обитала одна семья. А в нашем дворе жили пятнадцать семей, и хотя сплошь старики да дети, но вот никого не боялись. Только вечером старики просили меня или кого-то из ребят прикрыть калитку плотно — на ночь. Так им было спокойнее уходить со двора.

Помнится, Лаврецкий в «Дворянском гнезде» после объяснения с Лизой обнаруживает закрытую на ночь калитку, ему непривычно, что она закрыта, он секунду медлит, а потом как мальчишка перемахивает через нее. Забор вокруг усадьбы Лизы Калитиной был границей между счастьем и несчастьем. Между миром покорности, любви, домашнего света и стихией своеволия, страсти, неприкаянности.

Но вернуться от Лизы к калитке нашего детства. Когда мы были совсем маленькими, калиток во дворе было целых три — одна садовая, другая, самая хлипкая, — огородная и главная — та, что глядела на улицу. Потом осталась одна, уличная.

Сейчас даже в тихих провинциальных городках калитки и ворота часто вышиблены или повалены, дворы продуваются всеми ветрами и дети вместе с мячами выкатываются на неухоженные пыльные улицы. В начале же семидесятых, когда пятиэтажки еще выглядели безголовыми (ведь у них не было ни покатых крыш, ни мансард, ни печных труб с затейливыми дымниками), проходные дворы в наших северных краях тоже казались диковинкой. Их первое время как-то стыдились, пытались огородить штакетниками, занавесить бельем, засадить кустами, окружить палисадниками. А потом на помощь пришло время — деревья разрослись, опять вылезли как из-под земли курятники, сараи, голубятни, и люди как-то утешились.

...Наша уличная калитка крепко сбита, и мы часто катаемся на ней. Интересно обозревать улицу и одновременно плыть в воздухе. Похоже на капитанский мостик. Чужая жизнь ударяет в калитку, как девятый вал, но не может ее одолеть. Впрочем, какой в нашем сухопутном городке девятый вал! Так, легкое волнение. Задремавший на ходу пьяница по ошибке ввалится во двор или цыганка с ребенком забредет ночью, чтобы устроиться до утра на широкой скамейке под липами. Но то бывает редко, и по ночам во двор заходит только дождь.

Две капли брызнули в стекло,  
От лип душистых медом тянет,  
И что-то к саду подошло,  
По свежим листьям барабанит...

Как замечательно у Фета это «что-то» — отзвук младенческого неведения, беспомощности, того счастья, что только еле слышно лепечет. Маленькие дети только молчат, смеются и плачут. Они пришли из другого мира, где нет необходимости в названиях и вообще в словах. С детского неумения *называть* — с этого и начинается поэзия. Фет не называет, но мы слышим, как он, дождь, идет... И мы видим себя, маленьких, изгнанных со двора ливнем и прильнувших к окну. Как долго, оказывается, можно смотреть в окно. Какое счастье видеть со второго этажа понурые сараи, забор с грустными подтеками, калитку, а за ней — весь наш город. Весь наш маленький город в авоське дождя.

Почему душа тянется именно к этим дням, не принимая расстояния, не понимая, что такое прошлое, не зная, что такое «навсегда»?.. И кажет-

ся, что можно вернуться, стоит только купить билет, сесть в поезд, приехать к вечеру, в закатный час, и, не дойдя до калитки, перемахнуть через забор и всех-всех еще застать во дворе. Соседку Клавдию Павловну с бабушкой — на скамейке под липой, малышню — в песочнице, а наших ребят — в беготне или посиделках....

Вот бегут Маришка с Жанной — неразлучные подружки по коммуналке. За ними — длиненькая Ира с сестренкой-златовлаской Илоной. Добродушный рыжий Сережка с драчливым и даже кусачим братом Валеркой. Великовозрастный Женька, как всегда, возится с мопедом. А Лариса, худышка-тростиночка, ветром носимая, сидит на качелях с куклой. Степенно идет мне навстречу Мишка — мученик скрипки, пародист, наш Райкин и Хазанов в одном лице, заводила, он так легко мной помыкает, что я сам удивляюсь. «Командир! — восхищенно говорит о нем моя бабушка. — Непременно в генералы выйдет...»

Крупные Мишкины буквы приедут ко мне зимой почтовым вагоном, когда я буду уже далеко, на Урале.

«...Как ты живешь? Я живу хорошо. Очень по тебе скучаю. Я уже накопил 196 марок и 72 значка. Твои старики живут хорошо, бабушка посадила тюльпаны. У нас телевизор показывает три программы...»

«...Штаб в сарайке Жени. Ребята надежные. Велосипед у нас есть. Пароль есть. Пришли, если можно, красную материю...»

«...Меня выписали! Конечно, в больнице было скучно. А уж Новый год я буду справлять дома. Нос, как ты сказал, я держу морковкой. Не волнуйся, летом я никуда не поеду. Привет тебе от всех. Твой друг и товарищ Миша».

«...С Лешкой я не дерусь. С Лешкой я дружу. Флага уже нету. Привет тебе от меня, Марины, Жанны, Иры...»

Когда у Мишки тяжело заболела бабушка, мои старики взяли Мишку к себе, и он спал у нас на диване в большой комнате. Вероятно, эти дни особенно сдружили нас, так что мы с трудом потом расставались. Однажды нам удалось установить радиосвязь между нашими квартирами благодаря подаренной мне детской радиостанции. Перед сном мы всегда переговаривались. И казалось, что никакая земная причина не может нарушить нашей дружбы.

«...Я по тебе очень-очень скучаю! Без тебя даже гулять скучно! Седьмого ноября у нас во дворе будет концерт. Привет тебе от меня. От Жанны, Марины, Иры и Илоны. Ну вот, пожалуй, и все. Твой друг Миша».

Одуванчики после дождя похожи на мокрых серых котят. Тоненько зашипела отсыревшая спичка. Огонь лизнул газету, она послушно занялась. Все склонились над очагом, устроенным из старой дырявой кастрюли. На крышу осыпаются капли, с шорохом облетают по листьям бузины, а мы сидим в нашем доме, устроенном между забором и старой рябиной. Утлый домик изхлама. Ничего на свете нет лучше того, как сидеть на корточках вокруг огня, тесно-тесно прижавшись — так, что Маришкин мокрый локон я чувствую у себя на щеке... И напрасно Маришкина мама кричит в форточку: «Где тебя носит, бедовая?..»

«...У меня ангина. Вот понимаешь, у человека ничего не болит, а надо сидеть дома... Тебе, наверное, Мишка писал, что домик, который вы строили, сломали, все доски, которые ты с большим трудом таскал, соседи взяли на парники. Если надумаешь приехать, так Мишке ничего не пиши об этом. Сделай ему сюрприз. Вот представь: утром ты заходишь за Мишкой, он открывает дверь, а на пороге — ты. Тут трудно представить, что бы с ним было. Он ведь тебя знаешь как ждет летом. Ты мне напиши. Ведь если все соберутся, будет очень весело... Марина».

«...Времени у меня тоже очень мало, и поэтому мне даже не хватает времени вовремя ответить на твое письмо. У нас тоже в субботу был вечер „Осенний бал“. Меня еще выбрали в радиопункт комментатором. По воскресеньям радиоточки проверяем. То включим очень тихо, то очень гром-

ко, вот и бегаешь... У нас на реке уже лед. Навигация закончилась, река встала. Снег уже выпадал, но все тает. Выпал ли у тебя снег? Марина».

«...Почему не пишешь? Мишке написал два письма, а мне — ни одного. Мишка стал ужасным психологом. Очень неуравновешенный. Это письмо я тебе пишу вечером. Даже Ларисе ты и то написал, а мне обещал писать и не пишешь. Когда ты приедешь? Если можешь, то приезжай осенью, зимой, весной и, естественно, летом. Если не можешь приехать осенью и весной, то приезжай зимой и летом. Сегодня мы отрясли яблоню с китайскими яблоками. Привет тебе от Чижика. Коловорот я так и нешла. Ну, до свидания. Марина и Чижик».

Недавно я нашел фотографии того лета. По дате на обратной стороне понял внезапно, что прошло *тридцать* лет. Такого быть не может, но семьдесят третий год был и правда тридцать лет назад. Тридцать лет с тех минут, когда мы все уселись на тележку и Сережка с грохотом помчал нас по двору...

А вечером мы сидим все вместе на скамейке или на *заплате*. (Заборы у нас звали заплатами. По этому слову чувствуется, что заборы в нашем городе тянулись к воде. Ветхие темные доски, источенные дождями, весной иногда сползали в воду и становились плотами.) Набегались до угорелости. Я, Мишка и тоненькая, как балерина, Лариса. Болтаем ногами, стучим по доскам. Не заметили, как солнце спряталось за тополя, за нашу школу, окатило жаром окрестные окна и скрылось.

Ночные облака дымкой потянулись от горизонта. Светлый вечер и светлая будет ночь. Вон кто-то бродит по мягкому небу, и даже видно его круглые пятки.

Нет, ничего не может быть лучше северных летних сумерек, когда откуда вдруг потянет овражной сыростью, а ты сиди себе на здоровье на заплате и гляди сверху по сторонам, напевай песню или прикидывай, куда лучше завтра отправиться — на речку или в кино. В ДК железнодорожников идут «Приключения желтого чемоданчика». Самый летний фильм. (Я не видел его долго-долго. А недавно посмотрел с детьми и поразился — как же я так долго жил без него? Как хороши там Лебедев, Пельтцер! А Тома — девочка, которая не смеялась! Как она мне нравилась! Нежное, прекрасное — вот именно моего детства — лицо...)

Прохлада веет, прибывает, приятно холодит лоб и разбитые коленки. Окна в доме желтеют одно за другим. Мы считаем все окна в нашем доме. Если смотреть со двора, то получается двадцать одно, а если пересчитать со всех сторон, то сорок восемь. Наш дом очень нравится мне. Особенно когда горят окна и видно, как люди бродят бесплотными легкими силуэтами.

Но вот бабушка зовет, и надо идти. Спрыгнешь с забора, прощально посмотришь на небо, распахнувшее свой необъятный ларец, и захолонит сердце от круженья над головой свежих звезд, их зеленоватого мерцания. Страшной далекостью повеет, непостижимой огромностью. И взору не оторваться. Так и идешь к подъезду, задрал голову к небу и спотыкаясь у мостков на пути, знакомом до каждой травинки и досочки...

А на другой день в небе снова бродит свет, снова обманчиво светло до полуночи, и мы бегаем в горячке игры, погони, азарта.

Иногда я замечаю, что бабушка выглядывает в открытое окно, но не зовет меня, а, задумчиво подперев рукой голову, смотрит, как мы играем. О чем она думает? Свое ли тобольское сиротское детство вспоминает, когда бегала с подружками к высокому забору из свежих досок — в щелку посмотреть на девочке-княжон, ангельски прекрасных, и на человека, которого взрослые еще недавно звали царем, а теперь зовут виновником всех своих бед, — он сосредоточенно и умело рубит дрова...

Я прячусь за углом нашего дома, сижу на корточках. Вдруг на меня падают быстрые капли. Поднимаю голову: из открытого окна на первом этаже на меня смотрит незнакомая девушка. Она расчесывает длинные мок-

рые волосы и улыбается, разглядывая меня. Чего смешного? Я поднимаюсь, отряхиваю шорты. Девушка тихонько поет:

Где ты раньше был,  
Целовался с кем?..

Я убегаю и долго-долго мчусь по нашей улице, до самого светофора, который тревожно мигает желтым. Если еще один квартал пробежать, то можно оказаться на вокзале, откуда уходят поезда на Воркуту, Архангельск, Мурманск...

Каждое лето начиналось с мирного присоединения к нашим владениям соседних территорий. Как неаполитанцы (по наблюдению Павла Муратова), мы считали «своим все, что доступно взору». Чем старше мы становились, тем сильнее тянуло нас в странствия. И наши игры включали в себя уже два соседних двора, а потом и всю улицу, вплоть до парка железнодорожников. Мы снаряжали колониальные экспедиции по реке Золотухе, вдоль которой были такие дебри, что могли сравниться по своей непроходимости с джунглями Амазонки.

Соседка под липами рассказывает: «Мы тогда с Ваней на голубчике катались...» Я это на бегу слышу и еще успеваю удивиться: как это можно на голубчике кататься? Бабушка меня иногда голубчиком зовет... Надо спросить у нее, что это за голубчик, на котором катаются. Но — вылетело, забылось, не спросил. Недавно узнал: «голубчиками» звали пароходы Мариинской системы.

Уезжая, я просил бабушку писать мне обо всех дворовых новостях, и в каждом письме она находила, что мне сообщить. Иногда среди старых бумаг мне встречаются еще не успевшие пожелтеть листочки с карандашным кружевом бабушкиного почерка.

«...У нас у сарайки дверь совсем занесло снегом — не убираем. Ходить туда незачем. Посреди двора Миша с ребятами дочиста расчистили и играют в хоккей... У Миши нынче опять шапку утащили. Тебе все интересно про двор, вот я и пишу тебе всю мелочь и ерунду, может...»

«...Миша, Марина, Рита и Женя сегодня устраивали во дворе концерт. Приглашали всех взрослых. Я тоже была, хороший концерт у них получился, особенно хорошо Миша говорил стихотворения. Одно большое на память говорил про Бородино, второе про маму. Рита даже на английском языке говорила стихотворение. Потом песни пели, кукольный театр был и даже физкультурные номера...»

«...Женька все утепляет ваш домик, все щели ватой затыкал, кошмой и соломенными матами все стены покрыл, а Мария Константиновна возмущается. Вообще-то плохо, если зажгут там огонь — все может вспыхнуть... Мише передала от тебя письмо — он как раз пришел со всеми девчатами просить у нашего дедушки макулатуру. Миша очень обрадовался, девчонки тоже запрыгали, завизжали и остались на площадке читать коллективно...»

«...На дворе у нас старших ребят не видно. Учатся — некогда. А Лариса гуляет, сегодня про тебя спрашивала — когда приедешь? Такая хорошая девочка, увидит меня — так и подбегает здороваться. В садике уже начала яблоня цвести, на днях тюльпаны распускаются. Во дворе у нас чистота и порядок, за каждой бумажкой домком бегают. А Мишку продолжают пилить на все лады. Я, сколько могу, за него стою...»

«...На днях дедушка нашел письмо, которое ты посылал с нами ребятам. Мы его отдали Мише. И еще одна находка — я хлопала твое старое пальтишко и в кармане обнаружила перочинный ножичек. Помнишь, ты его потерял? Думали, что упал где-то на мостки и завалился в щелку. Ножичек весь заржавел. И еще там лежал чертеж (я его прилагаю) и еще разное барахло...»



Прочитал это письмо, и вспомнилась та доисторическая эпоха, когда вместо асфальта от калитки к подъезду вели деревянные мостки. Отполированные ногами и дождями доски пахли солнцем. По ним хорошо идти босиком — доски отвечают на твои легкие шаги, покачивают дружески, будто ты на палубе.

Помню день, когда утром пришли рабочие и стали ломать, разбирать мостки и под ними открылись несметные сокровища: монетки, пуговицы, колечки, оброненные когда-то в щелки между досками. Потом приехал каток, привезли горячий асфальт. Мы норовим ухватить горсточку асфальта и, обжигаясь, пытаемся скатать в руке черный шар. На ночь каток остается во дворе, и мы по очереди восседаем на черном пружинистом кресле водителя, дергаем ручки и нажимаем на педали. Каток, к счастью, не двигается, дремлет, как слон.

Незнакомая старушка заглядывает во двор: «У вас журнал „Огонек“ дают почитать?»

— У нас, у нас! — радостно откликаемся мы и бежим к дедушкиному сараю. Там летом открывалась дворовая библиотека, очевидно, единственная в своем роде в нашем городе, а может быть, и во всем Советском Союзе. Она возникла в то утро, когда в поисках макулатуры для школы мы с Мишкой и Сережкой позвонили в очередную квартиру. Хозяин — высокий парень — доброжелательно поглядел на нас, а потом открыл сундук в коридоре, и мы ахнули. Сундук был полон удивительно красивых, ну просто новеньких журналов. Каких тут только не было! «Советский Союз», «Искусство», «Архитектура», «Вокруг света», даже «Корея» и «Албания»... «И все это нам?» — завопили мы восхищенно. «Вам...» Мы схватили каждый кто сколько может унести. И полетели вниз по лестнице. Сразу, на ходу мы решили, что такую красоту невозможно отдать в макулатуру. У нас будет библиотека!

До нашего двора был целый квартал, и после двух-трех пробежек от владельца журналов и обратно мы запыхались и решили трубить общий сбор. Мишка побежал за ребятами с нашего двора, а Сережка — за своим младшим братом Валеркой. В конце концов нас собралось человек двенадцать. Одни спускали журналы во двор, другие тащили их к забору, третьи сидели на заборе и передавали пачки на улицу, где четвертые принимали ценный груз, а пятые тащили его к нашему двору...

На другой день над нашей сарайкой появилась табличка «Библиотека им. А. Пушкина», рядом были сколочены стол и скамейка, а вечером не было отбоя от читателей. Вскоре нам пришлось завести настоящие формуляры — приходили не только соседи, но и почти незнакомые люди из окрестных дворов.

Иногда взрослые с радостью принимали участие в наших играх и делах. (Все они гораздо лучше ладили с нами, чем между собой.) Дядя Саша, умница, математик, кандидат, а потом и доктор наук, — он был, кажется, доволен, что мы зовем его Шуриком. Без него мы не мыслили наши бадминтонные и шахматные турниры. К нему шли с поломанным велосипедом, и он, откладывая все свои дела, чинил... А сколько счастья было, когда он давал покататься на стареньком, но скоростном «Спутнике».

Еще помню наш маленький сад, где росла всего одна молодая яблоня, и обычно к концу лета на ней оставалось одно-единственное яблоко. Белый налив. Всем двором ходили вокруг него и сторожили, чтобы никто раньше времени не сорвал. В конце августа ветка с яблоком опускалась, и мы, дети, уже могли дотянуться до него. И вот тогда, в один из вечеров, взрослые и дети собирались на скамейке и после недолгих прений решали, что яблоко пора сорвать.

Моей бабушке доверяли поделить яблоко поровну, мы торжественно всей гурьбой несли его в дом, и бабушка делила столовым ножиком на

пять долек: Мишке, Маринке, Ире, Илонке и мне. Терпко-холодная, кисловатая долька.

Вчера нам привезли полмашины березовых дров. А кажется, что целая машина. Дрова заняли весь двор. Пахнет разогретой опушкой и грибами. Каждый вечер мы с дедушкой колем дрова. У нас самая обычная двуручная пила и самый обычный топор.

За соседским забором, на зависть нам, повизгивает и дымит мотоциклетным дымом пила «Дружба». Истошно хрюкнув, она отваливается от бревна, неохотно замолкает, и тогда слышны позывные «Маяка», лопотанные новостей. Отчего-то хочется, чтобы и эти позывные, и этот голос про погоду слышались всегда.

«На Кольском полуострове возможен мокрый снег...» — а ты босиком стоишь и палкой чертишь круг на утопанной земле. Придет Серега — будем играть в ножички. Муравей дополз до коленки и щекочется.

...Когда я еду на поезде, минуя небольшие станции и маленькие городки, то всегда провожаю взглядом дощатые серые заборы, покосившиеся деревянные ворота, повисшие на одной петле калитки. И, заприметив за ними взлетающий мяч, представляю, как там, за тополями и заборами, еще таятся дворы и под их защитой проходит чье-то детство.

## ДЯДЯ ЛЕЛЯ

Мне было лет пять или шесть, когда мы приехали в Свердловск и пошли в гости к дяде Алеше и тете Кате на улицу Декабристов. Стояло лето, в доме были распахнуты окна, и со двора доносились, как прибой, детские голоса и ропот старых деревьев.

Бабушкин брат дядя Алеша — седой, даже серебряный, но с совершенно мальчишескими глазами, веселый. Он не спрашивает меня, как другие взрослые, кем я буду, когда вырасту, хочу ли я в школу и кого я больше люблю.

Домашние чаще всего звали его Лелей, а я соответственно — дядей Лелей. Пока он был жив, казалось, что семья наша очень большая. Он умер, когда я был в первом классе. Но сейчас не об этом. Для меня сейчас все живы, все беспечальны. И все вместе кружатся вокруг меня, и я принимаю это кружение за что-то вечное.

Дядя Леля был первым и последним автомобилистом в нашей семье и любил свою машину так, как сильные и добрые мужчины любят слабых и нежных женщин.

У дяди Лели был «Москвич» (как я сейчас догадываюсь — «Москвич-407»), той давно утраченной автомобилестроением простодушной формы, которая внушала одновременно уверенность водителю, счастливую сонливость пассажирам и спокойствие пешеходам. На «Москвиче» будто было написано, что ничего плохого он причинить не может.

Открывались железные створки гаража, и из темноты выплывал светлый «Москвич». В машине — уютно, как в бабушкином гардеробе. Когда дома мы играли с Мишкой в прятки, я забирался в гардероб и сидел там, затаившись, под платьями, среди коробок. Нет, в машине лучше... Я бы хотел жить в машине.

Мы едем на дачу. Вырываемся за город. Сворачиваем с трассы на какую-то ухабистую дорожку, которая идет прямо через поле, и начинаем подпрыгивать, качаться, перекачываться, как будто нас готовят в космонавты. Дядя Леля говорит: «Потерпите, сейчас приедем...» А мне очень даже нравится, что нас так мотает и меня, как мячик, подбрасывает до потолка.

...Когда мы въехали в ворота дачного поселка и вышли на траву, я еще некоторое время не мог опомниться от этой поездки. Меня обняла про-

хлада, чуть сыроватый, огуречный запах огородов, млевших после вечернего полива.

Было слышно, как жужжит одинокий маленький кукурузник. Тропинки уходили во все стороны, и по одной из них меня повели. Вокруг был густой, как лес, малинник. За огромной железной бочкой открылся небольшой дощатый домик. Дача. Я раньше только слышал о том, что есть такое райское место на свете и взрослые его называют «дача».

Прямо на улице стояла печка с трубой, похожая на избушку с курьими ножками.

Нам с бабушкой отвели дальнюю тенистую веранду в глубине дома. Бабушка не выносила духоты и готова была лучше терпеть холод. Мы спали на широком сундуке — бабушка с краю, а я у стенки. Ночи стояли прохладные, и сверху бабушка наваливала на меня, кроме одеял, старый военный полушубок, на плечах у которого светлели полоски от погон и торчали обрывки суровых ниток.

Утро рано приходило на веранду, я просыпался от света, льющегося сквозь марлевые занавески. Выбраться самостоятельно из-под груды наваленных вещей мне было трудно, да и бабушку не хотелось будить, поэтому я разглядывал потолок, крашенный когда-то белой краской, но облупившийся так интересно, что представлялась карта с очертаниями сказочных материков. Неповторимый хлохтающий звук — заводят мотор. Хлопок автомобильной дверцы. Скрип деревянных ворот. «Как — без меня уезжают?!» Я сразу представил, как обожаемую мной машину завели без меня и я не увижу, как, слегка переваливаясь, она выезжает на проселок... Пусть меня не берут с собой, но я должен хотя бы увидеть, как она поедет, оставляя за собой восхитительное облачко дорожной пыли.

Я мгновенно выскочил из своей берлоги и по холодным доскам бросился с веранды в дом. Одни двери, другие... Я вылетаю на крыльцо, только что вымытое тетей Катей... В первую секунду ничего не вижу, слепну от хлынувшего света, протираю глаза. Машина выкатилась за ворота, но пока не едет, урчит, как послушный домашний зверь. Солнце играет на ее боку, стеклах, фарах, багажнике... «Возьмите меня!» — кричу я, хотя не вижу вокруг себя никого. Но вот дядя Леля опускает стекло и выглядывает из машины, смеется: «Собирайся по-солдатски! Поедем хлеба купим к завтраку...»

Я убегаю на веранду, ищу штаны. Такая досада — штанов нигде нет. Бабушка имеет обыкновение стирать их в самый неподходящий момент. Я снова перелетаю через порог на крыльцо и нахожу их на веревке во дворе, отрываю вместе с прищепками, натягиваю еще влажные...

За ночь на машину пала роса, или дядя Леля окатил ее водой. Капли на стекле, на капоте. Что-то боевое, храброе есть в хлопанье дверцы, в том, как мы переглянулись с дядей Лелей... Мы летим по пустой проселочной дороге, за нами вьется пыль, а в открытые окна врывается утренняя свежесть. Я сижу рядом с дядей Лелей, на почетном месте, а потом он сажает меня еще на более почетное — себе на колени и дает мне подержаться за руль, сделанный будто из слоновой кости, — матовый, полированный. Как я люблю дядю Алешу в этот момент! От восторга я только иногда вскрикиваю, дядя Леля смеется, ветер забирается ко мне под рубашку, и она надувается пузырем.

А вечером за дачным поселком золотится сосновый бор. В сухой траве, на взгорке, мы с бабушкой собираем землянику. С каким-то новым чувством я оглядываюсь на проселочную дорогу, чуть видную в поле, на весь этот длинный-длинный день. Я хочу вспомнить, когда же было утро, и не могу.

Длинные тени от сосен легли на дачный забор. А за ним — голоса, звякание ведер, у кого-то яичница шкварчит и вкусные дымки плывут. Завтра с дядей Лелей мы снова поедем за хлебом и пряниками.

## СОКОЛИКИ

Поехали мы недавно за город на электричке. Очень медленная нам попала электричка. Ползет еле-еле. Все измаялись — и молодые и старые, а особенно дети. Жарко ведь к тому же.

Против меня на лавке сидел молодой мужчина с двумя мальчиками лет пяти-шести. Мальчики серьезные, а папа у них веселый. Лицо у него тонкое, симпатичное, глаза насмешливые и очень добрые.

Одного мальчика, как я понял, звали Севой, а другого Мишей. На Севке была футболка с оранжевым утенком, внизу она немного задралась, и стала видна детсадовская нашивка — такие и в наше время делали, чтобы дети не перепутали свои вещи, а воспитатели не перепутали детей. На нашивке почему-то было написано «Вишнякова Света». Севка играл в полицейского и время от времени спрашивал папу:

— Ты меня боишься?

— Не боюсь.

— А ты бойся!

И Севка махал перед носом у папы сложенным вдвое тетрадным листком, на котором было написано нечто угрожающее: «POLICI Французский паспорт. БОН ЖУР МОПЕЛЬ».

А Мишка вяло листал книжку «Приключения супергероев», сосал бутылку с пепси-колой, смотрел в окно, иногда бормоча: «Хотя бы одна людишка...» Людей за окном мелькало много, особенно на станциях, но Мишка высматривал кого-то одного ему известного.

— Ты должен от меня улетать, — уговаривал Севка отца, — ну, доставай свои раскладные крылья!

В вагон зашел продавец и стал предлагать средства от плодоярки и дымовые шашки «Гром-2». Все, кто спал, проснулись и стали покупать и шашки, и яд для плодоярок. Тетенька, что сидела рядом и читала «Тайну завещания Савелия Крамарова», отложила газету и потянулась к продавцу: «И мне, и мне от плодоярки!»

Вслед за продавцом в вагон зашел парень в кепке и с гитарой. Он стал отчаянно бить по струнам и кричать: «Подем, подем, подем, белым-белым подем дым! Волос был чернее смолы, стал седым!..» Потом парень снял кепку и пошел с ней по вагону. Видно, что он и правда почти седой, и многие, кто это заметил, кидали в кепку копеечки. Папа дал Севке монетку, и он тоже бросил ее в кепку.

Тут мы заметили, что поезд никуда не идет, а стоит где-то на глухой станции. И стало так жарко, что Мишка уже вовсе не отрывался от своей пепси-колы. Севка прикорнул у отца на коленях. Отец дунул Севке в ухо и мечтательно сказал:

— Как приедем — так в баню. Тебя мама хлоп — и в тазик!..

Севка сморщился, как старичок:

— Не хочу в баню!..

— И правильно, — поддержал я вдруг Севку, — и так жарко, а вы про баню, про тазики. Даже слушать неприятно...

Севка с отцом засмеялись, а я обрадовался, что мы наконец познакомились.

От жары или еще отчего-то у старушки из сумки уполз котенок, совсем маленький. Севка подхватил котенка и отдал хозяйке, которая уже обнаружила пропажу и беспомощно шарила в сумке.

— Откуда вы такие хорошие? — спросила старушка, принимая котенка.

— Мы-то? — переспросил Севка. — Мы — соколики...

— Из Сокольников, — поправил отец.

Старушка не расслышала:

— Спасибо, соколики, спасибо, родные...

А электричка-то стоит, не шевелится. У сарайчатого домика станции паслась лошадь, и мы с Мишкой внимательно на нее глядели. Лошадь довольно близко подошла к нашему вагону и даже один раз посмотрела на нас огромными прохладными глазами.

— Ничего себе! — сказал Мишка и толкнул в бок Севку. — Гляди, смотрит...

Севка хмыкнул:

— Деревня ты, Мишка, лошадей, что ли, не видел?..

Почему-то захотелось вспомнить: а когда я впервые увидел лошадь? Удивился ли я тогда, как Мишка? Это же красота какая — лошадь...

Зашла контролер, все загалдели на нее — почему, мол, стоим, график нарушаем. Она объясняет:

— Шпалы меняют, ремонт пути...

Тут все взрослые разволновались, и я разволновался:

— Нашли время менять шпалы!.. Мы думали — авария! А они шпалы из-под нас выдергивают!..

Контролерша не сдавалась:

— Вы бы видели эти шпалы — одно гнилье!

— Что мы — шпал не видели! — зашумел народ.

Мишка оторвался от пепси-колы и сказал: «Вот приедем, и я буду уплетать все, как тигровая акула, и стану таким тяжелым, что меня никакой ураган не унесет!»

А Севка тем временем уснул, положив голову на отцовские колени. Он не услышал, как электричка свистнула и тронулась, а потом понеслась так, что ветер залетал в вагон и приятно лохматил волосы.

## ОСТРОВ ПЕРВЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

...И каждую ночь над головой загорались одни и те же звезды.

*Тур Хейердал.*

Вот и выпал снег. Чистая страница под окном. Я долго ждал снега, чтобы вспомнить лето. Тянул всю осень и половину зимы, прятал сам от себя летнюю тетрадь, чтобы не сорваться вдруг. Мне нужен был вот такой снег. Под него лучше всего пишется про лето.

Осенью дочка сказала:

— Нам задали написать сочинение про приключение.

Я задумался.

— Только чтобы приключение было на самом деле. По правде, — добавила она.

— Вспомни лето, — посоветовал я, — как мы плыли по рекам и озерам...

— А разве это были приключения? — удивилась дочка.

— Ну вот! — обиделся я. — Стараешься, устраиваешь вам приключения, а вы... Вспомни, как мы отплывали хмурым вечером и ветер дул нам в лицо! Как мы пробирались ночью по темному фарватеру, каждую секунду рискуя сесть на мель! Как нас качало на Белом озере и брызги влетали в каюту! А остров, наш остров?.. Разве это не приключения?

Дочка пожала плечами:

— Но с нами же ничего не случилось...

— Слава богу, — сказал я.

Дочка взяла тетрадку, наши летние фотографии и ушла к себе. А я почувствовал, что не убедил ее. Заглянул в словарь. Старик Даль уклончив и немногословен. «Приключенье — случай, прилучье, стое дело, происшествие, нечаянное событие...»

Что же такое приключение? Разве это не счастливое избавление от опасностей? Мюнхгаузен, Робинзон Крузо, Тур Хейердал... Конечно, наше путешествие на маленьком теплоходе — это не полет на Луну и не плавание на плоту, но вокруг нас тоже была стихия.

Для меня эти дни на теплоходе были особенными. Ведь когда мне было десять лет, я плыл по тем же северным рекам и озерам на катере с мужественным названием «Норд», и вот судьба через двадцать семь лет подарила мне второе путешествие на Север. И моей дочке, как мне в 1972 году, ровно десять лет.

Когда-нибудь она обязательно поймет, что мы пережили настоящее приключение. Ведь и я в десять лет не сразу понял, какое богатство на меня свалилось. Вообще, в этом есть какая-то загадка: жизнь становится приключением, когда на нее смотрят в бинокль или подзорную трубу через много лет. И когда дети просят нас рассказать еще одну историю из нашего детства, мы радостно обнаруживаем, что этих историй в памяти не убавляется. Можно подумать, наши приключения продолжают, обрастают новыми захватывающими подробностями. И мы рассказываем почти с восторгом, увлекая и себя, и детей в то счастливое пространство, где каждая минута наполнена веселыми победами над злодеями, стихиями или просто темным чуланом.

Укрыв детей и погасив свет, мы замечаем, что за окном высыпали звезды. И это те самые звезды, под которыми с нами случилось детство и все его приключения.

В минувшем лете, как в матрешке, живет то давнее лето тысяча девятьсот семьдесят третьего года. Тогда, кстати, тоже стояла жара и дымилась торфяники. Мой дедушка снимал научно-популярный фильм о природе и собирался в экспедицию по северным рекам. Для этого он арендовал в Вологде катер с мужественным названием «Норд». Когда выяснилось, что остается одно свободное место, дедушка решил взять меня. Так я оказался в киноэкспедиции.

Наступил вечер отхода. Погода стояла тихая, неожиданно пасмурная после долгих жарких дней. И сейчас вижу, как мы с бабушкой идем по берегу реки, тревожно взявшись за руки. Мы ищем катер. «Не забудь, когда придешь на корабль, достать пирожки из пакета, а то задохнутся...» Скоро мы наткнулись на трап. Подняв головы, увидели белый катер с гордой надписью по борту — «Норд». Бабушка вздохнула. Она надеялась, что мы никогда не найдем катер «Норд» и вернемся домой, выложим пирожки на стол, они будут дышать, а мы радоваться...

Катер был железным напоминанием о том, что я вырос, мне целых десять лет и меня пора куда-то отпустить. Бабушка сказала: «Ты — будущий солдат... Не забудь мыть руки». Я взял пирожки, поцеловал бабушку в мокрую от слез щеку и ступил на узкий крутой трап. Он приятно пружинил под ногами. Когда я дошел до середины, вся приятность куда-то улетучилась. Я опасливо замер, не решаясь оглянуться. Пирожки испуганно задергались в пакете, изображая живую рыбу. Я не заметил, откуда вдруг появились две ручищи и перенесли меня прямо на палубу. Пирожки благодарно затихли.

Бородатый матрос, потом оказавшийся оператором, улыбнулся: «Запомни, юнга! По трапу нельзя ползать. Надо вот так...» Он мгновенно скатился на берег, а потом в два прыжка запрыгнул на палубу.

Скоро катер задрожал всем нутром, вода за кормой вспенилась, солнце весело упало на реку, рассыпалось на тысячи маковых лепестков, бабушка взмахнула рукой, а я стал бегать по палубе, как потерявшийся щенок. Дедушка поймал меня, поднял на руки и показал бабушке: вот, мол, в каких надежных руках находится драгоценный внук.

«...На открытой палубе — ветер. Чуть тише внизу, на носу, где висит рында. Или на корме, где сложены березовые дрова и пахнет дымом от камбуза. Река петляет в низких заросших берегах, словно опасается, что мы сочтем ее однообразной. Утки пугливо шарахаются, хлопочут крыльями по воде. Коршун долго парит над нами, распластав крылья. Названия шлюзов Мариинской системы: святых Самсония, Бориса и Глеба, Фомы, Алексея, Федора, Иоанна, Кирилла...»

Это моя первая запись в судовом журнале, который мы с дочкой решили вести вместе. Получилась странная картина. Мои меланхолические записи, сделанные мелким почерком, вдруг сменяются большими пляшущими буквами, которые просто лопаются от восторга.

«...Отплываем! Ура!!! Вскоре нас позвали на обед. Пообедав, мы пошли на верхнюю палубу. Там был ужасный ветер. Я кормила чаек. Проехали две баржи. Видели двух мальчишек. Они махали нам! Много домиков и бабушек, которые сидели на лавочке. В Вологде всегда очень красивые облака. Лиловые, белые, ватные. Еще мы видели собачку, которая смотрела, как мы шлюзуемся. Времени, чтобы писать, нет, нет совсем, так что я буду смотреть по сторонам...»

Да, как хороши северные шлюзы Мариинской системы! Теплоход бережно втискивает себя в деревянный футляр старого шлюза, вечернее солнце качается на воде. Женщина в оранжевом жилете, надетом на простое домашнее платье, ловко подхватывает петлю каната и набрасывает на толстую, как гриб-боровик, тумбу кнехта. У выпускных ворот шлюза — маленький домик. Около него светится рубиновый огонек, разгораясь с наступлением сумерек. И везде нас встречают дети, взрослые и собаки. Все смотрят на нас задумчиво, будто силясь узнать.

Белый теплоход, хоть и маленький, но с музыкой, занавесками на окнах первого класса, скамейками на верхней палубе и рестораном на корме — это теперь такая редкость в здешних краях. В обычные дни река спит, словно былинный богатырь. Давно погашены и сложены на берегу баке-ны, а бакенщики все или на скудной пенсии, или разбрелись в поисках лучшей доли. Вместо бакенов понатыкали в наиболее опасных местах железные жерди, поместили белой краской, но их и днем еле видно. Поэтому теплоход бросает якорь там, где его ночь застала.

Наша каюта — в трюме, да еще в самом носу, поэтому, когда ранним утром включают лебедку, чтобы поднять якорь, мне кажется, что цепь волокут у меня под подушкой.

Я тихо одеваюсь, поднимаюсь на палубу, прихватив с собой блокнот с нашим судовым журналом.

«...Мы снялись с якоря и осторожно пошли, раздвигая ленивую, матовую воду. Прибрежные кусты высовываются из тумана, как из-под снега. Туман сырой, белый лишь вдаль, а когда ты сидишь внутри его, то он — серый, питанный сыростью. Его хлопья касаются лица, и кажется, что тебя кто-то тыкает носом в мокрую клеенку. И эта клеенка пахнет не домом, а, наоборот, — скитаниями, осенним причалом, продроглым и пустым. Очень хочется чаю с вишневым вареньем».

Когда мне было десять лет, никакой якорь не мог меня разбудить и я спал как сурок. Но однажды утром на меня упала детская книжка про Ерша Ершовича. Я продолжал дремать под книжкой. Тогда на меня повалились полотенце, мыльница, карандаши, дедушкина бритва, мои сандалии, в довершение всего — шахматная доска съехала со стола и с грохотом упала. Пришлось открыть глаза. Все вещи в каюте спятили с ума, особенно резвились шахматные фигуры во главе с железным подстанником.

«Вот — начинаются приключения!» — подумал я и рванул на палубу. Только я приоткрыл железную дверь, меня хлестнуло жесткой, как наждак, водой. Я зажмурился и сделал шаг по палубе, но тут же схвачен за

шкирку чьей-то сильной рукой и втащен обратно. Это был наш кок в белом колпаке и халате. «Ну ты и чудак! — сказал он. — Помоги лучше мне...»

Так я устроился на сытной должности. По тесному камбузу летала чищенная и еще не чищенная картошка. Та, что налеталась вдоволь, падала, но продолжала жизнерадостно скакать, то закатываясь в углы, то вылетая из них наподобие ядер. Я ловил разлетевшуюся картошку, а кок пытался удержать в котле оставшуюся, менее буйную. Скоро невероятно вкусный пар стал обволакивать нас. Никогда я не был таким голодным, как в тот день, когда нас застал шторм на Кубенском озере.

Катер трепало самым серьезным образом, лица взрослых стали озабоченными, один я почему-то не чувствовал опасности и веселился. Меня сместили разбегающиеся вещи, мои непослушные ноги, я представлял себя плывущим по океану на бальсовом плоту, чувствовал соль на губах, слышал, как кувыркаются в волнах киты. Как раз в тот год стала издаваться библиотека путешествий, и я уже успел прочитать первый том — книгу Тура Хейердала об экспедициях на «Кон-Тики» и «Ра».

Когда шторм немного утих, нас вынесло к маленькому острову. Виднелись какие-то постройки. Мы ждали, что увидим и людей. Удалось причалить. Но остров был горестно необитаем. И даже я, мечтавший найти именно необитаемый остров, загрустил. Полуразрушенная колокольня, на которой пытались устроить маяк. Остатки каменных стен. Расколотые плиты с вязью церковно-славянских слов.

Капитан рассказал, что остров называется Спас-Каменным и здесь был старейший на Севере монастырь. Много лет спустя я узнал подробности истории островного монастыря. Его основал белозерский князь Глеб Василькович. В 1260 году князь попал в шторм на Кубенском озере. Как говорится в старинном сказании: «По устройению Божию пришла туча великая с западной стороны, с ветром сильным и с молниями... Князь со своими людьми начал молиться Богу и обеты давать, чтобы избавил его от беды: если Господь в день какой принесет его к берегу, то в имя того святого поставлю церковь и монастырь устрою. И благоволением Божиим принесло его к острову, называемому Каменным, в 6 день августа...»

Камень для стройки доставляли на утлых лодках монахи и паломники, всякий раз смертельно рискуя. В 1925 году монастырь закрыли, в 1937-м — взорвали. Уцелевшие святые камни, что с таким трудом веками доставляли на остров, в несколько недель свезли обратно на берег, на строительство хладокомбината. Разобрали бы и колокольню и сам остров затопили, но, во-первых, остров не хотел тонуть, а во-вторых, на колокольне придумали устроить маяк.

...Пока взрослые пытались развести костер, я нашел на берегу удивительные шары, показавшиеся мне хрустальными. Никто не мог объяснить мне их происхождение. Я привез шары домой, и они таинственно голубели у нас в книжном шкафу. Дедушка предположил, что на острове жили когда-то рыбаки, а хрустальные шары служили им грузилами для сетей.

Спас-Каменный не значился в расписании нашего теплохода, но однажды утром капитан сказал, что хочет сделать подарок туристам и причалить к острову. Благо погода стоит тихая.

По рации он стал связываться с островом, и я понял, что на Спас-Каменном есть жизнь. Слава Богу! Как грустно было бы через двадцать семь лет причаливать к разрушенной обители.

Оказалось, что на острове, кроме двух взрослых и собаки Пасика, живет летом вологодский третьеклассник Виталик. Пока мы празднично бродили по острову, он успел переделать сотню дел: таскал воду, поливал укроп и капусту, помогал заводить вездеход, возился с насосом...



Я спросил Виталика, не попадались ли ему хрустальные шары. Он пожал плечами: пару раз попадались, ничего особенного, никакие они не хрустальные. Взрослые островитяне рассказали мне, что до революции на берегу Кубенского озера сваливали отходы стекольного завода. Пузырьки, банки и бутылки так обкатывались в озере, что приобретали форму шаров.

«Ну вот, — подумал я, — еще одна моя детская тайна нашла свое незачное объяснение».

Вдруг наш теплоход нервно загудел. Капитан был встревожен: идет волна, и надо срочно отчаливать, иначе теплоход разобьет о камни. Я вспомнил поговорку матросов с катера «Норд»: «Кубенское озеро — не море, но плавать по нему — горе».

Мы с дочкой долго провожали Спас-Каменный, пока он не растаял вдали.

Я подумал, что было бы неплохо, если бы когда-нибудь дочка привезла сюда своих детей. Я не сказал об этом вслух. Жизнь мудрее нас, и она все как-нибудь устроит с Божьей помощью. Но так хочется иногда подсказать ей шепотом или запиской с последней парты.

## ЗА ЯБЛОКАМИ

Еще вчера у нас в огороде висело одно яблоко на молодой яблоне. Утром я встал, подошел к яблоне, а яблока — нет. Осмотрел всю яблоню, подо все листья заглянул — нет. Ну, думаю, воры какие ловкие пошли — по ночам яблоки снимают; и как они их только видят в темноте?

Пошел, расстроенный, в дом, а там оказалось, что Веруся вчера еще яблоко сорвала и съела. Правда, с бабушкой поделилась.

Что же делать в Преображение, в Яблочный-то Спас, без яблок? Поехали мы с Верусей на рынок. В двенадцать лет я тоже очень любил ходить на рынок, толкаться между взрослыми и разглядывать все вокруг.

Приехали мы на автобусе к рынку, а он закрыт по случаю понедельника. Но вдоль забора народ стоит с корзинами, мешками, коробками, сумками, ящиками, ведрами. Вот ведра-то нам и нужны. В них — яблоки.

— Возьми мои! Гляди, какие заманчивые! — расхваливал свой товар дедок в белой тряпичной шляпе — в такой в середине прошлого века ездили в Сочи или в Гагры. Дедок от рекламного усердия перебрасывал яблоко с руки на руку, а потом вдруг отгрыз сразу половину. Яблоко хрустнуло, семечки брызнули во все стороны.

— Во хрупнул! — возмутилась тетушка с крыжовником и стала отряхиваться. — Некультурный какой!

— Ну и зубы у тебя, дед! Мне бы такие! — восхитился турист в шортах и купил у дедка яблоки вместе с ведром.

А рядом все галдели, подталкивали нас, и мы никак не могли сосредоточиться.

— Грушовка! Карамельная, во рту тает!

— На-тка, попробуй бабушкину скороспелку!

— Антоновское! В стружках до весны пролежит!

— Штрифелек — сердце ёк!

— Винты-саморезы! Шурупы! Болты! — не к месту басил заляпанный краской лысый мужичок.

— Ржавый твой товар! Молчал бы! — завелась тетушка с крыжовником.

У нас голова совсем кругом пошла и даже поехала. В конце концов я выглядел яблоки — красненькие, мелкие, подешевле, а Веруся — зеленые и крупные. Купили немного тех и других.

Когда мы выбирались из яблочных рядов, кто-то неподалеку чертыхнулся, кто-то охнул, и некоторые люди почему-то пошли вприсядку.

Оказывается, одна бабушка выдвинула свое ведро поближе к дороге, чтобы повиднее был ее товар, позаметнее, а торопливый прохожий не приметил ведра и запнулся.

Поверженное ведро грохнуло и затихло, а яблоки бросились врассыпную. Все принялись ловить убегающие яблоки и отдавать бабушке, примечая, какие это славные яблоки, хоть и падалица, — румяные, сладкобокие. Бабушка кланялась, обтирала яблоки от пыли и ворчала на них ласково: «Сорванцы мои куда-то побегли...»

Мы подумали и решили в утешение старушке и у нее купить яблок.

— Полкило отсыпьте, — попросил я.

Старушка благодарно так на нас посмотрела, взялась за весы-безмен, да тут же и отложила их:

— Так берите, так, милые...

И стала переключать самые крупные яблоки к нам в сумку.

— Как же так — без веса? — Я растерялся и не сразу притянул сумку к себе. Полкило старушка уже успела накидать нам.

— Спасибо вам, детки.

— А деньги-то, деньги? — Я пытался всучить в ладошку бабушки приготовленную десятку, но бабушкина ладошка ловко уворачивалась.

— Вот как придете домой, сядете на крылечке-то, на ступеньшках, с моими яблоками, и душа заиграет! Скушаете за мое здоровье, и больше ничего не надо. — Старушка решительно отвела мою руку.

Нас вынесло из яблочных рядов на улицу, где в пыльных колдобинах переваливался автобус.

— Неудобно как-то получилось, — сказала Веруся совсем как взрослая, — с тобой всегда какие-то истории происходят.

Пришли к церкви, а там народу! — как просыпавшихся яблок. И все с мешочками, авоськами и корзинками.

Когда батюшка, весь белый, вышел на крыльцо, все бросились к нему, и оказалось, что в кошелках и корзинках не только яблоки, но и груши, персики, бананы, даже виноград. Все стали тянуть эти фрукты к батюшке, а он будто отмахивался от них кропилом, святил изо всех сил. Брызги святой воды долетали и до нас с Верусей. Когда народ стал слишком напирать на батюшку, он выхватил у мальчика-служки серебряную чашу и окатил святой водой самые горячие головы. От неожиданности горячие головы вразумились и утихли.

Мы спрятали свои умытые яблоки и понесли их домой.

Вечером мы ели яблоки на скамейке в саду. Все были вкусными, но самыми вкусными были старушкины сорванцы.

## НЕНАПИСАННЫЙ РАССКАЗ О ЛЮБВИ

Мы оба молчали от полноты сердца.

*А. С. Пушкин, «Капитанская дочка».*

За окном шел снег, а мне вдруг вспомнилось лето.

Так часто бывает — когда на дворе зима, вспоминаются самые блаженные летние дни. И обычно — далекие-далекие. Когда тебе двенадцать или тринадцать лет, а может, и того меньше. Когда ты влюблен первый раз, и так сильно, до немоты и дрожи, что ничего другого нет в сердце и ты ничем другим заняться не можешь, как только быть влюбленным. То есть можно только собирать на пустырях цветы, приносить к порогу, искать встречи, придумывать клятвы, заглядываться вечером на одно окно, ходить по карнизу, стоять под дождем, петь песни на языке, которого не знаешь, — например, на итальянском...

Мне захотелось написать обо всем этом, пока шел снег. Казалось: вот кончится мельтешение снега за окном, и я больше не услышу запаха того лета, когда за соснами лежало море, а в море, на рейде, стояли пограничные сторожевики. Мы гуляли босиком по песку, а сторожевики сторожили нас.

Я не знал, получится ли у меня рассказ о любви, очень хотелось, чтобы получился. Я написал несколько строк, но отчего-то испугался их вида, их реальности на бумаге, строгой определенности букв. Ложась на бумагу, слова теряли свою воздушность, текучесть, таинственную невесомость. Будто я поймал бабочку и хочу ее булавкой — к бумаге...

Так я бросил начатое, и снег прошел за окном даром. Осталась досада на самого себя.

Иногда мне жаль тех брошенных строчек, и я дописываю еще несколько и опять прячу в стол тетрадь. Все не то и не так. Все было лучше... «Запах холодных девичьих рук...» Откуда это? Не помню...

Так хочется запечатлеть то лето, поймать в сачок — жаль, что мне не дано... Было бы, наверное, спокойнее дальше жить — поймал его, и вот оно, навсегда на бумаге. Холодные булавки можно искусно спрятать, крылья разгладить утюгом.

Однажды я даже пожаловался знакомому батюшке, что вот не могу никак написать о том, что очень важно для меня. Безумно жаль, что все это забудется, исчезнет навсегда, растворится... Он улыбнулся и сказал: «Успокойся, ничего не исчезнет. Все это пребудет в мире, раз уже случилось... Не бойся и не взваливай на себя непосильное...»

Эти простые слова что-то объяснили мне. Теперь я иногда и сам чувствую: да-да, те летние дни у моря никуда не исчезли. И пусть там, где осталось море, теперь другая страна, — это не важно. Проснусь и бегу утром к морю.

А на море меня привез дедушка. Была такая замечательная команда: я и дедушка.

Поздно вечером я возвращался в нашу комнату на первом этаже через окно, потому что дедушка уже спал. А мне было не до сна, я бродил как лунатик за своей любовью, мне надо было видеть *ее* все время. А если строгая мать уже загоняла *ее* домой, мне надо было видеть дверь, за которой *она* скрылась, ступеньки, по которым *она* шла, скамейку, на которой *она* только что сидела...

Удивительно, как дедушка все это понимал. Он не только не пытался загнать двенадцатилетнего мальчишку домой, он даже не требовал, чтобы тот непременно явился к такому-то времени. Хотя, конечно, не мог уснуть, пока не заскрипит оконная рама и я не спрыгну в комнату. Тогда меня это не удивляло. Мне казалось, что если я влюблен, то и дедушке не может не нравиться эта девочка. Он *должен* обожать *ее*.

Сейчас, когда у меня у самого дети-подростки, я поражаюсь тогдашнему дедушкиному долготерпению, его философскому спокойствию. Понятно, что это спокойствие было лишь внешним, он безумно волновался за меня, но как он держался! Ни разу ни единым словом не усомнился в достоинствах моей избранницы. Ни одного упрека по поводу моего полуночного образа жизни. Ни одной насмешки над моей рассеянностью, бессмысленной улыбкой или внезапными слезами...

Он не просил и не требовал от меня ничего рассказать, понимая, что слова беспомощны, а объяснения (или, как сейчас говорят, «выяснения отношений») опасны, если не убийственны. Я только видел, что он счастлив вместе со мной. А когда *она* уехала, дедушка был несчастлив так же, как я.

Я и в последние дни перед отъездом возвращался в нашу комнату через окно. Створки были приоткрыты доверчиво, как всегда. Все по-прежнему, только *ее* не было. Я сидел на подоконнике и вспоминал, как две

недели назад шел дождь и я сидел вот так же, свесив ноги на улицу, рядом сверкала и грохотала водосточная труба. И, глядя тогда на дождь, я понял, что люблю. Это был проливной дождь — быстрый, смешанный с солнцем. Не знаю, отчего я тогда не взлетел.

Потом я ходил с толстым томом Достоевского, а *она* была прекрасна... Потом мы познакомились — вместе ухаживали за одним котенком. Ходили на танцы — нет, не танцевали, просто стояли рядом, смотрели, как взрослые танцуют. Мне тогда захотелось немедленно научиться танцевать. В школе мы разучивали только полонез.

Я побежал в соседний корпус. Из радиоточки доносилась музыка. Я бросился к какой-то тетеньке, умоляя срочно научить меня вальсировать. Я не доставал ей и до плеча, но мужественно взял этот снисходительный урок. Краснел, пугался своей руки на женской талии, загребал ковер, наступал на ноги даже самому себе... Танцы в клубе тем временем закончились.

Спустя два дня *она* уехала. Ее *увезли*. Далеко-далеко. Ее город теперь тоже — за граница. Но разве это имеет хоть какое-нибудь значение?

Проснись и бегу утром к морю.

...Нельзя рассказать о любви. И просить рассказать о ней тоже, наверное, нельзя. Ведь это не проза и даже не стихи... Это — *любовь*, о ней никогда не получится рассказать.

И все-таки я иногда достаю старую тетрадку и вписываю туда еще несколько приснившихся мне строк.



---

---

МАКСИМ ВОЛЧКЕВИЧ

\*

ТОТ ЦИФЕРБЛАТ

\* \*  
\*

Есть ужас на той высоте,  
с которой уже не вернуться —  
и страшно назад оглянуться,  
к небесной поднявшись черте.

Так башня строителя ждет,  
и камни стоят без раствора.  
И небо сквозь стены собора  
проходит, и ветер поет.

\* \*  
\*

Стрекоза летящая, чья длина  
короче тени, строки,  
написанной в полдень, — ты реешь на  
расстоянии вытянутой руки.  
За склонность к апории, чертежу  
крыльев, интерес к  
хищному времени — я слежу  
твой слюдяной треск.

Как Леонардо, прищурив глаз,  
набрав тишины во вздох,  
я принимаю в который раз  
летание на четырех  
крыльях — парение в пустоте  
выше тех скоростей,  
где плоть невесома, на высоте,  
где слышен шум лопастей.

И мнится мне, что пока он есть,  
тот звук, хотя небольшой,  
что их не четыре уже, а шесть  
над каждой парит душой.

И может он, словно огонь в вине,  
струиться, в крови пылать,  
бежать мурашками по спине  
и волосы подымать.

Тебя он бросит то в жар, то в лед,  
и голос твой зазвенит,  
когда он отсюда тебя возьмет  
туда, где молчит Эвклид.  
Но, встретив юношу в старике,  
скажут, что ты нездоров,  
что ты простудился на сквозняке,  
пришел из других миров.

Другие ответят, что постарел,  
стал сух и упрям, как бес,  
что ты из колодца на мир глядел,  
в который упал Фалес.  
Но камень, тронувши под ногой  
в бездну, как Гераклит, —  
«Все вещи меняются на огонь», —  
скажи им, пусть он горит.

Пусть пламя охватит зверей и птиц,  
пусть меч похитит из рук,  
пускай обратит белизну страниц  
в черные знаки букв.  
И всякий, понявший его язык,  
да будет мудрее тех,  
кто эти слова разберет из книг  
сгоревших библиотек.

Пусть он за собою сжигал мосты  
и шел, бубенцом звеня,  
но он повторил, как слова звезды:  
«все из огня».  
И знание это, погибнув с ним,  
к кому-то придет еще  
за то, что летал он, как серафим,  
и ведал, где горячо.

\* \*  
\*

Кипы зелени и кроны,  
обмелевшие пруды;  
теплый дух и цвет зеленый  
взбаламученной воды.

Лучше места не бывает —  
на подгнившие мостки  
только ряска набегает  
да качает поплавки.

Здесь на выжженном суглинке  
одуванчиковый пух,

и выходит из травинки  
вместо курицы петух.

Человек стоит трехтонный  
с кепкой вечною в руке,  
и буфет пристанционный  
на обеденном замке.

Нас с тобою здесь не знают —  
мы пойдем, как грибники,  
по дороге, где гоняют  
бабочек грузовики.

## Осенний романс

Осень волосы на ветру качает,  
 тихим голосом говорит,  
 что в тебе, мой друг, и души не чаёт,  
 под окном рябиной горит.

По весне сережкой ольховою  
 я легка была да нежна —  
 не вини меня, бестолковую,  
 что была тебе не нужна,

что, как жизнь прошла, и не знала я,  
 что в костре уж нет уголька,  
 что тебе любовь запоздалая,  
 как вино с похмелья, горька.

\* \*  
 \*

Следи за движеньем секундной стрелки —  
 так ползет муравей по скатерти солнечной, так  
 стрекоза зависает в воздухе цифрой стеклянной,  
 так время идет насекомое, кем-то заведено,  
 и цепкостью лапок, испачканных в сладкой пыльце,  
 и тысячью стяжек натянуты крылья его.

Но если ты ухо наклонишь так низко, что сможешь в траве  
 расслышать движение жизни, скребущейся, как коробок,  
 то ты различишь и узнаешь, как счастливы все на земле  
 живущие временем, — жук, и личинка, и Бог.

Ты станешь таким же, с дырою сквозной в голове  
 и воздухом в сердце, — летающим, легким, пустым,  
 цикадой невидимой, спящей на той стороне,  
 на темени мира, — открыв часовой механизм.

Ты станешь таким же — на нитке спустившись туда,  
 по скважине страха проникнув на тот циферблат,  
 где времени нет потому, что оно без труда  
 идет через память, бежит — и не смотрит назад.

Ты станешь таким же; но ты ничего не поймешь,  
 козявку и бабочку пальцем огромным не тронешь  
 и панцирь хитиновый сам по размеру сошьешь  
 и треск слюдяной на цветущую землю уронишь.



---

---

ОЛЕГ ЗОБЕРН

\*

## ТИХИЙ ИЕРИХОН

*Рассказ*

**П**одмосковный пионерлагерь «Красная сосна» спал в предраассветной дымке, когда горнист из третьего отряда тихо, чтобы не разбудить ребят в палате, надел майку, синие шорты, застегнул сандалии. Ловко прибрал кровать, уткнув в изголовье треугольник подушки. Умылся, пригладил светлые вихры, сам себе показал язык в зеркале и пошел в заветную комнату, где хранились важные вещи: знамя, мячи, галстуки и длинный бронзовый горн, гордость лагеря, — хорошей работы труба для режимных сигналов. Пионеры знали: кто разбужен звонкой зорькой, на ней сыгранной, с утра весел, и если видел дурные сны, то быстро их забывал. Даже вожатые верили этому, рассказывали о горне детям новых смен.

Горнист снял с шеи ключ на шнурке, открыл заветную комнату. Черный бархатный футляр стоял в особой фанерной нише, рядом со знаменем. Мальчик достал инструмент, бережно протер ветошью и поспешил к небольшому возвышению посреди лагеря, откуда хорошо слышна побудка всем отрядам.

За дальним лесом на новый лад осветилось небо. Щебетали первые птицы. Шлепая сандалиями по сырым асфальтовым дорожкам, он обходил лягушек и лужи с розовыми червями на доньях — ночью был дождь. Возле столовой свернул направо, ко второму корпусу, и обжег загорелое колено мокрым крапивным стеблем, свесившимся через бордюр. Пришлось остановиться, почесать больное место, на коже вздулись белые пупырышки.

Осталось миновать спортплощадку, подняться на пригорок, затрубить... Через несколько минут пионеры выбегут на зарядку, с уважением глядя на горниста, и Верка из четвертого отряда улыбнется ему...

Горнист давно приметил Верку, только знакомиться не решался, боязно, вдруг засмеет? Да еще и подругам расскажет.

Верку дружно признали самой красивой девчонкой за эту смену. Смуглая, зеленоглазая, огневая, многие в нее влюблялись, даже один вожатый, но горнист преимущество имел: дудеть зорьку, обед и отбой — почетно. Кое-кто ему завидовал — мол, вот какой, ходит в героях... Хотя только кажется, что трубить просто. Нет, делается это с чувством, особенно побудка. Внутренне собраться нужно, представить, как летит трубный глас по Стране Советов и в каждом пионерлагере отзываются другие горнисты, а зорька над полями-лесами, над родными просторами реет, всех-всех будит, от маленького зверька до Генерального секретаря Партии.

Идет горнист к пригорку, понимает: пора, наверное, Верке признаться. После зарядки, в столовой, отвести ее в сторону, покраснеть и сказать, что...

«Нельзя дальше мучиться, — думал он. — Я, конечно, горнист, ответственный пионер, так ведь не железный. Даже вожди, говорят, влюбля-



лись. Вот подойду и...» Какими словами признаваться, он не знал, чувствовал только, что надо страх унять, сделать решительный шаг, несмотря на возможный позор.

Взобрался на пригорок, поправил галстук, набрал, сколько мог, утреннего воздуха в легкие и затрубил. Умолкли птицы, и небо застило невесть откуда наплывшими тучами. Горнист удивился, но продолжил трубить. Солнце, казалось, передумало подыматься, повисло за лесом, растекшись по серому небу багровой мутью.

Пионеры не выбегали на зарядку, а жилые корпуса лагеря стали на глазах ветшать. Со звоном сыпались стекла, отслаивалась штукатурка, и трескались асфальтовые дорожки. Облез и накренился гипсовый вождь возле столовой с заколоченной дверью, плац для линейк зарос травой, гранитный геройский стенд в пушистом ельничке дачниками раскурочен.

Горнист кончил побудку. Прислушался. Тихо. Осмотрел отчего-то потускневший горн. Сам натирал до солнечных зайцев, а труба вдруг поблекла, прозеленью изошла, будто много лет за нее не брались.

Пригорок под ногами тоже вроде просел. Горнист спустился на дорогу, подошел к распахнутой двери четвертого отряда, в котором должна быть Верка, осторожно заглянул внутрь. А там пол местами прогнил, валяются ржавые кровати, тряпье, белая краска на потолке изогнулась лоскутами; унитаза в уборной разбиты — торчат розовые керамические остовы.

— Вер, Ве-ерка, — тихо позвал горнист, сисясь не заплакать. — Есть тут кто?

Только сквозняк шелестит на полу желтыми страницами рваной политиздатовской книги.

Сображать, что делать, оказалось больно и трудно: пять минут назад были ребята, вожатые, Верка... Куда все делись? Кто его заберет домой, ведь родители не знают, что стряслось.

Еще надеясь дозваться кого-нибудь, он громче крикнул в сырую пустоту здания:

— Ребя-ата! Э-эй, ребята!!!

Не отвечают.

Опустился на корточки, прислонясь спиной к шершавой стене, положил горн рядом.

Холодно.

Обхватил колени руками.

Сыпанул дождик, мерно застучали капли о жестяной подоконник.

Противно каркнула ворона...

Горнист собрался было бежать из лагеря, да показалось, что Верка тут где-то. «Хотя, — рассудил он, — если нет никого, значит, Верка тоже ушла...»

Он заплакал, чувствуя, как слезы каплют на озябшие колени, и долго сидел так. Вспомнил, что Верка удивилась бы, будь она рядом, ведь горнист, смелый пионер, а плачет.

Встал, взял горн.

Решил выбираться из развалин.

С дороги оглянулся на голубые металлические ворота «Красной сосны», утер нос и пошел.

Он помнил: когда свернули с шоссе, детей везли через лес, потом мимо большого совхоза, и опять дорога петляла по лесу до самого лагеря. Тогда, в автобусе с ребятами, было весело, он почти не смотрел в окно. Случайно запомнились лес и совхоз — кажется, «Восход». На обочине еще кирпичный указатель стоял, а над названием совхоза расходились алые лучи из крашеной арматуры.

Решил идти, пока не встретятся люди. Тогда можно спросить, как домой попасть.

Вскоре промок. На белых гольфах расплылись грязные пятна, сырые шорты и майка не грели. Лес по обеим сторонам дороги шумел в вершинах, дождь то стихал, то накрапывал вновь.

Горн под мышкой охлаждал бок. Бросать его жалко, все ж не простая труба. Тяжела только, мешается, да без горна он уже не горнист, так, невесть кто.

Когда совсем замерз, остановился потрубить. Вдруг бодрее станет?

Труба на этот раз не действовала. Потопал дальше, хлюпая сандалиями.

...Когда дождь иссяк, идти стало немного легче, будто сил прибавилось. Захотелось пить. Выбрал на обочине лужу попрозрачнее, с камешками и темной листвой на дне, нагнулся, глотнул. Увидел свое отражение, и странная догадка вдруг: понял горнист, что взрослеет.

Взрослеть не хотелось, но мальчишеское лицо огрубело, пушок на подбородке отвердел настоящей щетиной, а шорты уже не вмещали раздобревшие икры и треснули, когда вставал. Тесные сандалии скинул и грязные гольфы стянул. Босиком сподручнее. Бронзовая труба стала легче и меньше.

«Расту, — подумал он, собираясь идти, — а дальше куда? Даже до совхоза еще не добрался. Успеть бы к ночи встретить кого, о дороге справиться... Есть охота».

Думалось горнисту теперь тоже по-взрослому, он ощутил, как умнеет, как отяжелела голова. Осмотрелся внимательно, стоя у лужи: что еще неизвестно? Сосчитал молодые елочки на обочине слева. Получилось восемнадцать штук.

На повороте, за которым дорога снова тянулась до горизонта серой асфальтовой лентой с лесом по краям, в кустах зашумело, послышался треск ветвей.

Горнист остановился, перехватил трубу за конец, чтоб, если лихие люди, инструментом разить. Ведь ограбить могут. Вспомнил, что в заднем кармане шорт лежат десять рублей. Родители с собой дали, отправляя в лагерь. Достал вдвое сложенный красный червонец со щурым портретом, зажал в кулаке.

За деревьями — возня, потом, раздвинув мокрые кусты, на дорогу выбрался долговязый парень в спортивном костюме, с большим зеленым ящиком на ремне через плечо.

Где-то горнист его видел...

Долговязый подошел, протянул руку:

— Здорово, горнист, вот и встретились. Помню, помню, как ты в детстве трубил, молодец... — Он поставил ящик на дорогу. — А чё босиком чапаешь?

— Так, из сандалий вырос, — сказал горнист и вспомнил, что это Леха, тот самый Леха, вместе в отряде были, дружили. Втайне от вожатых бегали вечерами на реку купаться, покуривали, и оба в Верку влюбились.

— Леха, а я не признал сразу. Ты вон какой вымахал, выше меня на голову. Сколько лет...

— Прошло, — согласился Леха, озираясь. — Вот заплутал маленько. На болото сунулся, а там лесные дела, все поделено... — Он задумчиво стряхнул с куртки налипшие листья. — Крутился тут, в сосняке, потом... Да ладно, чего там. Пора мне новую жизнь начинать, выходить на прямую дорогу. Теперь вместе пойдем. Ты-то как здесь оказался?

— Отрубил побудку, а все и развалилось.

— Бывает, — вздохнул Леха. — Смотрю, ты с горном. Как и прежде — о пионерском счастье гласишь?

— Не-а, так просто несу. Бросить жалко.

Горнист обрадовался встрече, надоело одному брести наугад. Вместе легче. Глядя на Леху, вспомнил детство, лагерь, Верку. Отлегло малость на душе, он заметил, что вокруг не так уж мрачно. Природа, воздух лесной. Только ботинками не худо бы разжиться.

— Как там Верка, не знаешь? — спросил он.

Леха подумал, улыбнулся кисло, поскреб затылок:

— В службе досуга работает. С черными якшается, дура. Я предупреждал. Красивую жизнь ей надо, а красоты там нет никакой.

Горнист посмотрел рассеянно вдаль, где просветлело малость и голубой клочок неба открылся.

Леха поднял ящик, и они пошли.

Вскоре лес поредел, потом кончился. По сторонам дороги необъятное поле, в сухой траве круглятся свежие пни.

— Вон, глянть, — Леха кивнул на ворох опилок у обочины, — лес тут был знатный, со всеми благами, а теперь пустошь. Не растет ничё.

— А деревья где? — удивился горнист.

— На финскую бумагу пустили. Знаешь, гладкая такая, хорошая. Главное — почти задаром. В обмен на спирт и диковинки. Давай-ка остановимся, сигнал надо передать.

— Это как?

— Объясняю, — сказал Леха и поставил зеленый ящик на дорогу. — Мы вместе идем, поэтому должны сообщения посылать Будущему Контролеру...

Горнист вспомнил, что от кого-то слышал уже о Будущем Контролере... Или не слышал, сам додумался.

— Сообщения надо посылать регулярно, чтоб Контролер не обиделся, — продолжал Леха, снимая брезентовый мешок с зеленого ящика, оказавшегося большой военной рацией. — Все обстоятельно докладывать. Обо всем.

Он включил аппарат, взял слуховую трубку, подкрутил блестящее колесико. Рация зашипела, качнулись стрелки на кружках приборов.

Леха вдруг заорал в трубку так, что горнист вздрогнул:

— Как слышно?! Нормально?! Горниста встретил! Да, с трубой! Идет! Ботинок у него нет, босиком чешет. Надо бы выдать!.. Как кончились?! Да нельзя же, осень на носу!

Горнисту неловко стало оттого, что босота его претит Контролеру, он жестом показал: не надо, дескать, ботинок, переживу.

Леха не обратил внимания и продолжал надрываться:

— Да!.. Да!.. Да нельзя без обуви! Будет?! Когда? Мертвец?! Отлично! Нет, погоди, тут лес вырубил... Ага, весь!..

После сеанса связи, пряча рацию обратно в мешок, Леха сообщил радостно:

— С мертвеца снимем. Яловые. Ну что ты глядишь? Контролер сказал, мертвый там, дальше, будет лежать. Зачем ему сапоги? А тебе и портки с курткой нужны. Ничё, оденешься. Крепись, браток.

— Кто этот Контролер? — спросил горнист.

— Оплот трудящихся. Толковый начальник, его единогласно избрали контролировать.

— Может, не надо с трупа сапоги сымать? — усомнился горнист. — У меня деньги есть, купить можем. Вот, смотри.

— Да разве это деньги? — хмыкнул Леха. — Опоздал ты, теперь на такие не отоваришься. Сменили их, разумеешь? Брось свой чирик, не пригодится.

Горнист смял десятку, кинул в траву.

Вспомнил родителей. Захотелось домой.

— Знаешь, Леха, мне бы до дома... родные, поди, волнуются... — сказал он.

— Нет у тебя родителей, — глухо отозвался Леха, — никого у тебя нет. Один ты. Я — не в счет. Дома у тебя тоже нема. Вот. Мы с тобой пойдем дальше, сигналы будем отсылать Контролеру-Оплоту, там, глядишь, жизнь наладится.

Горнист помрачнел. «Как так — совсем один. А родители... Понятно, одни родятся, другие, значит, того... Я уже взрослый, — думал он. — Все равно что-то не так, может, знаний у меня мало?»

— Леха, я умный? Как считаешь?

— Все умные, каждый на свой манер. Ты играть умеешь. Давай смузицируй обеденный перерыв, пора.

Горнист протрубил, а Леха достал из-за пазухи пакетик с сырными бутербродами.

Перекусили.

Пошли дальше. Горнист считал кучевые облака и пни в поле, а Леха рассказывал ему, как по лесу бродил, как женился рано и неудачно. Поведал также о выборах Оплота трудящихся. Как, значит, массы изнемогли, стихийно самоорганизовались, с поправкой на легкое житие, и выдвинули Оплота в Контролеры. Оказалось, Леха с Оплотом на короткой ноге, знаком еще по лесным мытарствам, поэтому при передаче сигналов не церемонится.

Горнист даже порадовался тихонько: с Лехой теперь не пропадешь. Ну а если пропадешь, то не сразу.

Домой больше не тянуло. Зачем, если нет там никого?

Между тем впереди, в поле, показались избы. Стояли они вразброд, без порядка.

Подошли.

Дома пустуют, заколочены, возле одного пасется серая коза с умными глазами. Когда приблизились, перестала траву драть, голову подняла и смотрит: кто пожаловал?

Решили в дом постучаться, узнать, есть ли хозяин, чтоб доложить Оплоту-Контролеру. «Он все должен знать, — сказал Леха, — для нашего же блага. Мы ведь тоже трудящиеся по-своему».

Горнист взошел на ветхое крыльцо, постучал.

Не отзываются. Толкнул дверь и напугался. В сенях, ногами к порогу, лежит тело в немецком мундире времен Отечественной войны. В глаза бросились яловые сапоги большого размера.

— Леха, мертвец тут! — крикнул горнист на улицу.

Вошел Леха, осмотрел тело.

Черная форма с серебристыми нашивками в виде орлов и молний. Суrowsое лицо покойника надменно. Массивная челюсть, белесые глазищи открытые. На груди — записка. Леха взял листок, прочел вслух: «Получай, фашистская сволочь, будешь знать, как в „Макдоналдсах“ жрать булочки, получишь, падла, за то, что нас пугал. Рязанские скауты».

— Кто? — не понял горнист.

— Скауты, это вместо пионерии, дети такие, вот видишь, что делают. На самом деле им повадки фрицевы не по душе, особенно походка — строевым шагом. Давай тяни с него сапоги. — И Леха взял тело за грудки, чтоб не ползло по полу.

Горнист стащил с покойника яловую обутку, надел сам. Китель его тоже надел поверх майки. Осталось только треснувшие синие шорты сменить на портки. Но брюки с фашиста снимать не стали.

— Его упреками извели, видишь, ран на теле нет, — сказал Леха. — Надо Контролеру-Оплоту доложить.

Радио внесли в избу.

Настроились.

Доложили.

Изда — пуста. Только в красном углу вместо икон стоит старая швейная машинка «Зингер» с педальным приводом. Не ясно, кто здесь жил. Может, фашист (он неприхотлив), может, еще кто.

— Пойдем, — сказал Леха, — у нас впереди много всего, нечего тут с мертвецом сидеть.

Отошли от избы метров на двадцать.  
— Э-эй, э-эй, — позвал кто-то сзади.

Оглянулись.

Коза блеет.

Леха вернулся, отвязал скотинку, дал ей зеленое яблоко (все у него припасено), коза изгрызла подношение прямо с руки.

...Чем дальше шли они, тем оживленнее становилось вокруг. В поле встречались кооперативные ларьки и целые деревни с живыми трудящимися. Дорога пересекалась с другими дорогами, появились прохожие — обычные, как везде.

Горнист принялся было считать и запоминать всех, кого видел, на всякий случай, для отчета, а Леха сказал, что так подробно не нужно докладывать.

На путников глазели удивленно, даже пальцами тыкали: вон, значит, чудака, фашист идет (горниста в кители за фрица принимали), откуда взялся?

Вечереет.

Вокруг уже многоэтажные дома, граждане спуют, автомобили гудят.

Дышать стало тяжело, будто воздуха не хватает.

Присели на тротуаре, у витрины с женским бельем. Откуда ни возьмись — охрана, убирайтесь, мол.

Потащились дальше, набрали на сквер. Ходили там вокруг лавочек, заглядывали в урны. Бутылки собирали. Леха сказал, что их сдать можно, чтоб харчей прикупить и водочки.

Когда набрали доверху две матерчатые сумки (опять у Лехи нашлись), в сквере появились местные оборванцы. Валите, говорят, отсюда, это наш сектор, нечего на чужую посуду глаз свой потухший класть.

Хотели сумки с бутылками отнять, да Леха сказал, что доложит о бесчинстве Контролеру, и оборванцы смирились.

...Зашли в ближайший приемный пункт, сдать стекло. Опоздали. Теперь только завтра откроется. Леха подумал и предложил до ближайшего храма податься, просить денег у трудящихся. Туда не поздно еще.

Подхватили рацию, горн, брякающие сумки, вышли дворами к церквухе. Уселись на паперти, рядом с двумя старушонками в черном, те зашамкали недовольно.

— Спокойно, бабки, — унял их Леха, — милости на всех хватит.

Горнист спрятал трубу за пазуху.

Ему казалось, что он еще повзрослел и борода (потрогал) отросла. Леха тоже оброс, глядит на прохожих истоиво, блеет, как та коза, которую яблоком угостил:

— Пода-а-айти, людидобрые... — И сыплется реденькая медь в его ладонь, собирается на водку с хлебом.

К храму подъехала машина.

Из задней двери выбрался настоятель в голубом подряснике, степенно к дому причта пошел.

Горнист смотрит и видит: рядом с батюшкой Ангел летит печальный — красивый-красивый, голову склонил и говорит:

— Продай, батюшка, свою новую машину, деньги между убогими подели...

На горниста благолепие нашло — достал трубу, заиграл Ангелу приветствие.

— Не надо, — оборвал его Леха.

Пообретались они на паперти еще, потом сходили в магазин. Купили хлеба черного, майонеза пакетик, водки.

Передали сообщение Контролеру о том, что видели. Контролер остался доволен.

Спать полезли в подвал многоэтажного дома.

Горнист сыграл отбой.

Ночью в подвале пели сверчки.

Утром сдали посуду и постарели еще лет на десять. Ослабли.

И потекли обтрепанные дни, потекли, похожие друг на друга. Осень приспела, белые мухи вьются. Мундир немецкий истерся, и вместе с теплыми портками горнист подобрал себе на помойке приличный ватник.

Они все бичевали, завшивели, но исправно выходили на связь с Оплотом-Контролером, докладывали, как, значит, идут дела и каких успехов кто достиг, пока однажды Контролер не пропал. Леха звал, звал его, кричал позывные, а всё без толку.

Горнист сыграл отбой, и они выбросили громоздкую рацию за ненадобностью, хотя погрустили, конечно. Ведь трудно привыкнуть к мысли, что никто тебя больше не будет контролировать и вся жизнь твоя никому не интересна.

Через год после исчезновения Контролера в городе появились рязанские скауты. Ходили по улицам, затянутые в клепаную кожу, в цепях, с кастетами. Изводили хороших людей, а плохих не трогали. Горнист с Лехой тогда схоронились в пустом колодце.

Однажды весной сидели они в парке на лавочке. Горнист играл, а Леха слушал. Мимо шли малолетние гопники. Народу — никого, и принялись гопники их избивать. Повалили на землю, пинали ногами, отняли у горниста горн.

— Наверно, на помойке, козел, нашел, — сказал один гопник.

— В цветмет сдадим, — ответил другой.

Гопники ушли, забрав горн.

Горнист поднялся, утер нос, сплюнул выбитые зубы, подсобил Лехе встать. И побрели они, придерживая друг друга, прямо на ангельские голоса, туда, куда уходят все советские люди.



---

---

## СТАНИСЛАВ МИНАКОВ



### СКАЗ О ЯВЛЕНИЯХ БЛАЖЕННОМУ ТИМОФЕЮ

Воспою тебе сказочку, да не кривися, послухай ты:  
как у реки-то псковской у Лугвицы Тимоха отрок выпасал скоты;  
да, надьсь-вчераь, лет *четыреста сорок* тому  
паче солнца сияющ свет явился ему.

В час вечерняго пения виде Тимоня на воздухе свет велик,  
а во свете том — Богородицы Умиления пречистый лик;  
на руках держашу предвечнаго младенца Господа нашего Иисуса Христа,  
и к лицу Его горненебесному Сама преклонившася — лицом чиста.

И рече Тимке глас: вот иди-ко, отроче, на Синич-гору, что рукой подать,  
и узриши там — от Благодетеля всякому дыханию — возблагодать.

И пошел Тимофей Терентьевич — перепуган, кроток и молчалив,  
на Синичью гору, где пичуги щебечут щебетом *чив* да *чив*.

И всю ночь там молился Тимоня, а поутру

Богородица Умиление явилась на ту гору.

И опять повелела отроку: шесть год спустя  
приходи сюда, приходи, не страшись, дитя.

В-третье, как было сказано, спустя шесть год,  
на гору святую Тимофей Терентьич пришед, юрод,  
лицезрел икону и света испил сполна,  
и опять паки взяся та икона на воздух и бысть не видна.

Да повелено ею было Тимоне итти во Воронич город

и сказать народу, чтобы все крестный ход

повели с иконою Умиление на Синичью горю.

Что, не веришь? Ты слухай, слухай — ей-Бо, не вру.

Ты не веришь, тако же не поверил Тимохе Никита поп.

Для того и помрачен был вкратце рассудком поп — да поверил чтоб.

Потому (как Фома) от того просветлел в уме и повел людей,

на Девятник по Пасхе, крест серебрян держа дак промеж грудей.

Поп Никита с Воронича отправился, велеречив,

на Синичью гору на тую, где синицы поют *чив-чив*.

И на горе на той, где горобцы хороводят *чирик-чирик*,

на сосне — Одигитрии Божией Матери народу явился лик.

На сосне на дереве иконочка как есть светилася, на сосне.

И лишь Тимохе блаженному на руки спустилася — как во сне.

И срубил народ часовенку на горе на той  
и нарек тогда Синичью — горой Святой.  
А на праздник Покрова (скажи-ка!) часовня та  
Вся дотла (ты слухай, слухай!) сгорела — знать, неспроста.

И когда, сокрушаяся, разгребли золу,  
Одигитрию Богородицу нашли (ты представь, целехоньку!) — на полу.  
Иоанн-то, царь наш Грозный, — где стал пустырь,  
повелел тогда отстроить-де монастырь.  
Богородична Успения там престол возсиял,  
где сосна росла, с коей Тимонька иконку съял.

Стало быть, тех веков предавешних испокон  
Одигитрии и Умиления — двух икон  
там обитель встала. И по сей день  
на Святой горе — Пречистыя Матере пресвятая сень.

А через четверть тыщелетия в ту горю, в ту святую самую, не в какую-нить  
*Алексан свет Сергеевич* завещал себя схоронить.  
Что земляца, говорил, прекрасная: ни глины, ни сырости, ни червей...  
(Да скажу те: земля, она — первой всех вервей.)

...Ну а Тимофей-то Терентьич, по явлению икон, всепремного рад,  
возвестить велику новость отправился в Новоград,  
и туждался по селам да по погостам, и за своя труды  
ни с хитра, ни с горазда не взимаше мзды.

Да уж в Новеграде Великом Пимен архиерей  
заточил Тимофея Терентьича аж за шестью шесть дверей.  
Юй, люди добрыя так ругашася уродивому и глум творяше — что твой  
палач!  
Помяни ж, православный касатик, Тимоню мученика — поплачь,  
поплачь.

А царь-то Грозный — тот, что преподобному Корнилию Псковскому  
лично отсек главу  
за то-де, что князю Курбскому дал во Печерской обители преклонить  
главу;  
а царь-то Грозный — тот, что самолично к литургии каноны писал,  
вскоре по кончине Тимониной Великий-то Новгород в кровь искромсал...

Я к чему свое долгое слово веду-клоню,  
что толку тебе без толку, зевающему коню?  
Ты ответь мне, разумник-бля, почему  
не тебе б, положим, явилась икона, а все ж — ему,  
все же — юроду несмыслену, Тимонечке, дурачку, —  
не честному крестьянину, не попу Никите, не купцу,  
не мытцю, не мытнику и не братку качку?

Ой, пойдем же ж, друже, и мы с тобой на горю какую-нить  
и молить Пречистую Деву станем — Свой лик явить.  
Али нетути в мире горы такой,  
где б на грешных, нас, снизошли благодать, покой?

10 января 2004.





---

---

# ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

РЕВЕККА ФРУМКИНА

\*

## ФЕНОМЕН РЕПЕТИТОРСТВА КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

**П**од репетиторством у нас все чаще понимают сделку между нанимателем и коррумпированным госслужащим, который за солидные деньги готовит абитуриента к поступлению в то государственное учебное заведение, где он сам преподает, в силу чего имеет некое влияние на приемную комиссию.

Среди сюжетов, связанных с упомянутым видом коррупции, самым жестоким остается принципиальное различие в жизненных перспективах совершеннолетних юношей и девушек. В нынешних обстоятельствах для юноши (и его родителей) борьба за статус будущего студента — это борьба не за право выбора жизненного пути, а за самосохранение, и начинается она именно на школьной скамье. Девушка не испытывает подобного чудовищного давления, что в немалой степени определяет мотивацию, а к тому же делает более уравновешенной атмосферу в семье, где растет дочь, а не сын.

Порочность системы, при которой вопрос «кем быть» для половины выпускников средней школы заменяется вопросом «как уцелеть», очевидна. Социальные последствия подобного положения вещей для *всей* системы образования и воспитания куда более пагубны, чем самый нелепый вариант ЕГЭ. Но об этом надо писать отдельно<sup>1</sup>.

В рамках данного обсуждения меня занимает другой вопрос, а именно: почему при всеобщем обязательном среднем обучении так масштабно востребованы услуги частного учителя — ведь именно его мы обычно называем репетитором.

Три причины представляются мне наиболее очевидными. Это: 1) системная нестыковка между знаниями, полученными в школе, и требованиями почти любого «нормального» вуза; 2) формальный характер базового школьного образования; 3) невнимание к ранним этапам формирования детского интеллекта.

### 1. Из школы — куда?

Сам факт разрыва между уровнем подготовки, который дает обычная школа (включая классы «с уклоном»), и тем, что требуют вузовские программы, широко известен. Чем выше котируется вуз, тем этот разрыв откровеннее. На первый взгляд его можно отчасти уменьшить, посещая подготовительные курсы при выбранном вузе, которые, будучи платными, все же в среднем не являются запредельно дорогими. Есть курсы получше и похуже, однако же по сравнению с серьезными и добросовестными частными репетиторами результативность курсов оставляет желать лучшего.

---

Фрумкина Ревекка Марковна — лингвист, эссеист, доктор филологических наук; автор научных исследований, учебников, статей специального характера, культурологических и мемуарных очерков. См., в частности, ее публикацию в № 3 «Нового мира» за этот год.

<sup>1</sup> См.: Фрумкина Р. М. Внутри истории. М., 2002, стр. 103 — 132.

Главный минус многих курсов — низкая степень ответственности преподавателей за судьбу абитуриентов. Отсюда — «перечень взаимных бед и обид» между родителями и учащимися, с одной стороны, и преподавателями и администрацией — с другой. Напряженность претензий тем больше, чем дороже курсы. Ведь если сам по себе провал абитуриента на экзаменах можно воспринять как несправедливость, то провал, несмотря на потраченные — и немалые — деньги, переживается еще и как надувательство (напомню, что я оставляю за кадром сделку, когда курсы — это всего лишь вид взяточничества). Психологически такая реакция тем более понятна, что курсы нередко посещают как раз дети менее обеспеченных родителей.

А ведь подготовительные курсы *как институция* — вовсе не наше изобретение. Разница между стандартной школьной подготовкой и требованиями серьезного высшего учебного заведения во многих странах считается нормой. Нормой — потому, что полное среднее образование в большинстве высокоразвитых стран является государственным и бесплатным. В дальнейшем высшие учебные заведения (как государственные, так и частные) стремятся не тратить деньги впустую на тех, кому нужны не знания, а «корочка» как пропуск в высшие этажи социума.

Наиболее любопытным представляется в данном аспекте пример Франции. Там переход от школы к самым престижным высшим учебным заведениям — так называемым *Grandes Ecoles* — осуществляет институция, которая так и называется Подготовительный класс. Это государственная и чрезвычайно авторитетная система, единственное официальное назначение которой — репетиторство для подготовки к сдаче конкурсных экзаменов в Большие Школы<sup>2</sup>.

Как известно, университеты во Франции не только бесплатны, но поступление туда вообще не предполагает вступительных экзаменов: в университет *записываются*, исходя из среднего балла, полученного на экзаменах на «аттестат зрелости» (*baccalauréat*). В этом смысле французский университет действительно общедоступен (другое дело, что получить хороший аттестат зрелости не так-то просто). Однако диплом университета вовсе не обеспечивает выпускнику дальнейшей карьеры — он должен искать работу сам. Кроме того, университет не платит стипендии.

В отличие от университета, Большие Школы впоследствии дают своим выпускникам огромные преимущества при устройстве на работу и платят учащимся стипендию, поскольку с момента зачисления студенты Больших Школ считаются госслужащими (!). Именно *Grandes Ecoles* взращивают культурную и государственную элиту Франции — о чем знаменитый французский социолог Поль Бурдьё написал в книге «*La noblesse d'état*»<sup>3</sup>. Неудивительно, что поступить туда можно лишь по исключительно суровому конкурсу — настолько суровому, что никто и не пытается сделать это сразу после получения аттестата зрелости.

Тот, кто хотел бы в дальнейшем попробовать свои силы и поступить в одну из Больших Школ, поступает в так называемый Подготовительный класс (во французском обиходе эти учебные заведения называют сокращенно «*gréра*», от *Classe préparatoire*). Эти учебные заведения существуют при крупных лицеях и рассчитаны на два года обучения.

Поступают в «препа» без экзаменов, но на основе довольно жесткого отбора по досье, то есть исходя из оценок, которые абитуриент получал в последних двух классах школы. Задача преподавателей — прямое натаскивание учеников на предстоящие конкурсные экзамены. Нагрузка в «препа» сопоставима с той, которую знают советские физики старшего поколения, сдававшие, например, знаменитый «минимум Ландау». Конкурсные экзамены в Большие

<sup>2</sup> Ярхо А. Кто куда, а я — в Сорбонну. [http://www.russ.ru/ist\\_sovr/20000310\\_jarho.html](http://www.russ.ru/ist_sovr/20000310_jarho.html)

<sup>3</sup> Bourdieu P. *La noblesse d'état. Grandes écoles et l'esprit de corps*. Paris, 1989.

Школы после двух лет пребывания в «препа» — самостоятельный сюжет, которого я не буду здесь касаться.

Если ученик не слишком вынослив или если высококонкурентная обстановка «препа» для него морально тяжела (а это достаточно частый случай), он, вообще говоря, может и отказаться от дальнейшей борьбы — это не сломает ему жизнь. Любой университет охотно зачислит студента, отучившегося два года в «препа», на третий курс: по общему мнению, подготовка в «препа» лучше, чем в университетах.

Конечно, всегда находятся лица, которые хотят (или вынуждены) изучать что-то на частных основаниях. Когда дочь моих знакомых училась в выпускном классе лицея, где философия является профилирующим предметом, перед экзаменом она ездила консультироваться к близкому другу семьи, который был профессиональным преподавателем философии. Понятно, что если бы дело касалось другого предмета, то соответствующие занятия оплачивались бы.

Таким образом, во Франции репетиторство как *регулярная социальная практика* доверено государству, что не исключает разнообразные варианты отношений ученик — учитель в сфере частных интересов: одни дают частные уроки русского языка, другие — флейты или рисунка и т. д.

Я не случайно так подробно остановилась на французском опыте. Французская система образования своеобразно сочетает демократизм и элитарность. Демократизм, в частности, проявляется в том, что тот, кто действительно хочет учиться, но, допустим, болел или переехал в другой город, может «повторить» класс; а другой ученик, если он хорошо успевает, может перепрыгнуть через класс, что нередко случается в начальной школе. В случае провала на выпускных экзаменах можно сдавать на аттестат зрелости еще дважды, но всякий раз с интервалом в год.

По данным на 2001 год, примерно 80 процентов французской молодежи получали аттестат зрелости, то есть по закону имели возможность записаться в университет. Отмечу, что система университетского образования во Франции устроена так, что предполагает возможность получения дипломов разной «весомости» после трех, четырех и пяти лет обучения. Например, после трех лет университета можно перейти в училище, готовящее преподавателей для начальных школ, или в другие специализированные учебные заведения, готовые к профессиональной деятельности. А в «препа» можно и повторить год, если студент считает, что он в этом нуждается.

Дело, таким образом, не в нестыковке наших программ средней и высшей школы как таковых — молодые люди во всем мире, так или иначе, специально *готовятся* к получению высшего образования. Проблема в том, чтобы сделать сам переход системно организованным.

В любом случае очевидно, что для России крайне расточительно иметь курсы чуть ли не при каждом солидном вузе. Содержательно программы вступительных экзаменов для всех наших так называемых технических университетов, медицинских институтов, химических факультетов и т. д. достаточно близки. Анализ наборов задач и формулировок билетов наводит на мысль, что их отличия обусловлены вовсе не особым уровнем требований того или иного вуза. Соотношение целей и средств здесь как раз обратное: задачи для экзаменов в N-ском университете специально подбираются так, чтобы без помощи репетитора *оттуда* или без посещения занятий на курсах именно при N-ском университете их нельзя было бы решить.

Но эта логика понятна только при одном условии: если мы согласимся с тем, что подлинная цель так называемых подготовительных курсов — подкормить вузовских преподавателей за счет лиц, готовых оплачивать *неопределенные* шансы своих детей на поступление. Если этот довод показался вам убедительным, то поверьте мне еще раз и поищите дельного репетитора. По крайней мере за свои деньги вы будете иметь возможность личного контакта с тем, от кого зависят ближайшие перспективы жизни вашей семьи.

## 2. Чему мы учим в школе?

С появлением в России классов и школ «с уклоном», частных школ, разных лицеев и гимназий перед родителями и детьми, казалось бы, открылось неограниченное поле выбора типа и содержания среднего образования. Ну а множество Университетов, Академий, Высших Школ и негосударственных вузов этот выбор должны еще более расширить.

На деле же полностью размытым оказалось представление о том наборе знаний, который выпускнику обязана дать *любая* средняя школа, дабы обеспечить переход от среднего образования к возможности получить высшее (замечу, что во времена моего поступления в МГУ, то есть в конце 40-х годов прошлого века, примерно половина студентов филфака и мехмата были из иногородних). Но еще менее понятно, что должна дать ребенку современная *начальная* школа, чтобы в нужный момент ученик вообще мог воспользоваться свободой выбора этого самого «уклона».

Именно это состояние растерянности побудило мою старинную приятельницу отдать мне «в учение» своего внука — второклассника Диму, а потом еще одну девочку, его ровесницу. Это дало мне редкую возможность не в эксперименте, а в жизни сделать некоторые интересные наблюдения, касающиеся детской обучаемости.

Я обнаружила, например, что вполне смысленный мальчик восьми лет не готов усвоить, что такое *случайность*. Мы с Димой играли в настольную игру, где путешествовали, преодолевая препятствия. Как обычно, каждый делал столько ходов, сколько очков выпадало на игровой кости. Всякий раз, как мне выпадало пять или шесть, а ему один или два, Дима в отчаянии восклицал: «Тебе опять везет!» — и начинал плутовать.

Напрасно я объясняла, что если мы будем много-много раз бросать этот кубик с шестью гранями, то он увидит, что шанс получить шесть равен шансу получить одно очко. Оказалось, что ребенка восьми лет не убеждает *наблюдаемая очевидность* (разумеется, я читала о соответствующих экспериментах, но, согласитесь, увидеть подобный феномен своими глазами — это совсем другое дело). И вообще, если в данном контексте доминируют эмоции — Дима ведь хотел выиграть во что бы то ни стало, — то остальное ребенку неинтересно, а значит — не важно.

Попробуйте перенести эту ситуацию в обычный школьный класс, где сидят двадцать второклассников. Уверяю вас, что большинство детей вас просто не станут слушать, а те два-три ребенка, которые Диму обогнали, в силу чего могли бы понять суть «везения» или «невезения» в данной игре, в общем беспорядке не смогут сосредоточиться. Вот если бы с ними позаниматься отдельно — например, бросать монетку и записывать: «орел», «решка», опять «орел»...

Героиня второй истории — Катя, Димины ровесница, всякий раз приходила в слезах после урока, который в советские времена назывался «труд». На днях учительница объясняла, как делать выкройку для передника, и велела дома самим сделать что-то подобное, но как следует действовать — Катя не поняла. По моим наблюдениям, в отличие от Димы, Катя была склонна рассуждать скорее от общего к частному. Во всяком случае, мне показалось более экономным не делать вместе с ней «передник» (кто знает, что им зададут на следующем уроке?), а попробовать объяснить ей, что такое *выкройка*.

Иными словами, я решила выбрать такой путь объяснения, который бы предпочла услышать сама. С этой целью вырезанный из газеты прямоугольник мы попытались свернуть и «надеть» как юбочку. Катя обнаружила, что она оказалась все не в юбочке, а как бы в большом стакане без дна. Когда мы с помощью скрепок и булавок подогнали верхний край «стакана» поближе к талии, девочка поняла, что выкройка обеспечивает переход от плоскости к объему. Таких слов я, разумеется, не произносила, но ведь теперь стало ясно, зачем на любом чертеже, который называется «выкройка», имеются многочисленные

«уголки» по краям — они обозначают надрезы на ткани, с помощью которых ткань после раскроя принимает форму человеческого тела.

Замечу, что и Дима, и Катя, вполне развитые для своего возраста и психически здоровые дети, были в немалой мере травмированы школой. Оба ребенка не имели даже минимально необходимого контакта с учителями — ни интеллектуального, ни эмоционального. Родители вначале удивлялись, почему при общении со мной у их детей не возникало никаких конфликтов. Вообще-то и с Димой, и с Катей мы изучали английский язык, но содержание наших занятий, как видно из сказанного выше, было существенно шире. В той или иной форме я учила их «всему сразу», как это некогда делали домашние учителя. И делала это осознанно. Самое время объяснить почему.

Будучи лингвистом, я тем не менее убеждена в том, что для обычного школьника изучение иностранного языка — да и родного тоже — довольно муторное занятие. Прежде всего — из-за неочевидности цели. Вы можете объяснить, зачем вообще нужно знать герундий? Или обороты с однородными членами? Давайте признаемся хотя бы себе, что *как таковые* эти сведения и в самом деле не нужны. Вместе с тем они необходимы в качестве составной части системы языка как средства общения и самовыражения. Но разве в школе кто-то потрудился это объяснить?

Неудивительно, что школьники, особенно младшие, охотно занимаются иностранным языком только в двух случаях: первый и самый распространенный — это занятия в форме развлечения; второй — когда иностранный язык изучается как бы заодно с чем-то, что для учащегося и в самом деле интересно или необходимо.

К первому случаю относятся всякие «игровые» курсы. Эффективность занятий на таких курсах обычно определяется тем, насколько готовы их посещать те дети, которые в школе прямо или косвенно вообще отказываются учить иностранный язык. Конечно, если во внешкольной группе детей учит молодая и артистичная преподавательница, то на первый взгляд все идет как нельзя лучше — дети веселы, родители довольны. Но раньше или позже выясняется, что, скажем, семиклассник знает какое-то количество английских слов, а заодно песенку и присказок. Однако его не научили ни читать, ни общаться.

Во втором случае знание языка оказывается условием интересной совместной деятельности или познанием чего-то, что ребенка действительно занимает, будь то украшение елки или умение изобразить план своей квартиры. Именно поэтому Диму и Катю я учила «всему сразу».

Разумеется, чем старше школьник, тем сложнее преодолеть его (нередко неосознанный) негативизм. Лет десять назад я занималась с Костей — несколько манерным юношей из выпускного класса, который на первый взгляд был совершенно безнадежен: при явных карьерных амбициях (журналистика? телевидение?) он не только не знал английского языка — он откровенно бездельничал. Однако отказаться от занятий со мной Костя не пожелал, хотя я ему в необидной форме это сразу предложила. Тогда я вызвала его мать. Приехала эффектная и суматошная дама, российский вариант Сильваны Мангано из фильма Висконти «Семейный портрет в интерьере». Шестнадцатилетний сын для нее был явной обузой.

Я решила еще на одну попытку. Вместо учебных текстов и упражнений я предложила Косте в качестве домашнего задания написать диалог с девушкой, которую он позвал в гости послушать музыку. Хотя ошибок там было больше, чем слов, автору нельзя было отказать в изобретательности. «Отмычкой» к изучению грамматики послужило мое пожелание, «чтобы это было уж совсем по-английски» (именно для этого и нужен, как стало ясно, этот самый герундий). В дальнейшем мы в форме диалогов «покупали» этой девушке плеер, ходили с ней в кафе, в театр, чинили ее велосипед (хорошо, что у меня был соответствующий словарь) и т. д. — в общем, двигались семимильными шагами. Косте нравилось писать, и он приобрел во мне заинтересованного чи-

тателя — видимо, единственного. Мне даже показалось, что создание текстов на чужом языке придавало ему смелости.

В моем детстве домашних учителей уже не было, а репетиторов — еще не было. Впрочем, бывали и исключения. Два сюжета в этой связи кажутся мне поучительными.

В школе я училась хорошо, но требования были серьезные, и потому я привыкла к усилиям и их не страшилась. На уроках физики в седьмом классе любимую всеми Нину Ивановну заменил Кир Федорович. Спустя неделю я обнаружила, что ничего не понимаю, а вскорости мое состояние на уроках физики стало приближаться к истерике — я стремительно тупела. Моя подруга Наташа только что вернулась в класс после долгой болезни, и по физике ей помогала приглашенная родителями учительница. Я сказала об этом папе и с его согласия тоже стала заниматься с Елизаветой Ивановной. Видимо, она была прекрасным педагогом, потому что все быстро встало на свои места, так что месяца через два наши занятия прекратились.

И все-таки я чувствовала, что уровень моего понимания физики оставался весьма приблизительным. Впрочем, предмет этот меня не очень интересовал, и потому мне не могло прийти в голову попроситься обратно к Елизавете Ивановне. Крепко пожалела я об этом через много лет, уже будучи кандидатом наук и автором книг, — я ничего не знала из физики, а ведь могла бы...

Второй сюжет касается математики. В школе ее нам преподавал известный математик и методист Юлий Осипович Гурвиц. Как я это вижу из сегодняшнего дня, с его точки зрения, девочкам (это времена раздельного обучения) подобало уметь решать типовые задачи — и не более того. Именно этому он нас успешно научил. Однако семинар по математической лингвистике, где я стала заниматься семью годами позже, то есть уже после окончания университета, стал для меня источником самой неподдельной фрустрации. У меня было ощущение, что я вообще не умею *так* думать, а главное — что этому способу мышления я никогда не смогу научиться.

Парадоксальность ситуации состояла в том, что именно тогда я придумала себе задачу, связанную с изучением *количественных* соотношений между словарем (то есть разнообразием словарного состава) и структурой текста. Дальнейшая работа требовала знания основ математической статистики. Чтобы мне помочь, моя подруга и коллега Оля Кулагина познакомила меня со своим однокашником по мехмату МГУ Володей Золотаревым (все мы были ровесниками).

Когда я рассказала о том, что меня затрудняет, мой новый знакомый спросил: «А вообще-то вы изучали дифференциальное и интегральное исчисление?» Оказалось, что задача была поставлена мною вполне корректно, хотя я и слов-то таких не знала. И тут мне несказанно, невероятно повезло. Володя (впоследствии профессор В. М. Золотарев, известный специалист по теории вероятности и главный редактор соответствующего научного журнала) оказался замечательным педагогом. Именно он понял, что моя сильная сторона — это дедуктивное мышление, а потому мне легче всего давалась как раз самая абстрактная математика. В результате, занимаясь моей задачей, он заодно прочитал мне основы топологии, теории множеств, кое-что из теории групп и т. п. Через полгода он высказался примерно так: «Откуда вы взяли, что не способны к математике? На мехмате вы были бы нормальной девочкой с твердой тройкой» (это хорошая оценка для тогдашней рядовой студентки мехмата).

Но кому в школе было дело до особенностей моего мышления? Тем более, что я была лучшей ученицей в классе...

Теперь во всех семьях, где воспитанию детей уделяется внимание, их много чему учат с малолетства. Разве вы рассчитываете на то, что в обычной школе ваш ребенок действительно выучит иностранный язык? Или научится рисовать и чертить? О музыке и говорить не приходится. Просто тех, кто учит наших детей английскому или музыке, мы не называем *репетиторами* — вплоть до момента, когда впереди не замаячат экзамены.

А кстати, почему вы так уверены, что ребенка важнее учить именно иностранному языку, а не, например, арифметике? Вот вы водите ребенка в дошкольную группу детского сада, — кстати сказать, нередко за деньги, рассчитывая на то, что в платном учреждении его лучше научат. Но через год выясняется, что ваш первоклассник не может сделать уроки без помощи родителей! И таких детей — большинство.

Но что тут удивительного? Ведь одно дело — *слушаться* Марь Иванну, которая велит писать, что  $6 + 2 = 8$ , и совершенно иное — действительно *понимать*, какие операции стоят за этой немудреной записью. Ведь только поняв суть операции сложения, ребенок может действительно усвоить, что  $6 + 2$  — это то же самое, что  $2 + 6$ . Но именно этому и *не учат* — притом *нигде*.

### 3. Репетитор для дошкольника

Весьма смысленный шестилетний Миша довольно ловко пользуется калькулятором и знает, что буквы придуманы, чтобы «писать слова». Если ему разрешить сесть за компьютер, то я уверена, что писать он быстро научится. Но кто ему объяснит, что между буквой и звуком нет взаимнооднозначного соответствия и поэтому звуков в слове может быть больше, чем букв (*елка*), но также и меньше, чем букв (*соль*)?

Более двадцати лет назад в каждом московском районе был Дом или даже Дворец пионеров, а в нем — кружки и студии (разумеется, бесплатные). Детских книг выходило не так уж много, зато детские библиотеки были доступны всем школьникам. Однако устроить маленького ребенка в пристойный детский сад было очень трудно.

Тогда же несколько моих знакомых семей, живших по соседству в отделенном районе, где еще не было метро, вскладчину пригласили к своим детям четырех — шести лет трех педагогов — по музыке, по рисованию и по французскому языку. Впрочем, так эти «предметы» можно было назвать достаточно условно, ибо содержание занятий было для того времени не вполне обычным.

На «музыке» детей учили не столько играть, сколько слушать музыку, понимать, как она «устроена», разбираться в музыкальных жанрах и немного — в инструментах, а также двигаться под музыку. Рисование включало в себя всевозможные «художества», но не предполагало использование собственно карандаша и пера, поскольку это, как известно, требует владения тонкой моторикой. Фломастеры еще были редкостью, зато можно было рисовать цветными мелками и акварелью, лепить, вырезать, клеить, а также делать кукол для собственного кукольного театра и декорации для него же.

Занятия французским языком через каждые три месяца завершались устройством спектакля, что всякий раз требовало самоотверженных усилий родителей для обеспечения костюмов и реквизита. Однако жизнь показала, что некоторые основы знания структуры языка были заложены у детей именно тогда.

Отмечу, что во всех трех семьях, чьи дети регулярно посещали эти занятия, родители были высокообразованными, но крайне занятыми людьми, так что выдерживать график поочередных дежурств на уроках было не так-то просто, не говоря уже о том, что всякий раз приходилось ликвидировать неизбежные последствия нормальной детской активности — действие-то разыгрывалось в типовой трехкомнатной квартире.

Не стану утверждать, что неординарные успехи, достигнутые этими детьми впоследствии, непосредственно определяются описанными выше занятиями. Несомненно тем не менее, что именно тогда они, во-первых, *научились учиться*; во-вторых, освоили сам тип социального взаимодействия с педагогом. Во всяком случае, результат сложения  $6 + 2$  перестал зависеть от того, что сказала Марь Иванна. А это очень важно.

Обычно думают, что заброшенные, неуспевающие дети — это дети из семей, материально малообеспеченных. Это, однако же, не всегда так. Фактиче-

ски заброшенными нередко оказываются и дети из семей обеспеченных и даже богатых, но при этом не слишком культурных. Как раз в таких семьях родители удивляются тому, что самый дорогой педагог не может заставить ребенка заниматься «делом». Но, быть может, не менее важно, что репетитор оказывается единственным, кто готов почитать дошкольнику вслух, кому можно показать новую игру, с кем можно поделиться впечатлениями от мультиков, кто готов ответить ребенку на вопрос о том, почему Дюймовочку назвали именно так.

Увы, время незабвенного Карла Ивановича, описанного Толстым, давно миновало. Но если вы нашли хорошего репетитора — считайте, что вам повезло.

Нет, я не хочу этим сказать, что именно вашему ребенку необходим репетитор.

Я также не думаю, что репетиторы нужны *всем* детям. Но мой опыт психолога, исследователя, а заодно еще и «репетитора» показывает, что педагогическая поддержка детям нужна вовсе не в связи с поступлением в вуз, а гораздо раньше — и прежде всего в предшкольном и раннем школьном возрасте, то есть перед поступлением в школу и в начальных классах.

Все дети *хотят* учиться — они если не любознательны, то по крайней мере любопытны (кстати, это не одно и то же; жаль только, что родители об этом редко задумываются).

Но далеко не все дети *умеют* учиться без помощи взрослого. Чтобы в этом убедиться, понаблюдайте за тем, как разные дети обращаются с конструктором «Лего». Не стоит раздражаться по поводу того, что соседская девочка в шесть лет уже вяжет крючком, а ваша дочь все еще плохо завязывает шнурки на ботинках: ведь вы не знаете, *чем еще* эти девочки отличаются. Может быть, у соседской лучше развита моторика, зато у вашей — лучше зрительная память.

И неправда, что все дети талантливы просто потому, что они — дети.

Но одни дети более тревожны и потому менее усидчивы, а другие — на вид вроде бы флегматичны, а оказывается, что они все время заняты своими размышлениями. А вы разве умеете думать на бегу? А учиться сразу трем неизвестным прежде вещам — выводить закорючки по линейкам, производить с этими закорючками какие-то невнятные действия (например, «отнимать» от восьми четыре) и еще читать вслух с правильной интонацией? Право же, есть над чем призадуматься.

#### 4. Право на образование на бумаге и в жизни

Россия — большая и плохо обжитая страна. Конечно, наш нынешний школьник, добирающийся до школы хоть и по бездорожью, но в пристойных резиновых сапогах, не похож на крестьянского мальчика в лаптях, изображенного на известной картине Богданова-Бельского «Устный счет». Но в не меньшей мере он отличается и от европейского или американского школьника, которого каждое утро отвозит в школу желтый автобус.

Талантливые дети, как и талантливые учителя, есть везде — это видно, например, из сотен сочинений, присылаемых на ежегодный конкурс общества «Мемориал». И все же для подлинной реализации своего права на образование дети из глубинки вынуждены прилагать совсем другие усилия, чем их ровесники из больших городов. Ни для кого не секрет, что в провинции в школе по полгода нет то уроков физики, то географии, а единственный компьютер нередко заперт в кабинете директора. При всем том социологические опросы показывают, что в среднем россияне готовы тратить огромные деньги на образование своих детей. Образование *как таковое* продолжает рассматриваться как главный — или по крайней мере важнейший — источник вертикальной социальной мобильности, а наличие даже в небольшом городе педвуза или техникума давно стало показателем статуса города.

В этих условиях следовало бы любыми способами поощрять прежде всего развитие полноценного начального образования. В книге В. Л. Глазычева



«Глубинная Россия» (М., 2003) упомянут детский кружок по лепке из теста, который он обнаружил в одном совсем маленьком городке. А в подмосковном селе, где захиревшее керамическое предприятие перешло в частные руки, дети на досуге с удовольствием расписывают забавные фаянсовые фигурки — да так, что их покупают экскурсанты.

И тут я предвижу недоуменный вопрос: каким боком лепка из теста или возня с росписью фаянса может относиться к образовательному процессу? Отвечу вопросом: а какое отношение к нему имеет приобретение навыка писать ручкой по прописям (в компьютерную эру!) и заучивание текстов наизусть?

Уверяю вас, что в процессе лепки из теста — а детей такие занятия обычно увлекают — можно научить хоть арифметике, хоть геометрии, а также рассказать историю и географию родных мест, где традиционно делали пряники, да и многое другое. Но для этого надо любить детей и получать радость от самого процесса передачи своих знаний другим. И разве важно, как мы будем называть того, кто это готов делать?



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



## ОПЫТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ — ПО ЛИЧНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ

*В прошлом году, когда отмечалось трехсотлетие основания Петербурга, у меня возникла идея организовать, при содействии Эрмитажа и петербургского государственного Музея истории города, выставку, которая показала бы, через живописные работы и рисунки, вклад итальянских мастеров в создание новой российской столицы. Выставка, под названием «Петербург и Италия. 1750 — 1850. Итальянский гений в России» открылась 29 апреля 2003 года в Викторианском монументально-музейном комплексе (Vittoriano) и с успехом продолжилась до июля.*

*Кроме публикации каталога, созданного усилиями русских и итальянских исследователей, было решено устроить конференцию на эту же тему. Конференция состоялась 30 апреля на великолепной вилле Тусколана в городке Фраскати под Римом. Ее участниками были кроме историка искусства Летиции Тедески и автора этих строк Сергей Андросов, заведующий Отделом западноевропейского искусства петербургского музея, а также Сергей Бочаров и Сергей Аверинцев.*

*За несколько недель до этого, гуляя по Риму в окрестностях Пантеона, мы случайно встретились с Сергеем Сергеевичем и его женой Натальей Петровной (в этот день ему предстояло держать речь философского характера в итальянском Сенате). Меня и мою жену Клару много лет связывали дружеские отношения с обоими, и, предложив ему выступить на будущей конференции, я получил его согласие. Публикуемое ниже выступление Аверинцев прочел по-итальянски (перевод сделала Клара), так что благодаря прямому контакту с аудиторией, помимо собственно содержательного интереса текста, его доклад имел особый успех. Во время работы конференции Сергей Сергеевич написал на отдельном листке шуточный стихотворный экспромт и протянул его мне со словами: «Это вам подарок». Экспромт оказался его последним известным мне стихотворением. Вот он:*

### Серебряный век

Когда прав, когда не прав,  
Всегда Вячеслав есть Вячеслав;  
Но вечно Бугаев Боря  
С Андреем Белым в ссоре,  
И Александр Блок  
С двойниками совладать не смог,  
И Тетерников Федя  
Стервенел вроде медведя,  
И немел среди безумств Азии  
Директор царскосельской гимназии,  
И ученик его Коля  
Уж больно тужился в роли...  
Однако при царе и при республике  
Милы они чистой публике!  
А вот Лене и Леше  
Хлопала публика поплоше.  
Срывал немых курсисток рев  
Тучный и томный Лотарёв,  
Вызывали восторги в каждом уроде  
Эти самые, которые «вроде Володи»,

И соборные действия по эстетной воле  
 На площадях учинял нарком Анатолий:  
 Тут из всех шелей поползли шулера,  
 И сама собой накрылась игра.

С. А.

*Во второй половине дня участники выставки и конференции совершили незабываемую экскурсию в Тиволи и на виллу Адриана. Именно тогда Аверинцев почувствовал некоторую усталость, от которой ему уже не суждено было оправиться.*

*Прощаясь на следующий день (мы с женой возвращались в Венецию, Аверинцевы оставались на несколько дней в Риме для участия на заседаниях Ватиканской Академии), мы не могли знать, что это наша последняя встреча. Потом известие о прискорбном инциденте, затяжная кома, за которой мы следили с трепетом и надеждой, и, наконец, звонок Наташи, сообщившей о кончине.*

*В Италии у Сергея Аверинцева было много друзей и почитателей, здесь его очень ценили как ученого и мыслителя, и его смерть вызвала неподдельную скорбь, о чем я писал в «Коррьере дела сера» в посвященной ему статье-некрологе.*

*Витторио Страда.*

*Венеция.*

**Я** буду говорить о людях, с которыми я постоянно встречался, — иначе говоря, о замкнутом круге более или менее нонконформистской интеллигенции, ориентированной на старые культурные парадигмы и уже постольку более или менее оппозиционной.

Однако в виде заставки к моему сугубо мемуарному докладу фигурирует совсем иное имя, принадлежащее поэту, которого я не только не мог знать лично, но о самом существовании которого мне пришлось узнать не из устного предания старой питерской интеллигенции, а из отличной комментированной антологии поэзии на иврите: «The Penguin Book of Hebrew Verse», ed. by T. Carmi, 1981. Это имя Хаима Ленского, родившегося в начале века в Белоруссии, тщательно изучившего иврит в специальной школе в Вильнюсе (тогда польском городе Вильна), а затем переселившегося в Ленинград, где он работал на металлургическом заводе, а на досуге упражнялся в сочинении стихов на иврите.

Известен его сонет, воспевающий в тонах, что называется, серебряного века — не без макаберных ноток — петербургский закат: день спускается по ступеням к Неве и погружается в волны, в наступивших сумерках утопают пламенеющий купол *Исаакия* (kipat 'isaaqi) и подобная золотому шару кровля Адмиралтейства (kaddur-zahav... ggag-ha'admirlija), — а между тем из вод Невы выплывает удлинившееся тело утопленника-дня, «с белым лицом и голубыми устами», и это не что иное, как hallájláh hallavan, по-русски *белая ночь*. Судьба поэта, хвалившегося, что перенес имя своей Царицы, то есть еврейского языка, за Неман и Неву и заклинавшего ее перенести его имя — за Лету, была такой, как и надо было ожидать: арест в 1934-м, странствия по ГУЛАГу, кратковременное возвращение в Ленинград, новый арест в конце тридцатых и лагерная смерть от голода в начале сороковых. Разумеется, можно (и нужно) приобщить вышеназванный сонет, называющий по имени архитектурные достопримечательности и завершающийся картиной белой ночи, к корпусу так называемого «петербургского текста» и «петербургского мифа», но я обращаюсь к фигуре еврейского поэта (в конце концов, пришедшего в город на Неве из иных земель) как к воплощению некоего поведенческого стиля, который в разнообразных вариантах представляется мне характерным именно для поведения питерской интеллигенции.

Красивый, пожалуй, даже слишком красивый сюжет: сочинять на возрождаемом древнееврейском языке постсимволистский сонет о белой ночи посреди ленинградской действительности тех годов, — это предполагает едва ли не

абсолютную решимость вообще не оглядываться на то, что творится вокруг. Не с той ли безоглядности вникания в материи вроде английских *metaphysical poets*, самые что ни на есть странные по обстоятельствам времени и места, будет начинать четверть века спустя другой еврейский мальчик в Ленинграде — Иосиф Бродский?

Чтобы написать такой сонет, нужно было суметь до конца сосредоточиться на самих правилах игры, отбросив с великолепным презрением вопрос — кто в этой игре ожидаемый партнер поэта, кто будет читателем и ценителем? На берегах Невы не очень читали на иврите, а там, где знатоков этого языка было побольше, едва ли многих заинтересует тема — купол Исаакия, *kiprat 'isaaqi*, и сама белая ночь, *hallájláh hallavan*. Но все это не имеет никакого значения: важны правила игры — чем строже, чем труднее, тем лучше.

Именно по признаку этого своего качества забытый образ Хаима Ленского выбран как заставка для моего доклада.

Я испытываю сильное искушение ностальгически углубиться в атмосферу, густо клубившуюся вокруг питерских стариков вроде Аристида Ивановича Доватура, для которых, скажем, фигура поэта Константина Вагинова была недавним воспоминанием вольного филологического сообщества эллинистов по имени АБДЕМ, заседания коего Вагинов посещал с 1927 года, — а уж шуточка насчет Мандельштама как «*мраморной мухи*» сохраняла острую злободневность, точно вот только что возникшая. Такие очень устные, очень домашние рассказы, регулярно перемежавшиеся с лагерными воспоминаниями рассказчика, рассказы, в которых очень важны были мимика, интонации, нюансы выговора, — действовали на меня, молодого москвича, как некая мистериальная инициация. Я думаю о том, как показывал мне петербургские места, а также Комарово Дмитрий Сергеевич Лихачев, — это тоже была инициация в мистерии Петрополиса. Но иногда тема поучительной беседы не была петербургской в буквальном смысле; Кумран и вообще *iudaica* не имеют специально к Петербургу никакого касательства, но для моей души эти предметы навсегда связаны с памятью о незабвенном Иосифе Давыдовиче Амусине, с домом на улице Орбели, где я его навещал, наслаждаясь общением с ним и запасаясь наставлениями для моих будущих трудов...

Но позволять себе эпический тон я сейчас не буду. По моей вине здесь многое навсегда упущено, потому что надо было вести записи сразу, а этого я не сделал; может быть, о чем-то мне еще удастся рассказать в соответствующем жанре, неизбежно фрагментарном и одновременно сугубо неспешном, весьма отличном от жанра доклада.

Сегодня я в соответствии с нашей темой постараюсь рассуждать о предметах более общих: чем отличались в советскую пору носители старой культурной традиции Петербурга от интеллигентов несоветского или хотя бы *не-советско-советского* типа в Москве?

(Заодно замечу, что для реконструкции конкретных нюансов локальной истории «недобитой» старой интеллигенции в различных частях СССР сделано до сих пор слишком мало. Например, совсем особый сюжет — жизнь русских интеллигентов, вовремя направивших свои стопы в Среднюю Азию; именно там пересаживали тридцатые годы мои родители, а едва ли не единственный встретившийся мне человек старшего поколения, который при полном неприятии сталинщины сохранил внутреннюю веселость, еще в 1925 году смекнул забраться в Фергану.)

Стоит ли заниматься историей поколений людей, сберегших внутреннюю независимость, однако злой судьбой чаще всего лишенных возможности оставить нам что-нибудь, кроме некоторого количества стихотворений и весьма специальных, порой быстро устаревающих ученых трудов? Для меня такого вопроса нет. Даже те, кто не смог сделать больше ничего или почти ничего, воспитали нас. Без них нас не было бы...

Возвращаюсь к моей теме.

В советские десятилетия для города, именовавшегося тогда Ленинградом, была, как правило, свойственна большая, чем в Москве, жесткость репрессивно-идеологического климата. Ленинград был в свое время едва ли не эпицентром сталинских репрессий, и недаром же его выбрали для такой акции, как убийство Кирова. Но и позднее, в послеоттепельные года, когда московская интеллигенция могла наслаждаться такими двумя взаимосвязанными радостями, как внимание иностранных корреспондентов, коллег и прочих заграничных посетителей столицы Советского Союза — и смягчение режима в этой столице, питерская жизнь была существенно иной. Вспоминаю, что сказал мне когда-то в семидесятые мой добрый друг Евгений Рашковский, сам москвич, как и я: «*Не забывай, Сережа, что настоящая советская жизнь начинается в стольких-то километрах от Москвы*». Однажды и я малость испытал на себе холодок ленинградской атмосферы, когда в 1980 году, возвращаясь из научной командировки в Италию и Грецию, уже в самолете узнал, что в силу нормального для той поры сюрреалистического казуса самолет взял да и полетел из Афин вместо Москвы в Ленинград, где вдруг явилась нужда быть летевшему на нем важному партийному лицу, а прочим пассажирам дали затем возможность бесплатно лететь из Ленинграда в Москву, однако, пройдя там, куда прилетели, процедуру, так сказать, пересечения границы, — так вот, в ленинградской-то таможне рылись в моих бумажных листочках уж никак не меньше трех часов, да с такими красочными придирками, какие в таможне московской уже были тогда несколько устаревшим явлением.

Сюда же относится обстоятельство несравнимо более серьезное. Практически все питерские мэтры, для встреч с которыми я и ездил в город на Неве, прошли через ГУЛАГ. Вот неполный список: Дмитрий Сергеевич Лихачев и Иосиф Давыдович Амосин, Аристид Иванович Доватур и Андрей Николаевич Егунов, даже не так уж намного старший меня по возрасту Александр Иосифович Зайцев, отношение к которому было у меня не ученическим, а уважительно-коллегиальным, — все.

Легкомысленной Москве положено было быть городом иллюзий.

Даже Сталин и тот ведь одно время пытался внушать московской интеллигенции надежды на возможность диалога: вспомним его телефонные звонки Михаилу Булгакову, позднее Пастернаку — стратегия была рассчитана, разумеется, на фарсовый эффект растерянности того, кому Вождь звонит, однако же под конец разговора в обоих случаях возникал мотив надежды на встречу и возможность поговорить по-настоящему. Разумеется, такие фразы Вождя не имели никакого отношения к реальности, однако они производили, скажем, на того же Булгакова определенное впечатление.

Когда мы вдумываемся в ситуацию, мы чувствуем семиотическую важность того, что это были телефонные разговоры по городу Москве, никак не междугородные. Просто нет возможности вообразить себе аналогичный звонок к кому-либо из протагонистов питерской культуры, скажем к Ахматовой. Но сталинское время — особый случай; иллюзия возможности диалога — уже не с вождями лично, но с идеологией вообще и властью вообще — становится характерной компонентой сознания московской интеллигенции позднее, в пору «оттепели». А те, кто разочаровывался в этой иллюзии, шли в политическое диссидентство — и могли рассчитывать на то, что грозящий арест будет по крайней мере заметным *московским* событием.

В Ленинграде политический климат был все время жестче. Не без связи с этим меньшее развитие получили оба характерные для послеоттепельной Москвы феномена: 1) прежде всего полусоветская культура евтушенковского типа, ориентированная на двусмысленный, обильный недоговоренностями разговор на две стороны — с властью и с интеллигенцией; 2) отчасти также и политическое диссидентство, ориентированное на возможность апеллировать (через иностранных корреспондентов) к мировому общественному мнению. Остава-

лась суровая сосредоточенность на своем деле, чуть ли не преувеличенная верность тем или иным воспринятым «заветам».

Традиционная характеристика московской культуры при взгляде из Питера — легкомыслие, «распушенность». Сами собой вспоминаются строки Кушнера:

Да ну гитара, право,  
Засученный рукав.  
Любезная отравка,  
Поставь ее за шкаф.  
Пускай на ней играет  
Григорьев по ночам,  
Как это подобает  
Разгульным москвичам...

Вспомним, как Дмитрий Святополк-Мирский, одним из первых оценивший масштаб поэзии Марины Цветаевой, писал, однако, о ней: «Московская (сказать ли?) распушенность в каждом движении ее стиха»<sup>1</sup>.

Напротив, петербургская культурная традиция была уже давно ориентирована на дисциплину, на абсолютные мерилы; тот же Мирский в 1922 году говорил о Петербурге как «столице Культуры Вечности» и отмечал «математичность и дисциплину» как особенность петербургской поэзии<sup>2</sup>. Особенно тяжелая судьба носителей петербургской культуры в советское время отнимала иллюзии; заодно такая судьба неизбежно ослабляла и здоровую потребность в живой оглядке на своих современников, в любом случае усугублялись унаследованные свойства вышеназванной «Культуры Вечности».

Поиски опоры в возможно большей твердости культурных парадигм гарантировали у лучших представителей оппозиционной питерской интеллигенции особый пафос профессиональной добросовестности (я еще раз подчеркиваю, что сравниваю порядочных москвичей с порядочными питерцами, мысленно выбирая лиц для сравнения по признаку сопоставимого морального уровня, чтобы процедура сравнения не потеряла смысла).

В качестве специалиста по классической филологии должен сознаться, что уровень этой добросовестности был у тех питерских филологов, которые были правомочными хранителями старой традиции, существенно выше, чем у их московских коллег, даже наиболее достойных и порядочных.

В глазах лучших среди наших московских наставников читалась печально-ироническая оглядка на реальность сегодняшнего дня... и неизбежная попытка отмерить, что при данных обстоятельствах еще можно (и должно!) сделать, а на какие прежние устои следует махнуть рукой. В Питере еще можно было встретить настоящих жрецов науки, которые казались людьми иной породы, последними гражданами затонувшей Атлантиды, и в них ощущалась решимость ригористически соблюдать законы этой Атлантиды до конца своих дней и вопреки всему. Если в Москве времен нашей молодости одна неконформистски-порядочная, всесторонне образованная и творчески одаренная представительница старшего поколения (имени которой я не назову, ибо она заслужила, чтобы о ней говорили в ином контексте) могла, однако, сваливать составление научного аппарата к своим по долгу службы написанным статьям на свою ученицу и младшую сотрудницу, — старые питерцы сравнимого с ней морального и культурного уровня вели себя совсем, совсем иначе.

Питерец Бродский (о котором мне еще придется говорить) воспел — на поверхности иронично, в глубине совершенно серьезно — «собачью» доблесть петербургской культуры советских лет:

<sup>1</sup> M i r s k y D. S. Uncollected Writings on Russian Literature, ed. by G. S. Smith, Berkeley, 1989, p. 102. Ср. фразы, открывающие статью Г. Адамовича «Русская поэзия»: «Поэтическая Россия разделяется на Москву и Петербург. Петербургская поэзия, как всем известно, суше и строже. Московская шумливой и разухабистой» («Жизнь искусства», 1923, № 2, стр. 4).

<sup>2</sup> M i r s k y D. S. Op. cit., p. 105.

...И что им этот безобразный дом!  
 Для них тут садик, говорят вам — садик.  
 А то, что очевидно для людей,  
 собакам совершенно безразлично.  
 Вот это и зовут: «собачья верность».

Оборотная сторона ориентации на незыблемые парадигмы — жесткость, плохо совместимая и с творческой продуктивностью, и с толерантностью. Постараюсь привести примеры того и другого.

К вопросу о продуктивности: когда шел теоретический спор между московской и питерской школами литературного перевода, по большей части трудно было не признать правоту питерцев, — но в практической деятельности москвичи чаще побеждали, ибо литературный перевод требует диалогического контакта как с переводимым автором, так и с возможным читателем. Переводчик не должен подлаживаться к читателю, но он должен видеть этого читателя, должен смотреть ему в глаза... Мне кажется, что вот это москвичам удавалось лучше; впрочем, я могу быть пристрастен — ведь я сам стихотворный переводчик московской школы!

А теперь к вопросу о толерантности — вот каков был мой опыт, опыт легкомысленно миролюбивого москвича. На каждой научной конференции по классической филологии я спешил первым делом приветствовать некоторых глубоко уважаемых мною питерских наставников; и почти сейчас же на мою почтительную голову обрушивались их гневные восклицания: «Нет, как вы можете говорить с этим ужасным человеком?» — это один мой наставник сурово осуждал меня за общение с другим (в тех же выражениях, что этот другой — за общение с ним).

А я не мог не чтить каждого из них: скажем, Аристида Ивановича Доватура — за незыблемую верность строжайшей филологической парадигме времен Виламовица-Мёллендорфа (Wilamowitz-Moellendorff), а Иосифа Моисеевича Тронского<sup>3</sup> — за живую чуткость к более новым исследовательским парадигмам литературоведения и языкознания. Я не мог не испытывать человеческого уважения к страданиям, испытанным Доватуром в ГУЛАГе, — и, в конце концов, к порядочности Тронского, скажем, по причине своих лаицистских убеждений приходившего в настоящую ярость по поводу моей христианской позиции и выражавшего эту ярость мне лично, однако строжайше воздержавшегося от каких бы то ни было публичных высказываний, которые в советских условиях были бы доносом (а также опровергнувшего однажды одну из частных исторических версий советского атеизма просто по верности своему долгу эксперта по филологическим вопросам). Да ведь и научная судьба Тронского находилась, как у многих питерцев, в вопиющем несоответствии его знаниям, таланту и трудолюбию, так что какая-то доля сострадания примешивалась к моему респекту и в его случае. Возвращаясь к конфликту, скажу, что дело не обходилось уж совсем без политики: Тронский был в глазах Доватура все же слишком марксистом, Доватур в глазах Тронского — чуть ли не средоточием одиозной старорежимности; однако важнее всего было столкновение именно научных и общекультурных парадигм, как нынче говорят — *clash of civilisations*. Два человека, для которых их наука была дороже и важнее всего, ненавидели друг друга за различное понимание идентичности этой науки. А мне вспоминались стихи Брюсова о том, как ведут себя многие, кто остался в живых «из славного племени / многомогущих воителей, пльвших под Трюю», из героического поколения:

...И когда мы порой, волей рока, встречаемся,  
 Мы, привыкшие к жизни средь малых, бесславных, —  
 Как враги друг на друга, грозя, ополчаемся,  
 Чтоб потешить наш дух поединком двух равных!

<sup>3</sup> Собственно, Троцкого: как и многие другие носители этой фамилии, он принужден был ее поменять.

Но я хотел бы подчеркнуть, что сама эта несносная нетерпимость была оборотной стороной истинно питерской героической отчетливости парадигм.

Недаром же питерец Мандельштам клял *«всептерпимость»*, называя ее *«пья-кровь»*, и настаивал на том, что филология должна быть *«вся кровь, вся нетерпимость»*. Что ж, филологи Доватур и Тронский воплощали, каждый по-своему, этот очень питерский императив.

Интересно, что два представителя оппозиционной питерской интеллигенции, сумевшие выйти из тихого затвора профессионального или частного микрокосма и наделать шуму в России, а один из них — и во всем мире, так или иначе отошли от беспримесной чистоты питерского культурного типа. Разумеется, я имею в виду Иосифа Бродского и Льва Гумилева.

В обоих случаях нельзя не усмотреть некоего внутреннего противоречия; но казус Льва Гумилева проще. Поэтому я начну с него. Евразийство — изначально не петербургская вещь; не только потому, что его отцы основатели в период, предшествовавший эмиграции, как правило, не были связаны с Петербургом, не только потому, что его доктрина содержит как раз эмфатическое осуждение дела Петра, так некстати открывшего свое *«окно в Европу»*, — но прежде всего потому, что оно с самого начала потребовало от своих адептов и глашатаев отхода от императива научного профессионализма во имя насквозь идеологического проекта *«идеократии»*. Из писем зачинателя евразийства Николая Сергеевича Трубецкого<sup>4</sup> — кстати, москвича — слишком хорошо известно, какие внутренние страдания причиняли агитационные правила игры этому замечательному ученому. Лев Гумилев, сам называвший себя *«последним евразийцем»*, принял эти правила игры, обрекавшие его на систематический дилетантизм. От питерской патетики при этом оставалась нетолерантная абсолютизация воспринятой парадигмы. Другой характерно питерский момент — трагизм его биографии, определенным образом сказавшийся на его мыслительном складе. Увы, ГУЛАГ, пространство, где человека подстерегают все на свете страдания и унижения, но где его мыслям не дожидаться профессионально-коллегиальной критики, — не самое подходящее место для того, чтобы учиться рассуждать, переспрашивая себя и отвечая на свои же возражения. А к преступлениям тоталитаризма относится и такой шедевр адской издевки: что он заражает своих собственных истязуемых им жертв — своими же мыслительными недугами. Когда покойный Лев Николаевич в частной обстановке отвечал на любую критику предупреждением, что не согласный с ним разоблачает себя как агент КГБ, а возможно, и ЦРУ, или когда он по ходу исторических рассуждений не без мрачного удовольствия пользовался понятием *«идеологической диверсии»*, — трудно было об этом не подумать. От питерской традиции при этом оставался только выстрадавший пафос серьезности, отличавший его от множества подражателей, которые по существу всегда были настроены несравнимо легкомысленнее.

В случае Бродского внутреннее противоречие много тоньше. Бродский не только воспел петербургский ландшафт в стихах, которые когда-то назвали бы бессмертными, он дал статус мифа понятию *«петербургской школы»* в поэзии (при этом победоносно вытеснив своей фигурой всех своих собратьев по названной школе). В ранг мифа его личной биографии оказались возведены его ранние встречи с Ахматовой. Тем не менее слишком очевидно, что силовой напор его стиха, взрывчатость его рифм, наступательность его *анжамбманов (enjambements)*, вообще весь тонус его поэзии имеют несравненно больше общего с москвичкой Цветаевой, чем с какими-либо питерскими образцами (включая даже Мандельштама). Известное (и, по моему мнению, весьма удачное) стихотворение Александра Кушнера, красиво обыгрывающее как раз испуг перед *анжамбманами* Бродского, выглядит как аутентичная реакция чисто-

<sup>4</sup> Подробно об этом см. в работе С. Аверинцева «Несколько мыслей об „евразийстве“ Н. С. Трубецкого. Опыт беспристрастного взгляда» — «Новый мир», 2003, № 2. (Примеч. ред.)



породного питерца. Далеко не случайно лучший образец эссеистики Бродского посвящен цветаевскому «Новогоднему»; его лучше читать в английском подлиннике, наслаждаясь опытами перевода кусочков из Цветаевой — то поэтического, то подстрочного, но каждый раз попадающего в цель.

У вопроса о том, как питерец Бродский перенимал московские парадигмы, есть и несколько странные аспекты. Начнем хоть с попыток учиться у Одена и прочих англоязычных менторов, плодотворные на других уровнях, но на уровне стиха сразу разбивавшиеся об энергию воспитанного на Цветаевой стиха, так что вместо размывания стиха до верлибра получалось нечто прямо противоположное. (Чтобы острить, как Глеб Шульпяков в «Литературной газете» от 8 июля 1997 года, что-де Оден и Бродский — «синонимы», что «в разных языках они делали примерно одно», надо совсем не иметь слуха к стиху.)

Вспомним также преувеличенную враждебность Бродского к Евтушенко и tutti quanti, за которой скрывается парадоксальная неспособность спокойно отстраниться, — жгучее соперничество с так называемыми «шестидесятниками», из-за голов и плеч которых высывалась фигура москвича Маяковского. Ведь Бродский уже в Соединенных Штатах рассуждал о желательности публичных рецитаций поэзии на стадионах: разве тут не чувствуется близость того же Маяковского, а также сугубо московских по всему типу вакханалий «шестидесятников» в Политехническом музее? А в ранние годы у Бродского были строки, полностью укладывающиеся в *шестидесятническую* парадигму, — недаром уверяют, будто их распевали геологи у костров, это им подходит:

Каждый пред Богом  
наг.  
Жалок,  
наг  
и убог.  
В каждой музыке Бах,  
В каждом из нас Бог...

Но питерская черта — железная последовательность, с которой Бродский воспринимал любую парадигму, хотя бы и совсем не питерскую.

Но мне пора заканчивать мой доклад. Я думаю, в уме каждого из вас — примерно те же вопросы, что и в моем уме: сохраняет ли петербургская культура свою идентичность сегодня (и в предвидимом «завтра»)? Не является ли фигура Бродского знаком и знамением утраты этой идентичности? Или идентичность, осложняясь и вступая в противоречивые отношения с самой собой, получает шанс нового будущего? Не знаю...

---

---

---

М. Л. ГАСПАРОВ



## ПАМЯТИ СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА

**С**ергей Сергеевич Аверинцев был филолог — Филолог с большой буквы, как сказали бы в полуказенном стиле недавних времен. Конечно, он был гораздо больше чем филолог. На нынешнем языке следовало бы сказать: культуролог. Но это слишком нынешнее слово, и Аверинцев его не любил. Не в последнюю очередь потому, что в нем не было той этимологии, которая есть в слове «филология». Филология — значит любовь к слову. Из всех русских «-логий» это единственная, в которой есть корень «любовь». Это и придает этой науке особое измерение — человеческое. О нем Аверинцев писал в статье «Похвала филологии» — когда он в 1968 году получил премию Ленинского комсомола за свою работу о Плутархе и едва ли не в первый раз был приглашен выступить в массовой печати; о нем он писал и в фундаментальной статье «Филология» для «Литературной энциклопедии».

Любовь — опасный соблазн: когда этимология разрешает человеку что-то любить, он тотчас ищет в этом права чего-то не любить. Этот соблазн был чужд Аверинцеву: филолог должен любить всякое слово, а не только избранное. Мне дорога его реплика: «Как жаль, что мы не в силах все вместить и все любить». Мало того: когда разрешено любить, то кажется, что разрешено и внушать, навязывать эту любовь своим ближним и дальним. Этого соблазна он тоже избегал: в предисловии к книге «Поэты», к десяти замечательным признаниям в любви к ним от Вергилия до Честертона, он писал: «Я надеюсь, что читатель не причтет меня к числу заклинателей и гипнотизеров от гуманитарии — хотя бы потому, что у меня нет той нечеловеческой уверенности в себе, которая обличает последних». Это не случайные слова: молодые слушатели, толпами стекавшиеся на его выступления, радовались подпасть именно такому гипнозу. Но сам он совсем не был этому рад. Он говорил: «Кончая лекцию, мне всегда хочется сказать: а может быть, все совсем наоборот».

Любить — это большая ответственность. У каждого любящего возникает в сознании образ «мой Пушкин» (и т. п.), но не каждый умеет помнить, что настоящий Пушкин больше и важнее этого «моего». В том же предисловии к «Поэтам» он писал: «Мне хотелось не столько сделать их „моими“, сколько самому сделать себя — „их“». Не так важно, нравится ли Вергилий нам; важнее, понравились ли бы мы Вергилию. Причастность культуре требует от нас смирения, а не самоутверждения. Он говорил: «Рассуждать о падении культуры бесполезно, пока мы не научимся видеть истинных врагов культуры в самих себе». Филология — это универсальное знание, вырастающее из текстов, но возвращающееся к ним в смиренной заботе о понимании. Филология — это служба общения культур; но она не притворяется диалогом. Прошлые культуры не имели в виду нас и не разговаривают с нами. Филолог — не собеседник прошлой культуры, а скромный толмач при ней, пересказывающий слова, не к нему и не к нам обращенные.

Склад его характера был закрытый, монологический, даже с кафедры не наставляющий, а подающий пример для самостоятельной мысли. «Мысль не притворяется движущейся, она дает не указание пути, а образец поступи. Хорошо, когда читатель дочитывает книгу с безошибочным ощущением, что теперь он не знает больше, чем не знал раньше». Но добиться этого ощущения у читателей — и особенно у слушателей — ему решительно не удавалось: наоборот, всех переполняло ощущение окрыляющего понимания. Тому были

свои причины. С культурами мы знакомимся, как с людьми: сперва видим в них сходство с нами, а потом отличия от нас. Рассказывая об этих культурах, Аверинцев начинал сразу со второй стадии — с высокой планки знакомства. Поэтому они рисовались необычными, загадочными и пленительными: чудом понятными. Эту иллюзию чуда переживал каждый, кто слышал его лекции и публичные выступления.

Эти памятные выступления привлекали народ, как при риториках Второй софистики. Он очень хорошо говорил — так, как только и можно при таком ощущении ответственности перед словом. «При советской власти так хорошо говорить уже было диссидентством», — писал младший современник. Я был на первых разрешенных ему лекциях — на историческом факультете, по византийской эстетике. Он ставил очень высокую планку, эти лекции понятны были немногим, но ощущение причастности к большой науке и большой культуре было у всех. Он не радовался такому эффекту, но понимал, что это нужно людям. Он писал: «История литературы — не просто предмет познания, но одновременно шанс дышать „большим временем“, вместо того чтобы задыхаться в малом». Вот это ощущение дыхания большого времени передавалось слушателям безошибочно. Им казалось, что это главное. Но для Аверинцева, для филолога, для толмача мировой культуры, это все-таки не было главным.

Слово — это мысль, любовь к слову — это чувство. Соотношению их в слове учит наука риторика — та, о которой Аверинцев писал так много и настойчиво. У Аверинцева было редчайшее качество, которое знали только близкие собеседники: он точно знал во всякий момент, говорит ли он как человек мыслящий, с доказательствами, или как человек чувствующий, с убеждением. В публичных выступлениях оно терялось. Его аудитория, утомленная позднесоветской догматичностью, пленялась иррациональной одушевленностью и пропускала мимо слуха рациональную строгость. Его глубочайшее уважение к европейскому рационализму, родившемуся из риторики, не находило отклика у читателей и слушателей. Спрос был не на Аристотеля, а на Платона. Аверинцев очень много сделал для русского Платона: он перевел «Тимея». Но в последние годы он говорил: «Меня огорчает нынешняя мода на Платона — тем более, что я сам отчасти был ее пособником. Поэтому мне все больше хочется написать апологию Аристотеля. Платон современен, а Аристотель актуален». И писал: «Теория слишком долго была поглощена тем, чтобы объяснить для образованного любителя почитавшееся самым непонятным: архаику и авангард. Похоже, что мы дожили до времен, когда Вергилий и Рафаэль стали непонятнее того и другого, а потому более нуждаются в объяснениях».

Все, что мы знаем, — по крайней мере все, в чем мы можем сами дать себе отчет, который называется «рефлексия» и которого многие, по романтической привычке, так не любят, — все это мы знаем через слово. Это слово не бесплотно: у него есть грамматика, стилистика, поэтика, риторика. Не зная этой органики слова, мы напрасно будем воображать, что постигаем какой бы то ни было дух. Как широко и высоко ни простирались мысли Аверинцева в этой области духа, связь со словом не терялась никогда. Это не всем казалось нужным. Он считал себя учеником А. Ф. Лосева, и Лосев очень ценил его, но говорил: «Только зачем он занимается такими пустяками, как поэтика?»

«К нему приходили за универсальной духовностью», — было сказано в одной статье. Это так. Но лозунгового слова «духовность» я за многие годы разговоров не слышал от Аверинцева ни разу. В книгах его оно есть, но редко. Потому что Духовность раскрывается нам только через Словесность. И понять слово, несущее духовность, можно только через склонения риторики и спряжения поэтики. Их недостаточно чувствовать: им нужно учиться, а научившись, учить им других. Он говорил мне: «У нас с вами в науке не такие уж непохожие темы: мы все-таки оба говорим о вещах обозримых и показуемых». Выражаться иррационально, пользоваться словом для заклинания и гипноза — это значит употреблять слово не по настоящему назначению. Когда чья-нибудь метафора начинала самоутверждаться, притязая на всеобъясняющий смысл, — например, что греческая культура пластична, а всякая культура диалогична, — он умел унять ее здравым переспросом. Не нужно бояться рефлекс-

сии: она не отчуждает, она приближает. Избегать рациональности, избегать рефлексии — значит отдаляться от взаимопонимания: иррационализм опасен. «Нынче в обществе нарастает нелюбовь к двум вещам: к логике и к ближнему своему» — это вещи взаимосвязанные.

«История духа и история форм духа — разные вещи: христианство хотело быть новым в истории духа, но нимало не рвалось быть новым в истории таких его форм, как риторика». Причастность к засловесному духу и причастность к словесным формам духа сосуществовали в нем, не подменяя друг друга. Божье слово тоже имело свою поэтику и риторiku. Он не спросил бы, как Карл Краус, «Если в начале было Слово, то на каком языке?» — но понял бы этот вопрос. Вера без слов мертва есть.

Он не отождествлял христианства с православием, и многим это не нравилось. «Он не был духовным конформистом», — с пониманием писал он про Григория Нарекаци. В лучшей статье, которую я о нем читал, было сказано: «В других условиях такой человек, как Аверинцев, мог бы, наверно, возглавить какую-нибудь церковную реформу: в нем присутствует как необходимый для всякой религии традиционализм, так и полнейшая незашоренность, бескомпромиссная отвага мысли, не говоря уж о знаниях. Но, видно, время Аверинцева для русского православия еще не наступило».

Первая его книга была о традиционном Плутархе, вторая — о малоизвестной византийской поэтике, третья — о христианском интернационале «от Босфора до Евфрата». Параллельно, как что-то саморазумеющееся, раскрывалась Европа, от Юнга, Шпенглера и Хейзинги и до Брентано и К. С. Льюиса; и Россия, до Мандельштама и Вячеслава Иванова. Казалось естественным, что во всем этом он был как дома; мало кто верил, что свой немецкий язык он знал не отроду, а только со студенческих лет. «Сейчас переводят таким слогом, как будто русский язык уже мертвый и его нужно гальванизировать», — говорил он с обидой о переводах, где стилем считалось употребление «сей» и «кой». Когда три года назад он позволил себе напечатать свои «Стихи духовные», это тоже были стихи филолога: он не изменил своей сути, даже входя в тот мир — и в духовное, и в стихи, — где о филологии у нас принято забывать. (Стихи Вячеслава Иванова тоже были стихами филолога.)

И последней его работой был перевод и комментарий к синоптическим евангелиям.

Я говорю о том, какой это был большой ученый. Я не могу говорить о том, какой это был большой человек: для этого человеческого измерения моя филология не имеет слов. «О чем нельзя сказать, о том следует молчать». Те, кому выпало счастье расти, слушая его выступления и читая его статьи и книги, расскажут о том, как это помогало им выживать в нелучшие годы советской жизни. Я могу лишь сказать, что быть рядом с ним и видеть, как он сам рос и становился самим собой, было, может быть, еще большим счастьем, радостью и жизненным уроком.

Филологов много, Аверинцев был один. Потому что сейчас больше ни у кого между нами нет такого целомудренного ощущения человеческого измерения филологии — связи между человеком и тем, что больше человека: словом и Словом.

---

*Сергей Сергеевич Аверинцев был не только постоянным и щедрым автором нашего журнала, членом его редакционного совета. Он был его неформальным горячим другом. Он ценил его как издание, не расставшееся с той серьезностью, о которой писал в опубликованной на страницах «Нового мира» и получившей неожиданно большой резонанс статье «Моя ностальгия». Он говорил даже: «Только не меняйте вашу скромную обложку, вашу не особенно белую бумагу, этот внешний облик связан с самой сутью...»*

*Мы разделяем скорбь по Аверинцеву вместе со всей страной, со всей русской культурой; но это и наша особая утрата, которую мы оплакиваем.*

**Новомирцы.**

# Б Е С Е Д Ы

АЛЕКСАНДР КУШНЕР



## НЕ ДЕРЕВО, А РОЩА

*Беседу ведет Татьяна БЕК*

— **С**аша, я неотрывно и неравнодушно слежу за вашей поэзией, да шире — за вами — без пропусков с середины 60-х. Вы, как мне кажется, из тех поэтов, кто несколько раз в творческой жизни начинал сначала и резко, даже бесстрашно менялся. У вас об этом такие строки были: «Я не давал подписку / ни сам себе, ни в шутку / дуть, как сквозняк альпийский, / в одну и ту же дудку...» *Итак, от чего зависел (если это поддается рациональному разбору) очередной переход к иной поэтике, к иной просодии?*

— Отчасти, Таня, это происходит неосознанно. Просто что-то кончалось в жизни... Ведь жизнь — не одна, их несколько, уместающихся в одной. Кончалась одна, начиналась другая. Так с «Голоса» и — особенно — с «Таврического сада» пришла новая любовь, новая жизнь. И явилась другая стиховая мелодия. Это происходило интуитивно, неосознанно, но, конечно же, я видел, что пишу иначе. Помню, что короткая строка вдруг перестала удовлетворять, надоела. Я ее разлюбил. А помню, кстати, и как полюбил: в середине шестидесятых, начиная с книги «Приметы», а может быть, и раньше, с «Ночного дозора». Тогда я прочел автобиографию Пастернака 1956 года — «Люди и положения», — а там он обращал внимание читателя на короткую пушкинскую строку. На раннего Пушкина. И рассказывал, как он сам на нее, на короткую строку, перешел. На меня это произвело впечатление. В стихотворении, посвященном Пастернаку, я тогда писал: «Глядишь, откинув челку, / Прижав губу к губе, / В невидимую шелку, / Открытую тебе».

— *Между прочим, в самом начале у вас часто звучала и длинная строка: «Два мальчика, два тихих обормотика...»*

— Совершенно верно. Я переимчив. (*Смеется.*) Или впечатлителен. На меня и в самом деле слова Пастернака произвели впечатление, и мне чрезвычайно понравилась его «Вакханалия»... Так я пришел к короткой строке. А дальше — с «Голоса» и «Таврического сада» — возобладали другая мелодия. Должен сказать, что от Пастернака я ушел к Мандельштаму. Не то чтобы я «впадал, как в ересь», в того или другого, надеюсь, моя самостоятельность оставалась при мне, но менялись ориентиры, привязанности. И думаю, что сейчас — начиная с «Кустарника», а может быть, и раньше — с книги «На сумрачной звезде» — открылся третий период.

— *Это как понять хронологически? Уточните.*

— «На сумрачной звезде» — 1994 год, «Кустарник» вышел в 2002 году.

— *С чем этот период связан?*

— Трудно сказать. Мне вдруг захотелось сменить пластинку. Не хочется, чтобы стиховая ткань мертвела, чтобы возникал автоматизм и возобладала привычка. Вдруг происходит обновление, как будто открываются двери — и ты проходишь в новые комнаты, о существовании которых до сих пор не подозревал. Возможности твоего душевного роста и непредсказуемость жизни совпадают с возможностями стиховой речи, до тех пор скрытыми от тебя.

— *Есть расхожее мнение (я с ним абсолютно не согласна), что поэзия, дескать, — дело исключительно молодое.*

— Абсурд.

— *А один поэт советских времен писал, что «до тридцати поэтом быть почетно, / и срам кромешный после тридцати»...*

— Это кто — Самойлов?

— *Межиров.*

— А... Межиров. Нет, я категорически не согласен. Кстати, в прошлом году в Америке я виделся с Александром Петровичем, он, слава Богу, здоров и пишет стихи. Если бы все дело было только в нас, то можно было бы подумать, что мы пыжимся, очень стараемся, держим музу за подол, не отпуская ее: боимся с ней расстаться. Но — Гёте. Но — Тютчев, Фет, Пастернак. И так далее. А Томас Элиот, Уистен Оден, а Филип Ларкин, которого мне посчастливилось переводить? Все они жили долго. Лермонтов, предвидя раннюю смерть, хотел умереть «не тем холодным сном могилы», а так, чтобы над ним «темный дуб склонялся и шумел». Такими «вечно зеленеющими» дубами мне и представляются некоторые старые поэты. Надеюсь, преданность стихам и способность их писать, не повторяясь, меняясь вместе с ними, — это то, что не изменит нам до последнего вдоха, расстанется с нами в последнюю очередь. Тютчев, уже парализованный, накануне смерти, еще продолжал диктовать стихи, хотя ритм его уже не слушался, а рифмы давались только парные: «Благоуханна и светла / Уж с февраля весна в сады вошла, / И вот миндаль мгновенно зацвела, / И белизна всю зелень облила». Нелепо — и в то же время трогательно и даже утешительно. Как будто уже готовился увидеть вечную весну. И видно, как он любил весну земную, как успевал за зиму соскучиться по теплу!

Да, я менялся от книги к книге. Был момент, когда друзья говорили мне, что ранние стихи хороши, «а сейчас ты пишешь черт-те что» (в эпоху «Таврического сада»). А потом привыкли и согласились, что хуже не стало: «Каждый шишак на ограде в объеме растет, / Каждый сучок располнел от общественных сумм. / Нас не затопит, но, видимо, нас заметет: / Всё Геркуланум с Помпеей приходят на ум» («Снег»).

— *Остро и пронизательно. Не затопило, но и впрямь замело... Что касается читательских капризов, то это им, читателям, ох как свойственно, да и вообще людям в частной жизни: они любят то, что когда-то восприняли остро и молодо. Они в любви собственники и с трудом переносят, когда их любимый меняет стиль. Тут — ревность.*

— Совершенно верно. И Пушкин об этом говорил в связи с Баратынским: поэт растет и меняется, уходит от своих прежних стихов, а читатель от него отстает. Говоря о Баратынском, Пушкин имел в виду и свой собственный печальный опыт: ведь ему в тридцатые годы ставили в пример его ранние стихи. Если бы Пушкин прожил дольше, то он, возможно, сказал бы, что прежний читатель от него отстал, но за это время вырос новый читатель — и полюбил его поздние стихи.

— *У вас были и периоды страстно-взаимной любви с читателем и с критикой, а бывали и моменты некоторого отчуждения. Вы от этих перемен зависели психологически? Вам надо быть любимым?*

— Надо. Увы. Другое дело, что... Нет, скажу так: я не представляю своего пути без читательского отклика. И такой отклик был с самого начала. Критика меня всегда и ругала, и хвалила. Первая моя книжка (1962 год) подверглась разгрому, я недавно опубликовал в журнале «Звезда» (8-й номер за 2003 год) статью, которая называется «Первое впечатление», в ней я привел три текста — две статьи из ленинградской газеты «Смена», совершенно чудовищные, и фельетон в журнале «Крокодил» за подписью «Рецензент», в них я обвинялся в «фиглярстве в искусстве» и «многозначительном созерцании собственного пупа».

Сегодняшняя критика ничуть не лучше той, сорокалетней давности.

— *Это кто же из нынешних критиков подхватил эстафету советских разносов? Топоров?*

— Ну, Топоров — клинический случай. Я мог бы назвать имен семь-восемь. Как правило, это несостоявшиеся или малоодаренные поэты. Обижаться на них нельзя...

— *Зато у вас много по-настоящему преданных вам читателей. Своя, так сказать, большая референтная группа.*

— Так ведь и я читателя люблю. Любовь к стихам — особый дар и совершенно бескорыстное чувство; по-настоящему одаренный читатель заслуживает подлинного уважения. Принято читателя всячески поносить и шельмовать — смотреть на него сверху вниз. А для меня в этом смысле пример — Мандельштам, говоривший о «провиденциальном собеседнике». Представлять себе конкретного читателя, когда пишешь стихи, разумеется, не следует (поэтическая речь — речь безадресная, в крайнем случае она относится к Господу Богу или к самому себе, к лучшему, что в тебе есть), но тень читателя, как «тень друга», являвшаяся Батюшкову на палубе корабля, должна присутствовать в углу комнаты. Потому что, если ты совсем с читателем не считаешься и кривишь душой, утверждая, что он тебе не нужен, — будешь наказан тем, что твои стихи тоже никому не будут нужны.

— *А вас устроило бы такое знание: у вас есть читатели, но их совсем мало? Несколько человек. Как говорят, малая референтная группа.*

— Так и бывало. Допустим, я знал, что мои стихи любят Лидия Гинзбург и Борис Бухштаб. И Дмитрий Евгеньевич Максимов. Плюс несколько девушек. *(Смеется.)* И, сказать по правде, мне этого было почти достаточно! Еще несколько друзей-ровесников — и уже хорошо.

— *Помните ли вы отчетливо то мгновение, когда вдруг поняли: «Я — поэт»? Или так: «Я влип».*

— С первого же стихотворения. Совершенно чудовищного.

— *Сколько лет вам было?*

— Восемь.

— *Рано.*

— Рановато. *(Смеется.)* И говоря об этом, испытываю смущение. Я написал ужасные стихи на политическую тему, которые начинались так: «Японец с фрицем повстречался...» То была недолгая война с Японией. Стишок был записан в блокнот, весьма серьезно. Я так любил стихи, так был счастлив стихами, что не сомневался: «Да, я, конечно же, поэт...» Это я сейчас слово «поэт» к себе примеряю с куда большей осторожностью.

— *Саша, а скажите: вы себя ощущаете продолжателем акмеистической линии или ваше личное древо разветвленное? Я-то вас считаю безусловным и едва ли не единственным ныне наследником этого великого течения. Вас такое «присоединение» не обижает?*

— Да что вы! Как это может быть обидным, если в акмеистическом течении — всего несколько человек, но зато каких! Прежде всего Мандельштам и Ахматова. Гумилева я люблю значительно меньше. Тем более — Нарбута. Но кроме них, конечно, Анненский — предтеча акмеизма, при всей его символистской подоплеке. И Кузмин, которого вроде ни туда, ни сюда не отнести, но который, разумеется, предметен, конкретен, точен, лиричен и, скажем так, метафизичен в меру.

А чего я действительно не люблю, так это символизма (за исключением Блока, конечно)... И метафизика их не выстраданная, а какая-то коллективная, взятая напрокат. Настоящий метафизический прорыв, подлинная метафизическая мысль — явление редкое, как озарение, и не может автоматически переходить из стихотворения в стихотворение, как затверженный урок. Критика иногда не умеет отличить подлинное чувство от подделки, нет ничего отвратительней метафизических спекуляций, эксплуатации высоких тем. Возвращаясь к акмеистам, скажу, что я склонен и Тютчева считать их учителем.

— *Тютчева?!*

— А что?

— *Уж очень он для акмеизма космичен.*

— Мандельштам тоже о звездах не забывал. А такие тютчевские стихи, как «Через ливонские я проезжал поля...» или «Я лютеран люблю богослуженье», ни один символист бы не написал — так они предметны, конкретны, и Ман-

дельштам все это в Тютчеве расслышал. В то же время мы с вами прекрасно понимаем, что акмеизм — это некая условность; скорее школа, чем направление; сегодня принято выводить его исключительно из символизма и даже объединять с ним; но символизм они «преодолели»; для меня же куда очевидней связь акмеизма с русской классикой: Державиным, Пушкиным, Тютчевым, Некрасовым... Но дороги мне отнюдь не только акмеисты, обожаю, например, Пастернака, просто жить без него не могу. Впервые я прочел его еще в школе, в классе восьмом-девятом — мне библиотекарьша Пастернака подсунула, того, худлитовского, 1934 года. Я, еще ничего не понимая, влюбился в эти стихи. И библиотекарьша, поскольку никто никогда этой книгой в школе не интересовался, мне ее подарила. С тех пор это издание стоит на моей полке, могу показать, — вот оно.

Тут же спешу заметить, что Пастернак чрезвычайно зависел от Анненского, он очень с ним связан. Это легко доказать: «„Мой сорт“, кефир, менадо. / Чтоб разрыдаться, мне / Не так уж много надо, — / Довольно мух в окне» — как тут не вспомнить Анненского: «Полумертвые мухи / На забитом киоске, / На пролитой известке / Слепы, жадны и глухи...» И когда я читаю у Анненского: «Вы — тот посылный в новый год, / Что орхидеи нам несет, / Дыша в башлык облещенный», — то эти стихи кажутся мне вполне «пастернаковскими».

Сам Пастернак об этом не говорил, ведь он был ориентирован на футуризм. Он и о Фете не говорил (футуристы и опоязовцы Фета не признавали), между тем ошеломительное фетовское жизнелюбие и «пень наудачу» роднит Пастернака с ним куда больше, чем с Маяковским. «Дикция и бас» Маяковского Пастернаку были чужды, но в молодости он сказать об этом вслух не мог. Футуризм для него был прежде всего территориальным соседством. Он был с футуристами «за компанию», а потом свои юношеские «недостатки» объяснял их вредным влиянием, с чем согласиться до конца нельзя. И все-таки и рифмы, и ритмика, и интонация Пастернака совсем иные. Не похож он ни на Маяковского, ни на Хлебникова, ни на Крученыха, ни на Сергея Боброва... Разве что иногда — на Северянина: «Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина...», «Век мой безумный, когда образумлю / Темп потемнелый былого бездонного?..» и т. п. А Маяковский заморозил Пастернака, как хулиганистый подросток в классе — мальчика «из хорошей семьи», не только стихами, но и своим обликом, поступками, поразил, «произвел впечатление».

— *А вы, я чувствую, Маяковского не любите?*

— Ну, я понимаю, что он — замечательный поэт. Но любви к нему не испытываю.

— *Еще я у вас совсем не ощущаю хлебниковской линии, хотя вы очень отзывчивы и к далеким просодиям.*

— Хлебникова не люблю определенно и категорически. Но об этом же нельзя сказать вслух.

— *Говорите. Не стесняйтесь. Не бойтесь.*

— Хлебников был, по-видимому, очень симпатичным человеком, мягким, несчастным, печальным. Был действительно открывателем некоторых вещей: словотворчества, зауми. Но... Читаешь, читаешь Хлебникова — и вдруг находишь две замечательные строчки! И так благодарен за эти две разумные строчки, что уже говоришь: ах, какой хороший поэт! Ну и потом еще легенда. Есть поэты, вообще существующие за счет легенды. Таков и Хлебников. Всмотрелись бы внимательней, увидели бы многое, о чем и не догадываются, — например, о его преданности новой идеологии, о его связи с ЧК. Говорю это не в осуждение: с ЧК были связаны многие, в том числе и Маяковский, и Сергей Бобров, и любимый мною Николай Олейников... Но легенда такие вещи не принимает во внимание.

— *Но не он ее создал. Он не был спекулянтom собственной легенды. Ведь есть среди наших нынешних стихотворцев и такие: сумасшедший, а глаз косит в трезвую сторону.*

— Нет, Хлебников — не жулик. Он действительно был болен психически. Его цифровые раскладки, подсчеты и уверенность в повторяемости историче-



ских событий через определенное количество лет — тому подтверждение. Что касается его словотворчества, то как некий момент в истории нашей поэзии оно было неизбежно и, наверно, необходимо. Поражало воображение современников уже потому, что ничего подобного раньше не было. Разве что в глубокой архаике, в эпоху языческих заговоров и заклинаний. Даже Мандельштам, например, испытал это искушение: в его стихах начала двадцатых годов ощущается хлебниковское веяние; впрочем, «родной звукоряд» у него только отрывался от поэтического смысла, чуть-чуть опережал его, но никогда не порывал с ним, — и это было замечательно. А перечитывать сегодня хлебниковское «Пиэзо пелись брови...» скучно. И Хлебников, и тем более Крученых имели дело со «словом как таковым», а не с поэтической интонацией. Со словом, и можно сказать даже так: со словарем. А мне это не очень интересно. Зачем притворяться? Я и Малевичу предпочитаю Сезанна, Матисса, Кандинского, Машкова, Лентулова...

— Да, я у вас никогда не встречала неологизмов.

— А я их не люблю. В словотворчестве слишком явно просматривается инфантилизм художника, причем не подспудный, эпизодический, а сознательно культивируемый. Маяковский назвал не поэта, а народ «языкотворцем» — и был прав. Поэт производит перемены не в языке, а в поэтическом языке, — это разные вещи. И неологизмы остаются, как правило, в поэтической системе данного поэта, на язык не оказывая никакого влияния. Существительное «громась», повелительная форма глагола «дрызнь», прилагательное «геньи-на» («мастерская геньина» — от слова «гений»), придуманные Маяковским, остались, так сказать, на его совести. В лучшем случае они нужны его стиху — и не выходят за его пределы. Тем более — хлебниковские «смехачи», «что смеются смехами, что смеяноствуют смеяльно». Мне неинтересно ни то, ни другое. Мандельштама предпочитаю Маяковскому, Чехова — Лескову. Люблю тонкую работу по «соединению слов посредством ритма, когда неожиданное их соседство, тень, отбрасываемая одним словом на другое, преображают поэтическую речь.

— Вы из тех редких поэтов, кому важно или даже необходимо думать и писать о чужих стихах. Это дано далеко не всем. И существует даже такое вульгарное мнение, что поэт не должен отличать ямба от хоря, а тем более дольник от тактовика. Когда-то, в 70-е годы, я очень полюбила ваши эссе «Переключка» и «Стиховая ткань», даже странно, как они тогда появились! Горжусь, что была первым редактором (скорее — корректором) «Переключки», которую напечатали «Вопросы литературы», «Вопли», где я, молодая, в ту пору работала. Помните, как мы с вами и цитаты проверяли, и верстку вычитывали?

— Да, да. В те годы все это называлось книжность, литературщина или вторичность.

— Эссе не устарели. Вопросы, сразу куча: что толкает вас, человека личного вдохновения, иногда так дотошно копаться и разбираться в чужих стихах? Не хочется ли вам сегодня что-то в этих эссе уточнить или переписать? И главное — чем продуктивная переключка в поэзии отличается от постмодернистской центонности? Где грань? (Вы, кстати, в той статье 1976 года предсказали, что, мол, еще появятся в стиховом пространстве такие пересмешники, которые создадут ситуацию, когда в словесности все со всеми будут перемигиваться и аукаться, как — это я запомнила дословно — «в Парке культуры и отдыха», да?) Накаркал!

— Надо понимать простую вещь: поэзия не растет на голом месте. Поэзия, в моем представлении, — это не одинокое дерево, а роща или лес, со своей сложно переплетенной корневой системой. Три века новой русской поэзии для пишущего стихи — поэтическая родина, без которой своих стихов не написать. Мы говорили с вами о читателе. Для меня поэты-предшественники — это главные мои читатели: «Читать Пастернаку — одно удовольствие! / Читал я стихи ему в воображении. / Во-первых, не страшно. В своем разглагольствовании / И сам он — дитя, и широк, как все гении...» Здесь нет возможности привести все стихотворение, но позволю себе вспомнить хотя бы еще шесть

последних строк: «...И, что б ни сказал, соглашаться с ним весело. / Я тоже так думаю. Как? Я не знаю. / Не знаю, но в сбоях стиха спазматических, / Как ни было б грустно и как одиноко, / Не ждет он от вас непременно трагических / Решений и выводов, только — намека». Почему, кстати сказать, формирование поэта сегодня затягивается на такой долгий срок, происходит годам к сорока? Дело в том, что увеличилась длина пробега, «взлетная полоса». Прибавился XX век, требуется освоить уже не два, а три века русской поэзии.

— *Но многие молодые заявляют: нам это ни к чему. Ничего осваивать не надо! Мы и сами с усами.*

— Ну и пусть. Такие всегда были. Мандельштам их назвал «прирожденными не-читателями». Они и в 60-е были. Кстати, многие талантливые поэты из моего поколения, на мой взгляд, рухнули по этой причине. С другой стороны, вспомните, как молодой Пушкин читал и осваивал мировую поэзию, — хорош бы он был без нее! Он наполовину создан ею.

Читаю Анненского — и вижу, как много он взял у Тютчева, Некрасова, А. К. Толстого, Случевского, у переведенных им французов. Ведь даже «балкон» в стихах Анненского («...с балкона холст повис, не нужный там... но спешно, оборвав, сломали георгины», или «Балкон под крышею. Жена мотает гарус...», или стихотворение «С балкона», или «Желтея, на балкон глядит туманный диск луны, еще бестенной...», или «Разоренного балкона остов, зеленью увитый» — видите, я привел пять примеров) пришел в его стихи не только из Царского Села (кстати, на здании гимназии, где Анненский жил и преподавал, балкона не было), сколько из стихов любимых им французов: кто был в Париже, знает, что едва ли не все его серовато-сизые дома на уровне четвертого-пятого этажа сплошь опоясаны балконами.

— *Да здравствует французский балкон в русской поэзии! (Кстати, в 90-е годы у нашего друга Рейна тоже книжечка такая выходила стихов — «Балкон»...)*

— Пошли дальше. Читаю Мандельштама... Ну, здесь количество заимствований не поддается вообще никакому учету (и чем их больше, тем поразительней он ни на кого не похож!). Но я упомяну здесь только один — ошеломивший меня — случай. В начале своей оды Сталину, в этом великом и страшном стихотворении, он обращается за помощью к художнику: «Когда б я уголь взял для высшей похвалы — / Для радости рисунка непреложной, — / Я б воздух расчертил на хитрые углы / И осторожно и тревожно...» и т. д. — и этот мотив расползается у него на три двенадцатистрошные строфы! Откуда пришел к нему этот мотив? Из державинской оды «Изображение Фелицы» (в комментариях к мандельштамовской оде, которые мне приходилось читать, об этом ничего не сказано): «Рафаэль, живописец славный, / Творец искусством естества, / Рафаэль чудный, бесприкладный, / Изобразитель Божества! / Умел ты кистию свободной / Непостижимость написать — / Умей моей богоподобной / Царевны образ начертать» и т. д. В мандельштамовской оде 84 стиха, в державинской — 464! Зато Державин, в отличие от Мандельштама, и добился того, чего хотел: императрица избавила его от судебного процесса, который грозил ему в 1789 году самыми тяжелыми последствиями, — дело Державина расследовал Сенат! Уж коли речь идет о спасении жизни, не жалея краски! (Замечу, что, в отличие от мандельштамовской, а также в отличие от знаменитой оды «Фелица» 1782 года, «Изображение Фелицы» написано бескрыло, лезть здесь ничем не прикрыта, не уверен, что Екатерина прочла эту оду до конца. Но само количество строк убеждало ее отреагировать должным образом — заступиться за поэта.) Мандельштаму бы написать поэму о Сталине! Поэм он, как известно, не писал. И восьмидесятичетырехстрочной виртуозной и трагической одой честь свою не уронил.

— *И все же — где грань между прекрасной переключкой и капустническими хохмами?*

— Передразнивание и пародирование быстро надоедают. Ведь мы говорим о лирике. Лирика может отталкиваться от чужого текста, но должна иметь при этом «что-то за душой». Если «за душой» ничего нет — делается скучно. Цен-

тонная поэзия механистична, призвана продемонстрировать изобретательность и ловкость, она — находка для клуба «веселых и находчивых». Кроме того, когда все сплошь превращается в нарочитое дублирование, то и возникает копия, а не оригинал. Сегодня и в поэзию, и в прозу устремилось множество таких сообразительных авторов, научившихся без таланта и «сердечных судорог» («сердечных судорог ценою» — сказано у Баратынского) создавать привлекательные поделки. Впрочем, и в советское время процветали калтурщики и копиисты настоящего искусства, только они отвергали «книжность» и клялись в любви к «жизни».

— *У вас были строчки, которые многих (особливо православных охранников) заделли: «Греческую мифологию / больше Библии люблю...» А впрямь: почему такая категоричность?*

— Ну, никакой особой категоричности здесь нет. Тем более что дальше сказано: «Детскость эту, демагогию, / верность морю, кораблю». А в соседнем стихотворении может быть сказано нечто противоположное. Могу сослаться хотя бы на такие свои стихи, как «Иисус к рыбакам Галилеи, / А не к римлянам, скажем, пришел...». Но и от греческой мифологии отрезаться не хочу — тем более, что я воспитан на мифологии, а не на Библии. Религиозного воспитания я не получил. Библию прочел уже сравнительно взрослым человеком. Зато отец читал мне в детстве Гомера в переводах Гнедича и Жуковского, — и я за это ему очень благодарен. Об этом я подробно написал в статье «С Гомером долго ты беседовал один...», где, кстати сказать, объяснил наличие «античных» тем и сюжетов в своих стихах (и в стихах Бродского) тем, что мы родились в Ленинграде. Бродский мне говорил: «Александр, когда я встречаю у тебя такие стихи, я делаю стойку, как охотничья собака». Он имел в виду стихи «Я знаю, почему в Афинах или Риме...», «Как пуговичка, маленький обол...», «Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!..», «В складках каменной тоги у Гальбы стоит дождевая вода...» и т. д. Петербург недаром назван Северной Пальмирой. И когда я смотрю с Дворцовой набережной на здание Биржи на стрелке Васильевского острова, то понимаю — и в детстве понимал, — что это немножко похоже на Парфенон. Скажу еще так: мы — верные пушкинские ученики, ну и Батюшкова, Державина, Ломоносова тоже. «Ломоносов виноват, / Первым из-за горизонта / К нам приведший наугад, / Как бычка, Анакреонта...» И помню, каким любимым моим чтением уже в зрелом возрасте был Еврипид в переводе Анненского.

— *А Библия вас так не потрясла?*

— Книга Иова и Экклезиаст. Две совершенно замечательные лирические вещи в Библии, которые я бесконечно люблю. А чтобы не быть голословным, приведу две строфы из стихотворения «Надеваешь на даче похуже брюки...»: «...Если думаешь, был кто-нибудь, кто понял / Всё, — то это не так, хоть Экклезиаста / Назови. Как лежит на его ладони / Жизнь? Как тюбик, в котором иссякла паста. / Будто дуб не вскипал, не вздымались кони, / В сети не попал бегемот мордастый! / Я, единственный, может быть, из живущих / И когда-либо живших, с умнейшим спорю / И насчет суеты, и насчет бегущих / Дней, бесследно и быстро, как реки к морю. / Черета золотая лугов цветущих, / Комнат, пляжей, оврагов, аудиторий!..»

Конечно, и история с Иосифом Прекрасным восхитительна. О чем говорить? Но в то же время так много крови, так много лжи, так много предательства, так много изуверства! Понятно, что человечество всегда было разбойным и занималось кровавым делом. Нет, нельзя сказать, что я равнодушен к Библии или не люблю ее, — это было бы чудовищной пошлостью и неправдой. А как хороша «Песнь песней» или державинское переложение 81-го псалма («Властителям и судиям»)! Но все-таки ничуть не меньше мне дороги Архилох и Катулл, державинская анакреонтика, батюшковская Эллада...

— *Да. Вы — поэт нравственно здоровых ориентиров. Вы не смакуете гнилые, как говорится, ужасы бытия. А в анакреонтике больше именно здоровья и благородства. Не в этом ли дело?*

— Возможно. Хотя согласиться с вами: да, я — «поэт нравственно здоровых ориентиров», — мне не позволяет чувство юмора. Между прочим, и в мифах тоже много страшного: одни метаморфозы чего стоят! Каково было превратиться Ниобе в камень, а Дафне — в лавровый куст!

— У вас и стихи были об этом: *«Не помнит лавр вечнозеленый, / Что Дафной был, и бог влюбленный / Его преследовал тогда; / К его листве остроконечной / Подносит руку первый встречный / И мнет, не ведая стыда...»*

— Спасибо, что вспомнили. И все-таки миф скорее похож на детскую игру, на яркую мозаику. И в мифе есть твердое представление о чести. Мой любимый гомеровский персонаж — Аякс. Почему? Потому что это он заслужил доспехи Ахилла, а получил их — хитростью — Одиссеей, подкупив судей. И кончил Аякс самоубийством. Совершенно как европейский неврастеник, интеллигент, потому что не мог простить обиды. А затем, когда Одиссей спустился в Аид и встретился там с бывшими друзьями: с Ахиллом, Патроклом, Аяксом, — то Аякс молча посмотрел на него — и ушел, не захотел говорить с обидчиком. *(Смеется.)* Мне это очень нравится... Вот если бы я задумал написать поэму, то выбрал бы этот сюжет, связанный с Аяксом.

— Стоп. Вы сказали: *«Если бы я писал поэму...»* А у вас давным-давно было такое длинное стихотворение — *«Отказ от поэмы»*. *«Вот вы не пишете поэмы. / Что ж, подходящей нету темы?...»* И так далее. Меня оно в свое время задело, показавшись излишне максималистским. Вы теперь не сменили гнев на милость в отношении поэмы как жанра?

— Нет, пожалуй. Кстати, предсказанный мной еще лет тридцать назад упадок этого жанра не заставил себя ждать. Вы помните, как советская идеология опиралась на эпос, поощряла поэму, как много было поэм на революционные, исторические, военные, колхозные, общегосударственные, партийные, «строительные», производственные темы. Сегодня поэмы пишут только Евгений Рейн и Олег Чухонцев (нет, чтобы быть точным — еще Олег Хлебников и Андрей Чернов) — и мне они нравятся, — но поэмы эти — скорее длинные лирические стихи, чем эпические полотна.

Поэма — отмирающий жанр. Тютчев, Анненский, Мандельштам это поняли уже в XIX — XX веках. Как очень чуткие художники, они уловили, что проза съедает поэму, что Толстой и Достоевский ее отменили, что повествование — удел и организаторская задача прозы, а у поэзии — иная специфика. Об этом мне приходилось говорить и раньше, не хочется повторяться.

— *Неужели и поэмы Некрасова вы совсем отрицаете?*

— Я горячо люблю Некрасова; можно сказать, страстно люблю его городскую лирику. Его стихи «О погоде» — великие стихи. Люблю и «Балет», и «Юбиляры и триумфаторы». О чем говорить! И «Мороз, Красный нос» — тоже. Но живи Некрасов сегодня, он, я думаю, не стал бы писать поэму «Русские женщины» — скучную, именно повествовательную, затянутую вещь.

— *А «Кому на Руси жить хорошо»?*

— «Кому на Руси жить хорошо» — грандиозна, но никогда я перечитывать ее не стану. Она рассчитана на одноразовое чтение, а его лирика тем хороша, что к ней обращаешься то и дело, по самым разным поводам. «Мы с тобой бестолковые люди: / Что́ минута, то вспышка готова...» Не хочется говорить «новатор» — замечательный открыватель новых возможностей лирики и самого стиха.

Вы скажете: а Цветаева, а Маяковский, а Пастернак? У Цветаевой я очень люблю «Поэму Конца» и «Поэму Горы», но это тоже большие лирические стихи.

— *Мне кажется, вы к поэме предъявляете гипертребования, ожидая от нее эпоса.*

— Нет-нет. В названных поэмах Цветаевой лирический герой — сам автор, это именно лирика. Причем замечательная лирика, в отличие от «Поэмы Воздуха» и «Поэмы Лестницы», которые не знаю как вы, а я не могу читать... Пойдем дальше. Вы назвали Пастернака. И тут, мне кажется, мы тоже должны признать, что его лирика несравненно выше поэм «Лейтенант Шмидт» и

«1905 год». Заметьте, что Маяковский их тоже не любил и ставил им в пример пастернаковские стихи. Другое дело — «Спекторский», это действительно очень хорошо, но вы замечали, что это разваливающаяся поэма? Там сквозь сюжет не продерешься. Так... что-то брезжит на периферии. Мы просто восхищаемся отдельными строками, кусками, поразительными образцами живой разговорной речи: «Ну и калоши. Точно с людоеда. / Так обменяться стыдно и в бреду. / Да ну их к ляду, и без них доеду, / А не найду извозчика — дойду». Или: «О мальчик мой, и ты, как все, забудешь / И, возмужавши, назовешь мечтой / Те дни, когда еще ты верил в чудищ?...» Говоря все это, я не настаиваю на своей правоте; это, так сказать, рабочая гипотеза.

— *Чем же для вас является ахматовская «Поэма без героя»?*

— На мой вкус, в ней слишком много многозначительности, самолюбования и театральности: «А во сне казалось, что это / Я пишу для кого-то либретто...» Вот именно. Либретто. Люблю лирику Ахматовой — и больше всего «Белую стаю».

— *Вы, я полагаю, так позволяете себе отвергать поэму, потому что у вас то роль поэмы взяла на себя книга стихов. Как говорят психиатры, компенсаторный механизм.*

— Конечно. Это моя любимая идея, и я сформулировал ее еще в 1974 году (когда ни один, почти ни один поэтический сборник без поэмы не обходился), в статье «Книга стихов»: да, теперь книга стихов заменяет поэмы. И действительно, в этом смысле меня можно назвать эпическим поэтом, хотя мне и не нравится такое определение. Да, я считаю, что книга стихов — это то, что пришло на смену поэме. Потому что в книге стихов человек имеет дело с раскаленной, горячей, пылающей болванкой сегодняшнего существования, обжигающего руки, — несколькими годами своей жизни, в обход персонажей и сюжетного повествования. Зачем мне еще придумывать поэму? Нет нужды. Это свое утверждение я никому не навязываю и понимаю, что оно спорно, что могут быть замечательные исключения. Мало того, иногда, наблюдая вокруг разливанное море самодельных стихов с заезженной ритмикой, дурной рифмовкой, приблизительным смыслом, банальных и неряшливых, думаешь: Господи, хоть бы кто-нибудь поэму написал! Было бы легче.

— *Почему вдруг в русской поэзии возобладала длинная и расшатанная строка? Это прекрасно делает Елена Ушакова, так пишет Олеся Николаева, так работает ваш ученик Иван Дуда (интереснейший поэт, которого я только что для себя открыла)...*

— Если вы под расшатанным стихом имеете в виду акцентный стих, которым пишут Олеся Николаева, Елена Ушакова и не только они (очень хорош акцентный стих в первых книгах Николая Кононова), то надо признать: он дает невероятную свободу, возможность обновить интонацию за счет естественности устной речи... Им писали Маяковский, Кузмин: «Время, как корабельная чайка, / Безразлично всякую подачку глотает, / Но мне больней всего, что когда вы меня называете „Майкель“, — / Эта секунда через терцию пропадает...» Однако помню, что Бродский по поводу акцентного стиха говорил, что в нем строфика утрачивает свой смысл, «а ты ведь любишь, — настаивал он, — восьмистроичную строфу». Действительно, люблю... Олеся Николаева, один из лучших современных поэтов, продолжает писать акцентным стихом, а Елена Ушакова вернулась к регулярному.

— *Любите ли вы верлибр? (Как: «Любите ли вы театр?»)*

— Верлибр имеет смысл как редкое исключение — на фоне рифмованного стиха, так это было у Блока («Она пришла с мороза раскрасневшаяся...»), у Фета. Есть и сегодня поэты, чьи верлибры кажутся мне интересными. Но представить себе русскую поэзию, сплошь состоящую из верлибров, как это произошло во Франции, или в Италии, или в Германии, — такое может привидеться только в страшном сне!

— *Абсолютно согласна. Поэты сплошного верлибра представляются мне робкими копиистами среднестатистического стихотворца-европейца. Русская риф-*

*ма вовсе еще не исчерпана ни в звуковом, ни в метафизическом смысле... А теперь вопрос из другого ряда: скажите, есть ли у вас лирический герой? Вообще, вы признаете в поэзии это понятие?*

— Понятие, конечно, признаю. Оно существует. Но у меня нет лирического героя — у меня в героях ходит поэтическая мысль. Так мне кажется... Вообще, лирический герой — явление, заслуживающее всяческого сочувствия. Он был у Лермонтова. Был у Блока. У Маяковского, безусловно. У Бродского. Это предполагает, как правило, романтический склад поэтического сознания. У Тютчева, Анненского, Мандельштама его не было.

— *А у Цветаевой?*

— У Цветаевой... *(Долго думает.)* Ну, что-то есть. Уж очень она настаивала на своей исключительности. То была романтическая исключительность: она — и толпа непосвященных. И это всегда казалось мне несколько архаичным. Об осуждении тут и речи быть не может. Тот или другой тип поэтического сознания написан нам на роду.

— *Мы уже говорили о том, что в соседних стихах поэтом могут быть высказаны противоположные по смыслу утверждения, — значит ли это, что идейному мировоззрению поэта не следует придавать большого значения?*

— Мировоззрение, конечно, существует и чрезвычайно важно для правильного понимания поэта, но, действительно, следует помнить, что стихи — не философская теория, не научный трактат. «Печален я: со мною друга нет», — говорит Пушкин, но он же говорит и другое: «Я только в скобках замечаю, / Что нет презренной клеветы... / Которой бы ваш друг с улыбкой, / В кругу порядочных людей, / Без всякой злобы и затей, / Не повторил стократ ошибкой...»

Другой пример. Повторяя про себя: «На свете счастья нет, но есть покой и воля», не следует думать, что Пушкин не бывал счастлив. «И руку на главу мне тихо наложив, / Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив? / Другую, как меня, скажи, любить не будешь? / Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?..»

Конечно же, был счастлив. И когда любил, и когда писал стихи...

А вот что бывает действительно увлекательно — так это внезапно промелькнувшая догадка, позволяющая по-другому взглянуть на некоторые мировоззренческие установки поэта, увидеть их скрытые, интимные пружины.

— *Например?*

— Например, меня всегда удивляли «имперские», как сказали бы мы сегодня, политические мотивы в лирике Тютчева. Ну зачем ему так хотелось, чтобы Россия прорвалась на Босфор и Дарданеллы, завоевала Константинополь? И вдруг я обратил внимание на то, что, в отличие от Вяземского, Пушкина, Фета, у Тютчева нет стихов о зиме. Есть одно, но слабое для него, проходное, лишенное тютчевского своеобразия и глубины стихотворение: «Чародейкою Зимою околдован, лес стоит». То ли дело — весенняя гроза, летняя радуга. «Какое лето, что за лето!», «Лазурный сонм женевских вод», «полдень знойный», «первоначальная осень», даже «осенняя поздняя пора»... Он, столько лет проживший в Германии и Италии, изнеженный декабрьских «поздних роз дыханьем», боялся зимы, страдал от холодов. Он и декабристов порицал за непомерную заносчивость и самонадеянность: они пытались своей «кровью скудной» «вечный полосу растопить». Не потому ли его так манили проливы, выход в Средиземное море? Женевское озеро прочно занято, «прозрачный Генуи залив» — тоже, а вот Босфор и Дарданеллы, опекаемые турками, — почему бы их и не захватить?

Позволю себе шутку, скажу по секрету: побывав на турецких средиземноморских пляжах, я лучше стал Тютчева понимать. А уж как он отнесся бы к потере Крыма, и говорить не приходится!

У меня и стихи есть об этом: «Когда страна из наших рук / Большая выскользнула вдруг / И разлетелась на куски, / Рыдал державинский басок / И проходил наискосок / Шрам через пушкинский висок / И вниз, вдоль тютчевской щеки...»

— *Интересно... Откройте: как к вам приходит стихотворение, с чего начинается — с мысли или со смутного звука?*

— Как это ни странно, ответить на этот вопрос мне трудно. Стану вспоминать, как это делается, — и не вспомню. Может быть, потому, что каждое новое стихотворение приходит по-своему. Решающую роль играет повод, то есть зацепка, толчок, впечатление, соображение, «движение» души, а поводов так много: познакомился с новым человеком, побывал на выставке живописи, подвернулась под руку фотография, прочел заметку в газете, перечитывал Пруста или Чехова, вспомнил какой-то случай из своей жизни, пахнуло весенней свежестью в раскрытое окно, что-нибудь рассмешило, показалось остроумным, обрадовало, огорчило, ошеломило и т. д. Как видите, этот ряд бесконечен... «Сначала ввязаться в сражение, ввязаться в сражение! / А там поглядим — говорил молодой Бонапарт. / Но пишется так же примерно и стихотворенье, / Когда вдохновенье ведет нас и, значит, азарт!» И действительно, почти никогда не знаю, чем стихотворение кончится; стиховая мелодия и рифма подсказывают новые возможности, уводят с прямого пути — и результат поэтому часто превосходит первоначальный замысел. Но иногда, очень редко, бывает и так, что стихотворение является сразу, почти целиком, — и торопливо записываешь нечто вроде конспекта в прозе, чтобы не забыть счастливую мысль. Вообще для меня очень важно то, что я называю поэтической мыслью. Поэтическая мысль — это мысль, родившаяся в счастливой метафорической рубашке. Когда случается такое озарение, испытываешь радость: вот оно, то, что тебе нужно; лишь бы только ничто не помешало, не отвлекло, лишь бы эта яркая вспышка не погасла, не остыла; начинается, как бы это сказать поточней, счастливая спешка.

— *Переписываете ли вы стихи время спустя?*

— Стихотворение написано. А дальше оно должно полежать, «вылежаться» — несколько часов или дней, — отойдя от него на некоторое расстояние, лучше видишь, получилось оно или нет, нуждается ли в исправлении. Но возвращаться к своим давним стихам, переделывать их я не умею и не хочу. Ты изменился, время прошло, много воды утекло, того, кто писал эти стихи, больше нет. Он для тебя «как брат меньшей, умерший в пеленах», как сказано в одном пронзительном стихотворении Тютчева.

— *Что поэту дают путешествия? Помню, вы когда-то писали: «Венеция, когда ты так блестяшь, / Как будто я тебя и вправду вижу, / И дохлую в твоём канале мышь, / И статую, упрятанную в нишу...» Теперь, когда вы увидели Венецию наяву, сбывшись ли ваши юношеские ожидания и представления?*

— Я рад за любого человека, отправляющегося в поездку за границу, не только за поэта. Несколько поколений советских людей были лишены этой возможности, в том числе мои родители и старшие друзья: Лидия Гинзбург, Глеб Семенов и многие другие. Ожидания сбывшись, и, в отличие от Кузмина, не скажу, что «мечты пристыжают действительность», и, в отличие от Фета, не заявлю: «Италия, ты сердцу солгала!» И мною написан ряд стихов об Италии и Египте. Как об этом с усмешкой сказано у того же Кузмина: «В Египте даже был». Но вот что, наверное, следует сказать по этому поводу. Воображение — одна из главных поэтических доблестей; наш лучший поэт за границей не был, но его Испания, его Франция, Италия, Древний Рим превосходят любую реальность и неопровержимы в своей наглядной убедительности.

В то же время я мало ценю поэтические путевые дневники. Поэт в них перестает мыслить, подменяет мысль и поэтический сюжет готовым комплексом географических реалий, похож на японского туриста с фотоаппаратом. И еще почему-то, сидя в кафе или заходя в музей, он невероятно печалится по неизвестной причине. А мы должны любоваться им, радоваться за него и еще сочувствовать ему, бедняжке. Ему и в голову не приходит, что в России и сегодня есть множество людей, для которых поездка за границу недоступна: слишком это дорого. Между прочим, Пушкин в своей прозе смеется над молодым человеком, недавно возвратившимся из Флоренции и бредящим ею.

«Охота вам связываться с человеком, который красит волосы и каждые пять минут повторяет с упоением: „Quand j'étais à Florence...”» Когда я читаю такие стихи, пишущиеся в огромном количестве, вспоминаю этого любителя Флоренции.

— *Любите ли вы такой «жанр», как Дом-музей поэта?*

— Дом Баратынского в Муранове, державинский на Фонтанке, пушкинская квартира на Мойке, ахматовская во дворе Фонтанного дома, некрасовская на Литейном, блоковская на Пряжке мною любимы, хотя я и знаю, что от державинского дома в основном остались одни стены, все остальное — плоды музейной изобретательности, а в последней своей квартире Пушкин прожил лишь несколько месяцев, и нынешний ее лоск и блеск вовсе не соответствуют той реальности, той бедности и унижению, которые омрачили его последние дни. Но все равно отраднo изредка, раз в несколько лет, а то и раз в жизни, заглянуть в такой музей, коснуться дверной ручки, которую, возможно, сжимал в руке любимый поэт.

— *Верите ли вы в творческую магию места? Ощущаете ли остро то обстоятельство, что и сами живете в таком магическом месте (я лично ощущаю, когда сейчас вот сижу у вас в гостях) — почти в Таврическом саду и рядом с «башней» поэта?*

— Иногда действительно кажется, что Михайловское было создано под Пушкина, а, скажем, Пряжка хранит память о Блоке, и вообще дома, которые он выбирал для жизни, кое-что говорят о нем, в том числе о его «угрюмстве»: дом в конце Офицерской как будто повернулся спиной к городу, не хочет никого видеть. А ведь принято было жить в других, более модных, местах — на той же Таврической, рядом с садом, который вы упомянули. Через этот сад «на башню к Вячеславу» все они проходили: и Блок, и Кузмин, и Гумилев с Ахматовой... В № 10 «Нового мира» за прошлый год я опубликовал стихи: «Через сад с его кленами старыми, / Мимо жимолости и сирени / В одиночку идите и парами, / Дорогие, любимые тени. / Распушились листочки весенние, / Словно по Достоевскому, клейки. / Пусть один из вас сердцебиение / Переждет на садовой скамейке...» — это, между прочим, как вы понимаете, Анненский. А есть там, дальше, и Ахматова, и Блок: «Вы пройдете — и вихрь поднимается / — Сор весенний, стручки и метелки. / Приотставшая тень озирается / На меня из-под шляпки и челки. / От Потемкинской прямо к Таврической / Через сад проходя, пробегая, / Увлекаете тягой лирической / И весной без конца и без края».

— *Все мы — потомки великих теней, даже если их отвергаем. Саша! Я знаю, что вы ведете литературную студию и что у вас есть любимые ученики. Как происходят эти студии?*

— Я этим занят чуть ли не с 1973 года. Было одно литобъединение, потом другое, теперь третье. Оно существует уже четверть века. Собственно, это не ученики, никто никого писать стихи не учит — все давно уже взрослые люди, состоящие в Союзе писателей. Это круг друзей, это дружеское общение на почве любви к стихам: Давид Раскин, Вероника Капустина, Иван Дуда, Александр Танков, Александр Фролов, Валерий Трофимов, еще несколько очень талантливых людей. Чем мы заняты? Раз в две недели встречаемся, назначаем оппонентов, человек читает стихи — идет обсуждение их по «гамбургскому счету». Как правило, приходим к некоему общему мнению, что бывает очень интересно. Мне лично это дает чрезвычайно много.

— *Что именно? Зачем вам это нужно?*

— Это живой разговор о стихах. «Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть». Оказывается, на практике кое-что можно выяснить и объяснить. В этом смысле мне вообще везет: у меня и дома есть возможность поговорить о стихах с Еленой Невзглядовой, моей женой. Интонационная теория стиха, которой посвящены ее научные работы, опубликованные в научных журналах, представляется мне и поэтам, читавшим эти статьи, событием в теории стиха. Когда-нибудь ее поймут и оценят и стиховеды — до них такие



вещи, в силу их приверженности собственным представлениям о стихе, доходят позже.

— *А где происходят заседания вашей студии?*

— На набережной Макарова, рядом с Пушкинским домом. Там есть такой книжный центр, где нас, человек пятнадцать — двадцать, привлекают.

— *Они, студиицы, не обижаются на разборы, на разгромы?*

— Нет. Обходимся без обид: существует желание добиться объективного понимания сделанного... Разговор о стихах должен быть конкретным, предполагает возможность не только словом, но и пальцем указать на слово, строку: вот здесь гнездится поэзия, до сих пор было холодно или тепло, а здесь — горячо! За год у каждого набирается достаточно материала на один разбор — стихотворений двенадцать. Раньше мы приглашали еще и гостей, но последнее время нам хватает себя, друг друга. У каждого, кстати сказать, есть профессия, никто от литературного заработка не зависит.

Некоторые поэты давно ушли из нашей студии, но мы дружим, встречаемся в других местах и домах: Алексей Пурин, Алексей Машевский, Олег Левитан... В Англии живет Юрий Колкер. Некоторые сменили литературные интересы на деловые, денежные, но трудно стрелять по цели из двустволки. Если ты главным делом сделал денежный успех, то... прощай, стихи!

— *Согласна. Оставим стихи главным в жизни... Что вы намечаете на ближайшее время? Ваш план, что ли?*

— Написать стишок. *(Смеется.)* Вот будет хорошо!

— *Что-то вышло в последнее время?*

— Вышла книжка в петербургском издательстве «Логос» — сейчас вам ее подарю. Называется «Волна и камень». Это статьи — из книги 1991 года «Аполлон в снегу» плюс статьи, написанные за последние лет десять.

— *А стихи пишете сейчас?*

— Пишу.

— *Бывали ли у вас большие паузы в жизни, когда стихи не писались?*

— Меня Бог миловал.

— *У вас есть личный способ их, стихи, вызывать на свет?*

— Есть. Если бы у меня был лирический герой, о котором мы с вами уже говорили, то он бы давно выдохся, иссяк. А поскольку его нет, а есть некие мысли о жизни и чувства, то... А если еще не пасмурный, а редкий для Петербурга синеглазый, солнечный день!

— *В общем, это у вас как дневник, который можно вести для себя постоянно.*

— Разумеется, не всегда получается, но в среднем, если поделить количество написанных стихов на прожитое в сознательном возрасте время, получается примерно по два стихотворения в неделю. Стихи — это мои отношения с мирозданием.

— *У вас есть свой девиз? Или иначе: можете сейчас его мне предложить?*

— Девиза нет. Или скажем так: их — много. Любая поэтическая строка, пришедшая кстати или вспомнившаяся в данную минуту: «Но жизнь, как тишина осенняя, подробна», «Стихов с собой мы брать не будем, мы их в дороге сочиним», «Только в мире и есть этот чистый влево бегущий пробор», «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», «Деревья Крönверкского сада под ветром буйно шелестят»...



---

---

О П Ы Л Т Ы Л

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

\*

ПРИВЕТ АХМЕТЬЕВУ

\* \*  
\*

мне скучно без

что делать

фаулз

как тварь разумная скучаю

\* \*  
\*

за что за что

за куршевель

\* \*  
\*

*Пух и Пятачок — Карле дель Понте:*

ПЕЛЕВИН ОБИДЕЛ ОСЛА

\* \*  
\*

лиля,  
брик!

\* \*  
\*

герасим  
помолчи

\* \*  
\*

мне хочется сказать не ПУТИН

а все равно он

\* \*  
\*

вот стою я

тут

перед вами

а зачем я

тут

перед вами

стою

особенно тут

особенно перед вами

\* \*  
\*

вот и всё

остальное ничто



---

---

# КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



## ЛЮДИ КАК ЛЮДИ. РАБОТА КАК РАБОТА

**Р**оман Линор Горалик и Сергея Кузнецова «Нет» (СПб., «Амфора», 2003) был встречен столь дружным вниманием критического сообщества, что оно уже само по себе побуждает внимательно отнестись к книге, имеющей все видимые приметы принадлежности к массовому жанру.

Газета «Книжное обозрение» в первом номере за 2004 год отвела полосу под дифирамбы роману и устами Владимира Ермилова провозгласила «событием как минимум пятилетки», на фоне которого «бездарность множества современных авторов особенно очевидна», Константин Мильчин в «Русском Журнале» согласился: «написан мастерски», — и даже привередливый Борис Кузьминский («Да, да. „Нет“, да»; «Газета» — 2004, 22 января), пройдясь по недобросовестным переводам первоклассных зарубежных авторов, в качестве компенсации рекомендует читателю опробовать роман Линор Горалик и Сергея Кузнецова: «Исполнение — на уровне, местами мастерское, щеголеватое даже, никакое словечко не царапнет, не напряжет».

Нашлись, конечно, и те, кто проявил сдержанность, как, например, Галина Юзефович в «Еженедельном журнале» (2004, 19 февраля), удивившаяся тому, что для простых историй «о любви, предательстве и смерти» авторы нагородили «немыслимой сложности футурологический огород», однако и она не преминула похвалить «могучую повествовательную машину», созданную романистами.

Когда разговоры о романе в газетах и в Сети стали утихать, жизнь подкинула новый повод для их возобновления: список произведений, выдвинутых на премию «Национальный бестселлер».

«С премией „Национальный бестселлер“ я не согласна иметь ничего общего», — немедленно заявила Линор Горалик в «Русском Журнале» (2004, 11 февраля), потребовав исключить роман из премиального лонг-листа. «Я не буду иметь дело с системой, отвратительно пиарившей ксенофобский и шовинистический роман Проханова». Сергей Кузнецов принял, однако, прямо противоположное решение, заявив, что, хотя ему тоже «не близки политические взгляды многих людей, связанных с этой премией», он всю жизнь исповедует принцип: литературные произведения не должны оцениваться исходя из политических взглядов их авторов.

Возникла довольно любопытная интрига: соавторы «Нет» публично разошлись по довольно существенному вопросу, что объективно явилось новым информационным поводом, способствовавшим продвижению романа. Виктор Топоров не преминул ехидно отметить это в довольно бесцеремонной статье «„Нет, нет и нет“, — говорит цыпа-дрипа» («Русский Журнал», 2004, 13 февраля) и высказал предположение, что возмущение Линор Горалик — показное (если, дескать, она не может иметь ничего общего с премией, пиарившей роман Проханова, почему она имеет дело с издательством «Амфора», Проханова издающим) и что номинатор романа, редактор «Книжного обозрения» Александр Гаврилов, не мог не согласовать свои действия с авторами. Тут наконец пришла очередь объясняться Александру Гаврилову. Он заявил, что «не оповещал Линор и Сергея о том, что выдвигает их роман на какую бы то ни было премию», однако отнюдь не жалеет о содеянном. «Если бы все это отмотать к началу, я бы снова выставил роман „Нет“ на любые премии — просто потому, что это текст поразительной силы».

Эта окологолитературная история, как часто бывает, вызвала волну новых упоминаний о романе, на сей раз менее квалифицированных, — мне запомнились с трудом совместимые жанровые определения «научно-фантастический» и «порнографический».

Что же написали поэт, эссеист, известный сетевой обозреватель Линор Горалик («Фея Рунета», как назвала ее «Независимая газета») и критик, эссеист и детективщик Сергей Кузнецов? К чему привело поразившее многих неожиданностью содружество двух интеллектуалов?

Действие романа происходит в 2060 году в мире, который стал значительно более глобальным, хотя и сохранил деление на страны. Место действия — Россия, Израиль и — главным образом — Соединенные Штаты (впрочем, на этой территории теперь какой-то АУ-1, но Нью-Йорк, Иллинойс, Калифорния не переименованы, хотя кто их знает, как они теперь звучат: говорят-то герои якобы по-китайски). Пригодился опыт Линор Горалик, жившей в каждой из этих стран.

Начиная читать книгу, всегда пытаешься определить жанр. Тут по первым беглым впечатлениям: фантастика либо антиутопия.

Научная фантастика всегда внимательна к технологиям будущего, антиутопия — к социальной составляющей, неизменно отталкиваясь от настоящего. В романе «Нет» то, что могло бы стать предметом антиутопии, идет малозначащим фоном, причем авторов совершенно не заботит, что разные тенденции в обществе не могут победить одновременно.

Так, почти весь мир в 2060 году стал мусульманским. Европа и Америка молятся Аллаху. Что ж, при отсутствии у Европы воли к сопротивлению, при торжестве извращенной политкорректности, требующей кричать, скажем, о зверствах сербов в Косове, а потом умалчивать об их бегстве из края, можно задуматься над тем, не ждет ли всю Европу судьба Косова. Гипотетически возможно и другое развитие событий — выход на мировую арену Китая и всемирная экспансия китайского языка и китайской культуры (многочисленные анекдоты советского периода о китайской речи на Красной площади находились в рамках подобного футурологического прогноза). Но всемирное торжество ислама и одновременная победа китайского языка (английский стал мертвым) — это реализация двух разнонаправленных векторов мирового развития.

Другая тенденция современного европейского мира — та борьба за свободу от всяческих запретов, за отмену сексуальных табу, за легализацию браков геев и лесбиянок, которая достаточно органично ведет к легализации порнографии, что и происходит в романе. Но исламизация мира эту тенденцию, конечно, отрицает. Победа молодой агрессивной религии в Америке и европейском мире не может произойти за столь короткий срок путем мирного миссионерства. Революционный скачок в биологии, позволяющий менять саму природу человека, изменение принципов деторождения (их выращивают в специальных инкубаторах, как у Хаксли), свобода отношения полов, легализация порнографии — все это плоды секулярного сознания и совершенно несовместимы с активным исламом.

Авторы, конечно, это прекрасно понимают, но упорно создают свой футурологический коктейль. Мир, в котором живут герои, претерпел весь набор катастроф, который предлагался всеми разновидностями фантастики. Непонятно, отчего разрушен Лондон и почему его надо заново отстраивать — но уж не в результате землетрясения. Кроме войны или теракта, в результате чего, видимо, исчез Лондон, на земле случился мор. Вымерло от какой-то разновидности СПИДа все население Африки (о чем режиссер-новатор снял порнофильм). Не обошлось без экологической катастрофы, главной жертвой которой стала Россия. Там чего только не было: взрывались ядерные реакторы, горели урановые рудники. А еще Россия, вопреки предостережениям «зеленых», свезла к себе ядерные отходы со всего мира. В результате в деревнях, оставшихся неподалеку от могильников, живут такие мутанты, что их хоть на Нотр-Дам сажай. Не надо думать, однако, что авторы на стороне «зеленых». Их деятельность парадоксальным образом тоже может стать причиной экологиче-

ской катастрофы. Герои обсуждают книгу «Неестественный отбор» — про то, как «зеленые», спасая животных, губят людей, потому что их деятельность включает механизм естественного отбора, и тогда эту функцию выполняют эпидемии. Так и случилось в Австралии, когда какой-то страшный вирус, пошедший от страшно размножившихся симпатичных панд, принялась косить людей.

Одно только перечисление примет будущего, никак не складывающегося в цельную картину, показывает, что авторы вовсе не стремятся его предсказать. Они создают «микс» подобно тому, как один из героев создает миксы из бионов. (А бионы — как ясно из повествования — это запись эмоций и ощущений на такие маленькие браслетки с кнопочкой с последующей возможностью их воспроизведения, — ну как мы сейчас разговор на диктофон записываем или путешествие на видеопленку.)

Материалом для микса служит действительность, кино и литература. Сергей Кузнецов, отвечая Александру Гаврилову на вопрос о влияниях, которым подвергались авторы, упоминает фильм Пола Андерсона «Ночь в стиле буги» (про порноиндустрию 70-х) и «Нейромант» Уильяма Гибсона. «Я думаю, каждый тащил сюда то, что лежало под рукой». Под рукой у людей начитанных (а оба соавтора, несомненно, относятся к таковым) всегда лежит немало.

Уильям Гибсон считается одним из основателей жанра киберпанк, подвид фантастики, пугающего нас ужасами будущего, в котором на развалинах некогда процветавших стран и городов восторжествуют зловещие мегакорпорации, овладевшие компьютерными технологиями, подчиняющими себе человека, а то и вовсе подменяющими реальность, как в культовом фильме «Матрица» братьев Вачовски, вершине кинематографического варианта жанра.

Впрочем, еще до начала компьютерной эры фантастика была озабочена тем, что с помощью различных технологий человечество можно загнать в призрачный мир, который оно предпочтет реальному. Есть давний — еще 60-х годов — рассказ Лино Алдани «Онирофильм», который так и просится поместить в графу «литературные влияния», рассуждая об источниках романа Горалик и Кузнецова.

Там изображается общество будущего, в котором секс полностью растабурирован, а порноиндустрия (хоть она и по-другому называется) заняла господствующее положение, в результате чего люди могут удовлетворить любые эротические фантазии (ситуация, полностью повторенная в романе «Нет»). Люди, живущие в трущобах, находят забвение в онирофильмах, а реальные сексуальные отношения кажутся настолько тусклыми, что ни у кого в них и потребности нет. Человечество, наверное, вообще бы вымерло, если б не искусственное размножение: детей выращивают в пробирках.

У Алдани зрители онирофильма надевают специальные шлемы и запускают проектор, после чего ощущают себя внутри происходящего на экране; в рассказе Кшиштофа Боруня «Фантом», написанном также в начале 60-х, герой, глава биоэлектронной компании, погружается в искусственную реальность с помощью какого-то там громоздкого шлема и аппарата под названием «Иллюзор» (где и убивает сам себя, только молодого, спасая собственную дочь), с началом компьютерной эры в виртуальный мир входят с помощью компьютеров и всяких там электронных приспособлений и разъемов, вживленных в человеческое тело, а информацию в мозг загружают с компьютера. Хотя и шлемы тоже не отжили свое, как в романе Лукьяненко «Лабиринт отражений», где без шлема и специального костюма в виртуальный диптаун не проникнуть.

В романе Горалик и Кузнецова, чтобы оказаться в фантомной реальности, никаких киберпанковских разъемов в голове и никаких старомодных шлемов на голову не требуется. На руку просто накатывается маленький браслетик с кнопочкой — бион, и если это бион записывающий, он считывает твои ощущения, а если воспроизводящий, то погружает тебя в мир чужих ощущений. Но проблема та же: станет ли фантомный мир эрзацем реального, только более привлекательным? Фантастика склонна пугать человека мрачностью такого рода перспектив.

Горалик и Кузнецов, непринужденно используя тот набор кубиков, из которых фантастикой вылеплен страшный мир техногенных катастроф и торжеству-

ющих компьютерных и биотехнологий, совершенно не склонны ни пугать, ни порицать, ни предупреждать.

Ну да, бионы дают возможность испытать чужие ощущения. Вот и наркомания исчезла: накатал на руку биончик — и лови кайф. И никаких ломок. Но и никаких последствий, страшивших Стругацких в «Хищных вещах века»: человек вовсе не превратится в крысу, стимулирующую центр удовольствий. Ну да, можно испытать секс с порнозвездой. Но это не значит, что люди откажутся от естественного секса, как пророчествовал Алдани. Просто в киноиндустрии произойдет революция, добионное кино похоронят, как когда-то похоронили немое, масса актеров окажется безработными: от них потребуются не просто играть страсть, а «дать хороший бион». Ну да, детей можно выращивать в пробирках. Но никто не препятствует «живородить». Ну да, компьютер может снять кальку с мозга и потом закачать полученные знания в другой мозг. Но человек не превратится в придаток компьютера. Будущее не смакуют и им не пугают. Рискну сказать: оно вообще не имеет особого значения. Так — фон, прием, антураж, декорация с непрописанными и не всегда продуманными деталями. Роман писался совсем о другом.

В совместном интервью Александру Гаврилову, данному на «Радио России» и появившемся на сайте «Книжного обозрения», Линор Горалик говорит, что сначала у них было намерение написать просто порнографическую книгу. «Идея была такая: мы за две недели быстро клепаем коммерческий порнороман, загоняем, получаем деньги и ставим это дело на поток». Но в результате был написан за полгода «миллион знаков, коммерческий потенциал которых стремится к нулю».

Не знаю, как насчет коммерческого потенциала. Роман ловко скроен, замешен на детективной интриге, сюжетные линии умело переплетены, повествование неумолимо и динамично, — почему бы ему не иметь коммерческий успех? Но вот «порнороманом» написанное никак не назовешь, хотя в нем, конечно, отразился стойкий интерес обоих авторов к порнографии как феномену современной культуры. Напомню, что Линор Горалик вела соответствующую рубрику на сайте «Грани.ру», Сергей Кузнецов уделял немалое внимание порнографии в кино, а просматривая ретроспекцию их работ, нельзя не отметить удивительные совпадения: так, например, каждый из них посвятил по обстоятельной статье феномену порнозвезды Линды Лавлайс, прославившейся в начале 70-х главной ролью в фильме «Глубокая глотка» и пропагандировавшей свободу секса, а через несколько лет принявшей участие в феминистском движении против порнографии. Неудивительно, что образ порнозвезды 70-х годов XX века мелькнет на страницах их совместного романа.

Несмотря на обилие разного рода сексуальных сцен, они сделаны так, что приходится верить основному постулату авторов: общество к 2060 году признало секс самой естественной потребностью человека и освободило его от устаревших предрассудков и ограничений. А без ощущения запретности нет и порнографии. Это Линор Горалик объясняла еще в качестве журналиста и эссеиста: «Без запретов, без четких попыток разделить контент на „общекультурный“ и „порнографический“ порнография, собственно, теряет смысл как явление... Порнография существует, пока хоть в какой-то мере... существует запрет на ее существование».

Тут, правда, хочется заметить, что если общество кардинально изменит отношение к порнографии, то изменения произойдут и на семантическом уровне: само слово, включающее в себя негативную оценку явления, должно исчезнуть. Авторы порнографию разрешили, но слово сохранили. По-моему, напрасно.

Порнография мало того что разрешена — это «романтическая профессия», как упомянуто в рассказе о порнозвезде Афелии, садомазохистке с ангельской внешностью, с отличием закончившей престижный киноколледж и блестяще выступившей на выпускном вечере: красавица так страстно обвивала партнера длинными огненными волосами, сквозь которые просвечивали обнаженные прелестные ягодички, что даже удостоилась похвалы солидной газеты. А вот ху-

дожественная гимнастика — под запретом. С точки зрения политкорректности, нет ничего естественней секса, девочки же гимнастки с противоестественно податливыми связками (каких ищут по бедным русским деревням подпольные тренеры) — отклонение от нормы.

Художественная гимнастика, впрочем, провинилась не тем, что стала азартным зрелищем, а тем, что годилась для построения перверсивной схемы, доказывающей относительность человеческих представлений о морали, о приличиях и даже об эстетике. Модель — та же, что применена Луисом Бунюэлем в одной из сцен фильма «Скромное обаяние буржуазии». Герои, собравшись в большой гостиной, ведут непринужденную беседу, сидя на унитазах, а вот поест стараются незаметно ускользнуть поодиночке в какую-то кабинку — публично есть неприлично.

Этот прием постоянно эксплуатируется в романе. Например, главная героиня сначала совокупляется разнообразными способами на съемках фильма со своим партнером, потом они знакомятся, а потом между ними завязываются любовные отношения, заканчивающиеся браком, и окружающие умиляются — как это романтично. (Вспоминается популярный анекдот с крылатой фразой: «Секс — не повод для знакомства».) Или гениальный порнорежиссер (есть и такой), устав от фильмов про секс, хочет снять фильм про любовь и описывает другу задуманную сцену — как женщина плачет, а мужчина ее целует и жалуется: «Так это же нельзя снять, мне припишут насилие... Она плачет — а я целую».

Демонстрация относительности этических норм соседствует с доказательством относительности эстетических пристрастий. Человек, обросший шерстью, с когтями вместо пальцев, — это как, красота или уродство? Если мутант, появившийся на ядерных могильниках, — так ясно: урод. (Таких уродов полно в России, где все время что-то взрывалось.) Но в 2060 году человечество овладело технологиями, дающими возможность менять свое тело — морфировать. Можно сделать морф красавицы, можно взрослой женщине сделать морф подростка, а можно соорудить жабры, хвост, покрыть человека искусственной шерстью, взяв за образец волка, тигра, оленя или бобра, — их называют кисус, тигрус, зебрус. Если сам шерстью оброс — так это уродство. А если за большие деньги?.. «Морф легкий, изящный: лицо чистое, руки тоже, но к тяжелым кистям рук сбегает очень гладкая, очень короткая шерсть, широкий хвост овалом виден в прорези джинсов», — любитесь главная героиня бобрусом, посетителем клуба «Микки-Маус», где собираются зооморфы и их любители из гладкокожих. Вупи принадлежит к таким любителям, что ее и подводит. Секс с зооморфами не запрещен, но для топ-менеджера солидной фирмы — предосудителен, и, когда Вупи предлагают через несколько дней в киоске запись ее сексуальных игр с бобрусом, она испытывает страх. «Скотский бобр. Попалась».

Собственно, весь сюжет романа построен на том, что в системе моральных запретов и общественных установлений действует некий закон сохранения энергии. Добиваясь снятия запретов в одной сфере, общество изобретает новые. И всегда будут находиться те, кто эти запреты захочет обойти, а то и взорвать.

Порнография легализована благодаря усилиям Adult Freedom Association (AFA), но и окутана сетью ограничений, занесенных в «Код AFA». Составителям этого кода «под всех пришлось лечь» — угодить «феминисткам, защитникам прав сексуальных меньшинств, обществу любителей собак, „Amnesty“, „Travel Fox“». Отрывки из кодекса AFA остроумно пародируют современные принципы политкорректности. «Минет по продолжительности должен быть равен куннилингу. Актеру во время оргазма запрещено лаять. Количество представителей каждой расы должно быть одинаковым в любом фильме, произведенном компанией, состоящей в AFA...» Код, естественно, пополняется. Всего двенадцать лет назад запретили снимать морфов. И не только всяких там волкусов и тигрусов — достаточно было изменить форму носа изменить, чтобы вылететь из легальной компании: «анализ есть анализ». Порноиндустрия и раньше делилась на разрешенную (ваниль) и полуподпольную (чилли). После изгнания морфов из ванильных студий они устремились в индустрию чилли. Разрешенная



ваниль (которую презирают герои, как интеллигенция в тоталитарном обществе презирает всякое конформистское искусство) существует где-то на периферии романа. В центре же — судьбы героев, так или иначе связанных с чилли.

Есть порнозвезды, снимающиеся в чиллийных студиях: одна специализируется на зоусах, другая — на сексе с применением насилия. Есть продюсеры осторожные и скучные, как и продюсеры добионного кино, думающие лишь о том, как угодить рынку. Есть режиссер-новатор, которому тесно не только в рамках кода АФА, но и в тисках политкорректности, которую по-своему блюдут и чиллийные студии. (Снимать сексуальное насилие тут можно, а вот снять в джунглях Мексики фильм с “этнически достоверными” ацтеками и рассказать о кровавых жертвах Кецалькоатлю — это, оказывается, «нанести гнусное оскорбление» целому народу.) На протяжении романа новатор снимает фильм, подозрительно напоминающий «Ночного портье» — про отношения насильника и жертвы в концлагере, и, разумеется, фильм этот бойкотируют.

Есть те, кто распространяет нелегальную порнографию: один из главных героев, симпатичный русский сталкер по прозвищу Лис, возит нелегальные бионы из Израиля в Россию. Почему из Израиля? Потому что после очередной депрессии, во время которой израильтяне замирились с арабами, Израиль поднялся на разработках технологии бионов и в итоге так много сделал для всемирного рынка порно, что кнессету пришлось принять закон о легализации всех его разновидностей. Почему нелегальные бионы ввозят в Россию? Потому что это страна с дешевыми копировальными мощностями и отсутствующей собственной порноиндустрией.

Есть те, кто хочет эту индустрию в России создать и шастает по стране в надежде найти экзотических мутантов для ванильного порно, чтобы заполнить тот сегмент рынка, который сейчас обслуживается подпольным чилли с морфами.

Наконец, есть те, кто с нелегальной порнографией борется. Именно полицейская линия создает роману дополнительную детективную интригу. Снимают ли на подпольных студиях педофильские ленты с реальными детьми или используют морфов, мороча головы покупателям? Существует ли в действительности *снафф*, реальное кровавое насилие, или, когда зритель видит, как жертве отрубают руки-ноги, и даже испытывает ее мучения, записанные на бион, — это всего лишь смонтированный трюк? В конце концов оказывается, что главный охотник за снаффом, глава отдела полиции по борьбе с нелегальной порнографией, и есть главный злодей, контролирующий производство снаффа. Сюжетный ход не слишком свежий (хоть и беспронитываемый).

Повествование нервно прыгает, то и дело обрывая сюжетную нить, но в итоге сплетая все линии романа в плотный клубок, героев много, но они запоминаются, язык лишен изысков, но точен (разве что монологи влюбленной израильской девушки несколько раздражают монотонным поэтическим надрывом). Иногда, впрочем, возникают неувязки. Вот сталкер Лис возит через границу бионы с записью нелегальных порнофильмов. По сорок пять бионов, накатанных на две руки. Опасность не в том, что пограничники застукают с запретным товаром, опасность в том, что если что-то задержит прохождение границы и не уложишься в 34 минуты, то бионы начнут активизироваться и сталкер почувствует себя одновременно и «маленьким мальчиком, которого насилуют», и «извивающейся под электрошокером мазохисткой», и «морфом с рыбьим хвостом вместо ног», а от такого букета ощущений сходят с ума. Сцена, когда Лис считает минуты (а тут замешкалась с паспортом девочка-пограничница в поисках визы), написана динамично и нервно, вызывая рассчитанное напряжение у читателя.

Потом сообщаешь: а почему, собственно, бионы должны самопроизвольно активироваться через тридцать четыре минуты? Ведь это такая штучка с кнопочкой, которая продается во множестве магазинчиков и киосков, ну примерно как сейчас CD-DVD диски. Они должны лежать в коробочке и скромненько ждать своего часа, а если будут навязывать себя хозяину — так

это, видимо, техническая недоработка. Впрочем, какое-то объяснение этому казусу авторы дают, но явно натянутое.

Не совсем ясно также, что же все-таки происходит в Израиле в 2060 году. В начале книги рассказывается о мире, который воцарился «между сынами иудейскими, и сынами ливийскими и сирийскими, и иракскими», и превращении Израиля под водительством партии «Новый Сион» в процветающее государство с передовой биотехнологией, а в конце ее герой с состраданием думает: «Как они живут там, в Израиле, среди этих постоянных терактов? Как они живут, когда знают, что любой автобус может не доехать, любой самолет не долететь, любой кинотеатр может никогда не выпустить наружу своих посетителей?»

Похоже, в конце книги авторы забыли, что уже замирили евреев с арабами.

Но в целом подобных неувязок немного, сюжет, повторю, изобретательно выстроен и аккуратно просчитан.

Это довольно жестокий роман. Авторы не щадят своих героев, отправляя их одного за другим на тот свет. Гибнет сталкер Лис, случайно попавшись под руку чудовищным сиамским близнецам-мстительницам. Гибнет талантливый изобретатель новой бионной технологии, сварившись заживо в ванне, — любимая механическая собачка стала причиной короткого замыкания. Гибнет бесстрашная и трогательная Кшися Лунь, полицейский в личине ребенка, преданная начальником-оборотнем, производителем снаффа. Нервный шок испытывает ее друг, просматривая бион с записью мучений Кшиси. Рухнула жизнь израильской девушки, возлюбленной Лиса, — самая лирическая линия романа. Почти все герои проходят через страх, боль, ужас, предательство.

Это жестокая проза, рассказывающая довольно неприятные вещи о человеке.

Это сатирический роман, едко припечатывающий идиотизм проявлений современной политкорректности нехитрой процедурой экстраполяции и доведения до абсурда.

Это релятивистский роман, насмешливо утверждающий относительность и моральных норм, царящих в обществе, и представлений о красивом и безобразном.

Это фантастический роман, ставящий человека в экспериментальные условия, вряд ли возможные в реальности.

И в то же время это роман о неизменности человека. Как бы ни менялось будущее, какие бы технологии ни воцарялись, какие бы моральные представления ни торжествовали, человек остается существом, способным любить, мучиться, страдать, жертвовать собой, ненавидеть и прощать. Как говорил Воланд, «люди как люди». Даже если они заняты в нелегальном порнобизнесе. Да и что такое порнобизнес? Работа как работа.

Вывод нехитрый, конечно, но не ради вывода и назидания мы читаем остроусюжетную беллетристику.

Одно остается неясным — смысл названия. Когда я только прочитала о выходе книги, я решила, что ее название связано с принадлежностью авторов к сетевой культуре. Оказалось, Сеть не играет в романе никакой роли. Пока читала, я все ожидала, что будет вынесен приговор описываемому миру. Но как раз этому миру авторы не говорят ни «нет», ни «да». Относится ли «нет» к многочисленному табу, остающимся в самом раскрепощенном обществе? Или и в самом деле название появилось случайно, как результат «многолетних переговоров авторов и издателей, в ходе которых обе заинтересованные стороны отвечали друг другу: „Нет”», как рассказывает осведомленный Макс Фрай в «Книжном обозрении» (2004, № 1)? В любом случае не могу признать его столь же удачным, как и сам роман.

Нет, не стоит переоценивать книгу, авторы которой честно признаются, что задумывали ее как коммерческий проект. Но нельзя и не похвалить отлично выполненную профессиональную работу.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



## ЛЕОНИД БОРОДИН — «ЦАРИЦА СМУТЫ»

*Из «Литературной коллекции»*

**З**наю от автора, что тема эта пришла к нему в лагере, во время второго срока: только такая отдалённая от наших дней тема и могла быть не опасна заключённому. Но после выхода из лагеря попал автор в поток реальной общенародной Смуты, по меньшему счёту — Третьей в русской истории. И так его начатый сюжет получил, надо думать, новую подпитку, звал к углублению пониманий и обобщений.

Наша Смута XVII века предлагает писателю широкое множество сюжетов — богатых сильнейшими драматическими эпизодами, захватывающих размахом психологических колебаний, оборотом действий, и поучительных нравственно. И вот — новая повесть из того сгустка нашей истории, посегодняя отображённого ещё слишком мало. Поначалу удивляет выбор автора: сюжет — на околичности времени (1613 год) и пространства, когда главные события уже все совершились, да и географически взят вдали от них (дальний астраханский край, Яик, заволжская степь), как бы — «анти-Узел»? Кажется: исход этого окраинного события — Марина Мнишек со своим последним казачьим отрядом и поражение его — уже ясен, и не должен вызвать напряжения. Но по мере чтения выбор автора оправдывается преимуществами ретроспекции на 8-летнюю толщу уже прошедших событий: всеобщую затронутость нравственной порчей, душевные шатания, униженное поведение, почти круговое предательство столь многих бояр, включая и Романовых, угодливых перед Самозванцами, и разрушительную роль казачества в Смуту.

Такой выбор сюжета и мог иметь целью и во всяком случае вёл к переносу центра внимания на психологию, внутреннюю жизнь Марины Мнишек. Ни в чём не противореча образу «ранней» Марины, какой она сложилась у нас от Карамзина и Пушкина, Бородин углубляется в свежую разработку «позднего» образа её, для которого мог наличествовать лишь скудный фактический внешний материал, а всё остальное угадываться и достигаться писательской интуицией.

Именно это — художественное решение — мы и попытаемся здесь проследить, не берясь соотносить его с сохранившимися или уже безвозвратно утерянными историческими подробностями.

Повесть (не роман, она сжата по-современному, дана лишь плотность всего существенного — событий, образов и мыслей) написана однако с убеждающим вхождением в дух эпохи, в быт её (когда «молитву и ту творишь торопливее, чем пищу жуёшь»), в детали одежд, домовых убранств, боевой техники и самой лексики — всё углажено, тут заложена добротность художественной работы, и вся она пропущена автором «через себя». (Ещё и потому, что автор — современник Смуты нынешней?) Эта повесть — в нынешние годы пустоцветения торопливого поверхностного «постмодернизма» — входит весомым вкладом в русскую историческую романистику.

Конструкция повести — вполне эффективна. Экспозиция дана легко, сразу, без напряжения читательского внимания. Далее применён сюжетный пунктир: семь главок — семь этапов повествования, между которыми — пропуски, ни-

сколько не разрушающие цельности. А внутри — вся подробность действий и чувств, правда с неизбежным вымытом воспоминаний у персонажей — необходимых (пожалуй, кроме гибели Ляпунова, это избыточно здесь) для ясности их фигур, душевного строя, памяти, — одновременной оглядкой давая и читателю обрывки тех главных событий Смуты, за рамками повести. (У Марины — таких воспоминаний наиболее от ликующего въезда в Москву в мае 1606 — а всего лишь на две недели кремлёвской жизни, на одну неделю от коронации до бунта москвитян.) При чтении — настолько великолепной кульминацией видится прогулка Марины под грозой по стенам астраханского кремля (только повтор грозы во сне кажется лишним), что возникает опаска — как автор ещё дальше сумеет не дать сюжету ослабнуть? Но он ведёт его в перепады душевного мира Марины — а затем с новой силой даёт кульминацию чувств прикованной и пренебрежённой узницы. И прекрасно решена последняя страница повести: «После слов» (не затёртое «послесловие»), тактично поясняющая читателю документальную и фольклорную основу произведения.

Разумеется, не крядным описанием, но кой-где разбросанными замечаниями автор сообщает нам некоторые детали наружности Марины, нами легко признаваемые как традиционный образец её: хрупкая, маленькая, руки тонкие с длинными пальчиками (а «тяжёлый пистоль удерживали»); «маленькая гордая головка»; «чёрные пряди», «чёрный блеск зрачков», «остренький носик», губы — «две тонкие полоски, как ни выпячивай» их для поцелуя. В суровой Московии «нежность глаз шляхтянки перечит дикости людской и природной»; «власть взглядов своих проверена ею не раз»; «глаза её — сколько явных и тайных побед совершено ими». Но бывает и так, что они «слезами оскорблённой гордости» засвечиваются, а «змеиные брови подлетают к переносице». Пани царица может и поплакать, но никто не узнает, кроме её приближенной фрейлины.

Вот и далее — черты, которые для нас не новы, мы их и ждём. Марина «всегда жила по рассудку», «всегда опытным глазом умела разглядеть смысл и замысел, а часто и предугадать исход». И «для Марины сам по себе мужчина, будь он хоть Аполлоном с лица, не иметь ему власти над её душой». — И — воля, самообладание и знаки величия. «Голос с холодком и без дрожи, и чтобы ни один мускул лица не выдал», поклонника «бровью единой отсылает прочь». — «К людям не приглядывалась, не вникала», её задача — «требовать верности и доблести в исполнении». — «Унять дрожь — один глубокий вздох, глаза закрыты, руки на коленях, дрожь из рук через ступни уходит в пол, мысли, смятые мгновением страха в клубок судорог, обретают привычное течение — и она снова себе хозяйка». — И порывы. «В лагере Сапеги под Дмитровом» в бой «вовремя вмешалась, сама на вал под пули вышла». В бою стругов на Яике: «в руках дрожь, но не от страха, а от азарта, она вскакивает на ноги, взводит курок пистоля, выцеливая врага». — Или вот «по-казацки пригнувшись в седле, все оставшиеся силы выжимает из животины, словно хочет с разгону перепрыгнуть Волгу, а там замертво пасть вместе с конём». — А когда зарубили тушинского самозванца — «на коня, и вихрем в стан казацкий, а там бранилась и кричала простолоудинкой, на мечи бросалась, то ли смерти искала, то ли муки телесной». — «Никогда ничего ни у кого не просящая», она выработала взгляд и на «упрямство, с каким чернь цепляется за жизнь, за землю, в том видится Марине нечто тупое, звериное... Разве не Божиим установлением раз и навсегда определено право господина на волю холопа. И когда чернь смеет жить сама по себе — в том попрание Закона». «Чернь должна знать силу над собой. Не найдёшь зачинщиков, повесть кого угодно». А когда страх или ярость, тогда каких только пыток не вообразишь всем изменившим, предавшим, бросившим, хоть и на поклонника «рука с нагайкой в воздухе». Проклятья врагам рождаются в душе Марины с такою страстью, что «испепелили бы они тех, кому предназначались». «Ненависть пробуждается и горячит кровь». «Главная хворь души её — упрямото, ослепляющее разум».

Всё это — также ложится в наше устоявшееся представление об исторической Марине, хотя автор, между тем, яркими деталями уже сильно расширил его. Всё ж до сих пор ни одна черта не пришла в разноту с образом Марины Мнишек, как все мы его усвоили. А вот и разность: «Она ли не горда, она ли не владычица своих чувств, а вот поди ж ты, привязчива чисто по-бабски». И вот ей хочется возлюбленному «сказать что-то доброе обыкновенным бабьим голосом или просто притронуться рукой к его локтю». Рядом с фигурой её, исторической и литературной, — это кажется невозможным? Но ведь и не в годы блеска и власти, а после восьми лет неурядиц, бедствий и скитаний в условиях воистину диких, «уже давно пребывающая в страхе, и не в страхе Божьем». — Или даже раньше? Вот второй самозванец ведь «никогда не был ей люб, а противен с первых дней, и после — какое насилие учиняла над собой, чтобы терпеть при себе, чтобы быть ему супругой», — это так, при известной физической отвратности «тушинского вора», однако и при взвешенной рассудочности Марины. «Но, — продолжает автор, — не заметила, как привязалась. И голову его отрубленную готова была руками обхватить от нежности, которая откуда только взялась». Даже и это бы — понять, но дальше «стыд испытывала за притворство, с каким делила ложе» с красавцем-казаким Заруцким, «обманывая его деланной страстью», — и это бы так, по рассудочности её, хотя, в её 26 лет? — «сама давно остывшая для ласк любовных... перегорела она в страстях двух царей московских» — из которых с первым прожила менее недели, а второй был отвратный тушинец? Разве что всё равнодушие опять-таки сводится к холодным расчётам на путях к трону и славе.

Тут-то и вклиняется дивная сцена выхода Марины под грозу над Астраханью. Эта сцена так ярка, густа, её надо бы читать сплошь, а не в цитатах. Вот, над Астраханью, «разгулялись бесы большие и малые, рвут полотнища небесные в клочья и расшвыривают по краям горизонта»; «в тресках громовых открывается Марине понимание языка бесов: „А не отступил ли Всевышний от тебя?“ Как проверить?» И она с быстротою одевается нарядно, с тонким подбором цветов, и — порывом наружу. Там донцы: «присели в коленках усахи, шапки косматые на брови натянута, рожи перекошены... А вокруг — сумрак, негаснущими молниями вспоротый», но «ни дождя, ни ветра». Смущённых донцов оставляет внизу — а сама всходит на кремлёвскую стену. А бесы «распоясались огнём и громом над Крымской башней, заманивают». Марина гордо «идёт полуослепшая, почти на ощупь». А внизу «из всех домов людишки повыползали, жмутся к стенам и крыльцам» и «на царицу дивятся, идущую по пряслу навстречу калёным стрелам». И бесы, ещё «плеснув огня в глаза», «за Волгу отступили с досады». И «толпой казачё, стрельцы, монахи шапками машут, славу орут Марине, царице московской, пред которой отступились бесы». Марина возвращается в свои покои, сбрасывает кикю с головы, спешит в молельню, «исповедь вызревает в душе», «после нынешнего позорного уступления сил сатанинских нет более сомнения в успехе дела».

Да ныне, если б Марине и сдаться — а: *кому бы* «на той, другой стороне»? если б там были «какие-то иные люди, чистые и смутой не помаранные»; «но сдаться... разбойникам и клятвопреступникам только потому, что тот или иной вовремя переметнулся»?

А как — с католичеством Марины? В соответствии с прежде усвоенным нами её образом оно может представляться лишь как часть её политических расчётов (на нём была когда-то — вся поддержка от Римской церкви и польского короля), а при характере Марины предположить в ней глубокую религиозность нелегко. (У Пушкина этого во всяком случае нет.) Но ведь Бородин представляет нам Марину после восьми лет неудач и страданий, это другая Марина. «Тяжкие думы Марина умещает в узде держать, и всякое предчувствие дурное... тотчас же встречь ему выставляет душа Маринина заслон непорушимый — веру в покровительство Господнее». Застав в воеводском дворце в Астрахани православный иконостас, она себе «заводит домовую церковь римского обряда», ибо «русинская ересь, не по чести православием именуемая, от-

вратна душе», отказывает православному монастырю в даровых продуктах и «строжайше запрещает утренний звон по всем церквам астраханским» (он раздражает её, напоминая утренний набат мятежа против Лжедмитрия). Однако Марина и уклоняется от назойливости приставленного к ней патера, «она попросту не допускает его в свою молельню, ей не надобен посредник», объясняет, что может только «самолично творить молитву пред ликом Господним, что только так может явить полноту покаяния... в строгом уединении с Господом открываются ей Его помышления о ней». — В дальнейших злоключениях, ища раздумчивого уединения, Марина размышляет об ангелах небесных: «какое отвращение должны питать они к человекам, к мерзким инстинктам и низменным чувствам» их. А в ещё большей загнанности Марины — «ни дворца, ни крепости — простой избы рубленой достаточно, и уже почувствуешь себя... в Божьем мире, примешь его душой и повторишь вслед за Господом: „Хорошо!“».

Да это весьма правдоподобно, что вера Марины возросла в годы непереносимых лишений. «Уверовав в избранность свою для дел великих, все мелочные страхи утратила, один остался — Божьего отступничества боялась». А если не допустить, что возникла в ней напряжённая религиозность, — то, может быть, на одном бы честолюбии она и не удержалась? Господь «жаждал видеть волю Маринину соответственной призванию... Оттого-то и являла храбрость... чтобы видели: верит в назначение».

Пройдя через десятилетие бед, крушений, опасностей, унижений на чужбине, Марина, как видит Бородин, укрепляется в католической вере всё истовой (или даже неистойей), вера становится её верным заслоном и от новых и новых угроз, худых предчувствий, мрачных мыслей, одновременно же, в подпор её несколько не утраченному честолюбию. — Укрепляет её и в призрачном осознании своей миссии: вот это дремучее русское племя обратить в истинную католическую веру, вернуть себе утраченное место коронованной над ним царицы.

Однако и всё более углубляясь в религиозное созерцание, Марина не упускает соотносить его духовные плоды со своими политическими задачами. Ещё в ночь перед триумфальным первым въездом в Москву она своему патеру, напомиравшему ей об её обязанностях перед Польшей и Римской церковью, ответила, что «всё должное исполнять намерена неукоснительно... но притом всё же царицей она будет московской, а не польской» и «если что-то из обещанного может оказаться опасным для её трона, то сим обещанием поступится, не колеблясь». А до того — по дороге в Москву, «радость народная, каковую и понять трудно, с чего бы уж радость такая?». («Ещё не знали, что по договору Смоленск Польше отходит сразу после венчания») «Народ, готовый на руках нести карету»; «видимо, дано этому странному народу редчайшее чувство чистого благоговения к престолу, какового в Польше её родной не увидишь ни у шляхты, ни у быдла». И Марина самовнушается, что «меня призвали всенародно, сама ведь не напрашивалась» (как сказать...), и более всего поражена, что так легко добилась отдельного от супруга своего венчания на царство, небывалый акт.

А этот народ русинский и не может не удивить сторонний взгляд. Хотя бы то, что у их Московии «восточных границ вообще нет — можно ли понять такое?». Какое-то «чудовище полусонное», от которого Европе видима только голова, «а туловище его необъятное Европе и невидимо вовсе». И «для чего народу этому столько земли неосвоенной... ведь не знают цены» ей. «Странности народа московского любому иноземцу в глаза бросаются и оскорбляют умы, знающие правила и порядок». (С большим опозданием и патер размысливает, что, видимо, «святая церковь Римская изначально ошибалась в оценке народа, коего восхотела обрести в лоне своём», недооценила «еретическое упрямство москалей») Марина же, «утомлённая политесом Сигизмундова двора, очаровывалась [тут] прямою слов и поступков, готова была жаловать и любить их», даже «подлинной великой славы хотела народу и государству», вот «умными действиями сумеет обратить народ русинский в Римскую веру, и с

подлинным образом Господа в душе дикий народ этот явит миру силу свою и разум, просветлённый истинным вероучением». Однако «в первые же дни в Москве усомнилась, а потом и вовсе разуверилась: не нужна истина народу» этому.

А после «восьми лет неслыханных мытарств по Московии» перед глазами череда лиц, не лиц — теперь уже мерзких харь бояр московских, лукавцев, угодников, лизоблюдов. А ведь именно через Марину, ощущает она теперь, «являл Господь случай Московии обрести покровительство небесное. Но не приняли!». И что ж? «Как народ Израилев, не понявший смысла Божьего завета... был сурово наказан Господом за слепоту, так и москали испытают со временем гнев Господний в полноте». «Не дано им самим понять и постичь тайну завета, а кто-то другой, подвигнутый на то, должен явиться в земли русинские и вразумить, и начать тем подлинную историю края сего в соответствии с Божьим замыслом о нём».

И — кто же это? Даже после всех горчайших неудач — или именно от них (и в верном соответствии с характером Марины, здесь я вижу очень правдоподобную отгадку Бородина, развивающую образ до конца), именно в последних поражениях в ней возникает, растёт, утверживается фанатичная уверенность в особости своей судьбы. «Не забыта! Всего лишь более чем когда-либо неисповедим путь Господень», «её, избранницу и страдальцу, Господь не оставит!», «люди отступились от меня, но не Господь, и правда моя восторжествует». Именно теперь-то Марина «в полной мере осознала призванность к великому», «её судьба однажды взята на Высочайшее попечение», «...всмотреться в тайну Божьего замысла про свою судьбу. Сколько странных и таинственных совпадений ею уже подмечено и сколько ещё выявится... и как-то потом всё сведётся к одному благому и великому». Теперь — «она знает, чему быть», а сподвижники её не знают, но «всем верным воздастся по их верности»; «когда страх и отчаяние сожмут горло так, что только хрип да стон, когда самый последний из верных изуверится и отшатнётся — вот тогда-то...». — А потому «главное сейчас — не вмешиваться», «наперёд отречься от стараний и попыток своей волей и своим умом вмешиваться в тайну неисповедимости путей Господних, терпение и доверие — вот её работа», «ни единым душевным шевелением» не участвовать в своей судьбе, «смирненно полагаться на разумение Божие, не пытаясь понять его», «иная воля сотворит победу, когда все надежды потеряют», «её партия разыгрывается в иных сферах», «как бы теперь события ни развивались, исход дела решится не ими... Лишь бы скорей...».

В развитии этого внутреннего вдохновения Марины мы не сразу схватываемся различить начало схода с ума, а лишь когда, в самые бурные повороты событий, она становится «тиха не по нраву», и, услышав весть и шумы, что в самой её Астрахани — на посаде бунт, «стрельцы, чернь астраханская и татарва лютуют» под стенами кремля, — «Слава Всевышнему, — шепчет Марина, — слава... началось», и «счастливая улыбка на устах царицы».

Фанатичность отчаяния? Теперь автором и объяснена и продолжена в проявлениях вспышка религиозности в прежней безмерной честолюбке. Да, без такой напряжённой веры в судьбу — разве удержалась бы она в восьми годах карусельной переменчивости обстоятельств? — «от отчаяния к надежде, от надежды к уверенности и торжеству, и снова отчаяние, и снова надежда...».

И Бородин проводит перед нами психологическую разработку: как, упорно вдохновлённая своею задуманной миссией и все силы тому отдавая, Марина, незаметно для себя, сдвигается в безумие. Уже отжила она то ещё недавнее время, когда её терзали столькие утраты и измены, когда она сочла предателями и своего отца и короля Сигизмунда, ибо звали вернуться к ним, но «в Польше конец её дела», «значит, не быть ей в Москве!» — А вот, заброшенная с горсткою остатних казаков на пустынный остров дикого Яика, Марина испытывает и такой поворот: «не-хо-чу-в-Мос-кву! Хочу здесь! Не хочу быть царицей! Не хочу каменных палат, хочу избу по-чёрному. Не хочу одеял атласных, хочу рогожу да посконку!»; «бесы страхами искушали меня, громами да молниями. Теперь покоем искушают. Ты, говорят, устала, царица. Посмотри,

говорят, вокруг, мир для покоя души создан. А ещё наговаривают уроды невидимые, будто Отцу Великому никакого дела до меня нет», «и верно, давно надо б от лишней суеты отречься, извечностью порядка восхититься», «раньше сердцем слепа была к миру Божьему», а вот «среди быдла и природной дикости почему мне здесь хорошо, как нигде не было».

И если это — развитие безумия, то — уже за ту грань, где безумие возрастает до уровня высшего смысла.

В этом достигнутом новом состоянии Марина находит и больше внимания к сыну своему от тушинца. Мальчик всё время тут, подле неё, но в разрыве борьбы она не так много отдавала ему. А он был умеренно капризен, уже испытал порчу от положения царёнка. Потом, «после астраханской сечи духом повредился, икота напала и дрожь в теле, речь невнятная». Затем и с ним происходит душевное изменение, слишком раннее по возрасту, но веришь ему: вдруг «нет более крикливого озорника и проказника, странная недетская тоска поселилась в его очах», то ли «открылось душе несмышлёныша какое-то никому кроме него не известное знание, которое ни себе, ни другим высказать не может».

После рысканий казачьего отряда Марины по Волге вверх, потом в дельту, а через Каспий по Яику вверх, — там, в дикой глуши, они настигнуты погоней московских стрельцов и других казаков, изменяет и часть своих, вся экспедиция их порушена — и вот, отнявши напрочь сына, Марину везут в Казань на подводе, обстроеной в виде деревянной клетки, с ногою, прикованной тяжёлой цепью к пушечному ядру, и когда ей, измученной и униженной, надобно по необходимости с подводы сойти, «приставленный мужик тащит ядро вослед». Но Марина — вот уже пережила и «хамство казачье, насмешки, издёвки, подвал астраханской башни», допросы с угрозами и падение духа, когда молилась о смерти.

Но и это — «пережито! Прежний порядок дум обретает стройность»: Марина так ощущает, что «она снова царица, это замечено и стрельцами», конвоирующими её. Её везут в Москву? Возвращается её фанатичная убеждённости. «Она давно догадывалась, что ни в каком ином месте, но только в Москве свершится... непостижимая прихоть Высшей Воли», хотя Марина «не в славе, но в цепях прибудет туда». И когда от своего пленённого же сподвижника Заруцкого случайно узнаёт, будто тысяча казацких сабель идёт им на выручку, — «Марину сие известие так испугало», что она вызывает начальника стрелецкого конвоя и просит усилить охрану их, пленных! Она не хочет этого физического вмешательства на помощь своей судьбе: она верит в её предначертанную саморазрешимость, которой не могут нарушить «ни люди, ни цепи». Нет! Она сокровенно обдумывает «обличительную речь против боярства московского. Где и когда она будет произнесена, того не угадать. Но слова! О, им будет воистину тесно в устах!» Как всех этих бояр Марина рассадит по порядку виновности, но в центре, у ног — «щенок романовский, осмелившийся короны царской коснуться». Всем Романовым — «пострижение немедленное и публичное» и в телеге — в монастырь Соловецкий.

А вот — доездили до Казани. И в кремлёвский подвал, где Марина прикована на короткой цепи, на несвежей соломе и в невольном зловонии, — спускается воевода, оскорбляет её презрительной речью, да дал бы ей и плетей, когда б не точное распоряжение государя Михаила Фёдоровича. И Марина — сорвалась со стези усвоенной самовнушённой покорности воле Всевышнего. «Онемела от хамской речи, задрожала всем телом, губы из послушания вышли. Шагнула навстречу, сколько цепь позволила: „Я и в цепях царица, а ты и в наградах холоп! И не за тобой последнее слово, за мной, и тебе от того слова ещё дрожать и корчиться“».

И суток до трёх — ещё на второй цепи, к руке, и отказалась от пищи и воды, в полной тьме и при пiske крыс. И вдруг с ослепляющим светом фонаря входит польский ротмистр, знакомый ей ещё ото дней славы её, — по поручению королевича Владислава, с разрешением царя Михаила: только подпи-



шите отречение от московского трона за себя и за сына — и свобода. — «Марина встанёт резко, цепи натянулись... Окрепшим голосом говорит торжественно и громко: „Передай Владиславу. Они с отцом-королём предали меня и потомками прокляты будут. Я же законная московская царица”» — и вот, когда к власти вернётся, то будет другой с ними разговор.

И только оставшись снова во тьме, «на висках будто обруч змееподобный, не для боли надетый, но для предела мысли», — Марина вопит о погубленном ею сыне. (Сильнейшие строки.)

Что здесь вымысел — нет, догадка — автора? При обломках исторической достоверности — тут вся правота за художником, и — dokonечная верность характеру героини. И сила тюремной стойкости, опять же известная автору на опыте собственном. И хотя надо всей этой повестью автор не мог, пусть бы и косвенным зрением, не видеть пушкинского образа Марины-авантюристки (только взяться за эту тему — даже изнехотя есть состязание с Пушкиным), но повесть эта — не спор с ним, не противопоставление ему своего варианта, а яркое продолжение и развитие образа на протяжённость восьми годов и гибельной переменчивости событий. Без этого бородинского закончания образ Марины и история её были бы для нас менее полны.

Рядом с Мариной мы то и дело видим одинокого безудачливого (сквозь всю жизнь) неприкаянного боярина с чуть изменённой старинной фамилией — Олуфьев. Он из рюриковичей, но «вместо того, чтобы с Пожарским поляков из Москвы выкуривать», — ушёл с Мариной и в «списки воровские» попал. Довольно быстро становится ясно читателю, что это — вымышленный персонаж, важный для автора не сам по себе, но возможностью диалогов с Мариной, обдумываньем её судьбы с достаточно высокой точки зрения, ещё один взгляд на неё, ещё одно истолкование, как бы форма конфидента. Да из 400-летней исторической глубины откуда такого неведомого спутника Марины увидеть, найти истинного? Может, и был кто-то, но покрыт наслоем забвения. Примыслить ещё одного любовника? — задача вряд ли достойная. В какие же отношения поставит его с Мариной? Задача была весьма трудна для автора, и не надо удивляться, что исполнение не вытянуло на замысел, фигура Олуфьева получилась искусственно сконструированной, неотчётливый характер. Не верится и в его выдающуюся воинственность, якобы многожды проявленную в прошлом, и нереальной видится его бесцельная и безнаградная («отцовская») верность Марине, ещё и при вялом поведении его. Не случайно он порою вообще выпадает из сюжета.

Автор, разумеется, всё время чувствует надуманность этого персонажа и не раз пытается вернуться к обоснованию и воплощению его. Олуфьев высказывает исторические оправдания Марине: что «она жертва и подручник плана промыслительного» (по его же истолкованию — скорей сатанинского, чем Божьего), она «несчастливая женщина, соблазнённая царством и обманутая людьми», а «сколько именитых людей московских к самозванцу пристало? Романовы нынешние и те там побывали и руки к воровским письмам прикладывали», в те годы «все едино вороньём казались, слетевшимся под град-столицу за добычей».

Реально же рядом с Мариной то и дело шагает и скачет знаменитый казачий атаман-смутьян Заруцкий. Не столько он сам, сколько всё казачество тех лет в целом — живо интересно нам, для понимания Смут вообще, да и пределов колебаний самого казачества. Кто хоть едва касался истории Смуты, не мог не поразиться динамичному участию казаков всюду и все годы: уже Лже-Дмитрий первый легко опёрся на донцов и запорожцев, и реяли казаки по всем российским просторам и сколько раз под Москвой и в Москве, и в Тушине. И «Лже-Петра» выдвинули казаки волжские и терские, а от астраханских казаков — даже и три лже-царька. Однако и поляков выбили из Москвы — тоже казаки.

Заруцкого, выдающегося и грозного авантюриста Смуты, застаём в повести тоже «боярином» (в дар от Дмитрия тушинского...), после воинственных из-

ломанных метаний-отступлений от Калуги до низовьев Волги и Ногайской степи. И строен, и хорош собой, и рубака, и вождь, «сверкание зрачков», — он картинен и выпукло виден в повести, до каждого жеста — как садится за стол, не глядя комкая алое сукно скатерти, а потом в порыве слезает, почти сдёрнув скатерть, то — отбрасывает кресло «на полсажени прочь», а то и, придя с грозной вестью, небрежно садится чуть не на ноги лежащей в кровати Марине. «Казачье дело давно стало смыслом его жизни». Умеет и не уныть от дурных вестей — сколько-то дней таит от Марины отпадение терцев, а то от череды неудач «левый ус подёргивается вместе с губой», а то и «всей щекой, как в судороге» дёргается. Марина — его любовница по полному праву, но, за заботами, оба не очень этим пользуются. А вот, уже близко к полному поражению, она видит его так: «Сейчас он не казак безродный, сейчас он рыцарь, побеждённый, но не покорённый, поражение не унизило состояние его души, не растоптало её как бывает часто с холопами-высочками». — Бородин вкладывает в голову Заруцкого, и правдоподобно, проект превратить Россию в казачье государство, «государство воинов, где лишь два сословия — тягловые и казаки», и «каждую весну выстреливать со всех границ стрелами молниеподобных казачьих полков», «государство в кулаке казачком, и потому казачьему войску быть, как Сечи, от государства в отдельности». Кажется вполне допустимым и предположение Бородина, что Заруцкий был — из организаторов покушения на юного Михаила Романова («сусанинский эпизод»).

Слышим суждения Олуфьева: на Руси «что казаков-то осталось? Вор на воре», а отряд Терени Уса, волгаря, — «только одно воровство разбойное, на казачьей воле и удали замешенное». «Смирение на роже волжского разбойника — словно гримаса болевая». Видим захмелевших запорожцев, как они, «свесив длинные остроконечные усы к столу, согнувшись над столом голова к голове», негромко поют одну из своих разымчивых песен. У запорожцев «чего только не бывает в сумках перемётных. Глаз, как у воронья, цепкий, рука хватлива, а горло к питию ненасытно... Зато поют, черти! И откуда что берётся? Словно какой-то благодатный задаток дан этому народу, распорядиться им он не может или не умеет». Живо воспроизведены казачьи боевые клики. Или видим их атаманов (Истома Железное Копыто, Максим Дружная Нога, Иван Кобыто, Бирюк, Илейко Боров, Юшка Караганец) — «лица атаманов черны, словно души обнажились и выявились в чертах». А вот, после изнурительного перегона по песчаной степи, — «Заруцкий, орёл орлом, кому-то кивнул, кому-то зубами блеснул в улыбке, за ним остальные в ряд по четыре — и когда успели вид обрести? ни на ком следов степи, словно лишь из одних ворот [астраханских] выехали, в другие въезжают».

Марина вывела для себя: «воровство и измена — в том стержень казачьей вольности»; и уже видела не раз: «было бы что пообещать разбойникам, слова найти нужные, на которых бы выжились корыстью души воровские», но она «и другое знает за казаками: по корысти приходили к ней, но по чести умирали за неё — так уж раздраема душа казачья двумя началами». А «противно душе казачьей служение холопское, не от хорошей жизни способен поменять казак волю на крепость кому бы то ни было...». И, вглядываясь в лица их ещё на другом совете атаманов: да «если любого из них постричь, побрить, усы дурацкие укоротить, рожи загорелые отбелить, а потом переодеть в боярские платья — кто тогда признает в них разбойников?».

А вот, измотанные неудачами, изменами, отступлениями, уже в последнем бою на Яике — казаки «без смысла бродят по стану», и до своих же, «до порубанных и пострелянных никому дела нет, стаскали в кучу на берег за стену сторожевую и оставили там без присмотра от птиц и зверья». А в ночь — и среди них, последних, измена — «в отблесках факелов кривороты, кривоносые, безглазые, с разверстыми тёмными пастями, один хрип звериный оттуда» — и тщетен призыв к ним: «Слышал ли кто из вас, чтоб где-то люди ратные живота себе добывали, врагу сдав воевод своих да начальников? За одними только ватагами казачьими сей постыдный для ратного человека грех...»

Ну, и время же Смуты — для всех веков российского казачества наихудшее. Как и для всего русского народа. Над действием повести время от времени, как тёмные облака, проплывают смысловые обобщения о разлившейся по Руси душевной низости. «За какие-то тяжкие грехи брошена Русь в смуту». — «В смуте хрипнет глас народный, рыком звериным оборачивается» — и остаётся надежда «на лучших, мудрых и воровскому соблазну не поддавшихся». Однако, чем далее тянется, «по издыхании смуты с каждым разом всё дурнее ликом люди вокруг, словно осадок породы человеческой». А в конце-то — «людишек в прежнее холопство потянуло?». Нет: «из грязи и греха вновь родившееся государство всегда правее смуты».

Эти общие размышления — и все в размеренности, стиле своего века — ещё и дробятся в афористические осколки глубоких, выстраданных мыслей. Они рассыпаются по простору повести, очень её тем украшая.

Ныне «слабость с изменой поравнены». — «Всякому верное слово в душе сказывается, но не всякий слышит». — «Воля Божия не в стечении обстоятельств проявляется, но вопреки тому». — «Толпа — не она ли и есть самое вечное изо всего вечного? Толпа сама по себе, как ртуть, перетекает из одного времени в другое — нестрадательна и неуничтожима». — «Что вообще есть деяния людские, если кому надо, тот их понимания лишён, а кому открыта суть, тот пользоваться ею не может?» — «Без знания судьбы и жизни-то нет». — «Неправда не обидна, зато правда — что приговор Господний: против неё нет слов, и сама она не в словах, правда есть тайна, которую только угадываешь и сгибаешься под тяжестью догадки». — «Смысл, обязанный быть и постигаться». — «Гибель смыслом быть не может. В Божьем мире нет места пустому и бессмысленному действию». — «Истинно пытливый ум обязан спрашивать — „зачем?“ и не пугаться безответностью, но дерзать с молитвой, ибо только постижение Бога, что есть причина всех причин, только в том жажда подлинного, высшего знания». — «Когда бы непознаваемы были думы Господни, человечество в дикость впало бы, через избранных являет Господь волю свою». — «Кто подвигнут судьбой на великое, тому видимое — не помеха». — «В равенстве нет бытия». — «Сомнение — скользкое щупальце сатаны». — И, в духе размыслителей тех веков: «Тот, который падший, не оттого ли и пал, что разуверился в человеке и, преисполненный презрения к нему, восстал против доброты и любви Божией, потаканием злу человеческому вознамерился уличить Творца в тщете творения?..» — И (из тюремного бытия тоже): «Умом ли, другим каким чувством считает человек ход времени, и в том непременно условие жизни».

Всё повествование идёт при отчётливом и разнообразном авторском зрении, с физической несомненностью пейзажа, обстановки, одежд, жестов, телоположений. Идёт со зримой картиной происходящего — например, речной бой на стругах — очень же нелёгкая задача и для воображения и для писания. Много ярких пейзажей — смерч в песчаной степи (с этого повесть и начинается). Уже упомянутая гроза без ливня над Астраханью, и в ней же — покойный летний закат, дикие берега и острова Яика — где как будто «кончилась Земля как обитель человеческая... всё вокруг мнится сотворённым на поприще Божьего замысла о тверди земной», если низина — то кажется, будто она ниже берегов, а река течёт по ребру холма, а холмы не знают закона формы, а сквозь заросли не проползти змее. Наконец и остров «вздывается, словно вознамерился вырваться из реки в небо». Ну да и на Волге «топляк иной зверем подводным высунется из воды, оскалившись комлём», да и камыш волжский особенный. На все лады луна — «усечённая словно саблею казацкой», и «светит по-воровски. То и дело скрадываясь в грязных зипунах, что волокутся по небу», и «луна в полноте зависла над островом, как вражий соглядатай, осторожность презревший по недосыгаемости», и «грустная ухмылка луны» над казачьим мятежом. И «запах огня» и «дым посадских пожарищ завис над [астраханским] кремлём грязными, смрадными космами». И птицы «тишине не поперёк, но как часть тишины», и волчий вой, «словно не волки вовсе. Но сама

земля вопит о чём-то неизбежном», — сливается он с российской Смутой, как и «запах лошадиного пота, вся Русь им полна с начала смуты». Ну и скачка же конская по степи — «горизонт изогнулся, как лук татарский, а стрела — это отряд их, нацеленный куда-то», но «не погнать коня в любую сторону, чтоб доскакать до чего-нибудь, что не есть степь», так необъятна она. И о привечаньи коня. И о предупреждающем его косящем взгляде. Ну и русская же баня, конечно, во всей её парной прелести. И «судорожное мерцание иной звезды, словно давно отлетевшая душа чья-то тщетно пытается напомнить о себе кому-то... „Вспомни обо мне! Мне холодно здесь и пустынно“».

И — иконы. Странная особенность иконы: переменчивость лика Господня к молящемуся, «тайна благословенного богомаза, сумевшего запечатлеть в красках не один лик Иисуса, но всю заповедность Его». И вот — «взора Его взыскующего не вынести без молитвы, просятся колени в пол, губы к шёпоту молитвенному». А то: «обычно, с какого боку ни подойди, очи Сына Божьего непременно в ту же сторону разверсты, око в око», а вот — «как нет более внимания Его, хладен и невидящ зрак Христов».

Во всю повесть — равномерно, без срыва, Бородин выдерживает, в духе эпохи, и долгие раскаты фраз («души благоприятное думам состояние») и часто ставит прилагательные и причастия *после* своих существительных); скуп на тире и почти вовсе не использует двоеточий. Также строг к себе и в лексическом отборе, чтоб нигде не выпасть из стиля времени, весьма точно находит слова.

И просто освежение лексики:

захват (дыханию)	щедрить	чреватый (цвет)
капельный зачин (дожда)	сопоспешник	обсказать что
залихораденные толпы	словознатцы	ватажный народ
обрудь нарядная	в тридень — <i>нч.</i>	неугадаемый
угрозливое небо	без подумки	хряцк (сабель)

В упрёк можно поставить только, что автор не взялся разработать особый лексический фон для Марины: как бы она ни усвоила за эти годы русский (но вряд ли так, чтоб запросто употреблять «нешто, не токмо, ввечеру» и свободно владеть ритмом и синтаксисом, как это в повести) — нет, не могла же она освободиться от польских интонаций и польских выражений — и этим бы окрасить и оснастить её речь — да так, чтобы не требовалось переводных подстрочных сносок. За всю повесть таких польских вставок, вместе с её фрейлиной-полькой, всего три-четыре (вшистка бендзе добже, у здрайдз, дьябло везьмо). А тем более бы в мыслях и в молитвах.

Ярчайшая историческая повесть в современной русской литературе — за нынешним разливом беллетристической пустоты и издуманности прошедшая как бы и незаметку критикам-ценителям.



---

---

# РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

## НА ВЕТРУ ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ

Олег Чухонцев. Фифиа. Книга новых стихотворений. СПб., «Пушкинский фонд», 2003, 47 стр.

Затворника речь, как птичий голос, доходчива.

*Инна Лиснянская, «Соседу».*

Судьбу своей новой книги, точней, обстоятельств ее появления предсказал несколько лет назад сам Чухонцев, когда в программном эссе, к слову, являющемся и лучшим комментарием к книге и всему его творчеству (см.: «Новый мир», 1999, № 8), писал, развивая формулу Дельвига — Пушкина: «Цель поэзии — поэзия, средства — те же, — сказано на все времена... никакой масскульт ей не страшен... в худшем случае она опять уйдет в подполье... где никого, кроме... онтологической тишины, которая окружает и пестует каждое вылупившееся слово». Можно сказать, что эти времена настали, если новая книга одного из ведущих современных поэтов выходит через шесть лет после предыдущей фактически коллекционным тиражом в 500 экз.<sup>1</sup> и доступна лишь в одном-двух «элитных» столичных магазинах, о существовании которых известно едва ли большому числу посетителей! Но теперь с выходом «Фифиа» можно утверждать, что сбылось не только худшее, но и лучшее. Самим своим появлением этот маленький, всего в 28 стихотворений, сборник, собрав в единое смысловое целое наиболее глубокую современную и «вечную» проблематику, является впечатляющим ответом на вопрос маловерных и нерадивых (упорно задаваемый, однако, уже целое столетие) о возможности актуального бытования поэзии классического образца и стиля в наши якобы «постмодернистские» («авангардистские», «непоэтические» и пр.) времена. Впрочем, и этот вопрос в наиболее радикальной форме был сформулирован Чухонцевым в том же эссе, которое можно было бы назвать манифестом традиционализма или неоклассицизма: «создать... новое, чтобы оно реально существовало, имея в виду весь корпус русской поэзии, невероятно трудно, почти невозможно, потому что писать стихи порусски очень легко», и поэтому «как писать, зная сотни шедевров — двухстопников и трехстопников и много акцентных, смешанных и свободных стихов», если еще при этом «случайность, непредумышленность — верный признак новизны»? Отвечая на это де-факто, книга и тематически во многом посвящена бытию в нашем мире поэзии как одного из древнейших способов взаимоотношения человека и мира и проблематичности ее современного свершения.

Для Чухонцева характерен такой подход к поэтике, когда внимание сосредоточено не столько на стиле как средстве манифестации авторской индивидуальности (что резко выделяет его на фоне основных текущих тенденций), но именно на произведении как таковом: оно прежде всего говорит само за себя и уже во-вторых кивает на своего создателя, который, конечно, никуда не исчезает, но должен быть признанным лишь по природной манере мыслить в слове. Поэтому и собранная из отдельных произведений «Фифиа» представляет собой не замкнутый цикл стихо-

---

*От редакции.* В последнее время в «Новом мире» стало уже традицией, отзываясь на значительные события в отечественной словесности, не ограничиваться одним рецензионным откликом. Таким событием, на наш взгляд, стала книга новых стихотворений Олега Чухонцева.

<sup>1</sup> Ввиду малодоступности и наличия всего двух не печатавшихся ранее стихотворений «а если при клонировании...» и «Ночью: ну почему тебя нет...» укажем, что заинтересованный читатель имел возможность составить ее сам по журнальным публикациям («Новый мир», 2001, №11; 2003, № 4; «Арион», 2001, № 2; 2003, № 1; «Знамя», 2002, № 5; 2003, № 4 либо в Интернете на сайте [magazines.russ.ru](http://magazines.russ.ru)). См. также содержательную аналитическую рецензию Н. Ивановой на первую публикацию подборки «Фифиа» («Арион», 2002, № 1).

творений, в котором отдельные стихи друг без друга могут быть вообще непонятны, как, например, бывает у Блока, но именно книгу, подобную «Сумеркам» Боратынского, где каждое стихотворение внутренне самодостаточно, имеет помимо отпечатка авторской личности и свое собственное «лица необщее выраженье». Логика их расположения — это новое художественное задание, обладающее своим замыслом, который складывается из независимых составляющих, как предложение из отдельных слов. Если использовать метафору Манделштама о строении «Божественной комедии», уместную здесь еще и потому, что последней по времени школой наследуемой Чухонцевым традиции, несомненно, является позднеакмеистическая семантическая поэтика, то композицию «Фифиа» можно сравнить с кристаллом-многогранником, в котором отдельные стихи — вершины, связанные между собой гранями и сечениями тем-смыслов. Направление от начала к концу книги — это лишь один из возможных маршрутов по ее мифопоэтическому космосу, так что читатель вправе как находить, словно при «игре в классики», свои особые пути, так и ограничиться независимым чтением отдельных стихотворений, ведь едва ли не каждое из них может быть отнесено к лучшему из созданного поэтом. Я же попробую охватить общие контуры этого двадцативосьмигранника в предложенной автором последовательности, по возможности учитывая развитие и боковых тематических ходов, и начну разговор с заглавия как с заявленного самим поэтом смыслового фокуса.

Темнохвойный переделкинский цвет обложки и в верхней части — редкостное именование, причем разными письменами: крупно белым латиницей и внутри ее тонко опять зеленым — кириллицей, — такой вот замысловатый с резной бородкой ключ к этой маленькой книге. И вот замок с секретом — открывающее сбоник стихотворение-«эпиграф»:

Не исчезай! — еще и гнезд не свили  
малиновки, и радость не остыла.  
А если в путь, пропой на суахили:  
Фифиа!..

Значений ключевого слова по меньшей мере два, сколько и способов написания. «Фифиа» кириллицей — это звукоподражание птичьему пению, причем под «суахили» понимается некий экзотический, или «птичий», язык (отмечу, что использование иностранных слов как «птичьего языка» — сквозной прием книги). Обращение или призыв к кому? к женщине? к музе? к душе?

Написание латиницей отсылает к прямому значению «фифиа» в языке суахили (см., например, «Суахили-русский словарь» под ред. Е. Н. Мячиной. М., 1985), где *fifa* — это: исчезать, рассеиваться; улетучиваться, а также иссякать; (прям. и перен.) слабеть, чахнуть; приходить в упадок; деградировать; блекнуть, тускнеть (о красках); увядать и т. п. Наиболее подходящим по контексту будет «исчезать», ведь «я исчезаю» — так и у нас иногда говорят, уходя, то есть: «прощай, пока!» Впрочем, работают и остальные значения, например «приходить в упадок» как состояние страны в последние десятилетия.

Суммарная расшифровка названия — это и птичий свист, и прощание — затишающая (потому что в «fifa» важно и общее значение убывания, ослабления признака) прощальная и все же светлая (на открытом зиянии-сиянии) песнь. Возникающая аллюзия на «Сумерки» Боратынского, в названии которой также заключено убывание — дневного света, — выявляет еще одно из важнейших звеньев наследуемой традиции, ее «подразумеваемых» автором шедевров. Но уже и в самом общем смысле «Фифиа» — это современные «Сумерки» — передышка после атаки железного века, наступление которого явилось вызовом для Боратынского. Причем прощание с веком заключено уже в выборе неожиданного, но не случайного «суахили», памятного еще по школьным урокам географии, и вот теперь «фи-фи» да «а...» — все, что осталось от «социалистической ориентации» певучих африканских народов и от мировых амбиций их старшего товарища.

Но пропетое в «эпиграфе» прощание имеет еще и структурную функцию сюжетного зачина, открывающего движение по книге. Следовать мысленно за уходящим — одна из вечных привилегий поэта, так что «а если в путь» — это еще и приглашение перевернуть страницу. В итоге получаем три смысло- и формообразующие координаты книги: «прощание» — ведущая тематика и основной эмоциональный тон, «пение» — указание на традицию понимания дела поэта и его метода, а «путь» — на сюжетостроение.

Путешествие закономерно начинается с «прощального пира», как композиционно можно представить следующее после «эпиграфа» стихотворение «Под тутовым деревом в горном саду...», в котором дана картина дружеского поэтического застолья во время какой-то из «литературных декад» советских времен. Важно, что «вступление» совмещает жанровые черты двух входящих в книгу типов стихотворений: тех, где на первом плане вещественная реальность (живописно-очерковые, провинциальные и дачные бытовые зарисовки, жестко-графичные городские этюды, портреты-биографии соседей, друзей и близких), и тех, где преобладает лирико-философская медитация. Здесь эти планы сложным образом пересекаются, накладываются и взаимодействуют, и отсюда расходятся по всей книге тематические линии-маршруты. Стихотворение является философским вопрошанием о реальности, «из году в год» переходящей в прошедшее («Вот! роды прейдут и державы сгорят...»), которое, в свою очередь, вновь становится некоей новой реальностью в воспоминании («Как странно, однако, из давности лет / увидеть: мы живы, а нас уже нет»). Во «вступлении» также появляется «поэт» как один из героев книги, непреходящий в истории («личины меняя, он тот же, что был»), обладающий своеобразным бессмертием («как жизнь промелькнула, и смерть пролетит») свидетель бытия, наделенный способностью его сбережения в своих особых, «воздухом запечатленных» речах, их «сухой картечи», которая суть песня, музыка — вновь возникающая здесь звукоимитация: «...из году в год / цикада семнадцатилетняя ткет, / а рядом сверчок, безъязыкий толмач, / смычком высекает свой варварский плач. / Деместикус, дектикус, коноцефал...» Здесь же намечается особое пространство путешествия — это, с одной стороны, наша современность, сегодняшнее настоящее («но миг или век — все равно дефицит») и немалые просторы авторской жизненной и культурной памяти. С другой стороны, поскольку стихотворение дает двойное решение вопроса о месте прошедшего в настоящем (ведь «это не пир, а скорей лития»), то и воспоминание может быть видением из (и/или видением) уже иного мира, и поэтому «путь» будет пролегать и через области, первой реальности внеположные. Так что вся книга может быть понята как воспроизведение на современном материале древнейшего, но ближе всего дантовского архетипа путешествия «поэта» (культурного героя, находящегося на грани двух миров) по современности как чрез области запредельного.

Путешествие-плавание в виде реального описания и одновременно центральной в композиции книги метафоры начинается в следующем стихотворении, встречающем излюбленной птичьей звукописью, но теперь уже поет география: «Эти тюркские пристани-имена — Агидель, Изикюль, Дюртюли / ...Агидель, Дюртюли, раза три про себя повтори, / Изикюль — и бюль-бюль запоет, засвистит, душу всю исцарапает». Живописный, переходящий в фантазмагорические «виденья безлюдности» очерк некоей поездки по Каме-реке. Длинные, медлительные, с чередующимися составными дактилическими и мужскими рифмами неравностопные стихи как бы имитируют ход по воде некоего неторопливого плавсредства. Это одновременно и несколько иронично обыгранная метафора семейной жизни и жизненного пути вообще («но посудина наша двухпалубная твердо держится расписания»), и литературно-биографическая проекция (упомянуты Цветаева, Пастернак, чьи судьбы связаны с этими местами, но подразумеваются и другие), и прощание с прошедшей эпохой («с этим раем поверженным» — местом-временем «пира поэтов» из предыдущего стихотворения), и, может быть, уже вообще прощание на «вторых осенинах» жизни с этим миром, поскольку «мы не знаем по счастью своих путей». Но прежде всего перед нами медленно разворачивающаяся пронзительно-ностальгическая панорама неких типично российских окрестностей и, метонимически, — всей страны:

...а теперь только обморок территории, словно взяли вместе с вещами ее

и со всем наличным составом, включая плечи вырубок и персонал, да желонки, как маятники на холмах, нефтяные, а ниже — мережи и топляки в песке, да на курьих ножках стожки, а потом — провал: то ли Чертово Городище с Елабугой, то ли Челны Бережные.

Если здесь «поэт» скорее созерцатель — первого плана реальности, то в следующих трех стихотворениях действие перемещается в другую плоскость, при этом в сквозном сюжете о путешествии первые два можно было бы назвать предварительными метафизическими испытаниями «героя», то есть определением его возможностей познания иных уровней бытия. Так, стихотворная реплика «А лишила муза разума...» — о вдохновении и творчестве как выходе за пределы обыденного сознания и возможности пребывания в этом состоянии (к слову, тема безумия бытового, социального, творческого, пророческого — это отдельное путешествие по книге, с финалом в «— Кыё! Кыё...»). Энергия стихотворения в его внутренней оксюморонности — темпераментное, на одном дыхании, видение поэтического языка как смешения письмен и прорыва в «инобытие» и в то же время строгое ограничение соблазнившемуся всматриваться в эту «тьму египетскую» (тому, кто, по Боратынскому, стремится исследовать «две области — сияния и тьмы» — кстати, о людях «сияния» речь в книге еще будет впереди). «Ничего не говори» — традиционное классицистское недоверие к поэтическому действию в измененном состоянии сознания, — но внимательно «смотри», ведь возможная награда — «нездешняя весть», постигаемая в «цветущей архаике» сущего.

Звучащие почти как окрик интонации «не говори», «смотри» здесь *практически* вынужденные, а как еще говорить с «лишенным разума», чтоб дошло? Жесткое предупреждение об опасностях постижения запредельного человеческого разуму находим далее в «Зачем ты, Господи, меня призвал / на подвиг вероломства неослушный...» — страстной предсмертной речи Иуды, который поначалу кажется похожим на Иуду гностического апокрифа, якобы тайного исполнителя Высшей воли (известного и в русской поэтической традиции). Но уже сама форма этой прямой речи, Дантовы терцины, и страстность подсказывают, что дело происходит в области inferнальной, и перед нами речь грешника, зацикленная (словно на ленте в автответчике) многократно на бесконечное повторение как неизменно возобновляемая кара. То есть это инотолкование не Священного писания, а, наоборот, гностической легенды: она тут оказывается — в форме развернутой психологической мотивировки — тем самым «бесом», который, как уже однажды было повторено и у самого поэта, «вошел в Иуду, и в гордыне / Иуда принял хлеб и вышел прочь» («Когда пришло последнее свиданье...», 1969). Здесь Чухонцев ставит вопрос о пределах познания и следования ему: может ли человек, пусть даже «пророк» или «посланник» (что уж говорить о «поэте»), преступить основные заповеди (в том числе и запрет на самоубийство) ради того, что посчитал в безумии своей гордыни Истиной? Ответ ясно слышен в удавленно-захлебывающемся «го-го» — жутковатой звукописи последнего слова Иуды, неожиданно контрастной его прямому смыслу: «И что еще он может предъявить / опричь того, чем набухает шея, / чтоб хрипом Весть Благоую подтвердить, / не попрекая, но благоговая».

Сюжет стихотворения «Вот Иона-пророк, заключенный во чреве кита...» является ключевым в книге и в качестве развернутой аллегории охватывает практически всю ее композицию. В нем вновь возвращается тема плавания и продолжается путь через тьму, начатый в двух предыдущих стихотворениях, где в первом — поэтическое всматривание в иной мир в надежде на «весть нездешнюю», а во втором — пришедший из его нижних кругов вопль одного из самых отверженных обитателей. Теперь же, находясь между этих полюсов, герой проходит испытание путешествием через тьму современности (словно пребывая «во чреве кита»), избрав в «проводники» (аналог дантовского Вергилия) — Иону-пророка. Библейский сюжет (и в ветхо-, и в новозаветном его толковании), метафора судьбы-плавания и мрачно-иронический образ корабля-истории («Вырывающаяся из рук, жилы рвущая снасть / кой-то век не дает кораблю в порт приписки попасть») накладываются друг на друга, как несколько снимков на один кадр, — получается многослойная и многосмыс-



ленная картина наших дней с вполне «реальным» первым планом, содержащим даже злободневную филиппику в адрес правителей современной Ниневии, «где сливные бачки и подбитые в гурт думачи, / отличить не могущие левой от правой руки, / как фекалии обстали и скверною сусят уста. / Врешь, твержу про себя я, не все темнота-теснота». Важно, что концентрация здесь разнородной лексики не казус постмодернистской полистилистики, а результат перемещения классической теории трех стилей в сферу эмоционально-психологической нюансировки<sup>2</sup>.

Стихотворение это — кульминационное для самоопределения лирического «я» героя-«поэта», итог его метафизических «испытаний»:

Ах, и я был строптив, а теперь онемел и оглох,  
и куда мне идти, я не знаю, и безмолвствует Бог.

Не пророк и не стоик я, не экзистенциалист,  
на ветру трансцендентном бренчу я, как выжженный лист.

Библейская архаика, греческая античность и современный европейский философский дискурс — исторический диапазон самоопределения лирического «я». Так, сила выстоять «во чреве кита» может идти от пророческого ощущения божественного присутствия, стоического навыка или экзистенциального отчаяния, но для поэта в ситуации «безмолвия Бога» возможна опора лишь на веру: «У нас впереди еще Спас» (вспомним, что так и у Боратынского: «И одной пятой своею / Невредим ты, если ею / На живую веру стал»).

Замечательно, что сложность автохарактеристики передается именно звукописью, и опять с использованием иностранных слов, в силу их *инаковости* и *странности* наиболее пригодных для выявления музыкальной инструментальности. Легкое ироническое отношение к «экзистенциалисту» осязаемо по его положению в стихе, таком, что его несколько трудновато-неудобно выговаривать, на середине слова происходит небольшая запинка, отстранение, подчеркивается его чужеродность. В следующей строке напряжение достигает того предела, где на первый план выходит музыка — стих уже не метафорически, а по-настоящему звенит. Этимологически «бесмысленное», лишенное внутренней формы, для русского языка/уха слово «*трансцендентном*» Чухонцев «озвучивает, одомашнивает, наделяет новым «звукотрагическим» содержанием, то есть «пропевает» «на языке цикада». «*Трансц-*» и следующее «*бренч-*», с их удвоением сложного движения инструментов речевого аппарата, — это почти «трень-брень» (которое уже без «почти» отыграется потом в стихотворении «А березова кукушечка...»: «Инвалид на чем-то струнном тренькал-бренькал у реки...»). Новое звуковое значение едва ли не противоположно прямому смыслу слова «трансцендентный». Но поскольку здесь будет именно «ветр» двадцатого столетия, порывы которого — «*тру-*»-«*тра-*» — переданы прямо-таки физически осязаемо, то ирония в первую очередь к «я», к нынешней ситуации «поэта» (всегдашнего обладателя «случайного», «напрасного» и «убогого» дара) — не «*пророка*», не философа-«*стоика*», не «экзистенциалиста» — бунтующего левака-интеллектуала или, наоборот, погруженного в корнесловие герменевтика, но «музыканта» почти невольного — колеблемого древесного листа (еще одна классическая метафора в ряду кузнечиков и птиц). И вот его песня: «*рок-сто-стенцист / тру-трансц-бренч-ыжжж-ист*».

И здесь совершается духовное преображение героя стихотворения, происходит обращение его взгляда на других: «поэт» начинает соотносить себя не с имеющим исключительное призвание Ионой, но с остальными «уснувшими» пассажирами-заложниками-«зеками» потерявшего курс «корабля». Среди них может находиться в качестве такого пассажира и грядущий «пророк», и ему так же, как и всем, нужно слово утешения, произнести которое, уповая на священный сюжет и невзирая

<sup>2</sup> Следует отметить, что Чухонцев в своих постоянных поисках возможности «высокого стиля» в современной поэтической речи является одним из прямых источников влияния на так называемые «новаторско-архаистские» тенденции в новейшей русской поэзии, впрочем, как и счастливо найденная им когда-то разговорная интонация-позиция аутсайдера-традиционалиста нашла своих последователей еще в советское время.

на искушающие сомнения, — как раз и есть дело поэта: «Не пугайся, Иона, у нас впереди еще Спас, / еще встанет растеньице за ночь и скукожится враз». Позиция принципиальная для книги, где авторское «я» оказывается лишь «одним из», затушевывается на фоне удивительного множества персонажей, которые тут так или иначе задействуются, упминаются или подразумеваются, — около тридцати (!), больше реальных, но также и литературных, не считая лиц Священного семейства и отнюдь не единогласных, но мощных хором из «вертухаев и карабинов», их жертв, «думаков», «косолапых волков», мертвых «душ-клонов», переселенцев, обитателей домов призрения и обычных жителей. В их судьбы поэт внимательно всматривается, кем-то восхищается, кого-то гневно отвергает, с другими ведет напряженный диалог.

Таким образом, вся книга — это разворачивание сюжета о «новом Ионе», призванном «проповедовать» (то есть исполнить свое предназначение) в «Ниневии», бежавшем, прошедшем тьму «чрева китова», обнаружившем себя лишь одним из «гурьбы» и «гурта» (по слову другого поэта) и все-таки пытающемся «сказаться» («По молитве дается строптивость ума обороть...» — удивительно, что стихи Чухонцева, при наличии ясного морального вектора, начисто лишены назидательности) и отправившемся далее в поисках других праведников-Ион.

Тут действие книги как бы перемещается на сушу (хотя сюжет плавания еще будет продолжен), и несколько следующих стихотворений — это образы новой Ниневии: современной, в которой мы теперь оказались, и той еще недавней, откуда вышли. Метафизический пейзаж Москвы 90-х в стихотворении «Три наброска» — это взгляд на перемены, происшедшие в стране, так и нераскававшейся (в отличие от ниневитян) и подвергшейся все еще длящейся каре распада, хотя и частичной (все-таки за что-то возлюблена она Господом). «Третья война мировая / в общем проиграна малой кровью, / и раздражение требует жертв» — этой максимой Чухонцев словно отвечает на свой же, поставленный еще в советские времена (провидчески накануне ввода войск в Чехословакию) вопрос: «Не на Страшный ли суд все идут и идут / тягачи и орудья в чехлах?» («Репетиция парада»). С тем же раздражением Ионы, обескураженного явно незаслуженным прощением, звучит и финальный вывод, перефразирующий призыв «перековать мечи»: «О, переведи этот дым и скрежет, японский бог, эти танки / во что-то стоящее», где ирония передана обыгрыванием японской коннотации (с помощью приема японской же поэтики «какэтокоба» — омонимичное слово реализуется сразу в нескольких значениях).

Впрочем, герой-«поэт» уже зарекался быть пророком. Встреча с гадалкой в продолжающем столичную тему стихотворении «Стояла и не говорила...» — знак отсутствия в современном мире пророчества: «И узел царски развязала, / открыв пустое, как божу. / А большего — не рассказала, / и я уже не расскажу». Но возможно — предупреждение. Поэтому взгляд автора от неясного будущего и темной современности оборачивается в прошлое, в лицо «века-заложника» (вступая тут, разумеется, в диалог с Мандельштамом), в пределы даже и не «чревные», а уж вовсе «адские», иначе не скажешь. Стихотворение «И когда они шли сквозь строй...» — это погружение в «арийский ад» — тот случай, когда искусство (в силу сказанного Т. Адорно) отступает перед категориями этики. И это одна из немногих в русской поэзии достойных внимания, наряду, например, со стихами Семена Липкина, попыток зримо представить весь масштаб и ужас происшедшего — и найти какой-то выход из зоны «героев» (вообразивших, как и Иуда, что знание «истины» допускает вседозволенность), где «мертв Закон» (цитировать можно лишь полностью). В следующем за ним «Все орут на оришах...» — образ второй, восточной половины ада двадцатого столетия, жутковатое видение сквозь политическую современность века-убийцы как пророчески воплотившейся тютчевской метафоры: «какие-то сфинксы в буденновских шлемах / с гранитными песьими головами, / с прооранными ушами, с рябями / брылами, и дикий дерет геловани / пустыню цапками гробовыми». Век-заложник не предполагает пения, и во всех стихотворениях этого смыслового блока (включая завершающее «Век-заложник...») вместо речи и любимого «пения» — «мычание», «вой», «ор» и проклятие молчания («каинова печать на устах»), захлестывающие и «поэта»: «Я хочу, я пытаюсь сказаться, но / вырывается

из горла хрип, / как из чайника, выкипевшего давно / до нутра, и металл горит» (лл— з).

Сюжет разворачивается не только линейно, можно выявить ось симметрии, условно делящую книгу на две половины, где вторая в некотором смысле повторяет первую, но основное действие здесь лишь просматривается как аллегория за реальный первый планом. Новым зачином служит «Актинидия коломикта...», симметричная стихотворению «Под тутовым деревом в горном саду...». Это, пожалуй, самые светлые строки книги — словно передышка в пути («Перья почистить надо и нам чуток...»), возвращение в некий сад (здесь дачный, но как исходная точка — не райский ли?) — место пребывания «поэтов» и равного им разного певчего народа, правда, тут не цикад-кузнечиков, а «сестер-синиц». А также фигурных промысловых свистулек — такое вот материализованное и преодолевающее бытовой материал пение: «Нет серебра, но глина у нас поет...» Имитирующая античную строфу ода уединенной жизни на лоне природы (как поэтической традиции) — отправная точка для дальнейшего путешествия: «Самое время бронхи свои продуть, / легкие продышать и прочистить горло / меликой и вокабулами — и в путь / мысленный за химерой».

Вторая половина книги — это в значительной части рассказы о других «пассажирах» нашего общего «безумного» корабля, бороздящего местные «египетские пустыни». Их «путешествия» разворачиваются где-то в пространстве воспоминания-поминовения — продолжение и раскрытие вступительной темы пира-литгии. В то же время это история страны в судьбах отдельных живых душ — перед нами пятнадцать персональных портретов, проявленных на черном фоне эпохи, и одна групповая фотография (точнее, короткометражка) из быта провинциальной жизни. В попутном стихотворном фельетоне, начинающемся с впечатляющего: «А если при клонировании / свободных душ у Господа не хватит?..» сформулирован основной пафос этой части, да и всей книги — «найти первоисточник, душу живую». Но чтобы ее найти, многое зависит от точки зрения, каждому ли дано увидеть «лица — / размноженный негатив: / туринская плащаница / на каждом, на всех, кто жив» (как будет сказано в другой попутной реплике, «Короче, еще короче!»). Если распространить метафору, то тогда и вся эта книга предстанет инвертированно не черным по белому, а — сияющими белыми буквами по черному «китову чреву», как, кстати, и выделяются белые буквы в оформлении обложки. Поэтому-то в стихотворении «Вечный запах стираного белья...» будет выставлено требование и к читателю, ведь тот, кто «понимает, что я хочу сказать», сам должен видеть мир «без червивых дыр, а пылающим куполом, как потир», как, вполне возможно, видели/видят мир герои книги. И тогда открывается поразительное, что подытожено в стихотворении «Кукушка»: «Участь! вот она — бок о бок жить и состояться тут» — все эти люди состоялись! Несмотря на искалеченные судьбы, состоялись в смысле исполненности бытия, способности поперек всему «быть» и оставаться в отведенном тебе месте и времени живой душой — человеком! И не нашедший примирения с адом и унижением повседневности гордый провинциал («Какою-то виной неизбежной...»), и диссидент-художник, потом эмигрант, вроде бы и пересиливший судьбу-участь, и приумноживший свои таланты, но картин которого не найти «ни в залах, ни в запасниках музейных», так что от него остался лишь взгляд, которым теперь видит мир его друг-поэт: «но если что твое — так это гладь / закатная в широких и мизерных / мазках ли, пятнах, если что и ты — / так это полоса береговая... и луч последний света, / как молния, пронзающего холст / и расщепляющего край багета» («Ни родина твой прах не приняла...»).

Состоялись и герои «провинциального триптиха» («— Кыё! «Кыё!..», «Приходила нечасто и, сев на сундук, молчала...» и «Вальдшнеп»): и безумный Кыё, и блаженная Даша, чью судьбу переломила эпоха, убив мужа-белогвардейца, и охотник Орест Александрович Тихомиров, наверно, единственный, кому хоть что-то, пусть вполне земное (дом), удалось здесь построить.

Триптих, несмотря на некоторую разнесенность в композиции книги, образует в ней отдельный цикл, заметно выделяясь и по поэтике (нерифмованная тоника с чередованием женских и мужских клаузул создает гибкую, слегка прозаизированную эпическую интонацию), и тематически. Рассказы героя о встречах с людскими судь-

бами — это словно бы главы новой поэмы, составляющей павлово-посадское соседское окружение знаменитой семейной хроники «Свои». С точки же зрения литературных соответствий, помимо некрасовской традиции, эти своеобразные рассказы в стихах, как-то откликаясь на «деревенскую прозу» 60-х, ведут переговоры через океан с американскими «почвенниками» Фростом и Уорреном, блестяще переведенными когда-то Чухонцевым.

Рассказ о блаженной Даше в «Приходила нечасто и, сев на сундук, молчала...» — первый из портретов цикла — продолжает тему безумия. Как ни прискорбно, помешательство в эпоху большого террора («Мужа ее, мальчишку, белого офицера, / после гражданской... взяли по разнарядке и расстреляли») было одной из возможностей выжить и хоть что-то сохранить в античеловечном безумном мире. Но выжить оказывалось возможным все же потому, что и в тех условиях находились «живые» люди — не явно, скорее интонациями, но очень точно передается отношение терпения, любви и участия к несчастной со стороны матери рассказчика — все эти годы поддерживавшей подругу детства и составлявшей, вероятно, ее единственную компанию. «Даша, попьем чайку» — повторяется несколько раз, создавая нетривиальный прием. Сначала это — фраза-манок для автора. Голос матери, как бы сам собой всплывая в памяти рассказчика, вызывает очередной прилив воспоминаний. Вот вспомнилась трагедия Даши, как после попытки самоубийства она сошла с ума, вот рассказано, как жила потом. А под конец автор вспоминает, как нашел ее раннюю фотографию, еще до всего, где они с подругой «смеются, нет, улыбаются... улыбаются всеми мускулами лица...». Так что когда следует заключительный рефрен: «Даша, попьем чайку?» — теперь уже читателю предстоит вспомнить все, что связано с этой бытовой фразой, и забыть потом будет трудно.

«— Кыё! Кыё!» является кульминацией книги и ее вторым композиционно-смысловым центром, уравновешивающим экспозиционное «Вот Иона-пророк...». Здесь «уснувшему пассажиру», то есть возможному новому пророку и его водителю, победителю вод морских, Ионе, соответствуют распорядитель громов и вод небесных Илья и его местное скорбное воплощение — дурачок Кыё, «уснувший» разумом, но зато сам управляющий громящей тележкой-тачкой и, возможно, являющийся носителем не от мира сего знания (и этим, кстати, подобный «поэту»). Вопрошанию об откровении в «Вот Иона-пророк...» (и молчанию «деревенской сивиллы»-цыганки из «Стояла и не говорила...») он как бы отвечает *без-* или *заум-*ным речением-выкриком «Кыё! Кыё!» (земной инвариант небесного «фифиа» и, кстати, яркий пример использования заумного слова в классицистской системе), которое на языке юродивого может означать и радость и плач и быть тайным ответом на все вопросы, в частности, и на один из главных для книги: «Зачем человек явился?» Но этим симметрия не исчерпывается. Кораблю отечественной истории здесь соответствует, во-первых, некое «полевое суденышко» — сельский «дом-приют» для престарелых и недееспособных — почти что «корабль дураков». А во-вторых, тачка Кыё как некое транспортировочное средство — мрачноватая аллюзия на гоголевскую «птицу-тройку» (все, что осталось, или все, что *оставили*, отобрав остальное, на Руси для проезда), о каковой напоминает сама космическая грандиозность видения:

О, то не гром расходится мостовыми,  
это Кыё-Кыё в небесах летит  
на оглушительной тачке своей, и слабый, белый  
тянется инверсионный след за ним,  
медленно растекаясь и багровея  
знаками таин...

Здесь же завершает свое развитие через возвращение на круги своя и сквозная аллегория пути-плавания. Причем на новом этапе, ведь если в двух непосредственно предшествующих стихотворениях собственно тема уже логически была закрыта: в первом («И не то, чтобы тайна сия велика») через ощущение жизни как «из рукавов» истекающей куда-то, где «как кровь солонее вода», и уже кончающейся реки (аллегорический план), а во втором («Ни родина твой прах не приняла») реальной церемонией захоронения праха в балтийских волнах, то в «— Кыё! Кыё!» в

образе символизирующего грозу и дождь Ильи-пророка и действиях его земного подшефного Кыё содержится как бы намек на возвращение вод и обновление жизни (причем в сниженном, на первый взгляд, образе изливающего эти воды героя не столько гротеск, сколько все та же внеположная обыденным суждениям комичность явления) — природная параллель вечному возвращению поэзии и поэта.

С этого момента можно считать, что «пассажир» вновь на твердой земле (следует стихотворение «А березова кукушечка...», в котором развернутая картина именно пешего хода: «По мосткам, по белым доскам в школу шел, а рядом шла / жизнь какая-никакая...»). Так что маленькая поэма «Вальдшнеп», если рассматривать ее в проекции на «Вот Иона-пророк...» как на сюжет книги, — это аллегория чудесного спасения, история о пощаженном стихией человеке. Исключительность судьбы «русака из русаков», заведующего охотохозяйством Ореста Александровича Тихомирова, каким-то чудом выстроившего человеческий быт в бесчеловечную эпоху, подчеркивается, с одной стороны, его немецким происхождением, ведь оно наградил его «особым педантизмом» и «упорством и жилистостью», а с другой стороны, чудесным избавлением, тем, что об этом происхождении забыли и он смог избежать судьбы остальных российских немцев — «гордого», «немногословного», «скупого на откровения» хора этой трагедии. Но, разумеется, для автора дело не в национальности, а в самой возможности построить «хоть что-то стоящее» (что то же — привести в «порт приписки» этот странный корабль), которую на этой земле все же доказали «вопреки всему» пусть и не местные по происхождению люди. «Как не хватает все-таки здешних немцев, / думаю я, вспоминая Алтай, кустанайскую степь... всех переселенцев и ссыльных, / с кем столкнула судьба, и вдруг — ...дома / немцев с их обихожными огородами / и дорогами неразбитыми вопреки всему». И вопрос о том, не ушла ли такая возможность вместе с этими «пилигримами вечными», возникает и остается открытым, хотя поэма и кончается на довольно оптимистической встрече рассказчика с сыном главного героя, который «складывает», не разрушив старый отцовский, новый двухэтажный дом.

«Хождение» по книге завершается духовным стихом — покаянием, которое приносит поэт-странник («пассажир уснувший»), он же «непутевый» и «скоморох» (Кыё), он же «неслух» (Иона), он же житель «земли окаянной» (Ниневи), заканчивая свой путь «восвояси», то есть из «темной провинции» («чрева кита») в «нечаемую сторону херувимскую» (понятно куда): «Я пойду туда, неслух, повиниться, перед храмом в пыль-песок повалиться». А в покаянии, *пусть даже одного*, — надежда на спасение *всех*.

Краткий «эпилог» книги — симметричное «эпиграфу» обращение к Музе-традиции (допустим, к анненскому «искать следов Ее сандалий») и ее «блаженно-бесмысленному слову» — плачь-весть «ку-ку» в ответ на прозвучавший в «эпиграфе» призыв спеть прощальное «фифия»:

Ночью: ну почему тебя нет...  
Утром: если ты есть,  
след твой как прошлогодний снег —  
где он? И что за весть  
шлешь ты, истаяв, роясь листвою,  
или о ком на суку  
плачешь соломенной вдовой  
в роше: ку-ку, ку-ку?..

Дмитрий ПОЛИЩУК.

## ГОРИТ ЧУХОНЦЕВА ЭПОХА

**К**нижка-тетрадка начинается с пенья малиновок и заключается голосом кукушки. Сырые ветви, сырая листва сада, роши, обжитого земного места, где «радость не остыла». При чем тут огонь и дым, копать пожарища мирового? Из-за того, быть может, захотелось переиначить в заголовке пастернаковскую строку, что вспомнилась предыдущая: «И внуки скажут, как про торф...» — и представились

курающиеся торфяники павлово-посадского направления, почвы, откуда Олег Чухонцев родом? Нет, конечно, не поэтому...

Мне не раз случалось откликаться на стихи этого поэта, однако о «Фифиа» следовало бы писать с чистого листа. Это вряд ли возможно, слишком много толпится накопленного прежде за ошеломляющей новизной «новых стихотворений». Но — все-таки.

Поразительна многозвучность. Тоненькая книжка дорастает до оркестрового объема. Собственно лирикой это уже и не назовешь; в лирической композиции известная однотонность и камерность — скорее условие, чем недостаток, без них затруднительна интимность и непрерывность самообнаружения. В «Фифиа» нет, кажется, ни одного ритмического и тем более интонационного повтора (даже костяки метров — сплошь разные); притом четырехстопный ямб, которым Чухонцев всегда владел как никто, почти не представлен, зато есть просодия «духовных стихов», из ближайших современников употреблявшаяся Аверинцевым и Седаковой, а Чухонцевым прежде никогда. Нет и излюбленных для лирики протяженностей (скажем, в три-четыре четверостишия, в шестнадцать — двадцать строк и т. п.) — размеры «пьес» колеблются от четырехстишной миниатюры до нерифмованного повествования с особой, трехдольной каденцией, напоминающей изломанно-прихотливое кружение вокруг гексаметра или пентаметра; нет привилегированной строфики — двустишия, терцины Дантова звучания, катрены разных калибров, алкеева строфа с рифмующимися, вопреки античным правилам, нечетными стихами, наконец, выдохнутые одним приступом астрофичные риторические периоды (до которых Чухонцев был и прежде большой охотник — и умелец).

В построчном репертуаре (даже если это привычная силлаботоника) обнаруживаешь порой такие коленца, что душа радуется: то в простейшем пятистопном анапесте — элегантно наращение слога на цезуре («Ах, и я был строптивым, / а теперь онемел и оглох...») или экзотика безакцентного ритмического хода («*Вырывающаяся из рук, жилы рвущая снасть...*»); то в строке пятистопного ямба — пятисложная клаузула («а если при *клонировании...*»); то в семистопном хорее — летучие песенно-частушечные перемещения цезуры («В школу шел, вальки стучали / на реке, и в лад валькам // я сапожками подкованными / тукал по мосткам»).

Словарь широк во все стороны: от славянизмы, от терминологизмов, будь то из области философии, науки или ремесел и быта, до просторечия и арго (ну и словечко на суахили вдобавок) — нет, кажется, никакого сквозного лексического мотива, скрепляющего этот пестрый словесный пир, — стихи крепятся по-иному.

Тут процитирую короткое — то, что еще пригодится при повороте разговора в сторону смыслов:

Всё орут на оришах, а оглянуться —  
 тьму чудищ очнувшихся вывернет лемех,  
 из тени Эллады в Египет вернуться:  
 какие-то сфинксы в буденновских шлемах  
 с гранитными песьими головами,  
 с прооранными ушами, с рябыми  
 брылами, и дикий дерет геловани  
 пустыню царапками гробовыми.

Не сразу и разберешь, что «орут» следует читать с ударением на первом слоге, а «ориша» — места пахоты; но зато каким доисторическим мраком повеет от вывернутых пластов недалекого прошлого, когда эти славянизмы наложат свой тон на *прооранные* (уже в современном русском значении) уши песьеголовых рабов рябого идола.

Чухонцев — поэт со своей продолжительной литературной историей, о нем судили многие и многократно, но как правило — не о его *техничности*, не о его стиховой пластике, — не потому, что невнимательны, а потому, что говорить об этом было как-то и незачем. Выносилось за скобки, что стихослагательство не представляет для такого большого таланта внешних трудностей, но также считалось (или казалось), что глубине, в которую он хотел бы заглянуть, виртуозность как бы даже противоречит. Не обинуясь Чухонцев написал свою лучшую из давнишних поэм, «Однофамильца», четырехстопным ямбом с бессменной перекрестной рифмовкой,

а повесть о родне — «Свои» — элементарным четырехстопным хореем. Конечно, и раньше можно было говорить о гибкости и полетности его трехдольников, о балладной строфике, об акцентном стихе превосходного *descriptio*, о владении белыми ямбами, о попеременном подчинении стихового слова высокой риторике, воздушной болтовне или песенному позыву. Но то был бы все-таки разговор не по существу, а по касательной.

Теперь же впечатление такое, что все инструменты стихописания, подспудно освоенные за прожитую в поэзии жизнь, но до поры — без нужды — не действовавшие, расчехлены и оживлены. В родной просодии Чухонцеву, как о том свидетельствует отсутствие натуги, давно было доступно что угодно, но вполне понадобилось только нынче, в ансамбле этой книжки. Не без смущения напомним здесь старомодные, так диссонирующие с порожиистой поэтикой Олега Чухонцева, но нежно любимые мною слова Алексея Константиновича о душе поэта: «Она тревожна, как листья, она, как гусли, многострунна». Слова потому подходящие к случаю, что они связывают многострунность, многообъемность звука не с чем иным, как с тревогой.

Но тревога, всегда полнившая чуткий слух этого поэта и неизменно сопутствовавшая ему, — сегодня особого рода. Состояние какой-то напряженной стойки перед границей, перед гранью, за которой начнется «после». «После лирики, после эпоса». И лирика уже не лирика, а ряд разноголосых — без названий — выплесков возбужденного сознания, и эпос уже не гладь повествования, а неровный рельеф памяти.

«После лирики, после эпоса» — это и общечеловеческое «после» (сколько веревочке-истории ни виться...), и то самоличное «после», перед которым каждый из нас в свою пору застывает, как перед стеной, не смея желать и не смея не желать, чтобы она рухнула:

А если это только сон,  
остаточное сновиденье,  
не переход в иной эон,  
а паморки развоплощенья,  
где превращений череда  
не знает Бога, ни Аллаха  
и не душа, а борода  
из молодого лезет праха?..

На такой мысленной черте время словно входит в штопор, вместо того чтобы двигаться вперед. Читая о «странствии на теплоходе по Каме, Белой, по Чусовой», которое больше напоминает путешествие во времени, чем в пространстве, — когда берега лежащей «в обмороке» территории сами рассказывают о своем прошлом, разворачиваясь вспять долгими преткновенными строками, — так вот, читая про этот «поверженный рай», «плеши вырубок», нефтяные желонки, «топляки в песке», смертную Елабугу, военное и лагерное опустошение, — я по несколько раз ввинчивалась в последнюю строфу:

Вот и мы, ты и я, мы не знаем по счастью своих путей,  
но посудина наша двухпалубная твердо держится расписания,  
зная в точности, как на смену Рыбам движется Водолей,  
так и сроки нашего пребывания здесь и конечного расставания.

Водолей *предшествует* Рыбам среди знаков Зодиака! — уж тем более знает это поэт, который сам по гороскопу Рыба. Не обмолвка ли? — думала я, простодушно не беря в расчет чуждые мне астрологические выкладки нью-эйджа (об этом чуть ниже). Но, обратившись к следующему за этим стихотворению, решила все-таки: не обмолвка, нет. «А лишила муза разума — / ничего не говори, / справа ли налево сказано, / вспять ли писано — смотри — // тьма египетская: случаем, / как квадратное письмо, / каменное и летучее / моисеево клеймо // с арабесками кириллицы, / тот реликтовый глагол, / где пресуществиться силится / шпато-кварцевый раскол // в инобытие и сущее, / письменный смешав гранит, / всей архаикой цветущею / весть нездешнюю хранит».

Этот склад, где с непрерывностью речи спорит строгая прерывность строф, словно пробелы между загадочными письменами слагают их в осмысленную ленту текста, — прошу заметить особо. «Фифиа» писана «справа налево» и вспять, с арабесками родной кириллицы и реликтовыми славянскими глаголами; подобно сколу породы, испещренному штрихами вкраплений, это письмо знаменует собою разлом времени, очутившись в котором можно двинуться против часовой стрелки, а можно перешагнуть ненароком границу между здешним и сущим миром («А кто видит мир без червивых дыр, а пылающим куполом как потир...»). В колее такого разлома Водолей действительно движется на смену Рыбам, а старые темы поэта пятятся вглубь, к своему корню и радикальному пределу: можно сказать — к изначальной черте и к тому, что за ней.

Распятого вниз головой святого апостола Петра из старого стихотворения сменяет безысходно-трагический Иуда, загадка чьей участи и предназначения мучила в русской культуре Леонида Андреева, Максимилиана Волошина, о. Сергия Булгакова. Наш современник, впрочем, не от них идет, с их домьслами и модернизацией, а исключительно от евангельского предания, но влагает в уста «апостола-предателя» такую неутолимую речь, как будто извлекает его, наперекор Данте, из девятого круга ада. Мучимый Петр прежде был писан на «фреске», теперь слышится вопль едва ли не личный («...набухает шея, чтоб хрипом Весть Благоую подтвердить» — ср.: «Я хочу, я пытаюсь сказаться, но / вырывается из горла хрип...»). Прежде собратья Иова, «изверженцы и изгои», «прах гребущие по дорогам», — как пригнобленный давней раскулачкой Семен Усуд или насельники угрюмого дома престарелых, — вызывали у поэта сочувственное участие, традиционную русскую почтительность к беде да смутное чувство вины. Теперь, при всем этом (так очевидном в детском воспоминании о блаженной страдальце Даше), — почти физиологическое вникание в телеса убогих и, одновременно, библейский запрос об их участи.

Длинное стихотворение, начинающееся выкриками посадского «дурачка» с тележкой — «Кыё! кыё!», — несколько раньше опубликованное в «Знамени», кажется, уже замечено как большое событие в русской словесности, не только в поэзии. Я даже не смею о нем писать. Скажу только, что вопрошание, разделяющее сюжет пополам: «...Зачем человек явился? / Зачем как судьбу толкает два колеса, / и в праздники плачет, и лихо с улыбкой терпит, / и радуется не к месту...» — напомнило мне (ни в коей мере не будучи реминисценцией) два как бы сшибающихся меж собой места из Библии: «Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?» (Иов, 7: 17 — 18) и — «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною...» (Пс., 21: 7 — 8).

...Вспять, вспять — здесь это можно понять как движение к цели, к устью, тождественному истоку, как усилие «в порт приписки попасть» (стихотворение об Ионе-пророке). Или вот так — как ядовитейшим образом разматывается мысль насчет биоштамповки человек, мертвых клонов прогресса:

...гони машину селифан  
назад куда подальше к самоедам  
к древлянам к кроманьонцам где Адам  
под деревом лежал к праколлективу  
к молекуле к ядру хотя бы там  
найти первоисточник душу живую.

Однако Чухонцев — не эскапист. Если разлом эпохи, «пожирающий знак зеро» разверзается на пути «в порт приписки», — что ж, у поэта хватает мужества — и любопытства — в это жерло заглянуть.

«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное несокрушимое» — так пророчествовал Исаия (55: 13). Поэт, вряд ли в намеренном споре, фиксирует старт в обратную сторону, отправную точку деградации:

Без хозяина сад заглох,  
кутал розу — стоит крапива,  
в вику выродился горох,



и гуляет чертополох  
там, где вишня росла и слива.

А за свалкою у леска  
из возгонок перегорелых  
наркоты и эмеевика  
граммофончик звенит вьюнка  
в inferнальных уже пределах.

.....

(в книге, в соответствии с серийным оформлением «Пушкинского фонда», именно эти стихи о вырождении и неблагих мутациях выбраны для факсимильного воспроизведения).

Эти продукты перегорания и тления эпохи — и переживаемой российской, и целого цивилизационного цикла — вносят в атмосферу «Фифиа» особую, удушливо-раскаленную струю, извергающуюся к середине книжки и развеивающуюся к ее концу. (Такая подспудная смена атмосферических струй и движет единую композицию.)

Из закавказского сада поэтов, из «цеха цикад», перемещаешься на запущенные берега североуральских рек и вскоре, как Иона в чрево кита, попадаешь на пресненские мостовые девяносто первого — девяносто третьего, где «брусчатка под демонстрантами — сущая сковородка... плюнь — зашипит». И в этом чаду уже не «про торф» вспомнишь, а вызовешь героическую в своей неприкаянности тень Осипа Мандельштама. Собственно, не ты, читатель стихов, вызовешь ее, а призывает эту тень сам поэт, сознательно и полусознательно, с великой любовью и паданием в тон.

Что, как не реплика на: «его толстые пальцы, как черви, жирны...» — эти «гробовые царапки геловани»? И бросок прочь от века-волкодава («запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей...») обращен в отчаянный до изнеможения прорыв за черту несвободы — каким он и был для оригинала и каким он заново переживается автором «римейка»:

.....  
Зря в царицынских плавнях речной корабель  
вахтенный будет шарить журнал.  
Ты прими меня, море, в свою колыбель,  
где и буй ни один не жывал.

Вниз и вниз, мимо всех браконьерских сетей  
и застав, я кончаюсь туда,  
где осётр тяжелеет в себе сам-третьей  
и как кровь солонее вода.

Но что гораздо важнее — от Мандельштама с его «ассирийскими крыльями стрекоз», «коленчатой тьмой» и преисподним спуском по лестнице Ламарка пришло — нет, из воздуха притекло, а Мандельштамом только укрепилось — чувство вступления Большой Эпохи в область архаической дословесности и монументального варварства (еще одно «вспять»: эра Водолея теснит христианских Рыб, и вот что она сулит). Оттуда — «тьма египетская» и «варварский плач», гранитные песьи головы и «варварские ойкумены», «где, как шумерский воин в обузе собственной амуниции, / не притупивши оружия, почиет / мертвым сном *Минтяжмаш*»:

Я хочу, я пытаюсь сказать, но  
вырывается из горла хрип,  
как из чайника, выкипешего давно  
до нутра, и металл горит.

Повторю, такова только середина (но и сердцевина) книги — раскаленная и стесняющая дыхание (сбой ритма во втором стихе!). Температурный уровень «Фифиа», как и стрелка внутреннего компаса, которым молитвенно оснащен Иона в темноте-тесноте китова чрева, все время колеблется. И вот уже мы снова в саду —

у самого поэта, за мирной вечерей вкупе с птичьим народцем, а то и в саду рачительного соседа-охотника, где зреют райские яблоки, сливы и вишни, где строится-обновляется дом для растущей семьи, где так сладко веет духом непогасшего очага («Вальдшнеп» — Гесиодова прямо-таки эпика). Тем не менее: «Туринская плащаница на каждом, на всех, кто жив» — негатив запредельности, знак последнего возвратного хода, «высшей меры», о которой столько здесь надумано дум...

Вот так, в преддверии времен «после лирики, после эпоса», Чухонцев явил в горстке страниц некий лироэпос густейшей концентрации; здесь есть все: мысль, объемлющая эпоху, век, мир; судьба человеческая; отчизна, соседи, родимый погост; ожесточение и молитва; подвижная грань между этим и тем бытием («как жизнь промелькнула, и смерть пролетит»).

А кончаются речи поэта вопросительным знаком вкупе с многоточием. Человек, вслушивающийся в весть невидимой в листве сивиллы-кукушки, — он по определению недвижим, чутко замер...

Ирина РОДНЯНСКАЯ.



### ИЗ ЖИЗНИ ПАРАДОКСОВ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ УСТРИЦЫ НЕСЧАСТНЕЕ ДРУГИХ

Льюис Кэрролл. Сильвия и Бруно. Перевод с английского А. Голова. Томск — Москва, «Водолей Publishers», 2003, 590 стр.

Кристина Бьёрк. Приключения Алисы в Оксфорде. Перевод с английского Н. Демуровой. СПб., «Вита Нова», 2002, 93 стр.

**О**дин из иллюстраторов «Алисы в Стране чудес» пронизательно заметил, что сказка Льюиса Кэрролла — на самом деле вовсе не сказка. Это своего рода роман из жизни парадоксов.

После «Сильвии и Бруно» хочется уточнить: скорее повесть или пространный рассказ. В «Алисе» Кэрролл как будто разминался, «пристреливался» к крупной форме, чтобы через четверть века написать большой (почти 600 страниц) роман. Читатель вправе прийти в недоумение от столь вольной формулировки: получается, что всемирно известная «Алиса в Стране чудес» — это всего лишь репетиция, «пристрелка» к никому не известным (во всяком случае, в России) «Сильвии и Бруно»? Что ж, слово из «охотничьего» словаря — вполне в его духе: вспомним «Охоту на Снарка»; кроме того, нас извиняет то обстоятельство, что мы здесь не противоречим авторской воле: сам Кэрролл считал «Сильвию и Бруно» главным своим сочинением.

Совсем недавно этот никогда не издававшийся в России роман Кэрролла вышел и у нас, и издательство «Водолей Publishers» полиграфически поддержало ощущение «задержанного дебюта»: в оформлении использованы классические иллюстрации Гарри Фарнисса, впервые увидевшие свет в 1890 году, а на титульном развороте стоят несколько дат — справа «2003», а слева «1889, 1893» (годы выхода в Англии первого и второго томов). Вроде как бы — к юбилею романа. Об Англии викторианской эпохи призваны напоминать и заставки, и гарнитура, и изысканная двуязычная суперобложка.

Итак, перед нами — неизвестный Льюис Кэрролл. Даже точнее — неизвестный Кэрролл-романист. Каким же он предстает сегодня, в своем новом/старом романе?

Е. Витковский в послесловии-анонсе, сопровождающем издание, задается вопросом: «Вдруг да тот БУДЖУМ, на которого охотились герои „Охоты на Снарка“ (полагая, что охотятся именно на СНАРКА), — на этот раз все-таки окажется именно СНАРКОМ?»

Вдруг да окажется, вдруг да тот Буджум? Кстати, Буджум в «Сильвии и Бруно» есть тоже. «А вы знаете, что такое Буджум?» — спрашивает Профессор. «Я знаю! — воскликнул Бруно. — Это такая штукавина, которая оставляет людей без сапог». «Так вот, давным-давно жил-был Буджум, — начал было Профессор, но внезапно умолк. — Увы, я забыл конец этой басни, — проговорил он. — Там была весьма

важная мораль... Но боюсь, что я забыл и ее тоже». Этот таинственный Буджум внезапно появляется на последних страницах романа и так же внезапно исчезает. Правда, его появление, как и его исчезновение, здесь не играет никакой роли: эта «штуковина» — не то ружье, которое выстрелит в конце. Таких «штуковин», которые взаимозаменяемы и чье появление ничем не мотивировано, в романе много. Беспорядочно и бестолково на страницах книги мелькают Профессора, шмели, медведи без головы, пеночки-малиновки и Отвлеченные Науки.

Этот мельтешащий рой должен, видимо, составлять фон для двоящегося сюжета «Сильвии и Бруно». Он проходит в двух измерениях — мистическом и земном. Сильвия и Бруно — это два ребенка-эльфа, брат и сестра. Рассказчик видит их, впадая в особое, «феерическое настроение». Эльфы могут при надобности становиться обыкновенными видимыми детьми. Сильвия и Бруно на самом деле — дети императора в изгнании, лишившегося трона в результате дворцового переворота (он иногда появляется на людях в облике нищего). «В миру» они обычные мальчик и девочка и, поскольку им не нужно впадать в «феерическое настроение» для превращений, довольно шустро перемещаются из одного мира в другой — так что автор иногда сам путается, не понимая, где происходит действие. Это, в общем, не так уж важно, потому что дети и там и там заняты тем, что решают логические упражнения или осыпают друг друга ласками.

Повествование похоже на старинный барометр. В какой-то момент распахивается дверца, на сцене появляется, скажем, дама с зонтиком или господин в цилиндре, раскланивается перед зрителем, уходит, дверца закрывается. Вот и здесь так: выходят «милые дети» — они увлажняют воздух «слезами умиления», потом выходят дамы и несут «великую сушь», ну и т. д.

Действительно, если на страницах романа появляется героиня, она изъясняется обычно так: «Как вы думаете, в чем заключено больше научных знаний: в книгах или в разуме?.. Я хотела сказать, что если рассматривать мысли как некие факторы, то почему нельзя сказать, что наименьшее общее кратное всей совокупности разума заключает в себе и все книги на свете, но только в другой форме?» Ну и т. д.

С героями дело обстоит ненамного лучше. Вот образец высказывания героя: «Видите ли, стараясь найти наименьшее общее кратное, мы отбрасываем все величины, за исключением тех случаев, когда они имеют максимальное значение». Этот изрядный разговор происходит между случайными попутчиками в вагоне поезда. Так всегда бывает — если на страницах романа Кэрролла появляется человек, а не Отвлеченные Науки, то это — человек без свойств. Его назначение — озвучить парадокс или каламбур, доказать математическое уравнение, произнести нравоучительную сентенцию. Больше герои Кэрролла, к сожалению, почти ничего не умеют. И, к сожалению, не только в «Сильвии и Бруно».

Приключения Алисы в Стране чудес — это ведь на самом деле странствия чистого разума; путешествия здравого смысла в мире парадоксов. Математическая логика в иллюстрациях. И эта затея Кэрроллу удалась, потому что сказка получилась, в общем-то, недолгой, как сон, — такой, что ее можно успеть рассказать за одну речную прогулку или один воскресный привал на пикнике.

Роман Кэрролла движется энергией лимерика, инерцией парадокса. У парадокса недолгое дыхание, оттого действие тормозит, буксует, поезд продвигается рывками и со многими остановками. Все-таки нонсенсу, как и анекдоту, надлежит быть коротким.

В какой-то момент он, видимо, и сам спохватился, что роман начинает напоминать диалог логарифмической линейки и таблицы Брадиса. Пытался призвать на помощь стихи. Но цель лирики недостижима средствами лимерика. Выходило примерно так:

Ему казалось — Альбатрос  
Вокруг свечи летал.  
Он присмотрелся — над свечой  
Кружился Интеграл.  
«Ну что ж, — сказал он и вздохнул. —  
Я этого и ждал».

Спасти положение могли бы его любимцы, Сильвия и Бруно. Могли бы, если бы они не получились похожими на столь знакомых нам Мальвину и Буратино, причем Буратино здесь — всегда неуспевающий школяр, а Мальвина — всегда немного классная дама. Бедняге Буратино-Бруно уж впору запротестовать — дескать, «все эти цирлихи ее и все манирлихи ее меня замучили и портят настроение мое» — и он бы, наверное, так и поступил, будь он мальчиком, даже деревянным, — но в том-то и дело, что Бруно — фея (или эльф?), и ему положено только «осыпать поцелуями» сестру или «нежно сжимать ее в объятиях».

Параллельно в романе существует реальный мир — английское графство конца XIX века, где живет рассказчик, а также его друг, симпатичный и робкий доктор Артур Форестер, который безнадежно влюблен в свою соседку, очаровательную леди Мюриел. (Она — единственное живое и милое женское существо во всем романе, только как-то подозрительно напоминает Сильвию, рассказчик даже иногда их путает.) У доктора обнаруживается счастливый соперник — кузен леди Мюриел Эрик Линдон, с которым, оказывается, та давно помолвлена. Внезапно помолвка расстраивается — по непонятной причине, и перед Артуром, казалось бы, открываются пути к личному счастью. Но он все медлит и медлит с объяснением, а жалостливый рассказчик старается ему помочь советом. При чтении этих глав, где герой все никак не может решиться поговорить с любимой девушкой, вспоминается, как в «Алисе» Кролик испугался собственной храбрости: шутка ли — сказать «нет» самой Королеве! Видимо, этот Кролик всегда пугался собственной храбрости — даже когда это была не королева, а обычная девушка, и даже когда ей надо было сказать «да». Видимо, для самого автора мысль о том, что мужчина может сделать шаг навстречу женщине самостоятельно, не прибегая к помощи эльфов, была совершенно невозможна.

Что поделать, если в отношениях между числителем и знаменателем нецелых чисел он чувствовал себя более уверенно, чем в человеческих отношениях. И похоже, сам это понимал.

«„А вам непременно хочется, чтобы в сказке действовали живые существа? — спросил Профессор. — Разве нельзя сочинить историю о событиях или каких-нибудь обстоятельствах, а?“ — „О, пожалуйста, какую угодно!“ — воскликнул Бруно. И Профессор торопливо начал: „Однажды Совпадение гуляло вместе со Случаем, и им повстречалось Объяснение — о, старое-престарое Объяснение — настолько старое, что вызывало у всех вопросы и напоминало скорее головоломку... — Тут Профессор умолк на полуслове... — Знаете, — честно признался Профессор, — оказывается, придумывать такие истории очень трудно“».

Тем не менее Кэрроллу очень хотелось придумать такую «историю» — сентиментальный роман (с религиозно-морализаторским смыслом), но такой, чтоб он был в то же время «фэнтези», как сказали бы сейчас. Но для второго ему не хватало, как ни странно, воображения, а для первого недоставало жизненного опыта. Весь опыт у него был — чудака-преподавателя математики в оксфордском колледже и чудака — как сказать? — наперсника игр маленьких детей. И тот и другой опыт в романе явлен вполне.

Когда Кэрролл пытается рассказать сказку, где бы «действовали события и обстоятельства», выходит детский лепет — в буквальном смысле: сказители у него — либо детскообразные Профессора, либо «милые малютки». Получается примерно так: «Жили-были Кабанчик, Аккордеон и две Банки Апельсинового мармелада...» — начал Бруно. «„Да, ничего себе *действующие* лица“, — пробурчал Профессор... „Так вот, когда Кабанчик как-то раз играл на Аккордеоне, — продолжал Бруно, — одной из Банок с Апельсиновым мармеладом не понравилась мелодия, а другой Банке она, наоборот, понравилась. О, они такие странные, эти Банки с Апельсиновым мармеладом... Сильвия, я тоже не знаю, как мне с ними быть дальше!“ — растерянно прошептал он».

Что касается фантазии, то все свои лучшие «гэгги» он позаимствовал из «Алисы», чуть переделав, — и вот вместо улыбки Чеширского Кота по воздуху плывет виляющий собачий хвост, а вместо звательного — «О Мышь!» появляется «О Бруно!». Тут встретится и еж, которого перекатывают по земле, и безумное чаепитие, и крокет, и гости, опаздывающие на прием к Королеве, и много чего еще — на-

пример, галлюциногенные предметы, соприкосновение с которыми способно менять физические характеристики пространства (оно раздвигается там или уменьшается — ну, все помнят, как бывает, если доверчиво последовать призыву «Съешь меня!» или «Выпей меня!»). Только эти предметы в «Сильвии и Бруно» способны изменять еще и жизнь людей. Очевидно, Кэрроллу это казалось очень простым делом — ну вроде как съесть пирожок: отец Сильвии и Бруно предлагает девочке выбрать один из двух медальонов, на одном написано «Сильвия любит всех», а на другом — «Все любят Сильвию». Добрая девочка выбирает, конечно, первый, и этот выбор, конечно, решительно влияет на дальнейший ход событий.

Неожиданно повествование вспыхивает живой жизнью — на трех стремительных страницах. После того как с эльфовой помощью происходит решающее объяснение, романтический сюжет движется к своей счастливой развязке — венчанию. В это время в соседнем графстве обнаруживается вспышка эпидемии в рыбацьем поселке, жертвой эпидемии становится единственный тамошний врач — и будущий новобрачный принимает решение: немедленно ехать в охваченный эпидемией поселок и спасти всех, кого еще можно. И вот ночь перед отъездом. Утром должно состояться венчание, а сразу после этого Артур должен уехать. Оба понимают, что, возможно, больше они никогда не увидятся. Он ехать не обязан — но не поехать не может. Леди Мюриел совершает жертвенный поступок, даже дважды — она отпускает любимого на верную гибель и, зная это, идет с ним под венец, то есть почти обрекает себя на вдовью участь. Следуют нелепые мизансцены, диалоги выпренно-смешны. Но почему-то тут начинаешь волноваться и сопереживать персонажам по-настоящему. На следующей странице все обрывается — сообщением из газеты о новых жертвах эпидемии. В списке погибших — доктор Артур Форестер.

А дальше повествование как ни в чем не бывало опять устремляется к невинному личику Сильвии, нежным сестринским поцелуям и скучноватым разговорам Бруно и Профессора. Эти сентиментальные путешествия перемежаются теософскими высказываниями, а также философскими рассуждениями автора — лучше всего о них сказал Честертон: «В „Сильвии и Бруно“ его соображения по поводу социальной справедливости и реформы достойны скорее бесхитростного семинариста из какого-нибудь фарса, чем священника-христианина, преподающего в старейшем центре просвещения». Что ж, простим наивность, разве это — сокрытый двигатель его? И все же, наверное, Кэрролл очень сожалел, что ему не довелось написать, как Сирано де Бержераку, свой «Иной Свет, или Государства и империи Луны» («человек с Луны» — простодушный персонаж, высмеивающий современную автору викторианскую Англию, — тоже в «Сильвии и Бруно» появляется).

А в конце романа случается почти невозможное. Раздается выстрел из самого крупнокалиберного ружья: развязка, которая так взволновала читателя, оказывается ложной; Артур возвращается домой живым и невредимым. Оказывается, его спасает Эрик Линдон — благородный конкурент и отвергнутый соперник! — находит его, умирающего, в поселке, перевозит в город и выхаживает... Живой, человеческий финал — это, может быть, главный парадокс всего романа.

На самых последних страницах автора осеняет догадка: Эрик Линдон — это и есть Бруно, его земной двойник! (В жизни он кузен леди Мюриел, как мы помним.) А сама леди Мюриел — земное воплощение Сильвии, как давно понял читатель. А «Сильвия любит всех» и «Все любят Сильвию» — это, оказывается, две стороны одной медали (то есть одного медальона).

По всему выходит, что Буджум на этот раз все-таки оказался именно Снарком.

...Лучше для них обоих было бы, если бы Алиса Плэзнс Лидделл навсегда осталась ребенком. Как Питер Пэн. Мистер Льюис Кэрролл не дождался до того, как появилась сказка Джеймса Барри, но что книжка ему пришлось бы по душе, нет сомнений. Только если бы писал ее он, то сделал бы Питера Пэна девочкой.

Больше всего он боялся — и она, пожалуй, тоже, — что когда-нибудь она вырастет. Во всяком случае, Алиса и мистер Доджсон в книге Кристины Бьёрк только об этом и говорят:

«„Жаль, что вы не изобрели, как заставить время идти не вперед, а назад, — вздохнула Алиса. — Тогда мы могли бы его остановить на шести часах. И мне не пришлось бы сейчас идти домой”. — „Да, — согласился мистер Доджсон, — и ты тогда могла бы не расти”. — „Но я хочу вырасти, — возразила Алиса. — Немножко”. — „По-моему, ты сейчас как раз такая, как надо”, — сказал мистер Доджсон».

«„Сегодня у меня последний день в жизни, когда мой возраст выражается всего однозначным числом. Последний однозначный день...” — „Бедняжка, — протянул мистер Доджсон. — А ты попробуй расти в обратную сторону”».

«„Странно, что вы не изобрели машину времени, — сказала Алиса. — Тогда можно было остаться там, где хочешь”. — „Но у меня она есть”, — ответил мистер Доджсон. „Есть? — удивилась Алиса. — Почему же вы нам ее не показали?” — „Это моя камера, — сказал мистер Доджсон. — На той фотографии, где ты в венке, я остановил время. Там тебе всегда будет семь лет”».

Когда они познакомились, ей исполнилось три с половиной года, а ему двадцать три. Чарлз Лютвидж Доджсон, преподаватель математики в колледже Крайст Чёрч, увлекался фотографией — редкостным по тем временам делом, и у него был свой аппарат — редкость еще большая. Алису он начал фотографировать сразу после знакомства, но первую несмазанную фотографию удалось сделать, лишь когда ей было четыре с половиной. Поначалу Алиса не очень-то жаловала мистера Доджсона, потому что он вечно просил ее сидеть не шевелясь, а когда она выучила счет — считать до сорока двух (столько секунд длилась съемка).

Кто любит прачку, кто любит маркизу, / У каждого свой дурман, —  
 А я люблю консержину Лизу, / У нас — осенний роман.  
 ...Каминный кактус к нам тянет колючки, / И чайник ворчит, как шмель...  
 У Лизы чудесные теплые ручки / И в каждом глазу — газель.  
 Для нас уже нет двадцатого века, / И прошлого нам не жаль:  
 Мы два Робинзона, мы два человека, / Грызущие тихо миндаль.  
 ...Для ясности, после ее ухода, / Я все-таки должен сказать,  
 Что Лизе — три с половиною года... / Зачем нам правду скрывать?

Конечно, ничего этого не было в их истории — и вообще это совсем другой человек написал, в другие времена, про другую девочку. Только возраст героини — тот же.

В аннотации к книжке сказано, что это «история обычной девочки, которой посчастливилось стать сказочной героиней». Авторы аннотации зачем-то повторяют один из штампов, который по недоброй традиции принято произносить пишущими о Кэрролле (а другой штамп звучит так: «Как известно, Льюис Кэрролл очень любил детей». Помилуйте, а кто у нас — особенно из пишущих о детях — «детей не любил»?). Тут произносить надо бы другие слова.

Алиса Плезнс Лидделл вовсе не была «обычной девочкой». Она была дочкой ректора колледжа Крайст Чёрч Оксфордского университета, у ее отца учились многие замечательные художники, он был другом королевской семьи. Сама Алиса была, если можно так сказать, девушкой круга прерафаэлитов. Она занималась рисованием, а уроки живописи ей давал знаменитый художник Джон Рёскин (когда-то бывший студентом ректора Лидделла). Рёскин находил у нее большие способности, она сделала несколько копий его картин, а также картин его друга Уильяма Тёрнера. Позже Алиса позировала близкой к прерафаэлитам фотохудожнице Джулии Маргарет Камерон. (Кстати, в своих письмах Кэрролл часто упоминает Данте Габриэля Россетти, вождя прерафаэлитов, с которыми они прятельствовали.) В общем, Алису мистер Доджсон угадал правильно.

Чарлз Лютвидж Доджсон был очень застенчив, что сильно затрудняло ему жизнь. Кроме того, он заикался. В присутствии детей — особенно Алисы — и то и другое проходило. Часто он заходил в дом ректора играть с Алисой и двумя ее сестрами (разумеется, разумеется, получив предварительно приглашение от миссис Лидделл); девочки приходили к нему в гости (конечно, с позволения матушки); они вместе гуляли, катались на лодке, ездили за город (само собой, в присутствии гувернантки мисс Прикетт, — и получалось, что чаще всего впятером). Во время одной из таких прогулок, как известно, он сочинил для нее сказку, ставшую потом знаменитой.

Так же, как в книге об Алисе в Стране чудес, на страницах книги об Алисе в Оксфорде появляется множество ископаемых и мифических существ: дронт Додо, черепахи, улитки и устрицы, летучие мыши, горгульи, грифон, единорог. И рассказано о них так, что не всегда понимаешь, где проходит грань между ископаемыми существами и мифическими. В «алисино» время в ящике письменного стола м-ра Доджсона жила Милли Летучая Мышь, а в детстве он дружил — как ни странно это звучит — с червяками и улитками (древнейшими существами на Земле). Дружил так крепко, что даже назвал детский рукописный журнал, который сам издавал, именами двух улиток — «Мишмэш». С девочками Лидделл он особенно любил гулять по таким местам, где можно было рассказать про ископаемых существ. В Ботаническом саду он учил их не бояться улиток и показал дерево *гинкго* — единственное из лиственных, пережившее ледниковый период. В Университетском музее они долго разглядывали птицу Додо — чучело последнего сохранившегося в мире нелетающего дронта с острова Маврикий, который жил на Земле тысячелетия, но не пережил вторжения человека. («Теперь вы увидели кого-то, кого больше нет», — сказал девочкам их спутник.) А со стен Модлин-Колледж они зарисовывали в альбом горгулий, драконов и единорогов.

Он и сам как будто ощущал себя одним из них, этих реликтовых существ, и даже изобразил себя — в книге об Алисе — под именем Додо (и на старой пластинке про Алису в Стране чудес отчетливо слышно, как он спотыкается, называя свое имя: До-до-доджсон).

Алиса больше всех из них любила Единорога (он, кстати, был в фамильном гербе ее матери; а герб отца украшали львы). Однажды сестры с мистером Доджсоном (ну и мисс Прикетт, разумеется) гуляли, и Алиса предложила: «„Притворимся, будто они существуют и в жизни. И что мы встретили Единорога у нас на лугу!“ — „В таком случае нужно тотчас сесть на землю, — сказал мистер Доджсон. — Тогда он подойдет и положит голову тебе на колени, кротко, как ягненок“. — „Откуда вы знаете? — спросила Рода. — Вы в этом уверены?“ — „Абсолютно, — ответил мистер Доджсон. — Единороги больше всего любят класть голову на колени девиц. Ведь рог у них, верно, очень тяжелый“». В ту ночь Алисе приснилось, что она повстречала Единорога и тотчас села на землю. И Единорог положил голову ей на колени. Но тут появилась мисс Прикетт — и Алиса проснулась.

Люди, львы, улитки и единороги! (Единорог, по поверью, покорен только невинной деве.)

Миссис Лидделл далеко не всегда одобряла их встречи: «Что-то мистер Доджсон к нам очень часто приходит. Люди могут разное подумать». Но десять лет все еще шло по-прежнему. Потом Алиса выросла. Когда она стала подростком, они видятся перестали — для тринадцатилетних английских девочек уже считалось неприличным встречаться с неженатыми мужчинами. Алиса входила в возраст Лолиты (Набоков, как известно, Кэрролла любил и сказку об Алисе перевел — она у него «Аня в стране чудес».) Письма мистера Доджсона к дочери миссис Лидделл уничтожила.

Алиса собралась выходить замуж — между прочим, за принца Леопольда, одного из сыновей королевы Виктории (он учился в колледже Крайст Чёрч). В книге Кэрролл сделал Алису королевой, но в жизни она не стала даже принцессой. Королева Виктория не дала согласия на брак, и принцу пришлось жениться на немецкой принцессе (первого ребенка, девочку, они называли Алисой). Алиса Лидделл вышла замуж за другого студента Крайст Чёрч, Реджиналда Хагривза.

...Последний раз он фотографировал ее в 1870 году. Ей — восемнадцать. На снимке она не выглядит счастливой. Может быть, то была и последняя их встреча. После свадьбы (Доджсона в числе гостей не было) Алиса переехала жить в фамильный особняк к мужу. Мистер Доджсон так и не женился, остался жить в Крайст Чёрч, где и умер от бронхита в возрасте шестидесяти пяти лет.

С возрастом — и с приходом славы — он все больше сторонился людей, предпочитая обществу уединение. Исключением были дети — в основном маленькие дочери друзей и знакомых. С ними он охотно встречался, фотографировал их, переписывался. За несколько недель до смерти пронумеровал письма — их оказалось 98 721.

«По секрету скажу тебе... что сама королева прислала попросить у меня одну мою фотографию, но так как уступать в подобных случаях — против моих правил, я был вынужден ответить: „Мистер Доджсон свидетельствует Ее Величеству свое почтение и с сожалением сообщает, что неукоснительно придерживается правила не дарить своих фотографий никому, кроме юных леди”» (из письма к Маргарет Каннингхэм от 7 апреля 1868 года).

«Если бы мне только довелось сфотографировать юную девушку, в которой воплотился бы *мой* идеал красоты, а главное, если бы ее звали... (не знаю почему, но имя Амелия я решительно предпочитаю любому другому слову английского языка), то не сомневаюсь, что мне удалось бы стряхнуть с себя холодное, философское оцепенение, присущее моим собратьям по профессии.

...Чувства переполняли меня. Слезы стояли у меня в глазах, и я подумал: „Мечта всей моей жизни свершилась! Я сфотографирую Амелию!”

...Я изрядно устал и запыхался, но мысли об Амелии придавали мне силы. Я выбрал наиболее выгодную точку съемки... и, прошептав: „Для тебя, Амелия!”, снял крышку с объектива. Через 1 минуту 40 секунд я водворил крышку на место. „Съемка закончена! — закричал я в неудержимом порыве. — Амелия, ты моя!”» (из рассказа «Фотограф на съемках»).

Роман Набокова дал имена этому сорту эротизма. Только здесь следует, наверное, говорить об эротизме, что ли, платоническом. Видимо, Чарлз Лютвидж Доджсон мог обладать женщиной — а точнее, маленькой девочкой — только в воображении. Да и то только в те мгновения, пока длилась фотосъемка (слова «сорок две секунды» навязчивым мотивом проходят через книжку об Алисе в Оксфорде). И похоже на то, что автор «Алисы» умер девственником.

Книжка Кристины Бьёрк написана столь аккуратно, что читатель, ничего не знающий об этой стороне жизни Кэрролла, может ничего и не понять — и поэтому ее можно смело давать читать детям. Читатель же сведущий или о чем-то догадывающийся легко поймет и все остальное.

Удивительно, что многое из времен Алисы дожило до наших дней. Вяз, посаженный Алисой в день бракосочетания принца Уэльского, дожил до 1977 года (потом он, как и многие его соседи по аллее, заболел грибковой болезнью вязов, и деревья пришлось срубить). Знаменитый журнал «Панч» (в нем работал Тенниел, первый иллюстратор «Алисы») закрылся только в прошлом году. Но черти, кролики и горгульи, украшающие окна оксфордского Университетского музея, остались там навсегда.

В книге Льюиса Кэрролла «Логическая игра», где он обучает искусству рассуждать логически, делая правильные заключения из не то чтобы неверных, но необычных посылок, есть такая задачка: «Ни одно ископаемое животное не может быть несчастно в любви. Устрица несчастна в любви». Ответ — он же заключение: «Устрица — не ископаемое животное».

Р. S. Несколько слов о полиграфии, иконографии и библиографии. И первая, и вторая, и третья заслуживают всяческих похвал. Книгу (как и другие книги питерского издательства «Вита Нова») отличает редкостная по нашим временам полиграфическая культура. Здесь надо отдать должное рисункам художницы Инги-Карин Эриксон — она полноправный соавтор «Алисы в Оксфорде». Благодаря рисункам можно узнать, какой длины юбки (в зависимости от возраста) разрешалось носить английским девочкам викторианской эпохи, прочесть письмо Льюиса Кэрролла, написанное задом наперед, а также посмотреть, как выглядит горгулья в натуральную величину. В книге собрана редкая иконография «Алисы» — можно увидеть, какой представляли Алису Джон Тенниел, Туве Янссон и Сальвадор Дали, а также сам автор. Здесь есть английская и русская (довольно полная) библиография «Алисы в Стране чудес», а также «дневников и писем мистера Доджсона» и «некоторых книг и статей, опубликованных мистером Доджсоном под собственным именем».

Алиса осталась бы довольна тем, что в книге много картинок и стихов (как мы помним, она считала, что книги без стихов и картинок никому не нужны), а



Кэрролл оценил бы изящество полиграфической игры — например, то, что в книге об Алисе в Оксфорде использована гарнитура «Оксфорд».

Это издание будет настоящим подарком как для просто детей, так и для тех детей, которым, как и мистеру Доджсону, к сожалению, пришлось вырасти.

Ольга КАНУННИКОВА.

\*

## ЯЗЫК НОЧИ

Рамиль Халиков. Сторож. Роман. М., «Астрель», «АСТ», 2003, 300 стр.

**У** этой книги довольно странная история. Изначально готовилось ее издание в двух вариантах. Первый — с оригинальным названием «Остаток ночи», без сокращений, в качественном оформлении. Второй — так называемый коммерческий, то есть в яркой глянцевой обложке, с измененным названием и заметно отредактированный. Так появился на свет некий гибрид: книга вышла хоть и без сокращений, но в популярной серии «Россия: мужская работа» под названием «Сторож». В результате в магазинах она оказывается в ряду либо любовных романов, либо детективов — там, куда серьезный читатель не заглядывает.

На мой взгляд, эта ситуация сама по себе любопытна: книга, которая, по мнению издателей, должна была удовлетворять вкусы сразу двух, как правило, не пересекающихся друг с другом читательских аудиторий, нынче явление весьма редкое. Разделение между массовой литературой и... даже не знаю, как ее назвать, наверное, просто литературой сегодня проводится довольно четкое. Конечно, по поводу некоторых книг, например детективов Акунина или «Гарри Поттера», ведутся оживленные дискуссии на тему, имеет ли эта массовая литература художественную ценность, но все-таки подобные разговоры скорее исключение. Как правило, определенная книга занимает определенную нишу. В итоге многие книги остаются не замеченными литературной критикой, которая редко уделяет внимание массовой литературе, а если уделяет, то как явлению в целом, чем какому-либо отдельному ее представителю.

Жаль, если роман Халикова останется незамеченным и затеряется в толпе своих пестрых собратьев. Думается, именно такой литературы сегодня особенно не хватает. С одной стороны, эта книга очень легко читается. Это одновременно и детектив, и любовный эротический роман. С другой — она написана поэтическим языком, и главное в ней — создание особого отгороженного мира, существующего по своим законам.

Определить, в каком литературном направлении работает Халиков, не так-то просто. Вроде бы — это реализм, но, во-первых, не все в романе правдоподобно, во-вторых, ощущение чего-то мистического присутствует при чтении постоянно.

Действие романа разворачивается в пределах крошечной автостоянки, расположенной в центре какого-то большого города, но, как говорит сам автор, «будто автостоянка раскинулась на полпланеты. Ворота раскрываются, кажется, прямо в темный космос». Главная его задача — раздвинуть пространство этого пятачка как можно шире. Халиков прописывает малейшие детали этого пространства, но при этом он никак не связывает его с каким-либо конкретным местом. В его романе нет ни одного топонима, даже город, где находится автостоянка, не называется. Поэтому, наверное, рождается ощущение чего-то универсального, всеобъемлющего.

Соответственно выбирается и время повествования. Главный герой романа — Сандро, сторож автостоянки, — выходит на работу исключительно ночью. При этом происходят странные временные сдвиги. Ближе к концу романа Сандро замечает, что прошел уже год, а ему кажется, будто все началось совсем недавно. Халиков описывает бесконечную череду дежурств героя как одну-единственную ночь, о чем в том числе свидетельствуют названия трех частей его романа: «Начало ночи», «Глубина ночи» и «Остаток ночи». Все, что происходит в жизни героя между дежурствами, автор опускает. Ночь для Халикова — особое время суток, когда человеческий мозг перестает работать в привычном ритме, меняется ощущение реаль-

ности, по-другому воспринимается сам ход времени; он воспринимает жизнь вопреки ее обыденному ритуалу.

Таким образом Халиков пытается удерживать внимание читателя на грани между мистическим и реальным. Сказать, что это удастся ему блестяще, все-таки нельзя: в романе многократно условностей, весьма схематично проработана детективная линия; образы преступников и описание их быта довольно примитивны, не хватает психологизма и проч.; мистическая же составляющая тоже не доведена до конца, кажется, что Халиков боится дать волю своей собственной фантазии, удерживаемой требованиями правдоподобия. Будто он ищет что-то свое, вырастающее из реализма, но заметно перерастающее его и ломающее его границы.

Тем не менее нечто новое нашупано. Халиков — мастер создания бесконечных пространств из крошечных мирков. Об этом можно судить и по другим его произведениям, из которых, к сожалению, опубликованы немногие. В рассказе «Окоем», размещенном на сайте интернет-журнала «Пролог», описывается маленький городишко, в котором он родился и вырос. Рассказ начинается словами: «Здесь я чувствую себя как в раю», и далее изображено конкретное место с абсолютно осязаемыми деталями — дорожкой, лопатой, деревьями и даже туалетом, — но ощущение рая автору удается сохранить на протяжении всего рассказа. Как он сам пишет, в его географии «нет места сухим, бесцветным обозначениям, за каждой цифрой — причудливые параллели жизни, а за каждой из четырех обозначающих стороны света — больших ее букв — судьбы, значения, города» («Окоем»). В отличие от большинства сегодняшних прозаиков-реалистов, которые зачастую не идут дальше натуралистичных описаний так называемой правды жизни со всеми ее несчастьями и безнадежностью, Халикову удается на этом же самом материале создать свой мир, в котором дышит поэзия, но который вместе с тем до боли узнаваем. Вот, например, как он описывает окраины большого города: «Никому не захочется в это время гнать свою машину на темные окраины города... Я бы даже сказал, что там вообще пустынно, и ветер, гоняющий по тротуару вечернюю газету, подчеркивает это обстоятельство с особенной выразительностью». Ему удается передать и атмосферу страха, пустынности окраин, и одновременно их особую поэзию. У забора автостоянки живут божьи, главная героиня романа — шлюха, город заполнен преступниками, но все это не имеет большого значения для письма Халикова, который пытается, не идеализируя реальность, выйти за рамки реализма.

Обаяние его прозы — в свободе, с которой он пишет. Он не боится избитых тем; ночь, любовь, убийство — весьма стандартный набор, но груз повествовательных традиций будто не тяготит его. Если постмодернисты считают, что ничего нового уже не придумать, остается лишь ходить по проторенным дорожкам, то Халиков дает почувствовать, что дорожки-то те же, но каждый идет по ним в первый раз.

Интересен с этой точки зрения эпизод в начале романа: когда Сандро в первый раз выходит на работу, он получает опись вещей, принадлежащих автостоянке; читая ее, Сандро замечает: «Наверное, список включал в себя абсолютно все, что требуется для полноценной охранной работы... но не удержусь все же от небольшой поправки. По большому счету, в перечень на полном основании можно было бы внести и зеленые ворота с оградой, и земной шар, и даже тот особый, с горчинкой, воздух; я бы внес в него поименно всех, кто здесь работает, и даже автомобилистов, пользующихся услугами стоянки». Он словно заново хочет изучить состав мира, посмотреть, что осталось, что пора отправить на свалку, а что нового внести в опись. В одно из своих дежурств Сандро «не давала покоя мысль проведи... своеобразную инвентаризацию ночи». В этот список попало безмолвие, которое неожиданно оказалось подвижным — «в какие-то моменты оно умеет идти особенно быстро, потом вдруг словно бы замедляется»; попали «то увеличивающиеся, а то и уменьшающиеся в сознании детали, когда кажется, что черенок ложки в остывающем чае стал вдруг величиной с голову жирафа, а абажур фонаря, нависающий с улицы, легко сбить одним шелчком», и, наконец, луна, которая почти касается городских крыш. Провода «инвентаризации ночи», Халиков обновляет прежний реестр, возможно, поэтому мир его и кажется новым.

При этом он бывает весьма радикален: так, в одно из дежурств замечает, что «настоящую ночь... трудно представить без света», но «освещение это обязательно должно быть искусственным». Луна хоть и наличествует в его списках, но уже не

годится в полноценные светила, она не вписывается в современный ритм жизни: «...в наши времена бледного ее света уже не всегда бывает достаточно, чтобы сотворить ночь... для этого она слишком долго загорается и медленно гаснет»; герою повести «давно хочется обвинить ее, хотя бы и в том, что зачастую ночные дома превращаются с ее помощью в какие-то нелепые декорации; она имеет удивительную способность навевать излишне романтическое настроение...»

Халиков пытается в новом свете посмотреть на жизнь, подобно ученому, в малейших проявлениях изучить крошечный кусочек мира и понять через него что-то более существенное.

В его романе много живых находок. Например, сюжет романа разворачивается, когда Сандро узнает об убийстве своего брата-близнеца Алекса; и подобно тому, как его имя является продолжением имени брата (Александр — Алекс-Сандро), его жизнь также становится продолжением жизни Алекса: ему предлагают устроиться на ту же автостоянку, он вынужден расхлебывать дела брата, и, самое главное, ему достается та же женщина, которая до конца романа так и не узнает, что на самом деле с ней другой мужчина. Здесь чрезвычайно важна тема бессмертия, писатель стремится передать ощущение бесконечности жизни — жизнь одного человека как бы продолжается в другом; действующих лиц в романе немного, но благодаря многочисленным отражениям их число словно бы умножается. Однако этот мотив в романе лишь намечен, глубина невидимых переключек, рифмы судьбы не осмыслены до конца. Вместо этого пространством романа излишне занимают впечатляющие, но назойливо повторяющиеся описания ночи, эротические сцены, которые в романе тоже избыточны и основательно затянуты, и др. Многие Халиков чересчур разжевывает.

Но, повторю, этот роман интересен поисками компромисса между массовой литературой и так называемой элитарной, между реальностью и воображением, и потому он, как я думаю, заслуживает внимания.

Дарья РУДАНОВСКАЯ.

\*

## ЕЩЕ ОБ ИСЛАМЕ

Ислам и Россия. — «Отечественные записки», 2003, № 5.

**Т**олстенный номер «Отечественных записок» почти целиком посвящен этой горячей теме. Любознательный читатель найдет здесь немало полезных сведений — о направлениях в современном исламе, о цивилизационных особенностях мусульманского мира, о шариате и т. д. Но вот что характерно (для данного номера «ОЗ», как и для всего нашего стремительно разбухающего исламоведения): все подходы к теме — чисто научные. Вроде бы живем мы в стране, большинство жителей которой считают себя православными, а между тем в журнале нет ни одной статьи, в которой тот или иной вопрос освещался бы с христианской точки зрения, хотя помещены отрывки из работ некоторых исламских фундаменталистов.

Наука не может объять необъятное. Удивительно ли, что уже во вводной статье ислам характеризуется как «ускользающий объект». Так ведь и «родное» христианство (которое «для эллинов безумие»), если подойти к нему с научными «объятиями», ровно в такой же степени окажется «ускользающим объектом».

Это, конечно, не значит, что научные статьи на данную тему вообще не представляют интереса. Во всяком случае, так нельзя сказать о статье Шарифа и Рустамы Шукуровых «Выпрямление времени», которая даже весьма интересна сразу в нескольких отношениях.

Однажды я осмелился написать, что российское мусульманство — слабая во всех смыслах периферия мусульманского мира; более подробно высказываться об этом я посчитал для себя нетактичным. Что тут поделаешь, есть края, где произрастает только убогая колючка, и есть такие, где цветет благородный миндаль; можно утешиться тем, что в каком-то смысле первые «не хуже» вторых.

Но вот Шукуровы (судя по фамилии и по именам — «этнические мусульмане») пишут о том же без всяких обиняков. Написанное заслуживает пространного

цитирования: «На территории... современной России, увы, не существовало таких блестящих центров исламской культуры, как Бухара, Самарканд, Исфаган, Дамаск, Багдад, Каир, Фес, Кордова. Не было того мультирелигиозного и мультикультурного пространства города, где возникает и набирает животворные силы подлинный ислам. Центральная часть России и Северный Кавказ, обретя вероисповедные основы ислама, в течение средневековой эпохи не успели построить самостоятельную городскую культуру, сравнимую с культурами городов Ближнего Востока, Средней Азии, Ирана, Турции, Индии, Пакистана и даже — Индонезии и Малайзии. Древний Булгар, а затем Казань — периферийные города, лишь опосредованно связанные с цивилизованным мусульманским миром. Мы не знаем ни одного великого исламского богослова, философа, поэта, архитектора, миниатюриста, который бы жил и работал на территории современной России. Исламу в России всегда не хватало городского пространства, пространства идей и пространства их воплощения». И далее: «По этой же причине в России нет (и, вероятно, не скоро будет) систематизированной исламской теологии мирового значения, нет подлинной своеобразной исламской философии, поэзии, всего того, что составляет существо культуры ислама». *Ipsi dixerunt*, «сами сказали».

Если северокавказское и волжско-камское мусульманство — это, так сказать, фланговый заход мусульманского мира, то Русь — это фланговый заход христианства (его крайний «левый фланг» напротив крайнего «правого фланга» мусульманства). С прямо противоположными результатами в культурном плане. На протяжении XIX — начала XX века Россия, если иметь в виду ее высокую культуру, стала вровень с ведущими европейскими нациями. Для наших мусульманских интеллигентов это был неоспоримый факт: они охотно признавали громадное культурное превосходство России и сами себя называли ее благодарными учениками.

А вот Шукуровы этого факта признавать не хотят. Более того, их представление о России — исключительно негативное. Они цитируют Розанова, якобы повторившего, вслед за Достоевским, что если народы и «сторонятся» перед русской тройкой, то — «от отвращения, от омерзения»<sup>1</sup>.

Но эти слова можно посчитать относящимися к советской эпохе; а к современной Достоевскому и Розанову России они могут быть отнесены лишь постольку, поскольку она уже была беременна семнадцатым годом. Делать из них исчерпывающую характеристику России на протяжении всей ее истории — верх необъективности. Это во-первых, а во-вторых, чтобы повторять приведенные слова (в качестве национальной самокритики), надо, извините, самому быть этнически русским или хотя бы идентифицировать себя как русского.

Насколько я могу судить, такая русофобия характерна сегодня для значительной части интеллигентов мусульманских корней. Те из них, кто не замыкается в своем исламском прошлом, но устремлен к Европе, реализуют свои устремления через голову России. Можно, конечно, сказать, что это законная расплата — за советское безвременье. Но ведь советское безвременье не аннулирует былые взлеты. И с другой стороны, не все же оно у нас умертвило: спаслись под пеллом какие-то искры.

Из факта культурной неравноценности в составе России собственно русской и мусульманской ее частей вытекает и такое следствие: влияние второй на первую было относительно незначительным. Позволим себе на минуту игру воображения. Что было бы, если бы, допустим, Астраханское ханство по уровню культуры могло сравниться с Гранадским эмиратом (кстати, сдавшимся испанцам всего за несколько десятилетий до того, как Астраханское ханство сдалось русским) — так же славилось бы на весь мусульманский (по меньшей мере) мир своими университетами и поэтическими кружками? Наверное, в этом случае восточные, точнее, мусульманские мотивы в русской литературе и искусстве были бы гораздо более ощутимы<sup>2</sup>. Как это произошло в Испании — стране, где тоже имело место многовеко-

<sup>1</sup> Слова, которые имеют в виду Шукуровы, принадлежат прокурору в «Братьях Карамазовых», персонажу отнюдь не «авторскому», а скорее сатирическому; Розанов же вовсе не соглашается с этим мнением, а итожит его словами: «Ничего, барин... вызволимся как-нибудь». Еще одна натяжка авторов статьи.

<sup>2</sup> Самое известное произведение на мусульманскую тему, «Подражания Корану» Пушкина, есть гениальная попытка «вчувствования» в иную, «чуждую» религию, культуру, с которыми почти нет непосредственного соприкосновения.

вое сожительство христианского населения с мусульманским, но мусульманская часть превосходила соперников на поприщах наук, искусств и ремесел.

В статье Александра Игнатенко «Маджнун и Дон Кихот — архетипические сумасшедшие, или Чем отличается исламская культура от западной» утверждается, что именно в Испании произошел шок от столкновения двух культур — исламской и западной. Согласно Игнатенко, две культуры смотрятся друг в друга, как в зеркало: западная движется от слова к образу и далее к проективным фантазиям, а более чувственная исламская, наоборот, — от образа (выраженного, впрочем, словесно, в условиях запрета на изобразительные искусства) к общим представлениям. Дон Кихот — безумец-*текстовик*, выдумывающий себе Дульсинею и превращающий ее в объект своих желаний. Маджнун («сквозной персонаж мусульманской поэзии»), напротив, страстно влюблен в живую, конкретную Лейлу, которая получает свое бытие в тексте (следовало бы сказать точнее: в образе Лейлы или, еще точнее, «сквозь» образ Лейлы ему открывается высшая реальность, далеко превосходящая саму Лейлу).

Это интересная концепция, хотя кое в чем и спорная. Бесспорно одно: «Дон Кихот» написан в ситуации мысленного (или мысле-чувственного) диалога с культурой ислама. Я не так давно перечитал эту книгу, быть может самую великую из тех, что были созданы в Европе (вспомним оценку Достоевского), и тоже ощутил, что у автора был незримый, как правило (хотя в отдельных случаях явно проступающий), собеседник в чалме.

Россия впервые соприкоснулась с центрами высокой исламской культуры только тогда, когда были присоединены Бухара и Самарканд, но, во-первых, они уже пришли в глубокий упадок (а Россия, как и Европа в целом, была на подъеме), а во-вторых, это произошло довольно поздно, так что русская (дореволюционная) культура просто не успела их «освоить».

Зато Россия не знала того накала борьбы с исламом, до которого довела себя (или была доведена) Европа (и не только Испания). В таком грандиозном столкновении двух миров, как крестовые походы, русичи ни сном ни духом не участвовали; единственный раз они почувствовали себя задетыми в 1204 году, когда крестоносцы обратили оружие против Византии.

Лишь много позднее и только в культурных отражениях (то есть именно сном и духом) русские были «вовлечены» в эпопею крестовых походов. Когда у нас в XIX веке читали «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо или «Талисман» Вальтера Скотта, то идентифицировали себя понятно с кем.

Реальным извечным врагом России была Дикая степь, но там кочевали язычники. И когда оттуда припожаловали Чингизиды, они показали себя врагами равно христиан и мусульман; великие центры мусульманской цивилизации претерпели от них едва ли не больше, чем Киевская Русь. Последующая же исламизация Орды была слишком поверхностной и ничего существенно нового в ее противостояние с Русью не внесла.

И поход Ивана Грозного на Казань и далее вниз по Волге отнюдь не был крестовым походом. Его целью было обезопасить московские земли от татарских набегов и заодно прихватить «подрайской землицы»; религиозные соображения тут играли второстепенную роль. Последующие гонения на ислам, да, имели место, но они не были такими, о которых говорят, что они оставляют незаживающую рану; во всяком случае, в предреволюционные годы татары и башкиры о них почти не вспоминали.

Эпическое значение для обеих противоборствующих сторон имела длительная Кавказская война, сильно и ярко отразившаяся в русской литературе. Но и кавказская война, как известно, не может быть отнесена к числу религиозных. Горцы отстаивали свою самобытность, а в исламе они, как правило, находили просто помощника в этом деле. (Лермонтов о типичном горском ауле: «Его мечеть на поле брани».) Русские, со своей стороны, выступали не столько под знаком креста, сколько под знаменем цивилизации.

Наконец, в советское время и православие, и ислам были настолько у нас втоптаны, что должно пройти еще какое-то время, чтобы можно было всерьез говорить о подлинном их возрождении.

Поэтому и в нынешнем «столкновении цивилизаций», мусульманской и «христианской», россияне *пока что* выступают не столько в роли участников, сколько заинтересованных наблюдателей. Чечня в этом смысле ничего особенно не меняет. Как и в позапрошлом веке, мятежные чеченцы хотят быть независимыми от России, а ислам имеет для них скорее «инструментальное» значение (их шахидаки — это, по-видимому, мстительницы за погибших близких; подлинный *шахидак*, притом в массовом исполнении, продемонстрировал Иран в период ирано-иракской войны).

Пока что ломка дров идет *там*, а к нам только щепки летят.

Второе, что характерно для всех авторов данного номера «ОЗ» (исключая, естественно, исламских фундаменталистов): принимается как аксиома, что западный путь — единственно правильный или, во всяком случае, единственно возможный; задача мусульманства, с их точки зрения, в том, чтобы научиться идти в ногу с Западом — «модернизироваться». А не хотят «модернизироваться» те, кто щелкает зубами на западный пирог, не будучи в состоянии его достать; это плохие мусульмане, террористы.

Совершенно выпадает из поля зрения суть исламского вызова, его в некотором смысле плодотворность для Запада.

Между прочим, уже было время, когда мусульманский Восток пытался попасть в ногу с Западом — в грубом определении это первая половина XX века. Образовательные учреждения реформировались по западному образцу, элиты учились играть в крикет и танцевать фокстроты, а «белые жилеты» в каирских и тегеранских кофейнях обсуждали как первостепенные новости, вычитанные в английских и французских газетах. Запад был не только сила, Запад был само обаяние. Истинные мусульмане в те времена старались просто не поднимать глаз от четок.

Удивительно пророчество Бунина, основанное на его ближневосточных впечатлениях и прозвучавшее тогда, когда еще «все было тихо»:

И восстанет Ислам, как самумы пустыни,  
На священную брань!

В этих строках звучит если не сочувствие (самумам русский европеец Бунин не мог сочувствовать), то во всяком случае понимание: ислам не может, не должен допустить того пренебрежения уходящей в небо вертикалью, которое чем дальше, тем больше демонстрировал Запад.

Мусульманский мир сохранял «запас» религиозности, по большей части уже растраченный на Западе. Какое-то время он сохранял его даже в условиях СССР, где ислам, как религию «угнетенных наций», поначалу старались не слишком задевать. Когда на российских просторах гулял «радостный» клич «Крой, Бога нет!» и «Ура, все черти сдохли!», в Средней Азии еще действовали (до конца 20-х годов) шариатские суды. Для наиболее проникательных русских, пусть даже советских людей не прошло незамеченным, что мир ислама — это не одна безнадежная «отсталость», что в нем есть «нечто», способное произвести впечатление. Интересна в этом смысле «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьева, быть может, самая яркая книга о Востоке из тех, что написаны в советское время. Она как будто отвечает требованиям победительной советской мифологии, а в то же время в ней ощущается (по крайней мере во 2-й части) скрытая религиозность автора, пробудившаяся (или поддержанная) благодаря столкновению с «неподвижно» благочестивым миром мусульманского Востока.

Поворот к воинствующему исламу вызван не только и, может быть, даже не столько активизацией широких масс, сколько переменой в умах мусульманской интеллигенции. Которая была ускорена переменами на самом Западе, а именно усилением упадочных явлений (особенно с конца 60-х годов), что в сочетании с растущей неуправляемостью технических систем вполне может привести к гибели западной цивилизации в ее нынешнем виде. На самом Западе такую возможность не отрицают, а на уровне художественного вымысла даже и смакуют; Голливуд, например, все чаще рисует апокалиптические картины повального разрушения и одичания. Но почему-то *vis-à-vis* с мусульманским Востоком о такой перспективе напрочь забывают и ждут от него, что он непременно должен пристроиться в хвост Западу.

Может быть, потому, что именно оттуда, с мусульманского Востока, раньше времени может прийти смерть? В самом деле, попрятавшаяся по убежищам, но всегда готовая к бою стотысячная армия «Аль-Каиды» рано или поздно способна учинить такие разрушения, которые окажутся «непоправимыми», beyond repair.

Но террористическая война — извращение исламского вызова, «выпуск паров», который самим мусульманам в конечном счете ничего хорошего не принесет. Естественно, что у многих (хочется думать — у большинства) мусульман терроризм вызывает осуждение; некоторые из них при этом спешат пролить масло на бурные волны, утверждая, что ислам вообще никакого вызова в себе не заключает. Так, пуганные исламские иерархи России повторяют (в частности, на страницах рецензируемого номера «ОЗ»), что ислам несет с собой мир и любовь и никого и ничего не задевает. Это, конечно, не так.

Другие мусульмане, ориентированные на Запад, изобретают некий подслащенный ислам, легко совместимый с западными порядками. Но такой ислам не пользуется большим успехом даже среди тех мусульман, что живут на Западе.

Реальный исламский вызов существует в двух глубоко отличных вариантах. Первый из них назовем мнимо-позитивным — это ваххабизм, жизнь строго по шариату. На практике ваххабизм часто перетекает в агрессивный исламизм; во всяком случае, именно ваххабиты поставляют кадры для террористических организаций. В принципе, однако, возможно существование ваххабитских общин, которые были бы совершенно аполитичны и жили бы своей замкнутой жизнью, отгородившись (в той мере, в какой это вообще может быть реализовано) от остального мира.

Заметим, что, по мнению ряда авторов (и в их числе авторов «ОЗ»), есть высокая вероятность того, что в перспективе российское мусульманство пойдет именно по пути ваххабизма, сделавшись, как пишут те же Шукуровы, «форпостом невежественной воинственности». Можно также допустить, что усилится приток «этнических русских» в ислам, притом в ислам как раз ваххабитского типа, выступающий у нас как «заместитель» почти иссякнущего старообрядчества. Принцип, на котором стоял раскол, — «режь наши головы, не тронь наши бороды» — сегодня близок именно ваххабитам.

В этом случае реализуются неоднократные видения Н. Клюева (вроде такого: «Сойдутся вятич в тюрбане, / Поморка в тунисской чадре»), которому почему-то чудилась близость ислама к «олонецкой серой избе». Кстати, в столице бывшего Олонецкого края Вологде сейчас выходит журнал «Иман» («Вера»), который распространяется также и среди русских.

Действительно позитивный исламский вызов состоит в попытке выстроить цивилизацию, по многим признакам альтернативную западной. Если в египетских университетах ученые мусульмане трудятся над созданием «исламской науки», то к их усилиям, я полагаю, надо отнестись серьезно (благодаря Куну и Фейерабенду мы знаем, что науки не только имеют универсальное содержание, но и несут на себе отпечаток культур, в рамках которых они развиваются). Если в глубинной Турции возникают поселения, служащие образцом опрятной бедности, то это тоже интересный опыт; недаром его уже «взяли на карандаш» западные дизайнеры. Может статься, что в наступившем веке не бедные будут «догонять» богатых, а, наоборот, богатые окажутся вынужденными пойти по пути самоограничения; дизайн способен облегчить этот путь и эстетизировать его.

А «что скажет нам, наконец, великая Персия?» — как вопрошал еще К. Н. Лентьев. Шийтский Иран (о чем я уже писал в «Новом мире») более других подает надежды в перспективе обновления цивилизации. Здесь искони было развито творческое воображение. И здесь могут явиться дерзновенные, кого

В свои объятия примет Азраил  
И поведет тропюю, разрешенной  
Для демонов, пророков и светил.

(Азраил у мусульман — ангел, уносящий души в рай; демон в приведенных строках Н. Гумилева — творческий «даймон» греков.) Залогом тому — великие достижения мусульманской цивилизации в первые века ее существования.

Тогда вернуться времена, когда Запад не только учил мусульманский мир, но и сам чему-то учился у него (еще в XVII веке европейцы, посещавшие Персию, отмечали у персов завидную любовь к наукам, особенно к математике, хотя в то же время корили их за недостаточное религиозное усердие). И пусть тогда «христианский мир» испытает здоровую ревность, которая подвигнет его на какие-то новые свершения.

При том, что христианство останется христианством, а ислам исламом. Есть дубы, которые растут розно стволами, но сплетаются корнями и ветвями.

А террористическая война в этом случае угаснет сама собой. Сосредоточенность на позитивном содержании религии ведет к тому, что борьба со злыми духами, реальными или мнимыми, отходит на второй план — потому что злые духи отступают сами.

Юрий КАГРАМАНОВ.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА

+6

**Нина Андреева. Меньше знаешь, лучше спишь. СПб., ИД «ВЕСЬ», 2003, 96 стр.**

Всему свое время. Сну и бодрствованию. Принципам и беспринципности. Жаворонкам и совам... Перед нами, вероятно, очень своевременная книга; на тему о том, куда вообще пропадают принципы. Оказывается — в сны, в сюр. В стародавние времена питерские андеграундщики на кухнях решали проблемы мироздания. Теперь же, если верить Нине Андреевой, они то ли повывелись вовсе, то ли перестали обсуждать роковые вопросы «Кто виноват? Что делать? И как сделать так, чтобы ничего не делать, но все было». Как завязтые сюрреалисты, нынешние кухонные посидельщики говорят — о сне. А что? Жизнь, так сказать, есть сон. Мы сотканы из вещества того же... Спице спокойно, граждане Риги. Умереть... Уснуть... И тому подобное. В этой полезной книжке рассматриваются нетривиальные проблемы храпа, места для сна, количества подушек и т. п. Приводятся ценные сведения; о том, например, что Декарт с Гоббсом чуть ли не жили в постелях, а последний даже записывал свои идеи на простынях и собственных бедрах... Причем подробностей на 96 страницах ровно столько, чтобы, в соответствии с названием книжки, не знать слишком много и спать как можно лучше. Нас извещают даже, что книга напечатана «на экологически чистой бумаге» — вероятно, чтобы ее читатели спали еще спокойнее. В конце концов, как справедливо напоминает Андреева, Илья Обломов «провел в постели большую часть своей жизни». (И ударение тут нужно ставить, кажется, на «о».) А боязливый Обломов — это наше все. Или по крайней мере та немалая наша часть, которая робко избегает «необходимости встречаться со сложностями дневного мира».

**Фредерик Тристан. Во власти дьявола. Роман. Перевод с французского И. В. Галиной. М., «АСТ», 2003, 205 стр.**

А за житейскими страстями мы по привычке отправимся во Францию. И не только за страстями без тормозов, но и за прозрачной ясностью разума, способного тонко дефинировать добро и зло. ...Плодовитого французского мастера, лауреата Гонкуровской премии Фредерика Тристана издают почему-то не столько в России, сколько по соседству, в Киеве и Львове. Там вышли минимум четыре его романа («Героические злоключения Бальтазара Кобера», «Мастерская несбывшихся грез», «Заблудшие души» и «Загадка Ватикана»). Есть у нас круги, в которых Тристан считается опасным вольнодумцем. На одном из религиозных сайтов Рунета его



объявили «антиправославным писателем» <<http://www.pravoslavie.ru/jurnal/alterorth.htm>> (вместе, заметим, с Умберто Эко: допрыгались, голубчики!). В этом есть особый шарм, если учесть, что Тристан — еще и специалист по «палеохристианской иконологии». С другой стороны, Тристана числят и в гуманистах-космополитах (украинский эксперт Людмила Бублик охотно солидаризируется с тональностью Тристановой прозы, как она ее понимает: «Усі ми — гості на одній планеті, в одному житті. Жодна з націй, жодна з рас, жодне віросповідання не може бути вищим, головнішим. Немає такого права, за яким хтось може розпоряджатися чужим життям»). Все эти аттестации, впрочем, не весьма себя оправдывают при обращении к вышедшему в Москве роману. Даже и его название скорее обманывает, чем вводит в курс дела, поскольку обещает что-то из области откровенного масскульта. На самом деле перед нами изысканная парижская вещица, выполненная в лучших традициях французской литературной геометрии. Проза Тристана почти формульна. В ней есть математическая безупречность. За ней видна богатая, многовековая традиция прикладного душеведения, различения и виртуозного словесного оформления движений человеческой души, расходящая разом и к практике исповеди, и к французским аналитическим литературным опытам тех последних столетий. Писатель искусно соединяет затейливые вариации на донжуанский мотив с темой театральной иллюзии, переходящей в жизненную безусловность и возвращающейся обратно. Остро отточенным карандашом вычерчена тонкая линия повествования, по ходу которого игра и страсть сведены на очной ставке с нормой морали. По итогу поединка зла и добра зло примерно наказано. Но не покажется странным, что оно выглядит у Тристана чертовски обаятельным. Есть даже впечатление, что с носителем зла, театральным режиссером Натаниелем Пурваньшем (урожденным Альбером Прожаном), Фредерик Тристан (урожденный Жан-Поль Барон) поделился чем-то очень личным. Писатель отчасти деформирует схематику торжествующей невинности и наказанного порока подозрениями в том, что позади схем и логики дремлет дикий хаос, а в жизни художника к тому ж так зыбка грань между искренностью и притворством. Во всяком случае, Тристан не разрешает, конечно, парадоксальную проблему «красоты зла», а лишь добросовестно разрушает козни артиста-искусителя, противопоставив им честный морализм простых, надежных людей. Снимает противоречия писатель посредством торжества сострадания, жалости жертвы к злодею. И в этой умной, рафинированной прозе такой поворот интриги кажется неизбежным, как и все, впрочем, остальные.

**Харри Мулиш. Зигфрид. Черная идиллия. Роман. Перевод с нидерландского С. Князькова. М., «Текст», 2003, 206 стр.**

Дьявол Тристана — всего лишь метафора. Иначе у голландца Мулиша. Его опыт проникновения в суть вещей и в природу человека искрит сакральными брызгами. Темы его романа — преодоление табу на ужасные воспоминания и риск постижения зла. Центральная фигура фантазмагории Мулиша — Гитлер. Его пытается понять старый писатель Гертер, с ним связан поток воспоминаний, в котором барахтаются старички из венского дома престарелых, когда-то личные слуги Гитлера. В романе приоткрывается черный исторический подвал, старики, десятилетия хранившие страшную тайну, перед смертью решили высказать ее заезжему писателю. Писатель, узнав секрет, умер... Прошлое — отравы, смертоносный напиток. Встреча со злом и познание зла губительны. Таков мрачноватый вывод Мулиша. Теперь о том, что за тайна имелась в виду и что узнал о зле писатель Гертер. У Гитлера и Евы Браун, если верить исповеди ветхих очевидцев, был сын, которого Гитлер распорядился убить, заподозрив Еву, что у той не все в порядке с предками и в жилах ее течет еврейская кровь. Поверивший в это Гертер приходит к выводу, что Гитлер — это, буквально, воплощенная мысль Ницше и — буквально же — Ничто, которое, самоутверждаясь, уничтожает все живое вокруг себя, включая своего ребенка и себя самого. «Он был ходячей бездной <...> вакуумом, всасывающим в себя окружающих и таким образом уничтожающим их». Гертер сопоставляет Гитлера с черной дырой и нулем в числовом ряду, отождествляет его с дьяволом. Да уж, тут не до сна... Кстати, в Сети можно найти признания Мулиша, фиксиру-

ющие болевую точку его личных семейных воспоминаний: «Мой отец был офицером в армии Австро-Венгрии. Позже он эмигрировал в Голландию. Он не был военным преступником, не был нацистом, но он был коллаборационистом. Он был женат на еврейке, но развелся с ней. Иначе он не смог бы сотрудничать с нацистским режимом. Я жил у отца в Гарлеме, примерно в 20 километрах от Амстердама, а моя мать жила в Амстердаме и носила желтую звезду. После войны мой отец был отправлен на три года в лагерь. Но если бы он не сотрудничал с нацистами, то моя мать не осталась бы в живых. А она жива и по сей день. Нацисты ее арестовали, но поскольку у отца были хорошие связи с оккупационными властями, он добился ее освобождения. Иначе она была бы отправлена в Освенцим, как это произошло с ее матерью. Все это — ирония истории. Я могу сказать только одно: то, что мой отец сотрудничал с нацистами, было плохо, но если бы он этого не делал, то моей матери не было бы в живых».

**Майлз на Гапалинь (Бриан О'Нуаллан).** Поющие Лазаря, или На редкость бедные люди. Скверный рассказ о дурных временах. Перевод с ирландского А. Коростелевой. СПб., «Симпозиум», 2003, 176 стр.

Вот еще один фронт творческого риска: национальная самокритика, блещущий перлами остроумия сатирический рассказ о «простых» ирландцах в исполнении ирландского писателя Бриана О'Нуаллана, любившего публиковаться под псевдонимами. Не удержусь от того, чтобы сначала заметить, что роман отлично переведен. Книга написана еще в 1941 году и до нас дошла с огромным опозданием, несмотря на то что по крайней мере одним параметром хорошо укладывалась в советский стандарт переводной литературы: умерший в 1966 году автор повествует о нужде и бедствиях ирландских крестьян под гнетом, так сказать, британцев. Зато другие параметры этой прозы ни в какой канон не лезут. Ее автор утрирует и даже доводит до абсурда характерные черты национального характера и образа жизни, обесмысливает все, что претендовало на статус героики и национальной романтики, создавая гротеск салтыков-щедринского и одновременно андрей-платоновского стиля. Эта «деревенская проза» паразитирует, так сказать, и на знаменитом ирландском эпосе, и на тамошних романических хрониках, претворяя пафос в юмор и не оставляя, кажется, камня на камне от мифологемы здорового простонародья, коренного, низового народа. В романе возникает масштабный образ внеисторического прозябания, где нищета бытовая гармонирует с нищетой духовной, со скудостью строя жизни, принятого за норму. Живут в грязи и вони, пьют и воруют, лентяят и вредят друг другу. Воспевают несуществующие доблести. Правда, хитроумный писатель оставил себе лазейку: у него рассказ о себе ведет придурочный паренек. На героя и можно переложить ответственность за непочтительные выпады и гротескные картины. Бриан О'Нуаллан не дорожил личной точкой зрения и предпочитал, возможно, быть медиумом неведомо где и как зародившихся стилей и форм. В послесловии современного дублинского критика Брендана О'Конайре приводится его мысль: автору не следует писать под своим собственным именем, автор не субъект, а функция, и вообще нужно почаще менять маски, терять и находить себя. И все-таки, как свидетельствует О'Конайре, книга вызвала немало шума. Далеко не все захотели простить автору гротескную условность его образов, обобщающих ирландский способ жизни... Ирландский контекст нам не близок, созвучия случайны. Ввиду реально существующей культурной дистанции близко к сердцу принимать эту сатиру трудно. Иногда смешно, но смеяться над чужим как-то странно. Иногда почему-то даже горько, но не поймешь почему. И все-таки возникает впечатление, что такая сатира — свидетельство здорового, бодрого состояния национального духа. Со времени выхода книжки прошло немало лет, а Ирландия и ирландцы никуда не делись. Целехоньки. Возникает подозрение, что книга разрушила то, что нужно было разрушить, и укрепила все остальное. Как это обычно и делает хорошая сатира. «Прополкой сорняков» называет это О'Конайре. И с ходу ударяет в голову, что яркой национальной (именно национальной, а не социальной) художественной самокритики давненько не видели мы в русской словесности. Отчего это так? То ли болезни наши неисцелимы, то ли врачи слишком

бережны? Или нам просто ближе по свойствам русской души сентиментальный уклон (чуть что — сразу в слезы)?

**Джеймс Морроу. Библейские истории для взрослых. Роман. Перевод с английского С. А. Прилипского. М., «АСТ», 2003, 237 стр.**

**Джеймс Морроу. Единородная дочь. Роман. Перевод с английского И. В. Демичевой. М., «АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2003, 416 стр.**

Трудно говорить о человеке. О нации. Трудно говорить о Боге. Но Морроу идет дальше даже Мулиша. У него, например, божественная девочка рождается от Бога и человека. «В первый день сентября 1974 года у одинокого еврея Мюррея Джейкоба Каца родилась дочь» — так начинается роман «Единородная дочь». Кац подрабатывает донорством спермы, и дочь рождается у него из пробирки в результате своего рода непорочного зачатия. «Джули из пробирки» и есть Бог. Ее рождение знаменует второе пришествие. Итак, воспроизводится евангельский сюжет о приходе в наш мир, казни и воскресении Спасителя. Вообще, Бог — едва ли не главный герой прозы американского писателя и журналиста. Притом Морроу не делает вид, что знает о Нем что-то особенное. Его проза — это умозрительная литературная фантастика экспериментального типа. Он осознанно и последовательно фантазирует по канве Библии. Пересказ библейских сюжетов, их трансплантация в современный мир — его метод. И еще: манера повествования у него — шутивно-ироническая, с уклоном в сатиру. Он называет своими учителями Свифта, Оруэлла, Марка Твена, «главным идиолом» — Вольтера. Вот основания для того, чтобы обвинить прозаика в кошунстве или приветствовать его богоборчество. Тем более, что и сам Морроу не затрудняется в афористических самоаттестациях вроде вот такой: «Думаю, что Бог поместил меня здесь, чтобы я привел доказательство против его существования». Свои произведения писатель назвал научно-фантастическим ответом Ветхому и Новому Завету. А один из отечественных рецензентов пишет об «Единородной дочери» так: «Американский шестидесятник, „интеллектуальный бунтарь” Джеймс Морроу выдал на-гора яростный антиклерикальный памфлет с элементами еретического трактата, антиутопии и научной фантастики». Мне кажется, эти характеристики бьют в основном мимо цели. Морроу размышляет не столько о Боге как таковом, сколько о людях, о современном мире. Сатира Морроу предельно актуальна и сфокусирована на изъянах современного образа жизни. В одной из историй в наказание за гордыню Бог вернул людям единый язык (таксист-растаман, швейцар-африканец, ирландский националист, итальянский продавец, корейка-контролер — все начинают говорить на университетском английском), но это привело не к объединению, а к еще большему разделению людей, лишившихся «защитного слоя» умолчаний. Обернув таким образом историю о Вавилонской башне, писатель получил аналогичный результат. «Ай да Я. Ай да умница. Ай да сукин сын. Думаю, именно поэтому Я и получил эту работу».

**Володя Тейтельбойм. Два Борхеса: Жизнь, сновидения, загадки. Перевод с испанского Ю. Ванникова. СПб., «Азбука», 2003, 448 стр.**

Личность — это скандал. И чем круче ее замес, тем огненнее ее сполох. Так кажется иногда — и даже читая книгу, которую о постмодернисте написал коммунист. Оба они оказываются далеко не таковы, как можно было предполагать. Я помню Володю Тейтельбойма еще по телекадрам советских времен, когда он, крупный функционер Компартии Чили, стоял для меня в одном ассоциативном ряду с самыми банальными функциями тогдашней унылой системы — Брежневым и Хонеккером. Это соседство в моих глазах сильно скомпрометировало тогда чилийца. Но прошла тысяча лет, и явился другой человек. Ангажированный, но отнюдь не узкокольный идеалист, достаточно свободный, чтобы не пичкать нас догмами, и достаточно гуманный, чтобы любить писателя, который страшно далек от него по идеям и настроениям. И теперь я не знаю, то ли Тейтельбойм всегда был таким, то ли он все-таки стал мудрее... Да, Тейтельбойм помнит, что в то время, как он — «агент Москвы» — бежал из Чили, спасаясь от репрессий, Борхес в Чили приехал —

поблагодарить Пиночета за его благородный меч, пресекавший коммунистическую экспансию на континенте. Но это не мешает автору книги подробно вникать в личностный опыт художника. Может, он нарочно выбрал антипода, чтобы было интересней? Что касается Борхеса, то... — лучше всего просто прочитать эту книжку, не сильно тормозя на первых страницах, слишком даже обильно нашпигованных аргентинскими реалиями, — вы увидите: никакой он не постмодернист. Это в 60-е тогдашние модники попытались приватизировать его, загнать в гетто мелкой теории. Как тонко замечает Тейтельбойм, «его произведения не производят впечатления холодного совершенства, их гуманизирует внутренний трепет, заключенный в них экзистенциальный вопрос...». В концепцию своей книги член ЦК КПЧ все-таки по инерции заложил мысль о раздвоении героя. Но и эта двойственность в его толковании едва ли связана с модой середины XX века. Есть, полагает Тейтельбойм, великий писатель, художник слова, классик, мастер сложных смыслов, который впервые вывел латиноамериканскую литературу из провинциального захолустья на авансцену мировой культуры, — и есть не весьма мудрый человек. Друг Пиночета. Так обозначенное раздвоение не обязательно принимать в расчет. Реально есть личность незаурядного масштаба. А потому неизбежно у Борхеса в жизни и в книгах были перманентный конфликт с самим собой, экзистенциальные драмы и комплексы, принципиальное бергсонянство с примесью Шопенгауэра, специфические пантеизм и — синхронно — гностицизм, жертвенная рыцарственность («Джентльмены предпочитают проигрышные дела»), вовлеченность в политические боренья (воинствующий антиперонизм) и скептицизм, иронический патриотизм («Родина — плохая привычка»; все аргентинцы — европейцы в изгнании), влюбчивость и неудачи с женщинами... И слепота. И еще, из Борхеса, вдогонку к рассуждениям Мулиша и его героя: «Фашизм необитаем, человек может только умирать за него, лгать за него, проливать кровь и убивать за него». Замечательны в книге эпиграфы из Борхеса к 253 главам этого многостраничного эссе. Замечательно и невольное, между делом воссоздание в слове, в воспоминаниях и характеристиках культурно-интеллектуальной среды Южной Америки. Чего стоит хотя бы рельефный портрет поэта Лугонеса, воспевавшего «Сильное Отечество» и блага военной диктатуры.

### ±3

**Хорхе Луис Борхес, Освальдо Феррари. Новая встреча. Незданные беседы.** Перевод с испанского В. Андреева. СПб., «Симпозиум», 2004, 234 стр.

«Борхес, я бы хотел задать вам вот какой вопрос...» Это записи радиобесед журналиста с престарелым классиком. К тому времени Борхес уже вписан в историю, но пребывает почти что вне эпохи. Феррари, как можно понять, пытался приблизить к своим современникам этого великолепного мастодонта. Большой глубины в беседах нет. Есть повторы. Есть пестрый сор. Выясняется, что и на другом конце света культуре грозит опасность. Но есть в книге и подчас просверкивающий масштаб личности, есть свобода взгляда, есть острые наблюдения. Например, режюме к мечтам о диктатуре рыцарей: пассаж о дружбе военных в Латинской Америке, которая приводит к появлению каудильо, опирающихся на личных друзей, не всегда чистоплотных... Все-таки спасибо Феррари. Не будь его, не было бы и этих бесед. Вот у нас — часто ли радиожурналисты по делу общаются с крупнейшими русскими писателями современности? Существует, конечно, программа Андрея Дементьева, но ему и состязаться не с кем.

**Томас Фогель. Последняя история Мигела Торреша да Силва.** Перевод с немецкого В. П. Позняк. М., «АСТ»; ЗАО НПП «Ермак», 2003, 205 стр.

Увы, книга изрядно попорчена топорным переводом. Быть может, в немецком оригинале и есть у романа музыка, но на русском она почти не слышна. Словно стена встала между нею и читателем. Плюс еще и дефекты эрудиции, столь частые

у современных переводчиков (ими грешат, например, и Ю. Ванников с С. Князьковым). Как вам такой пассаж: «Числа, как полагал Платон, это небесные идеалы»? А ведь в другом месте романа один из персонажей справедливо заключает: «...язык подобен саду, который есть тень души, сотворившей его. Или ты ухаживаешь за ним, или даешь ему одичать. Это так просто». Просто. Но не для всех... Фогель — европеец под Борхеса, с привкусом Павича. Его книга — то ли притча, парабола, то ли просто самодостаточный кунштюк. Дед — рассказчик историй, внук-студент, его учитель и девушка. Материализация слова. Слово и число как инструмент обольщения и средство спасения. История полна испытанных эффектов и вычерчена по немецкой линейке. Но в ней все-таки звучит иногда и более далекое эхо.

**Поэтические встречи: Швейцария в Санкт-Петербурге. Ярославль, «Норд», 2003, 160 стр.**

**Poetische Begegnungen: Die Schweiz in St. Petersburg. Yaroslavl, «Nord», 2003, 160 S.**

Достучаться до ближних и дальних соседей по планете все-таки можно. И даже построить один на всех европейский — здарсьте, М. С., — дом. Вот первая «в истории» попытка свести вместе молодых русских и швейцарских (немецкоязычных) поэтов. Стихи на двух языках, немецком и русском, в оригинале и переводе. С русской стороны — Дина Гатина, Андрей Родионов, Александр Анашевич, Кирилл Медведев, Игорь Жуков, Наталья Ключарева и Дмитрий Воденников. Вывода два. Первое. Я не поклонник вообще такого безразмерного, вязкого бормотанья, в каком бултыхается большинство авторов сборника. Мне больше по душе (если говорить о молодых поэтах России) упругая и лаконичная муза Игоря Белова, Ивана Волкова, Ивана Овсянникова и Сергея Козловского, Нади Папорковой и Аси Беляевой... Второе. Как ни странно, на немецком языке вот такая поэзия, какой она представлена в сборнике, выглядит убедительнее. Не знаю почему. Возможно, прописные буквы, с которых начинаются там существительные, строят более внятную вертикаль смысла. Или дело в том, что там отчего-то менее важны глаголы. Но это гипотезы. Не гипотетична же халтура автора предисловия Вячеслава Курицына (жив курилка?): много банальностей и почти нулевой смысл. Курицыну не отказывает чувство текста. Но он легко пренебрегает очевидным ради того, чтобы ботать на своей старой постмодернистской фене и по-прежнему делать вид, что в свете самой передовой теории, агентом по распространению которой и служил Курицын, автор перманентно умирает. Я согласен, *автора Курицына* давно, быть может, нет, но это вовсе не повод хоронить юные дарования. Милости прошу, а не жертвы. И вообще, хватит уже *впаривать* нам залежалый, протухлый товар. *Завязывай, Славик.*

## —1

**М. Ю. Савельева. Лекции по мифологии культуры. Киев, Видавець Парапан, 2003, 272 стр.**

В советскую старину мне, наверное, не очень повезло. Все книги тогдашних киевских философов, которые попадались мне в руки, поражали даже в том контексте почти абсурдной аккумуляцией схоластического квазимарксоидного бреда. Они писались не для чтения, а как вещь в себе. Это был впечатляющий памятник вырождению философии в «совке». Прошли годы. Но киевская схоластика жива, и в этом убеждает книга киевлянки, доктора философии и профессора Марины Савельевой. Хотя автор на фотографии молода и прекрасна (да и непреклонный возраст ее вычислить нетрудно, учтя, что Киевский университет она, как извещают читателя, закончила в 1986 году), хотя темы написанных ею книжек звучат свежо («Надкультурное», «Біблія. Спроба прочитання», «Введение в метатеорию сознания»), хотя... А впрочем. Я взял книгу в руки с лучшими намерениями. Как-то так: облагородить глубиной научной мысли мои нехитрые прожитки. И что увидел? Энциклопедию общих мест, модных имен, банальных утверждений, набор фраз, к которым трудно как-то осмысленно отнестись... Например: «*Конечной целью челове-*

*чества во все века была цель выживания и потребления».* Или: «Современная культура даже Бога сделала частью самой себя. Он уже не непредсказуемый Абсолют, пути Которого неисповедимы. Теперь Он — только *воплощенная любовь*, то есть то, чего от него всегда ждал и ждет человек» (курсив автора). Кто как, а вот я не знаю, как включить эти суждения в сферу моего сознания. И не только потому, конечно, что «Он» получает и теряет большую начальную букву в пределах всего одного предложения... Трогает, но не растрогает и попытка автора найти в «рамках диалектико-материалистической традиции» «методологическую „оппозицию”» в лице Бахтина, Лосева, Аверинцева, Лихачева, Библиера, Бибикина, Мамардашвили, Лотмана. Список отличный. Но при чем тут *диа-матка*?. Метатеория культуры есть миф — таков главный пункт киевского философа. Ну да, если над этим тезисом подробно задуматься, то можно снять все претензии к книге. Но можно и не снимать. Где-то Савельева пояснила, что к мифам нужно относиться равнодушно, тогда, и только тогда они умирают сами. Вероятно, то же относится и к неудобоваримой философской прозе.

## КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

### ДВОЕ

**(1)** За столом, в гостях: случайно заглянул в телевизор, протрезвел и замер. В глубине кадра светилось, переливаясь значениями, женское лицо. До-сматривал не отрываясь. Названия не знаю, сюжет зауряден, актриса — Гвинет Пэлтроу.

Лицо Пэлтроу идеально воплощает идею кино. Оно бесконечно пластично, *плывет*. Расстояние между психологическими полюсами ничтожно: четверть секунды, легкое движение губ и бровей. Пэлтроу похожа на клоуна: плачет, смеется и размышляет одновременно. Иначе говоря, ее лицо без промедления, словно монитор, транслирует так называемый «внутренний мир». Кроме того, лицо Пэлтроу отыгрывает и партнера, и интерьер, и бессмысленный чайный сервиз на столе, то есть отражает противостоящее ей пространство, подобно зеркалу.

Наконец, в-третьих, лицо Пэлтроу *смешивает* внутренние и внешние значения, предьявляет гремущую смесь, точно палимпсест. Лицо великого киноактера — место, где непостижимым образом умещается бесконечный мир. Вот почему *двоих* в режиме диалога, в технологии «восьмерки» достаточно для того, чтобы обеспечить достоверную картину мироздания.

У нас таких актеров уже нет: антропологическая катастрофа, позор. Нынешние наши носят несменяемую личину, транслируют ничем не обеспеченную важность и социальные амбиции, ничего *не отражают*. Поэтому в нашем кино нет большого мира, нет пространства. Будто душевнобольные, общаются сами с собой: смотреть на них неинтересно, тоскливо. Впрочем, жив Евгений Самойлов, чье реактивное лицо «плыло» в картинах Юдина, Пырьева или Довженко не хуже, чем лицо Пэлтроу. Настоящее лицо *больше* идеологии и сюжета, важнее декораций. Повторюсь, фронтальный план лица обозначает пространство, которое лицу противостоит, которое лицо «видит». А значит, с неизбежностью подразумевает *второго*: собеседника, партнера, в этом пространстве размещенного. Ключевая связка, базовый элемент киноповествования.

**(2)** Итак, кроме прочего, крупный план лица — условность, риторическая фигура, маркирующая пространство наррации. Если режиссер целенаправленно избегает фронтального плана лица, значит, он настаивает на том, что фабула не равна самой себе. Значит, режиссер требует от зрителя переосмыслить фабулу в соответствии с той психологической реакцией, которую рождает нетрадиционный способ повествования.

Лента бельгийских братьев Дарденн «Сын» (2002) не вполне то, чем кажется невнимательному «читателю». Ее фабула предельно проста. Главный герой, столяр среднего возраста, пять лет назад потерял сына. То есть навсегда: ребенок был задушен на заднем сиденье автомобиля, когда одиннадцатилетний хулиган попытался украсть из салона приемник. Хулиган не знал о ребенке, ребенок же, как черт из табакерки, вцепился в хулигана и до последнего вдоха не отпустил. Хулиган боялся ареста, в борьбе удачно сдавил горло упрямого малыша, был арестован и отсидел пять лет. Следом за ребенком столяр теряет жену. Обезумевшая от горя женщина выходит замуж за другого, теперь она снова беременна, почти счастлива. Почти.

Наконец, в бельгийское ПТУ, где несчастный *уже не отец* преподает столярное дело, поступает тот самый убийца. Он мечтает о профессии столяра, и после некоторых колебаний герой зачисляет его в свою группу. Вся история. Быть может, разбор этой выдающейся картины стоило бы посвятить отдельный текст. Здесь и сейчас — несколько существенных наблюдений.

Болезнь, смерть и тому подобные *предельные* темы требуют от вменяемого постановщика осторожности. Во-первых, таким темам закономерно сопутствует набор клишированных эмоций. Плохой режиссер не стыдится ими спекулировать, а у хорошего другие цели. Хороший потому и «хороший», что опровергает клише и открывает мир заново.

Кроме того, для психически нормального человека проблематично наблюдать предельный опыт в режиме повседневного комфорта, в режиме досуга. Смерть и болезнь в исполнении упитанных, социально успешных артистов по меньшей мере раздражают. Фабула Дарденнов *вызывающе предельна*, чего стоит навязчивое совпадение: сначала в ученики, а затем и в «сыновья» («Усыновите!») к герою просится его абсолютный *враг*, тот, кто лишил его шанса на биологическое продолжение и тем самым как бы досрочно убил. Герой смиряется, прощает и, скорее всего, усыновит нераскаянного малолетнего злодея. Такое сугубо моралистическое *прочтение* явно недостаточно, и внимательному *зрителю* открывается несколько иное.

Фильм снят подвижной ручной камерой, которая на неподобающе близком расстоянии сопровождает бывшего отца, столяра, практически всю картину. Но самое поразительное то, что по большей части камера снимает плечи и затылок героя! Столяр будто бы убегает, а камера не дает ему ускользнуть, лишь изредка заглядывая в лицо. Конечно, можно предположить, что зрителю предложена точка зрения ангела-хранителя. Это и любопытно, и почетно, и льстит, но вряд ли содержательно: я уже замечал, что ангелы на киноплёнке *не видны*, только люди. Вот и точка зрения должна быть — человеческая, достоверная, земная.

Навязчиво игнорируя лицо, Дарденны ставят под сомнение пространство игрового сюжета, который, кстати, тоже не без подлянок. Почему бы, скажем, не интерпретировать решение столяра обучать врага ремеслу как асимметричный ответ, точнее, месть бывшей супруге, начинающей все заново и с другим мужчиной?! У нас нет никаких оснований походя отбросить эту версию. Она противоречит априорной политкорректной установке? Еще как! Но не авторскому рассказу.

Смотрите внимательно, не вчитывайте в фильм жанровые клише. Вот жена протестует, орет: «Зачем, Боже, зачем?!» А герой лениво отмахивается: «Не знаю!» А вдруг — знает? А вдруг — назло? Мы ни в малейшей степени не посвящены во внутренний мир героя, а «зеркало души», лицо, как уже было сказано, от зрителя пытаются спрятать. К тому же исполнитель роли столяра Оливье Гурме (лучшая мужская роль в Канне-2002) патологически сдержан.

Итак, братья Дарденн целенаправленно разрушают, свертывают пространство наррации. Что же остается взамен? Пространство хроники, документального наблюдения. В игровом кино расстояние до героя, извините за выражение, — семиотически нагруженная условность. Любимый пример: в своей ранней картине «Тени в раю» Аки Каурисмяки акцентировал суверенность персонажей и недостоверность наблюдения из приватной зоны. Влюбленные сближались еще на среднем плане, но короткую фазу поцелуя, которую принято давать крупно, Каурисмяки предложил *уже на общем*, внезапно выбросив камеру в соседнюю комнату, на расстояние двадцати метров. Потому что *повседневный опыт* не подтверждает возможность та-

кого приближения к чужому поцелую, о чем режиссер остроумно и своевременно напомнил. Ветеранам группового секса превентивно возражу: групповуха все же не повседневный опыт, а экстремальный.

А вот вам эстетика документального наблюдения. Здесь иной критерий достоверности. Расстояние, на которое автор приближается к герою, определяется взаимной договоренностью, и только. Никаких повествовательных канонов нет. Кажется, в картине об Александре Солженицыне другой Александр, Сокуров, приближался к объекту наблюдения настолько, что не стеснялся «ковыряться» и в носу, и в ухе доверчивой жертвы. Я бы ковыряться не позволил, но кому они нужны, мой нос, ухо и прочее. Впрочем, если бы кто-то заинтересовался обсудить мою повседневность в категориях неограниченного приближения, может быть, польщенный вниманием человека с киноаппаратом и открывающимися перспективами, я бы все-таки согласился? Может быть.

Другое дело актеры. Специфика их личности в том, что они одновременно люди из плоти и субъекты наррации. Когда актерам предлагают сниматься, актеры соглашаются автоматически. Мало того, что Оливье Гурме снимают со спины. Камера приближается *неестественно* близко. И если приближается не ангел, значит, доверенное лицо «актера». Не анонимный «автор», но два малобюджетных гения, братья Дарденн, виртуозно балансирующие на границе между игровым и документальным.

Важнейший и тоже, как у Каурисмяки, остроумнейший эпизод. Новый ученик еще не знает, что столяр потерял сына по его вине. Ученик проверяет глазомер учителя: «Каково расстояние от моей ноги до того колеса?» Учитель ошибается всего на сантиметр. «А от моей ноги до вашей?» — захлебнулся от восторга ученик. Здесь столяр абсолютно точен: «Метр девяносто четыре». Дарденны лишний раз акцентируют реальное пространство наблюдения, физику и биологию, а не условное пространство наррации, которое, повторюсь, обыкновенно конституируется отсутствующим в этой картине «фронтальным планом лица».

Таким образом, *содержание* фильма радикально меняется! Теперь чрезмерная, литературного происхождения, почти мелодраматическая фабула превращается в некий мерцающий фон иного, антропологического сюжета. Дарденны словно настаивают: если вы пренебрежете фабулой и ходульной морализацией, приобретете нечто большее.

Картина не случайно называется «Сын». Кто этот сын? Задушенный мальчик? Но нам не показали даже его фотографии: а был ли мальчик?! Тогда шестнадцатилетний душитель и вор? Ничего подобного: бесцветный моральный урод вытеснен на периферию истории. Где же тогда пресловутый «сын»? На кого указывает название?

В архаических обществах ребенок всегда считался неким «лекарством от смерти». Осуществляя перенос вещества в будущее, ребенок блокирует ужас биологического конца. Эпизод с беременной бывшей женой необыкновенно важен. Действительно, он выступает в качестве пускового механизма. Столяр вот уже пять лет не отец. Живет один, шансов на продолжение себя никаких. Жена начинает все сначала, он — нет. «Дано мне тело, что мне делать с ним?» Ничего, его похоронят другие, чужие.

История убийства проговаривается ртом. История убийства остается в пространстве наррации, литературы. Камера же неотступно следует за потрепанным сорокалетним мужчиной. Применительно к телу «смерть сына» означает ушедшую молодость самого героя! Давно подмечено, что структурно «отец» и «сын» — две составляющие человеческого существа. Столяр ощутил приближение смерти: это в нем самом умер *сын*, остался только *живой труп*. Именно в этом смысле история героя универсальна. А фабула, простите, искусственна, малотиражна, «вызывает сомнения». Посему, заметьте, никаких флэшбеков, никаких семейных фотографий. «Литература», то есть «недостоверное», — словами, вслух, для самых доверчивых и пугливых. «Антропология», универсальное и повседневное, — для всех остальных.

Напротив, шестнадцатилетний трудный подросток, бестолковый убийца, сожалеющий лишь о том, что потерял в колонии пять лет, *действительно сын*, несмот-



ря на то что не имеет никакого представления о своем биологическом папаше. Расстояние между героями, «уже даже не отцом» и «все-таки сыном», измеряется не только в сантиметрах, но и в годах. Один только что *родился*, другой скоро *умрет*: вопиющая разница психологических установок, страшная правда материального мира, на который отважные Дарденны смотрят в упор. Впрочем, когда-нибудь, приблизившись к роковой черте, и подросток-убийца *сыном* быть перестанет. Пожалуй, и биологический перенос вещества — утешительная иллюзия. Ведь собственная смерть — главное событие человеческой жизни, именно об этом догадывается, именно этому ужасается герой картины. Смерть «сына» *в нем самом* страшнее, важнее и достовернее гибели отпрыска в автомобильном салоне.

Верно, людям доброй воли даются религиозное откровение и знание об иной жизни. Верно, людям доброй воли обещано Спасение. Но в картине братьев Дарденн, будем честными, об этом ничего нет! Не придумывайте, не вчитывайте априорные схемы: «Сын» — предельно неутешительный сюжет, беспросветный кошмар, свидетельство о материальном мире. Человек, который только что догадался о собственном биологическом конце, — вот его герой.

(3) В потрясающей картине «Миг невинности» (1995) иранец Махмальбаф тоже разбирается с оппозициями «игровое — документальное» и «пожилой — юный» (иначе, «отец — сын»). В годы правления иранского шаха, с пятнадцати лет, Махмальбаф занимался подпольной политической деятельностью. В семнадцать, при попытке отобрать оружие у полицейского, был ранен и арестован. Пять лет, вплоть до Исламской революции, сидел за решеткой. «Миг невинности» (персидское название «Хлеб и ваза для цветов») — как бы реконструкция давнего происшествия.

Режиссер Махмальбаф играет сам себя. Вот он собирается снимать кино о событиях двадцатилетней давности. Для начала находит того самого полицейского, с которым вступил в схватку в 1974-м. Зачем? Затем, что полицейский будет консультировать паренька, исполнителя роли «молодого полицейского». Сам режиссер консультирует *своего* юношу, «молодого Махмальбафа». Гениальная идея! Сочетая документальную легенду с ее игровой интерпретацией, Махмальбаф организует вполне реалистическую встречу «сына» и «отца», одного человеческого возраста с другим.

Вначале — смешно. Полицейского просят выбрать парня, который будет играть его же, но юного. Внимательно изучив кандидатов, полицейский выбирает совершенно не похожего на себя молодого человека: стройного, утонченного, интеллигентного жителя Тегерана. Режиссер не согласен. Он приводит другого натурщика: коренастого, простоватого, деревенского. Полицейский возмущен до глубины души: «Это не я! Что между нами общего?» Демонстрирует полное презрение к «юному себе», ведь так хочется быть другим: грамотным, изящным, городским.

Затем становится страшновато, хотя все равно смешно. Дело в том, что двадцать лет полицейский тайно влюблен в девушку, которая регулярно проходила мимо него в злополучном 1974-м. Ежедневно, со сдержанной улыбкой, на протяжении двух недель. Полицейский стоял себе на посту, а девушка улыбалась и исчезала. Однажды вслед за девушкой появился моральный урод, хулиган и террорист Махмальбаф и набросился на полицейского, пытаясь овладеть табельным оружием. Консультируя, полицейский рассказывает про *светлого ангела* «своему актеру».

Наконец, съемка. «Юный полицейский» замер на посту, неподалеку притаился консультант, «полицейский в возрасте». Вдали появились «юный Махмальбаф» и девушка, исполняющая роль того самого ангела. Кошмар: они вместе, перешептываются! Наконец девушка вырывается вперед и со сдержанной улыбкой проплывает мимо «юного полицейского». Реконструкция событий, игровой вариант истории выявляют страшную правду жизни. Так, значит, «светлый ангел» был подставным, девушка являлась заговорщицей и составной частью террористической операции! Полицейский, «отец», в ярости покидает площадку...

Эта глубокая, выполненная с неподражаемым изяществом картина демонстрирует, насколько несводимы друг к другу «сын» и «отец», два биологических возра-

ста одного и того же человека. Ни внешне, ни в смысле психологического опыта эти ипостаси не совпадают. «Юный полицейский» лелеет сладкую грезу, а его зрелое воплощение воспринимает мир падшим, коварным, безнадежным. У меня нет слов, чтобы в полной мере выразить восхищение опусом Махмальбафа.

(4) В «Периодике» («Новый мир», 2004, № 3) сообщается про интервью Андрея Кончаловского «Известиям» под названием «Кино умерло, но притворяется живым». Очень своевременное интервью, *подарок*. «Художественное кино умерло», — безапелляционно заявляет Кончаловский. Конечно, вздор.

Господи, что они себе позволяют? Тихой сапой захватили все золото мира, теперь ноют: мир кончился, мир съеден, больше приватизировать нечего.

Люди, граждане, товарищи, господа. Не верьте Кончаловскому. Его время прошло, вот почему он рекламирует в телевизоре тонизирующие таблетки для мизантропов, вот почему хоронит кино. Неправда, нынешнее кино *превосходно*. Лучше, чем когда бы то ни было.

Будьте бдительны, читайте Манцова.

(5) На правах притчи. В детском конкурсе Московского кинофестиваля 1971 года участвовал десятиминутный фильм иранца Аббаса Киаростоми «Хлеб и улица». Кажется, это была дебютная работа режиссера. И на всех последующих Московских фестивалях, вплоть до 80-х, осуществлялись премьерные показы скромных картин того же Киаростоми. Однако сориентированная на Запад советская интеллигенция хотела плавать и, в сущности, плавала на Иран, не обращая на скромное кино никакого внимания. У нас гремел мастеровитый, но неизобретательный, в целом вторичный Кончаловский, гремели другие.

В 80-е, с перестройкой, иранцев и прочих пролетариев умственного труда стали презирать уже в открытую, принципиально исключив из фестивальных программ. По счастью, Киаростоми и Махмальбаф попались на глаза *действительно грамотным* французам. Не долго думая, французы канонизировали иранцев в качестве классиков, а Киаростоми и вовсе вручили все мыслимые призы, обеспечив пожизненное финансирование.

Однако был в Советском Союзе один человек, который, описывая фестивальные программы, регулярно выделял фильмы Киаростоми. Читая его тексты, понимаешь: человек догадывался о подлинном масштабе иранского режиссера. Звали человека Александр Асаркан. В свое время он эмигрировал в Чикаго, где, надеюсь, живет и сегодня.

Я, собственно, о том, что всякое единство — фикция. Среди людей принято группироваться сообразно с занимаемой точкой зрения. Я думаю, ответственные люди обязаны бороться за свою точку зрения, зато чужую — всячески подвергать сомнению. Ведь от точки зрения зависит *картина мира*, не правда ли?! Следовательно, политкорректность неуместна.

(6) Прежде чем поговорить об абсолютном победителе Каннского фестиваля 2003 года, фильме Гэса Ван Сэнта «Слон» (Золотая пальмовая ветвь плюс Приз за лучшую режиссуру!), я приведу два абзаца из Асаркана. Дебютный шедевр Киаростоми проясняет в опусе Ван Сэнта почти все.

«Хлеб и улица — восточные: хлеб плоский и тонкий, называется лаваш, улица, вернее, улочка длинная, безлюдная, беззаконная, состоящая из одних глиняных стен, называются они дувалами. Мальчик несет лаваш вдоль дувала. А на пути — собака, никак не называется, а лежит себе и смотрит. И мальчик боится пройти мимо нее. Вот и все. Он стоит в бесконечном глиняном коридоре и ждет, не придет ли откуда-нибудь спасение.

Мальчик решил бросить собаке кусок хлеба, и она не только пропускает его, но бежит с ним рядом, виляя хвостом. Провожает до дома, но в дом ее не пускают. Собака ложится у этой двери в той же позе, в какой встретил ее наш мальчик. Она лежит, а в глубине улочки, в просвете этого бесконечного коридора, появляется

ся другой мальчик с какой-то другой едой. Увидев собаку, он застывает. Конец. Оказывается, это был фильм о собаке».

Для упражнений с Ван Сэнтон этого вполне достаточно. И все-таки финал рецензии. Просто так, за здоровье Киаростами и Асаркана. Потому что нравится. «Лицо мальчика было непроницаемо, как глиняный дувал. На фестивалях за это не премируют. И хотя мальчик давно уже дома и спит, я всегда буду помнить его стоющим молча у глухой стены».

(7) У нас картину Ван Сэнта описывали в популярном отечественном жанре «фырк-фырк». Наши всегда пишут в этом жанре, сталкиваясь с *кинематографической* спецификой. Там, где есть возможность ухватиться за фальшивый хвост и потрепаться о так называемой моральной проблематике, как в случае с «Сыном», картину снисходительно прощают. Бывают, однако, фильмы, в которых форма настолько определяет содержание, что не наученные *смотреть* не имеют никакого шанса прорваться к маломальскому смыслу. Впрочем, у «Слона» тоже есть фальшивый хвост, но настолько облезлый и некрасивый, что, обсасывая его, приходится морщиться, сплевывать и ругаться.

Фабула такова. В недрах благополучной американской школы зреет насилие. Одного парня обижали и забрасывали липкими комочками жевательной резинки прямо на уроках. Неизвестно, по этой или по другой причине, он объединился с приятелем в мини-банду. Парни накопили хорошего стрелкового оружия, насобирали бомб и гранат, неторопливо вошли в школу посреди учебного дня и с чувством собственного достоинства расстреляли всех, кто попался под руку: белых и негров, учеников и учителей, очкарика и спортсмена, трех соблазнительных девочек и одну неприятную лахудру.

Потом немотивированно, без объяснений один мини-бандит застрелил другого, партнера. Финал: последние живые, парень с девушкой, укрываются в морозильнике школьной столовки. Мини-бандит их настигает, выслушивает мольбы о пощаде, а затем декламирует какую-то дурацкую считалку, что-то вроде «раз, два, три, четыре, пять...», не помню. Затемнение, конец, титры. Хорошо, что в Канне премируют такое кино. «Слон», конечно, не великий фильм, нет. Однако *важный*, по-своему сложный и глубокий. Короче, фыркать в его сторону попросту неприлично.

Но сначала разберемся с Киаростами. О чем и зачем «Хлеб и улица»? Уж конечно, не о том, что собака — друг или враг человека. Критик Асаркан ненавязчиво, всего одной фразой ставит верный диагноз. Фильм Киаростами — о выборе героя. Виртуозное упражнение на тему «становление протагониста». Смотрите, в узком коридорчике, в пространстве дувала двое, но только один из них окажется героем: абсолютная чистота эксперимента!

А зачем нужен герой? Затем, что только он определяет точку зрения и сопутствующую картину мира. Гениальная провокация Киаростами: одно существо из двух заведомо ущербно, исключено из числа претендентов на почетную, конституирующую картину мира роль субъекта. Это существо — бездомная собака. Зато мальчик, человек, который с некоторых пор звучит гордо, даже слишком гордо, заранее назначен героем, протагонистом. Однако режиссер отдает *видимое* пространство ущербному псу. Когда он отправляет гордого мальчика в резервацию пространства невидимого, случается *чудо*: «Оказывается, это был фильм о собаке». Значит, в контексте фильма собака тоже человек? В некотором роде! Во всяком случае, субъект повествования, «Я», точнее, «Я (вижу)». Даже в пересказе Асаркана ощущаешь это чудо преображения. В одно мгновение картина мира меняется: «Фильм о собаке!»

Вот и «Слон» тоже о становлении субъекта. Центральное событие картины — отнюдь не террор. Террор — всего лишь метафора. Субъект, протагонист становится единственным за счет «смерти» других претендентов на «Я». Киаростами отправил своего «второго» в дом, а радикальный американец Ван Сэнт отправил *лишних* своих, извините, к праотцам.

Только не говорите глупостей о том, что насилие на экране будто бы провоцирует насилие в жизни. Не преувеличивайте значимость интеллектуального труда, относитесь к искусству и к себе в искусстве спокойнее. Кому он нужен, этот Ван Сэнт? Кто, кроме Каннского жюри и меня, его по-настоящему отсмотрел? И, наконец, есть ли что-нибудь более жестокое, нежели субъектно-объектное мышление? Гуманисты, успокойтесь: это так называемый «язык» уничтожил, перестрелял всех действующих лиц высказывания, кроме одного.

Итак, центральным событием фильма является маленькая формальная штучка, *приемчик*. На протяжении всей картины Ван Сэнт словно бы выбирает субъекта, протагониста, «Я». Вот один возможный герой, паренек. Камера мучительно долго следует за ним по школьным коридорам. Встреча с приятелем, с незнакомыми девчонками. А вот, чуть погодя, та же самая встреча с точки зрения приятеля, теперь камера Ван Сэнта ведет именно его. Знакомые реплики, в том же коридоре, однако это не та же самая ситуация, *иная!* На роль протагониста «пробуется» иной субъект, с *иной* точкой зрения, *иной* картиной мира. Испробован и отклонен.

Дальше та же самая встреча с точки зрения девчонок. Вот и девчонки отклонены. Важно понимать, последующая физическая смерть девчонок всего-навсего воплощает их «грамматическую неудачу»: никому из них не было доверено конституирующее мир «Я». Не бойтесь за девчонок, никаких девчонок не было. Кстати, как и мальчика в фильме Дарденнов «Сын»! Физическое пространство школы и аморальное пространство террора оформляют психолингвистическую процедуру антропоморфным образом. Если проще, воплощают (от слова «плоть»).

Добавлю, что для англоязычного мышления эта операция особенно характерна. Вот что пишет проницательный лингвист Анна Вежицкая, словно предвосхищая сценарий Ван Сэнта: «...существуют два разных подхода к жизни, которые в разных языках играют разную роль: можно рассматривать человеческую жизнь с точки зрения того, „что делаю я“, т. е. придерживаться агентивной ориентации, а можно подходить к жизни с позиции того, „что случится со мной“, следуя пассивной (пассивной, связанной с пациенсом) ориентации. Агентивный подход <...> означает акцентированное внимание к действию и к акту воли („я делаю“, „я хочу“). При пассивной ориентации <...> акцент делается на „бессилии“ и пассивности („я ничего не могу сделать“, „разные вещи случаются со мной“))» («Язык. Культура. Познание». М., 1997, стр. 55).

Далее Вежицкая убедительно показывает: синтаксис современного английского языка изобилует номинативными конструкциями вроде «Я должен», «Я могу» или, на худой конец, «Я не могу». Напротив, в русском языке номинативно-субъектные высказывания почти не употребляются. Для русского куда более типичны конструкции с дательным падежом субъекта вроде «Мне нужно» или «Мне необходимо».

Допустим, номинативная конструкция «Я должен» выражает необходимость, признаваемую самим субъектом и внутренне им осознанную. Фразы с дательным падежом вроде «Мне нужно», «Мне надо» — это фразы с подавленным, исключенным «Я», и они выражают необходимость, навязанную субъекту извне.

Так вот почему, по словам Вежицкой, русские «не контролируют происходящие события». Я и раньше подозревал что-то подобное, какой-то непорядок с надстройкой. Великий и могучий русский язык? Единственно он! Достаточно с ним поработать, и в перспективе наши люди несомненно изменятся к лучшему, станут ответственнее и активнее.

Выходит, в позапрошлом кинообзоре я напрасно посылаю отечественных филологов куда подальше? Выходит, напрасно, признаю. На повестке *реформа русского языка*. В стране все уже есть, даже номинативных конструкций вполне достаточно. Дело за малым: навязать эти конструкции населению, укоренить в повседневной речи и, значит, в сознании. И, значит, в так называемой *жизни*. Вот с чего следовало начинать пресловутую «перестройку».

Ладно, пускай филологи остаются. Им есть над чем поработать.

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ЕКАТЕРИНЫ КОРНИЛОВОЙ

### ДВЕ ВЫСТАВКИ

#### 1

Андрей Волков. «Фрагменты большого города». Живопись. Галерея WAM. Декабрь 2003.

**Х**олсты на выставке в основном большие, иногда треугольные, один в виде ромба, и одна вещь — на потолке — в форме перевернутой пирамиды. На всех холстах дома и окна — или окна, а в них — стены домов и окна. Живопись Волкова, как у него всегда, совсем не живописна, то есть ничего яркого и сочного, никакого «живого письма», никаких следов кисти. Он — немного денди, «все очень стильно и дорого», гладко, изысканно, слегка консервативно, холодно и безупречно. Похоже на чертеж, только весьма сильнодействующий.

Большой треугольный холст, один из целой серии больших треугольников, тех, что Волков уже показывал на предыдущих выставках, в частности в Манеже. На них всегда фрагменты московских высотных зданий. Здесь — нежно-коралловое граненое тело башни с бесчисленным множеством аккуратно расчерченных абсолютно одинаковых окон, с боковой башенкой, увенчанной пышной лепниной на сухом черном фоне, непроницаемом, как асфальт. Очень красиво и мертвó. Дом-мавзолеей, совершенно необитаемый. Болезненно-торжественный апофеоз.

Вот еще работа. Прямоугольник среднего размера. Видим лишь стену дома, пожалуй, тоже сталинского, и бесконечные ряды окон. У наших родственников на Ленинском проспекте в одном окне вот так же ничего нельзя увидеть, кроме стены соседнего дома, так что сразу и не угадаешь, куда и на сколько эта стена тянется и где заканчивается. Тоска беспросветная. У Волкова стена темно-розовая и терракотовая, продольные ребристые волны эркеров прокатываются по ней. Тысячеглазый гофрированный моллюск на мелководье. Прекрасная, совершенная вещь. Для меня — одна из лучших на выставке.

Еще раз розовое звучит в маленькой вертикальной работе, тоже с фрагментом высотки и с башенкой сталинского ампира на глухом черном фоне, который у Волкова и фонот-то не назовешь, ровно залитое поле, ни тебе глубины цвета, ни дуновения ветра, ни колебания воздуха. Воздух весь выкачали, как в стеклянном вакуумном шаре с кристаллическим домиком внутри. Встряхнешь его — и пойдет снег, и все смягчится, станет почти уютно в черно-белом, навсегда запаянном мире. У Волкова никогда ничто не смягчится ни снегом, ни дождем, ни светом.

Перед нами очищенное, идеальное изображение, как портрет тирана на монете, знак, до которого художник дотянулся, формула, которую он добыл, а она существовала всегда в ряду других, как яблоки и конфеты, подвешенные на нитке в ряд, чтобы ребенок с завязанными глазами и вооруженный ножницами мог, зацепив, срезать приз. Но лишь некоторым деткам это удастся.

Два высоких, очень вытянутых холста, что замечательно, совсем одинаковых. Ничего черного. Напротив, белый день на каждом. Развернутое в ракурсе окно, в нем — стена дома. Рама, подоконник, форточка, толщина оконной коробки — все очень точное, серенькое, чуть зеленоватое.

У Волкова и всегда было такое гладкое, довольно монохромное письмо. Сначала городские пейзажи, набережные, крыши домов, попадались прохожие, свет на полу в мастерской, там же ничком лежащий человек, потом он все чаще стал смотреть на город из окна, но люди на соседней крыше еще копошились (триптих «Никаких новостей» 1979 года в экспозиции Государственной Третьяковской галереи), потом люди совсем пропали, но на подоконнике еще стояли блеклые растения в горшках и треугольные пакеты с молоком. Вот уже не стало и крыш, последнего отзвука хоть какого-то романтизма, пусть и весьма унылого. А потом и скучные, но такие родные предметы исчезли с подоконника. Он совсем пуст, стерилен. Вот что вы имеете в сухом остатке, говорит нам Волков, и холст-двойник эхом

вторит ему. Хочется стряхнуть оцепенение, резко возразить автору: в конце концов, что за дела такие, ведь я-то точно знаю, что это не есть правда... Но, как на холоде, стынут члены, и лень сделать лишнее движение. И поддаешься холоду, и смиряешься с этой правдой.

Две квадратные работы как будто забраны решеткой, она написана на первом плане. Но никакого пафоса, очень будничный мотив. Решетка-то самая своя, самая наша. Нижний угол обведен дугой, а от нее уже расходятся лучи — типа солнце всходит (или заходит). Может, кто-то и впитал с детства красоту питерских решеток (был дома где-то набор открыток «Решетки Ленинграда»), а мы с Волковым любим эту — «Восход солнца».

Мерзнешь, бывало, у запертых дверей жэка, где надо справку получить, а секретарь «отошла», и, глядя в пустое казенное окно, все капли засохшей краски на прутьях-лучах запомнишь, пока дождешься. И в окнах любых «промтоваров», автобусных станций, всех прачечных, складских помещений и химчисток по-прежнему «восходит солнце» (или заходит).

Неожиданно Волков как будто спохватывается, может быть, боится, что сильно нас загрузил, пытается развлечь, разбавить сосредоточенную серьезность. Из четырех треугольных холстов собирает пирамиду, помещает ее на потолке вершиной вниз. На всех гранях, опять же, — дома и окна. Трогательная попытка иронии, шутки, игры с темой, освобождения от тирании «большого города». Ведь только свободный способен иронизировать и играть. А не надо. Нам так дорога его несвобода, когда вокруг почти все свободны и способны свободно высказываться на любую свободную выбранную тему.

А Волков — нет. Он поработен большим холодным городом. Душа его привинчена к этой тоске, как мебель на корабле намертво привинчена к полу, ни сдвинуть, ни переставить в другое пространство.

Много лет назад в одной из телевизионных передач Олег Павлович Табаков рассуждал о природе русского артиста, о том, что западному актеру легче дается «отчуждение» по Брехту, а между актером нашей школы и его образом, темой (тут он цитировал кого-то из совсем великих, прошу прощения, не помню) иголочку не просунешь, так сливаются воедино.

Знаменитый «Тотальный лексикон» Гриши Брускина радовал нас потому, что и правда очень хорош, и тем, что сам художник от этого Тотального решительно свободен, и вот уже и нам вместе с ним почти весело.

Максим Кантор страстно убеждает нас в трагичности изученности мира (историей), и мы верим, но как-то очевидно, что сам автор не изучен, и это успокаивает.

А Андрей Волков — он на крючке. И ему, боюсь (и надеюсь), уже не соскочить. Действительно трагическому художнику не освободиться от того, что сосет его и гложет. И пусть вопрос «понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?» никогда не будет им озвучен, а гладкость его письма по-прежнему не нарушится лихорадочным движением кисти. Лицо раненого японского воина не исказит гримаса боли, только чрезмерная неподвижность позволит догадаться о чрезмерном напряжении.

## 2

Ирина Старженецкая. Живопись.  
Анатолий Комелин. Скульптура.  
Центр современного искусства М'АРС.  
Декабрь 2003 — февраль 2004

И вновь без возраста природа.  
И дни, и вещи обихода,  
И даль пространств, — как стих псалма.

*Райнер Мария Рильке, «Созерцание».*

Помню, как, уже довольно давно, на выставке Ирины Старженецкой в Центральном Доме художника стояла перед большой синей работой и тихо «тащилась» от ее звучного, глубокого синего и от темно-голубого, положенного рядом, какие-

то жесткие стебли пересекали синее и голубое, и я понимала, какой это классный, энергичный холст, пока вдруг синий прямоугольник не стал сам собой укладываться в пространстве и я не увидела ясно, как широка здесь река, а яркое небо такое узнаваемо летнее, горячее, а тонкий рыжий стык между синим и зеленым, который только что читался как хитрое живописное касание, — это же жаркий пляж на том берегу, а я — на этом и смотрю на этот простор, и вода в реке наверняка холодная... а до лета на самом деле еще так далеко...

Так бывает с ее пейзажами. Сначала, как гурман, ловишь кайф от прекрасной лихой живописи — и вот уже забываешь об искусстве и, как мальчик Яльмар в «Оле-Лукойе» Андерсена, шагаешь в полное жизни и запахов манящее пространство картины.

Пейзаж «Белая река» на выставке в М'АРСе. Тусклый, будто пропыленный светло-зеленый склон, дымчатое вертикальное облако одинокого дерева (в скудном сером пятне сразу угадываешь тонкие голые переплетенные ветки, образующие этот пушистый овал), плоское зеркало реки, сильные белые полосы на небе и их отражение в воде. Замечательно. И так хочется в этот неяркий, несолнечный молочный день на прохладный влажный склон... Вот уж где действительно «кончается искусство и дышит почва...».

Удивительно, что Старженецкая пишет лишь прекрасное, не вступая в диалог с некрасивым, временным, дешевым, промышленным, на что постоянно натыкаешься в любом пейзаже, на любом удалении от города, что норовит влезть в любую панораму родных просторов то бензоколонкой и водонапорной башней, ржавым, навсегда брошенным трактором или милым сердцу, но вечно в стельку пьяным дядей Мишей. (Когда чудом не только сохранившиеся, но продолжающие появляться на свет и крепнуть апологеты национально-идиллического глянца от Шилова до Нестеренко «делают нам красиво», с ними все ясно. Их «видоискателю» также нелегко найти «кадр», свободный от примет «века железного», но усилием добровольной слепоты им удастся изгнать из пейзажа все «низкое», и тогда мы наконец имеем счастливый результат: русское поле, гладь реки, чистую церквушку с сияющим на солнце куполом. Как в старом анекдоте о художественных стилях: одноглазого и одноногого тирана классицизм изображал без изъянов — двуглазым и двуногим, критический реализм резал правду-матку, а социалистический — на коне и в профиль.)

Пейзажи Старженецкой правдивы и при этом «идеальны». Их мощная гармония убедительна и желанна. И все-таки она почти перестает их писать. Последние годы она пишет цветы. Предельно укрупняет план, окрестности и дали в «кадре» не попадают, в фокусе — цветы, стебли, иногда ветка яблони, маленький фрагмент сада. Но признается: «Я обуреваема цветом, а цветы — это повод». Конечно, это так и есть. У Рильке о том, кто, подобно Иакову, боролся с Ангелом:

Не станет он искать побед.  
Он ждет, чтоб высшее начало  
его все чаще побеждало,  
чтобы расти ему в ответ.

У Старженецкой, не в жизни, конечно, но в искусстве, цвет и есть высшее начало. Он ведет ее, определяет всю траекторию развития этого художника. «Живое чудо» ее пейзажей создано прежде всего энергией и точностью цвета. Никто так не «въехал» в цвет, не ушел так далеко по этому пути. Кто еще так небрежно положит рядом теплый белый, наивный перламутрово-розовый и яркий, жидкий, вполне «дешевый» голубой, а больше почти ничего, и у нас аж дух захватывает от бесшабашного морского ветреного простора («Бухта Афродиты», 2001, серия кипрских пейзажей, не представленных на последней выставке).

И напротив — ее портреты, композиции с фигурами, в том числе на евангельские сюжеты, где цвет не может быть полновластным хозяином, а работает в паре с пластикой образа, остаются, на мой взгляд, лишь красивой, качественной живописью, но «второй реальности», как в ее пейзажах, в них не рождается. Несмотря на часто острое сходство, выразительность рисунка, цельность формы, два языка — цвета и пластики — не смешиваются здесь в единый, как не смешиваются вода и

масло. Цвет Старженецкой не терпит паритета, это слишком властная сила, и, предавая ей до конца, Старженецкая, кажется, «исполняет» свою правду.

Ирина Старженецкая — очень известный, весьма титулованный художник, член-корреспондент Российской академии художеств, огромное количество выставок в разных странах, работы в музеях, Государственная премия России: от «живых классиков» прорыва обычно не ждут. Но именно в «цветочной», казалось бы, камерной теме она прорывается к новым для себя и нас напряжениям и драматизму. Цвет в этих вещах высвобождается, как джинн из бутылки, и в самом художнике распахиваются еще какие-то шлюзы, и вот уже оба они, художник и цвет, как-то неслыханно свободны.

В работе «Желтые лилии» толстые зеленые стебли с громким открытым желтым и сиреневым похожи на разрыв снаряда. Никакой экзальтации — но выплеск сочной, живой, взрывной силы, той самой, что весной сокрушает асфальт.

Три очень большие горизонтальные вещи занимают на выставке отдельный зал. Каждая называется «Запад солнца», все «навеваны чтением Псалтыри» (Михаил Лазарев пишет об этом в каталоге Ирины Старженецкой). Хотя на всех трех — цветы, это настоящие батальные, эпические полотна. Кирпично-красные закатные небеса, отчаянно светлая зелень и, как удар с небес, малиновый сноп неведомого растения в компании с горчичным растробом лопуха, а под ним — россыпь тихих белых «малюток» на черноземе.

А на соседнем полиптихе сложная драматургия выстраивается от левой группки робких сиреневых через центр, где зримо растет напряжение, пока все движение не замирает на правом фланге у куста дивных бледно-розовых «ребят» (не розы ли это?). Да и о цветах ли это вообще? По меньшей мере это битва Александра Македонского с Дарием, как у Альбрехта Альтдорфера. Там небеса дико закручиваются, отражая бурное движение вооруженных человеческих масс на земле. И у Старженецкой упоение живописью соединяется с «упоением в бою». Она как полководец строит и направляет силы в сражении.

Пьянеют лозы в сладостном веселье.  
Садовник их срезает, чтоб висели,

Как головы казненных удалцов  
На частоколе башенных зубцов.

И яблоко, вниз головой вися,  
Кричит гранату: «Что не сорвался?»

Гранат, как печень треснувшая, страшен.  
Он источает сок кровавых башен.

Так осенью израненный цветник  
На бранном поле замертво поник.

У Старженецкой нет мрачноватой меланхолии Низами, она слагает гимны тварному миру и, конечно, нетварному. Борения, «буря и натиск», и в финале та же мощная, нелегко давшаяся гармония.

...А в череде кипрских пейзажей есть один, с горами. Так и называется — «Кипр». Горы, рыжеватые, земляные, серые, одна с зеленой копной на макушке, одна черная, тесно притулились друг к другу и все вместе втиснулись в не очень большой холст. Небо плотное, светлое, непрозрачное. И я была в тех краях и помню их, но эта вещь не просто воскрешает счастливое время и место. Сама скупость, очищенность изображения приближается к знаку, и горный воздух кажется разряженным и уже не совсем здешним, горнее ощутимо проступает в этом шедевре Старженецкой.

Анатолий Комелин. Конечно, не мне писать о нем. Моя всегдашняя реакция на его творения самая простодушно-восторженная, как у туповатого тинейджера перед витриной мобильных телефонов: «класс! круто!»

Его вещи как будто не совсем рукотворные, как будто отъятые, отсеченные у природы. Все материалы всегда природные, благородные, живые: камень, дерево, если железо, то уже облагороженное временем, ржавчиной.



«Плоская скульптура». Три неровные длинные доски встали вертикально, соединились кованой скобой, уперлись в белый камень подножия. Чувствуешь, что все сцепилось, соединилось, как и должно было, и создало вокруг себя кусок природы и кубометры свежего воздуха. Рядом с большими деревянными вещами Комелина явственно ощущаешь себя на природе, а не в помещении выставочного зала. Они рождают пейзаж. Так новогоднюю елку вносишь с мороза в дом, а вместе с ней и кусок зимнего леса.

Но позднее понимаешь и другое. Название «плоская скульптура» не раскрывает, а, наоборот, скрывает содержание этой вещи и целой серии подобных. А ведь светлое дерево доски пронзено металлическими штырями, испачкано красноватобурой краской, это же не что иное, как отдаленное, отстраненное, будто необязательное и совсем ненавязчивое напоминание о Жертве. При этом Жертвоприношение таинственным образом совершается вот здесь и сейчас. И неровное подножие из белого камня — знак почитания этого дерева и Того Древа.

Т-образный крест, к каменному подножию от концов перекладины протянуты и туго натянuty шнуры (у меня такой шнур-привод на колесе швейной машинки; с удивлением сказала об этом Комелину, а он радостно закивал: «Да, да, такой»). Похоже на огромный арбалет, нацеленный вверх, но еще больше — на тот знак-схему Голгофы, что рисуют на каждой стене при освящении дома. И свежий воздух, а кажется, что и свежий ветер, движется, гуляет сквозь вещь. Называется это «Начало».

«Трубящий ангел» — стопка тяжелых белых камней. В ней есть проемы и дыры, но сбоку по небрежной кладке проведена дивная певучая двойная дуга. Что это? Очертания крыла ли? Но дуга сцепляет, как скобой, всю боковую стену этого то ли жертвенника, то ли алтаря. И видишь его непременно где-нибудь на траве, на холме или на склоне, а что это обращено к небу, так в этом не сомневаешься, так же как мы убеждены, что руины Стоунхеджа — развалины культового сооружения.

В том, что делает Комелин, есть и первобытность, и архаичность, но также и свежесть только что сработанной вещи. Не античный скульптор, но воин-ахеец в долгом походе по ходу дела ставит на своем пути сакральные знаки, жертвенники и алтари своему богу и делает их из всего, что найдет на месте привала. Крупный ахейский муж с широкой грудной клеткой, вольным дыханием, тяжелыми руками. И в то же время это — осуществление намерения: «Господи! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи...»

«Две» (1993) — это две головы из дерева, и каждая в самом прямом смысле есть «чурбан неотесанный». Плотность же вещества, сжатость, сверхсжатость его сообщают этим персонажам большую внутреннюю энергию, а прорезям близко посаженных глаз — напряженный взгляд. В каталоге Комелина есть еще работа из этого ряда — «Вестник» (1990), — голова Архангела Гавриила, всполохи алой краски на лице («Знаменася на нас свет лица Твоего», — ведь Архангел даже с большим основанием мог бы это произнести), концентрация взгляда, небольшой нос со «случайной» горбинкой, маленькая щель рта приоткрывается, сейчас прозвучит Благая весть. Ясная красота, пассионарность. Скульптор не изобразил нам Архангела, тот был в этом куске дерева, Комелин его увидел и дал увидеть нам, полено заговорило, еще не будучи выструганным до конца.

Особенно меня «зацепил» на выставке маленький рельеф «Цветы в горшках»: и тем, в том числе, что в нем использованы «неблагородные», «дешевые» материалы — шифер, кирпич. На осколке асбестовой доски — два огрызка шиферной «волны», и в них, как в горшках, растут красные кирпичные, может быть, даже и розы. Так и вижу: серенький быт, будни, на подоконнике — горшки с цветами и серый денек за окном.

У Комелина есть, кстати сказать, классная серия совсем бытовых штук, замков. Чаще деревянные, но иногда каменные, с тяжелыми железными или латунными дужками и механизмами. По форме они похожи на навесные амбарные замки, но исполнинских размеров, этак до полуметра, очень прикольные. Только Комелин знает, как они открываются. В одном деревянном, например, просверлено «беспорядочно» десять дырок, и лишь в одну из них (мастер знает, в какую) надо вставить прилегающую чурочку, чтобы механизм сработал и замок сей открылся. Хитрый ахейский муж усмехается в бороду.

Конечно, Комелин очень «культурный», эстетически искушенный скульптор, скульптор, так сказать, «позднего времени», по выражению Томаса Манна, его связь с русской деревянной скульптурой, и не с русской, и не с деревянной, можно отслеживать. Что касается современных художников, очевидна связь Комелина прежде всего с таким особым мастером, как Андрей Красов. И все-таки его эстетические связи мне интересны меньше, чем то, что способно и готово их надорвать (как тяжелый негабаритный груз вспарывает целлофановую упаковку).

Стоит сказать хотя бы два слова о церковном искусстве Комелина. Его каменные рельефы украшают стены и ограду храма Малого Вознесения в Москве на Большой Никитской. А есть еще большие поклонные кресты в Тарусе, страстной ряд иконостаса церкви Воскресения Христова (тоже в Тарусе). Он замечательно рисует в своих рельефах: как вырезаны ноги Спасителя в композиции «Биение у столпа», Его запавшие от мук глаза, тяжелые бичи Его мучителей!

«Плоский рельеф». Так называет Комелин две совсем новые вещи, сделанные специально для этого небольшого, но высокого, в два этажа, зала в М'АРСе. «Снятие с креста». Прямоугольники, сбитые из досок, обтянутые красноватой холстиной, мешковиной, громоздятся один на другой, выстраиваются в высоту на несколько метров, и справа к этой «башне» мостится еще один. Огромный геометрический знак классической композиции. Что называется, «формально» очень сильно и красиво — пыльные тканые квадраты цвета запекшейся крови, где-то видны плохо струганные доски.

Рядом «Положение во гроб» — гигантская горизонтальная плоскость, серая дегтя со вставками из какого-то узорчатого покрывала («У Тани Ян на даче было», — простодушно объясняет Комелин). Справа пред этим холщовым «полем» — столб из бруса, как выход из плоскости таинственного События — или как вход в нее.

Впадаешь в некоторый ступор, угадывая размеры того Тела, которое вот сейчас снимают с этого чуть ли не восьмиметрового Креста и вот тут сейчас полагают. Чувствуешь себя свидетелем происходящего, и в то же время ты вне этой исполинской системы координат, не на тебя она рассчитана. Ты, увы, — недомерок, а мера-то, она — вот. Благоговение рождается, но какое-то изумленное. («Он несколько занес нам песен райских...») Может быть, в раю такой масштаб?

---

## WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*Сугубо информационное — толстые литературно-художественные журналы в Интернете*

**С**оставление каталогов для Internet Explorer вашего компьютера — дело азартное и полезное. В прошлом обозрении я попытался собрать критиков, как бы разбредшихся в Интернете, и при помощи очень простой операции — помещения их имен и адресов в папку «Критики» «Избранного» — все они оказались рядом, и все одинаково доступны.

Такую же папку, но под названием «Журналы» я составил себе несколько лет назад, эта папка оказалась одной из самых востребованных. Содержимому ее и посвящено это обозрение.

Но прежде вопрос: а зачем?

Ситуация с литературными журналами драматична в том отношении, что новейшая русская литература по-прежнему — в журнальных публикациях. Широкая публика, покупая в магазинах книги Улицкой или Пелевина, имеет дело с тем, что отцежено именно журналами. То есть с верхушкой айсберга. Это в лучшем случае. В худшем — это ситуация, когда читающая Россия поверит стараниям популярных телеведущих (Парфенов, Троицкий и другие), утверждающих, что русская литература сегодня — это прежде всего та самая «звездная пятерка» (Толстая, Пелевин, Акунин, Сорокин, Виктор Ерофеев). То есть читателю предлагается ориентация не на собственно литературу, а на налет звездной пыли в звучании популярных

имен (ничем другим собранные в этом списке писатели не связаны — слишком разные). Но участь шоу-звезд, особенно от литературы, печальна — талант и весомость творчества в этой сфере значат мало, новая звезда вытесняет прежнюю без следа. Как только публика подустала, скажем, от Марининой, явилась Дарья Донцова — аляповато исполненный клон Иоанны Хмелевской, — как стилист не способная соперничать не только с оригиналом, но даже с детективами Марининой. Тем не менее место последней оказалось занято. Невероятно, но даже Акунина потеснили на рынке литературные поделки г-жи Донцовой. И прежнего положения звезды Марининой уже не занять. Будет в меру покупаемая детективщица. С Донцовой, думаю, то же самое произойдет еще быстрее. Звездная пыльца — вещь очень недолговечная. Да и подиум, на который зачем-то ринулись наши писатели, коварен. А литература предполагает долгую жизнь в слове. Для этого претенденту нужно иметь кое-что в запасе. Потерял Виктор Ерофеев по какой-либо причине доступ к телеэкранам, чем он удержится в читательской памяти? «Русской красавицей»?

Ну а собственно литература, естественно, не так громка, но необыкновенно, как выясняется, живуча. В 1996 году журнал «Октябрь» (№ 7) опубликовал дебютную повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом...» <<http://magazines.russ.ru/october/1996/7/sanaev.html>>, замеченную исключительно ценителями литературы. Но — именно ценителями и именно литературы. В 2003 году эта повесть вышла книгой в издательстве «МК-Периодика» в серии «Современная библиотека для чтения» (редактором серии тогда был Игорь Клек), и странно, но книга не только была раскуплена, но и, как я понимаю, потребовала многочисленных допечаток — уже несколько месяцев она прочно занимает место на полках ведущих книжных магазинов Москвы с пометкой «Лидер продаж». Никакой раскрутки, никакой скандальной предыстории — «обыкновенный» роман о детстве, о бабушке, дедушке, о созревании подростка. То есть ничего в тексте для звездной судьбы, кроме, прошу прощения, литературы как таковой. Нет, разумеется, Санаев — автор не звездный. Он значительнее, он — писатель, написавший художественно состоятельную вещь. Феномен Санаева — казус или проявление некоей закономерности? Я склоняюсь к последнему: как бы ни хоронили сегодня «чистую» литературу, она обречена быть востребованной. И я уверен, что будущее русской литературы выражает сейчас именно на страницах толстых литературных журналов. Издательства, которые начали свою работу на этом поле, ведут себя слишком неровно, опасно, затеяв и тут же прекращая издание серий, посвященных новейшей литературе. Поэтому — журналы! Хорошо это или плохо, вопрос другой. Но такова сегодняшняя реальность.

Конфузная ситуация для современного культурного человека, живущего в стране с такими литературными традициями, — ограничивать свой литературный кругозор фаст-фудом «Пелевин-Акунин-Мураками». Но спросят: а как до этой вашей настоящей литературы дотянуться, где они, ваши журналы, в обычной жизни обычного читателя? Согласен, дотянуться непросто. На все журналы не подпишешься, а абсолютного лидера, то есть журнала, поставляющего читателю лучшие тексты современной литературы, среди них нет и быть не может. Художественный уровень большинства толстых журналов примерно одинаков (иначе в условиях реальной конкуренции им не выжить). Полянскую, Азольского, Уткина мы читаем сегодня в «Новом мире»; Дмитриева, Вишневецкую — в «Знамени»; Наймана и Петрушевскую — в «Октябре» и т. д. А застрявшая в моей памяти с легендарных уже времен картинка тесно стоящих на полке газетного киоска «Дружбы народов», «Октября», «Иностранной литературы», «Сибирских огней» или «Севера» мне сейчас кажется миражом. На всю Москву пять или шесть торговых мест, где можно купить свежие номера журналов (можно покупать журналы в их редакциях, но хорошо, если, допустим, вы москвич и к тому же ищите публикацию в московском издании, а если нужны «Звезда» или «Урал»? ). И что делать жителю Воронежа или Хабаровска, услышавшего по радио о публикации новой повести любимого писателя в тех же «Знамени» или «Дружбе народов», если даже московские библиотеки не всегда имеют возможность подписаться на «Новый мир» или «Иностранную литературу»? (Мой коллега, читающий время от времени обзорные лекции о совре-

менной литературе студентам гуманитарных вузов, регулярно задавал один и тот же вопрос: «Есть ли среди вас хоть один подписчик толстого журнала?» И хорошо, если хотя бы один из двухсот слушателей поднимал руку. В последний раз он сменил свой вопрос: «Есть ли в этой аудитории кто-то, кто держал в руках толстый литературный журнал?» — и увидел четыре, он посчитал, поднятые руки.)

Вот и получается, что главный выход сегодня — Интернет. Громоздко, неудобно, особенно с распечатыванием на бумаге больших текстов, но лучше, чем ничего. И, кстати, исключается ситуация, описанная когда-то Войновичем: как он, узнав заранее о появлении «Мастера и Маргариты» в журнале «Москва», обегал в день выхода номера московские киоски и от всех киоскеров услышал «Продано». Интернетовский тираж журнала в принципе не ограничен. И доступность номеров уже не зависит от времени выхода.

Какие именно возможности для чтения толстых литературно-художественных журналов предлагает сегодня Интернет? Очень большие. С удовольствием бы сказал — максимальные. Но нет. Ограничения есть. Крайне редка, например, возможность найти в Интернете полный текст особо знаменитого современного переводного романа. И дело не в зловредности редакции, отрезающей отдаленного географически читателя от зарубежной культуры. Дело в условиях договора с авторами, особенно зарубежными, редко дающими право на использование текстов в электронном виде. Это, кстати, касается, хотя и гораздо реже, отечественных авторов — работая много лет над сетевым «Новым миром», я с этим сталкивался. Кроме того, у многих редакционных и издательских работников еще не выветрилось настороженное отношение к Интернету. Редакция некоторых журналов кажется, что бесплатный доступ к изданным ими текстам в Интернете автоматически сокращает количество потенциальных покупателей журнальной книжки. Каких-либо статистических подтверждений этим страхам не существует, но к таким опасениям нужно относиться с пониманием. Физическое существование любого журнала зависит только от продажи его бумажного варианта. А при достаточно напряженном, мягко говоря, финансовом положении нынешних литературных журналов редакция вынуждена вести себя предельно осторожно во всех отношениях. (Я бы не стал здесь касаться этих специальных вопросов, если бы не регулярно получаемые мною письма читателей «Журнального зала», возмущенных тем, что не все произведения выставляются в Интернете целиком.) Но и при вот этих ограничениях презентация толстых журналов в Интернете, на мой взгляд, очень и очень широкая.

Я не буду здесь анализировать панораму толстых журналов, комментировать идеологические и эстетические ориентиры каждого издания — во-первых, по причине необъятности темы, а во-вторых, задача моя в данном случае сугубо техническая: дать читателям, которые пользуются Интернетом, возможность пополнить свои собрания интернет-ссылок. Технология предлагается та же, что и в предыдущем обзоре: скачать вот этот текст из Интернета (он будет помещен на соответствующей странице «Нового мира» в Сети, адрес — ниже), затем стереть мой текст, оставив только названия изданий и электронные адреса. И пользоваться ими.

Адрес «Нового мира» в Интернете <[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/)>, ну а текст настоящего обзора нужно будет искать на сетевых страницах шестого номера. Тексты «Нового мира» представлены в Интернете целиком начиная с № 6 за 1993 год. Кроме публикаций журнала сайт содержит массу страниц, на которых можно ознакомиться с содержанием журнала начиная с его создания, с номеров 1926 года, посмотреть библиографические списки, персональные страницы авторов «Нового мира», сугубо сетевые публикации журнала и т. д. — я писал об этом уже более подробно в одном из прошлых «WWW-обзоров» (№ 2 за 2002 год) <[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2002/2/kost.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/2/kost.html)>.

Итак, вот собрание ссылок, с минимумом необходимых дополнений, которое я хотел бы предложить читателю.

«Арион». Журнал поэзии <<http://arion.ru/index.php>> — на этом сайте выставлены все номера журнала начиная с № 1 за 1995 год целиком, для удобства ориентации материал группируется по разделам: «Свежий номер», «Библиотека» (здесь помещены все предыдущие номера журнала), «Наши авторы», «Фотогалерея», «Подписка»,

«Карта сайта», «Редакция» и т. д. Также журнал в полном объеме доступен по адресу <<http://magazines.russ.ru/arion/>>.

«Вестник Европы». The Herald of Europe. Журнал европейской культуры <<http://magazines.russ.ru/vestnik/>> — издается с 2001 года, на сайте представлены все вышедшие номера, доступно большинство опубликованных текстов.

«Волга». Ежемесячный литературный журнал <<http://magazines.russ.ru/volga/>> — в связи с прекращением в середине 2000 года выхода журнала сайт не обновляется, и посетитель может познакомиться с архивом журнала, представляющим номера, выставленные полностью с № 5 за 1998 год по № 5 (413) за 2000 год.

«Вопросы литературы». Журнал критики и литературоведения <<http://magazines.russ.ru/voplit/>> — выставляется с № 1 за 1996 год, читателю доступна страница с содержанием каждого номера и открыт доступ к некоторым (увы, не всем) материалам.

«День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения <<http://www.din.krasline.ru/index2003.htm>> — выставлен с № 6, вышедшего в 1996 году, тексты представлены целиком. В связи с тем, что издание журнала прекращено, сайт не обновляется и содержит архив журнала с 1996 по 2003 год.

«Дружба народов». Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал <<http://magazines.russ.ru/druzhba/>> — представлен с № 1 за 1996 год; до 2001 года был открыт доступ к ограниченному количеству опубликованных текстов, впоследствии редакция стремилась представить журнал по возможности целиком.

«Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал <<http://magazines.russ.ru/zvezda/>> — представлен с № 1 за 1997 год, выставляет большинство опубликованных текстов.

«Зеркало». Литературно художественный журнал <<http://www.members.tripod.com/~barashw/zerkalo/index.htm>> — издается с 1996 года, вышло 22 номера журнала (большая часть номеров сдвоенная), начиная с номера 9-10 тексты выставляются целиком. Страница журнала расположена на сайте «Остракон. Русская Литература в Израиле. Собрание Александра Бараша» <<http://www.members.tripod.com/~barashw/index.htm>>, представляющем деятельность довольно значительного круга писателей и художников среднего поколения современного Израиля.

«Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал <<http://magazines.russ.ru/znamia/>> — представлены № 1 — 3 за 1996 год, затем — пауза, непрерывное представление номеров начинается с № 1 за 1997 год; журнал выставляется целиком. Кроме журнальных текстов сайт имеет разделы: «Анонсы», «Перспективы», «Редакция», «Авторы» (в справках, снабженных библиографией, представлен 631 автор «Знамени»), «Подписка и распространение», «Содержание журнала 1931 — 2002», «Очерки истории», «Антология 1931 — 2001» (тексты наиболее значительных публикаций журнала за 70 лет), «Арт-проект», «Галерея „Знамени“».

«Иностранная литература». Ежемесячный литературно-художественный журнал <<http://magazines.russ.ru/inostran/>> — журнал выставляется с № 1 за 1996 год в извлечениях.

«Континент». Литературный, публицистический и религиозный журнал <<http://magazines.russ.ru/continent/>> — непрерывно выставляется с 2000 года, с № 103 (в архиве сайта есть электронная версия № 99, вышедшего в 1999 году) содержание журнала представлено в извлечениях.

«Критическая масса» <<http://magazines.russ.ru/km/>> — на сайте представлены № 1 за 2002 год, № 1 — 3 за 2003 год, № 1 за 2004 год в извлечениях; развернутая справка о журнале помещена также на странице сайта «Прагматика культуры» <[http://www.artpragmatica.ru/contents/press\\_03.htm](http://www.artpragmatica.ru/contents/press_03.htm)>.

«Логос». Философско-литературный журнал — последние номера журнала за 2002 и 2003 годы (в извлечениях) представлены на сайте <<http://magazines.russ.ru/logos/>>, более ранние номера можно посмотреть на сайтах <<http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm>> и <<http://anthropology.rinet.ru/old/soder-all.htm>>.

«Наш современник». Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал <<http://nashsovr.aihs.net/main.php?m=mpage>> — выставляется с

№ 1 за 1999 год в полном объеме (в конце марта, когда составлялся этот обзор, доступ к номерам за 1999 и 2000 годы был временно закрыт).

«Нева». Литературный журнал <<http://magazines.russ.ru/neva/>> — представление полного содержания журнала ведется с № 11 за 2002 год; у журнала также есть еще один сайт в Интернете по адресу <<http://www.nevajournal.spb.ru/index.htm>>, но пока это сайт, так сказать, навыrost — тексты журнальных публикаций представлены здесь очень скупо, зато размечено пространство для полноценной культурной инфраструктуры при журнале: разделы «Редакция», «Избранные публикации», «Архив журнала» (список самого значительного из опубликованного в 1955 — 1999 годах), «Журнальные номера» и т. д.

«Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре <<http://magazines.russ.ru/nz/>> — выставляется с № 1 за 1998 год, с № 1 за 2001 год материалы номеров выкладываются полностью.

«НЛО». Независимый филологический журнал <<http://magazines.russ.ru/nlo/>> — выставляется с 1996 года (№ 14) в извлечениях, с 2003 года — почти целиком. Материалы «Нового литературного обозрения» и «Неприкосновенного запаса» появляются также на сайте «Новое литературное обозрение» <<http://www.nlo.magazine.ru/>>, но этот сайт не повторяет указанные выше сайты Издательского дома «НЛО», это сайт со своей структурой, использующий публикации из обоих журналов, но и имеющий свои, эксклюзивные материалы.

«Новая Русская Книга». Критическое обозрение <<http://magazines.russ.ru/nrk/>> — сайт содержит № 2, 3 за 2001 год и № 1, 2 за 2002 год, представленные целиком.

«Новая Юность». Литературно-художественный познавательный журнал тридцатилетних <<http://magazines.russ.ru/nj/> [http://magazines.russ.ru/nov\\_yun/](http://magazines.russ.ru/nov_yun/)> — номера выставляются с 1996 года (№ 13) в полном объеме.

«Новый Журнал». Литературно-художественный журнал русского Зарубежья <<http://magazines.russ.ru/nj/>> — выставляется с № 225 (2001 года) в извлечениях.

«Москва». Журнал русской культуры <<http://www.moskvam.ru/>> — выставляется с января 1999 года в полном объеме.

«Подъем». Литературный журнал <<http://www.pereplet.ru/podiem/>> — выставляет тексты с № 1 за 2001 год в извлечениях; в этот воронежский журнал можно заходить также со страницы <<http://www.hrono.ru/text/podyem/>>.

«Простор». Литературно-художественный журнал <<http://prostor.samal.kz/>> — номера казахстанского журнала выставляются с № 7 за 2000 год целиком.

«Север». Литературно-художественный и общественно-политический журнал Российского Северо-Запада <<http://sever.karelia.ru/>> — на сайте выставляются только текущие номера в извлечениях.

«Сибирские огни» <<http://www.sibogni.ru/>> — номера журнала выставляются с января 2000 года. Судить о том, в полном ли объеме выставляются номера, мне трудно — сайт структурирован по жанрам, номерам и авторам. Описью полного содержания представлен только текущий номер. Судя по очень даже солидному ресурсу сайта, можно предположить, что тексты журнала представлены целиком.

«Солнечное сплетение». Литературный журнал русскоязычных писателей Израила <<http://www.plexus.org.il/>>, выставляется целиком с 2000 года.

«Октябрь». Независимый литературно-художественный и публицистический журнал России <<http://magazines.russ.ru/october/>> — выставляется с № 1 за 1996 год практически целиком. Кроме журнальных текстов сайт содержит разделы: «Анонс», «Галерея» (здесь представлены авторы «Октября» в интервью и беседах — в марте, например, висели записи обстоятельных разговоров Ирины Барметовой с Вацлавом Михальским и с Василием Аксеновым), «Немного истории», «Отражение», «Премии», «Редакция» и т. д.

«Отечественные записки». Журнал для медленного чтения <<http://www.strana-oz.ru/>> — сайт содержит полный текст всех номеров журнала с момента его учреждения (в наше время, разумеется), то есть с конца 2001 года, когда вышел первый номер. Всего вышло шестнадцать номеров. Кроме журнальных текстов сайт содержит в соответствующих разделах списки авторов журнала («Авторы»), сведения о редакции и редакторах («Редакция»), о подписке («Подписка») и т. д. Также тексты журнала доступны со страницы <<http://magazines.russ.ru/oz/>>.

**«Старое литературное обозрение».** Журнал художественной литературы, критики и библиографии <<http://magazines.russ.ru/slo/>> — выставлены целиком два номера журнала: № 1 за 2001, посвященный В. В. Набокову («Владимир Набоков в конце столетия»), и № 2 за 2001 год, посвященный Бродскому («„Новая Одиссея”. Памяти Иосифа Бродского (1940—1996)»).

**«Урал».** Ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал <<http://magazines.russ.ru/ural/>> — выставляется с февральского номера 1996 года, сначала в виде дайджеста, достаточно полного, а с № 1 за 2003 год — практически целиком.

**«Уральская новь».** Литературно-художественный журнал <<http://magazines.russ.ru/urnov/>> — представлен с № 1 за 1998 год, сначала в виде выборки журнальных материалов, а с 2003 года — целиком.

Пополнение для предполагаемой папки «Журналы» в «Избранном» — адреса бумажных периодических изданий, посвященных не напрямую литературе, а культуре и науке и имеющих свои сайты в Интернете, — будет предложено в следующих сетевых обозрениях.



# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Уильям Бойд.** Броненосец. Роман. Перевод с английского Т. Азаркович. М., «Иностранка», 2003, 447 стр., 5000 экз.

Роман современного английского прозаика, из тех, что номинируются на британского Букера. Слагаемые: производственно-детективная сюжетная линия (герой, эксперт при страховых компаниях, оказывается втянут в сложную интригу), любовный сюжет (герой разыскивает случайно увиденную на улице женщину); семейная линия — герой из семьи иммигрантов, оказавшихся в Англии после войны, и до сих пор мир его семьи остается своеобразным островком утраченной родины. Также читателю предлагаются описание социально-психологических типов современного Лондона («в ассортименте» (от олигархов, рок-кумиров и дельцов, манипулирующих миллионами, до уличных торговцев, шоферов, официантов и т. д.) и изображение уклада лондонской жизни (еда, одежда и их место в жизни горожанина, классификация английских пабов, закусок, кафе, ресторанов, стиль общения на корпоративных тусовках, на приемах в «лучших домах Лондона», на воскресных обедах в загородных домах и т. д.). На материале этой «энциклопедии английской жизни» автор строит основной сюжет о победительном молодом человеке, сумевшем «сделать сам себя» (карьеру, материальную независимость), но вдруг обнаружившем, что плата за преуспевание и неуязвимость становится для него непомерно высокой — включающей отречение от самого себя. И герой решительно расстается со всем достигнутым ради новой жизни. Сюжет этот автор терпеливо растолковывает читателю с помощью сквозной метафоры: герой коллекционирует средневековые шлемы, однажды (ближе к финалу) он примеряет купленный шлем, но снять его уже не может; герой вынужден ехать к специалистам, разрезающим шлем; шлем безнадежно испорчен, но героя, уже освободившегося от своей внутренней зависимости, это не печалит — он устремлен в будущее.

**Джеймс Босуэлл.** Жизнь Сэмюэля Джонсона. Отрывки из книги. Составление, предисловие, перевод и примечания Александра Ливерганта. М., «Текст», 2003, 191 стр., 1000 экз.

«Знаменитый труд Джеймса Босуэлла (1740 — 1795), посвященный выдающемуся английскому литератору, лексикографу и издателю Сэмюэлю Джонсону (1709 — 1784), выходит за рамки биографии — это своеобразная энциклопедия интеллектуальной жизни Англии XVII века» (издательская аннотация). Оба литератора, обозначенные на обложке книги, были приятелями, и младший описывает их встречи и разговоры, выполняя отчасти функции Эккермана при Гёте, но только отчасти — вряд ли Джонсон смог бы занять свое нынешнее место в сознании английского читателя без книги Босуэлла, фрагменты которой предлагаются читателю русскому. В приложении представлено творчество самого Джонсона: «Афоризмы», «Словарь английского языка» (lexicographer (лексикограф) — автор словарей, безвредный трудяга); «oats (овес) — зерно, которое в Англии принято задавать лошадям, а в Шотландии — людям», и т. п.), несколько эссе, заметки о литературе и письма.

**Георг Гейм.** Вечный день. Umbra vitae. Небесная трагедия. Перевод с немецкого М. Л. Гаспарова, В. Микушевича, Г. Ратгауза и др. М., «Наука», 2003, 528 стр.

Впервые на русском языке стихи немецкого поэта-экспрессиониста Георга Гейма (1887 — 1912).

**Николай Заболоцкий.** Стихотворения. М., «Прогресс-Плеяда», 2004, 352 стр., 5000 экз.

Книга стихотворений, подготовленная Никитой Заболоцким к столетию со дня рождения поэта, содержит 136 стихотворений из 175, отобранных самим поэтом для «Заключительного свода», некоторые из этих стихотворений публикуются по более ранним редакциям; также книга содержит статью Н. Н. Заболоцкого «Мир Заболоцкого», «Хронику жизни и творчества Н. А. Заболоцкого» и краткую библиографию.

**Евгений Карасев.** Песни блудного сына. Тверь, 2003, 208 стр., 1000 экз.

Новая книга стихов известного поэта, автора «Нового мира»: «Среди песнопевцев у меня своя ниша, / как у пичуги в мире лиственном. / Она не выше других, не ниже — / единственная».



**Карета-призрак.** Английские рассказы о привидениях. Перевод с английского Л. Бриловой, М. Куренной, С. Сухарева. СПб., «Азбука-классика», 2004, 256 стр., 5000 экз.

«Ghost stories» за два столетия, среди авторов Амелия Эдвардс, Маргарет Олифант, Эдвард Бенсон, Джон Ишейн Лесли и другие.

**Владимир Киришин.** Частная жизнь. Очерки частной жизни пермяков. 1955 — 2001. Пермь, 2003, 135 стр., 500 экз.

Художественный эксперимент пермского прозаика, обратившегося к жанру социопсихологического исследования бытовой жизни сограждан начиная с 60-х годов. Материалом книги стали картинки образа жизни, смена эстетических и идеологических ориентаций и соответствующая им «эстетика быта» и т. д. На этом материале, имеющем все приметы реального научного дискурса, сочетающего признаки исторического, социопсихологического, фольклорного и проч. исследований, автор пишет лирико-документальное повествование о своем времени. («Танки в Праге пермские трудящиеся одобрили, как всегда, единодушно и с чувством глубокого удовлетворения. Прага далеко, а тут, в Перми, у наших родителей были заботы поважнее: где достать остроумный плащ „болонья”, например, или нейлоновую сорочку. Плащи были польские, сорочки — чешские. Если загулявший муж снимал нейлон через голову, не расстегивая пуговиц, то в тесной комнате становилось светло от искр, и жена просыпалась». «В 1979 году в моду вошли „дипломаты” — дюралевые „мыльницы”, облитые черной „шагренью”. Дубленки стали самой престижной верхней одеждой: 600 — 1000 руб., если достанешь. <...> За Пикулем гонялись. За пленками с Высоцким. Высоцкий был последним национальным героем. Фронтвики, зеки, алкаши, менты, спортсмены, жлобы, романтики, диссиденты и партийные бонзы — всех охватил Высоцкий своей харизмой и повел „по-над пропастью”. Никому с тех пор не верили так, как ему. Даже Кашипровскому». «Пили: водку „Русскую”, 4-12. „Боровинку” (не помню, почему). Шампанское было разных сортов — от „брют” до „сладкого”, все 4-67. Новинка: водки „Сибирская” и „Пшеничная” — с винтовой крышкой вместо „бескозырки”, — теперь допивать бутылку стало необязательно, но что-то я не помню, чтобы этим удобством кто-то воспользовался».

**Марио Варгас Льюса.** Вожаки. Рассказы, повесть, эссе. Перевод с испанского Э. Брагинской, В. Капустиной, Т. Коробкиной, В. Спасской. СПб., «Азбука-классика», 2004, 256 стр., 5000 экз.

Малая, еще почти неизвестная русскому читателю проза знаменитого перуанца.

**Норман Мейлер.** Призрак Проститутки. Роман. М., «АСТ», 2004, 1100 стр., 5100 экз.

Монументальный роман о ЦРУ — поздняя проза (роман вышел в 1991 году) автора классического в современной американской литературе романа «Нагие и мертвые» (1948).

**М. А. Осоргин.** Московские письма. Составление, послесловие, комментарии Е. Г. Власовой. Пермь, Издательство Пермского университета, 2003, 208 стр., 500 экз.

Осоргин-журналист: републикация материалов московского корреспондента газеты «Пермские губернские ведомости» Михаила Ильина (псевдоним «Осоргин» появился позднее, в 1906 году), хранящихся ныне в газетных фондах Пермского областного краеведческого музея. Жителем Москвы пермяк Ильин стал в 1897 году, поступив после гимназии в Московский университет и имея уже двухлетний опыт сотрудничества с газетой. Большая часть очерков публиковалась с 1897 по 1903 год в рубриках «Московские письма», а также «Дневник москвича» и «Из дневника наблюдателя». Выбранные составителем очерки вошли в разделы «Московская хроника», «Университет», «Литература и театр», «Провинция. Пермь». В конце книги помещены статья Е. Власовой «Журналистский дебют М. Осоргина» и полная библиография публикаций Осоргина в «Пермских губернских ведомостях» в 1895 — 1903 годах.

**Кэтрин Энн Портер.** Иудино дерево в цвету. Рассказы. Перевод с английского И. Бернштейн, Л. Беспаловой. М., «Текст», 2004, 205 стр., 1500 экз.

Переводы новых для русского читателя рассказов классика американской литературы XX века, представительницы так называемой «южной школы», мировой известностью обязанной своему роману «Корабль дураков».

**Мануэль Пуиг.** Поцелуй женщины-паука. Роман. Перевод с испанского Антона Ильина. М., «Иностранка»; «Б. С. Г.-ПРЕСС», 2003, 317 стр., 5000 экз.

Перевод на русский язык романа о женщинах-оборотнях (написан в 1976 году) одного из самых знаменитых латиноамериканцев второй половины XX века, аргентинца Мануэля Пуига (1932 — 1990) — попытка интеллектуальной игры со стилистикой кит-

чевой киномистики. На русском языке впервые публиковался в журнале «Иностранная литература» (2003, № 6).

**Сергей Солоух.** Самая мерзкая часть тела. Роман. СПб., «Геликон Плюс», 2004, 256 стр., 1000 экз.

Новый роман одного из ведущих прозаиков нового поколения.

**Сергей Юрский.** Домашние радости. М., «Вагриус», 2004, 190 стр., 5000 экз.

Новая книга Юрского: три поэмы, подборки стихов, несколько пьес, рассказы. Все это имеет отношение к тому, что называется юмором, но автор боится «профессионалов смеха» и потому достаточно осторожен в обращении с этим понятием: «ЮМОР и СМЕХ — вещи разные. Юмор может вызывать смех, а смех бывает, когда юмора ни на грош. Может быть, стоит рискнуть — дать читателям свободу выбора: где смеяться, где нет, а где вовсе — послушать палец и перелистнуть страницу за ненадобностью...»



**Лариса Агеева.** «Петербург меня победил...» Документальное повествование о жизни Е. Ю. Кузьминой-Караваевой — матери Марии. СПб., «Журнал „Нева“», 2003, 400 стр., 1000 экз.

Автор сосредоточен на описании «русского периода» (1891 — 1923) жизни матери Марии (Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой; 1891 — 1945) — родители, сестры, годы учебы, атмосфера литературного и философского Петербурга 10 — 20-х годов.

**М. А. Алексеева.** Михайло Махаев — мастер видового рисунка XVIII века. СПб., «Журнал „Нева“», 2003, 448 стр., 1200 экз.

Книга о жизни и творчестве Михаила Ивановича Махаева (1717 — 1770), одного из самых замечательных русских графиков XVIII века, оставшегося в истории русского и европейского искусства прежде всего архитектурными пейзажами Москвы и Петербурга.

**Ролан Барт.** Империя знаков. Перевод с французского Я. Г. Бражниковой. М., «Праксис», 2004, 144 стр., 2000 экз.

Путевые заметки знаменитого культуролога, писавшиеся им во время поездки по Японии (книга вышла в 1970 году). Текст сопровождается подобранными автором иллюстрациями (иероглифы, фотографии современных японских лиц, топографические схемы, репродукции японской графики и т. д.) — «Этот текст не „комментирует“ картинки. А картинки не „иллюстрируют“ текст: каждая из них была для меня лишь чем-то вроде визуальной вспышки или озарения подобного тому, которое Дзен называет *сатори*; переплетаясь, текст и картинки обеспечивают перетекание, обмен означаемыми: тело, лицо, написание, и из них позволяют считывать пространство символов».

**А. Ю. Ватлин.** Террор районного масштаба. «Массовые операции» НКВД в Кунцевском районе Московской области 1937 — 1938 гг. М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004, 256 стр., 700 экз.

«Несколько лет занимаясь кунцевским райотделом, я не могу заставить себя поверить в то, что горы следственных дел, братские могилы в Бутове, тысячи искалеченных человеческих судеб являются результатом деятельности всего лишь низовой ячейки НКВД, делом рук какого-то десятка человек, облеченных в мундиры офицеров госбезопасности» (в Бутовских братских могилах лежат более 20 000 человек, расстрелянных с августа 1937 по октябрь 1938 года), — историческое исследование, написанное на основе архивно-следственных дел по большей части крестьян и рабочих провинциального подмосковного городка и близлежащих деревень.

**В. В. Комин, В. П. Прищепа.** Он пришел в XXI век. Творческий путь Евгения Евтушенко. Новосибирск, 2003, 408 стр., 1000 экз.

Книга двух литературоведов, изучавших творчество Евтушенко и публиковавших свои работы порознь, объединившихся же для того, чтобы подвести своеобразный итог многолетней работы. Авторы рассматривают Евтушенко в самых разных аспектах — анализируется историко-культурный контекст (глава «Шестидесятничество: споры, суждения, оценки»), прослеживается формирование идейно-художественной концепции

творчества Евтушенко, эстетические ориентиры поэта, его индивидуальная поэтика, в частности, авторов интересует эволюция жанра поэмы у Евтушенко, специфика его прозы, афористика, использование фразеологизмов и т. д.

**Жозель Котек, Пьер Ригуло.** Век лагерей. Лишение свободы, концентрация, уничтожение. Сто лет злодеяний. Перевод с французского Е. Мурашкинцевой, Н. Малыхиной, Ю. Розенберг. М., «Текст», 2003, 687 стр., 1500 экз.

История и исследование феномена лагерей за сто лет начиная с 1896 года — с «зон концентрации», созданных испанскими войсками на Кубе (авторы при этом пользуются классификацией, предложенной Ханной Арендт).

**Зинаида Пастернак.** Воспоминания. Предисловие Е. Пастернака. М., «Классика-XXI», 2004, 240 стр.

Мемуары второй жены Пастернака. См. рецензию Михаила Золотоносова «Жена двух господ» («Московские новости», 2004, №11 <<http://www.mn.ru>>).

**Письма и заметки Н. С. Трубецкого.** Вступительная статья В. Н. Топорова. Подготовка к изданию Р. Якобсона при участии Х. Барана, О. Ронена, М. Тейлор. М., «Языки славянской культуры», 2004, 608 стр.

Письма Николая Трубецкого к Роману Якобсону 20 — 30-х годов XX века и подробный комментарий к ним Романа Якобсона, чьи письма к Трубецкому, изъятые гестаповцами при обысках в 1938 году, утрачены. Кроме комментария в книге помещено предисловие Якобсона, написанное им к английскому изданию писем в 1975 году.

**И. С. Розенталь.** Москва на перепутье. Власть и общество в 1905 — 1914 гг. М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004, 256 стр., 1000 экз.

Историческая монография, посвященная проблемам последнего этапа досоветской модернизации России.

**Леонид Таганов.** Книга без конца. Из дневников 1970 — 2000 гг. Иваново, «А-Гриф», 2003, 272 стр., 500 экз.

Литературные, политические, общественные новости, университетские будни, обстоятельства личной жизни, мысли, история последнего тридцатилетия изнутри, глазами ивановского филолога. Свое решение обнародовать записи из личного дневника автор объясняет тютчевской строкой «Как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». «Вот и я однажды, взглянув на свои прежние дневники, увидел их как нечто отдельное от себя и, возможно, представляющее интерес для других». («9 мая 1970. Читаю нобелевскую речь Солженицына. Сложное чувство: и правота, и сектанство. Близко к А. Барковой... Все это страшно интересно...»; «22 сентября 1985. Тягостное впечатление произвел роман В. Белова „Все впереди“. Это какое-то диссидентство наоборот... Любое диссидентство отвратительно потерей целостности жизни»; «27 марта 1999. Безумное время. НАТО бомбит Югославию. С одной стороны, сытые, наглые американцы, решившие прикарманить весь мир. С другой — неуступчивый, „упертый“ Милошевич, не сумевший найти путь к разумному компромиссу. С третьей — несчастная Россия, играющая муляжными мышцами. Показали вчера по ивановскому телевидению одного из наших шуйских добровольцев. Безработный, видимо, больной парень. „Мне, — говорит, — все равно: то ли почку продать, то ли в Югославию завербоваться. Только бы деньги какие-нибудь занять...”»)

**Марина Цветаева и Николай Гронский.** Несколько ударов сердца. Письма 1928 — 1933 годов. М., «Вагриус», 2003, 320 стр., 3000 экз.

«Этот эпистолярный роман — единственная сохранившаяся в наследии Цветаевой двусторонняя переписка. После смерти Гронского в 1934 году его мать вернула Цветаевой ее письма, и та собралась издать переписку отдельной книгой, но не получилось... Теперь этот уникальный роман в письмах опубликован целиком с подробными комментариями (издание подготовили Ю. Бродовская и Е. Коркина). Значительная часть посланий ранее не публиковалась» («Книжное обозрение»).

Составитель **Сергей Костырко.**

## ПЕРИОДИКА



«Вестник Европы», «Время новостей», «Вышгород», «Газета», «Гражданинъ», «Global Rus.ru», «День литературы», «Дон», «Завтра», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Искусство кино», «Книжное обозрение», «Космополис», «Лебедь», «Левая Россия», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «LiveJournal», «Мемориал», «Московские новости», «Наш современник», «Наша страна», «НГ-Религии», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая Юность», «Новое время», «Новые Известия», «Новый Журнал», «Огонек», «Октябрь», «Политический журнал», «ПОЛИТ.РУ», «Посев», «Российская газета», «Русский Журнал», «Русский курьер», «Спецназ России», «Топос», «Труд», «Toronto Slavic Quarterly», «Урал», «Фома»

**Владимир Алейников.** Свидание с Фурцевой. — «Литературная Россия», 2004, № 7, 20 февраля <<http://www.litrossia.ru>>.

Как художник (А. Зверев) к министру культуры ходил.

См. также: **Владимир Алейников**, «Нет ни участия, ни вести благой» — «Литературная Россия», 2003, № 19-20, 16 мая; «Самиздат моей эпохи» — «Литературная Россия», 2003, № 34, 22 августа; «Белая ворона» — «Литературная Россия», 2003, № 45, 7 ноября; «Артур Фонвизин» — «Литературная Россия», 2003, № 52, 26 декабря.

**Марк Альтшуллер.** Двести лет споров о русском языке. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2004, № 234 <<http://magazines.russ.ru/nj>>.

К 200-летию «Рассуждений о старом и новом слоге Российского языка» А. С. Шишкова (СПб., 1803). Среди прочего: «<...> большинство из словечек подобного рода, приписывавшихся Шишкову и его последователям, выдуманы противниками адмирала (биллиард — шарокат, кий — шаропех, луза — прорездырие) и часто принадлежат к историко-литературному фольклору. Такова, например, знаменитая фраза: „Хорошилице грядет по топталушу на позорище в мокроступах“ (то есть фронт идет по тротуару в театр в галошах)...»

**Максим Амелин.** Поверх молчания и говорения. Олег Чухонцев как продолжатель «умного делания» древнерусских исихастов. — «НГ Ex libris», 2004, № 8, 4 марта <<http://exlibris.ng.ru>>.

«Чухонцев, преодолев сопротивление материала, нашел некую альтернативу — стих, обладающий безграничными возможностями, промежуточный между белым (с иногда проявляемой рифмой) ритмическим стихом и верлибром западноевропейского разлива, чуждым свойствам русского языка, имеющего помимо фразового ударения сильнейшее словесное».

См. также рецензии **Дмитрия Полищука** и **Ирины Роднянской** на новую книгу Олега Чухонцева «Фифиа» (СПб., «Пушкинский фонд», 2003) в настоящем номере «Нового мира».

**Юлий Андреев.** В мире биологически мотивированной этнической вражды. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2004, № 367, 21 марта <<http://www.lebed.com>>.

«Слабоумие Горбачева в данном случае не может служить смягчающим обстоятельством».

**Ольга Арефьева.** «Господь на небе замечает, какие у певца глаза...» Беседовала Анастасия Франтова. — «Фома». Православный журнал для сомневающих. 2004, № 1 (18) <<http://www.fomacenter.ru>>.

На вопрос о религиозных метаниях Бориса Гребенщикова: «А кто знает, может, он влбуть растет, мы же не видим его душу. <...> Кто знает, какие у человека отношения с Богом, какой у него путь? Мы видим, как он грешит, но не видим, как он кается».

**Ольга Балла.** Обнаженное тело в культурных пространствах. — «Знание — сила», 2004, № 2 <<http://www.znanie-sila.ru>>.

«Нагота всецело культурна и социальна».

**Павел Басинский.** Так и надо. Два завещания Льва Толстого. — «НГ Ex libris», 2004, № 10, 18 марта.

«Это он в „Обращении” [1908 года] завещает не какой-то конкретный опыт проживания жизни, а тотальное отрицание несомненно несовершенного устройства мира во имя абстрактного блага и любви. И затем уже предчувствуется, быть может, самый страшный тоталитаризм XX века — постоянное выхолащивание всяческой жизненной органики, всяческих жизненных мелочей ради главного — несомненно правильного, но пустого и жуткого в своей безличности». Под *вторым завещанием* автор статьи подразумевает «Хаджи-Мурата».

Здесь же: **Василий Шевцов**, «Механика свиной жизни. Зачем нам сегодня „Крейцера соната”?»; «<...> эмпирический секс всегда сопряжен с душевными муками, со стыдом — отзвуком первородного греха. <...> А у героев порнофильмов, порнорассказов нет психики, они совокупляются радостно, самозабвенно, экстатически, заставляя нас заново поверить, что есть, есть он — секс нашей мечты, где мы возвращаемся в райское состояние неразличения зла и добра. <...> Это чистая механика, где нет соблазна, где нет страсти и угрызений совести, где нет голодных детей, абортот и поломаных судеб».

**Антон Баумгартен.** Несколько мыслей в защиту патриота Пушкина. — «Левая Россия», 2004, № 4 (103), 8 марта <<http://www.left.ru>>.

«Да, он [Пушкин] не мыслил в категориях классовой борьбы, по крайней мере как центральных для исторического понимания. Пушкин размышлял об истории „наивно”, как об истории наций, государств, человека. Но ведь отношения между этими реалиями если и подчиняются „законам” классовой борьбы <...> то ведь не напрямую подчиняются, а только *в конечном счете* (то есть в последнем счете Апокалипсиса, как мог бы сказать Вальтер Беньямин). Кроме того, признаем, что марксизм не имеет убедительной теории наций, этносов и отношений между ними. <...> Так вот, мне представляется, что Пушкин удивительно верно предсказал последствия для России такого развития истории, при котором Польша восстановит свою государственность...»

**Владимир Богомяков.** Лаборатория бытийной ориентации № 85. Там, где ворота не запираются. — «Топос», 2004, 17 февраля <<http://www.topos.ru>>.

«Посмертные записки Сергея Залыгина [„Октябрь”, 2003, № 9, 10, 11] действительно очень интересны. <...> Конечно, может случиться так, что лет через 100 все то, что пишет Залыгин, покажется смешной и ненужной чепухой: настолько другая наступит жизнь, что и книг-то читать никто не будет, кроме нескольких чудаков, да и те — для понта. Чтобы понимать Элиота, нужно знать маршруты лондонских трамваев, а чтобы понимать Залыгина — нужно пожить в России (перестроечной и доперестроечной), в Сибири, в деревне».

**Владимир Бондаренко.** Ненасытное время умирания. О поэзии Геннадия Русакова. — «День литературы», 2004, № 2 <<http://www.zavtra.ru>>.

«<...> смерть жены и смерть державы. Имперский поэт не предает своей империи. Любимый не хочет забыть о своей любимой. <...> Несомненно, „Разговоры с богом” — главная книга его жизни. Это новая победа нашей классической поэзии, победа чистого, емкого русского языка. Для меня книга Геннадия Русакова стала одной из событийных поэтических книг XX века».

См. также: **Владимир Славецкий**, «Голошение» — «Новый мир», 1998, № 1.

См. также: **Владимир Цивунин**, «Горькая дерзость Геннадия Русакова» — «Новый мир», 2003, № 3.

См. также: **Геннадий Русаков**, «Горло дней» — «Новый мир», 2004, № 6.

**Владимир Бондаренко.** Лирический жест Владимира Соколова. — «День литературы», 2004, № 3.

«Разве приверженность к прозрачности, к простоте слов, к идентичности слов и самой жизни обозначает какую-то групповую идеологическую узость? Тогда уж вся классическая русская литература является некой тенденциозной группой, с которой надо бороться. Что и делают в наше время». Эту же статью см.: «Завтра», 2004, № 12, 16 марта.

**Владимир Бондаренко.** В рубищах великих слов. — «НГ Ex libris», 2004, № 10, 18 марта.

«Я считаю Леонида Губанова — одним из поэтических классиков русского XX века».

См. также: **Юрий Кублановский**, «На свету и в темнотах лирической самобытности» — «Новый мир», 2004, № 1.

«...**быть дочерью трудной матери**». Письма Ариадны Эфрон Маргарите Алигер. Вступление, публикация и комментарии Натальи Громовой. — «Октябрь», 2004, № 2 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

«Аня Саакянц пишет, что Секретариат наконец разрешил мамин вечер в Союзе. <...> Главное и единственное мое пожелание и просьба, относящаяся к вечеру, — чтобы ни в коем случае не участвовал Асеев. Остальное — на волю Божию и Вашу. <...> Слуцкий мне понравился очень, хорошо, если бы он выступил. Эрэнбург, конечно. Кого-нибудь из молодых. Только бы не Вознесенского! <...> Ваша Аля» (из письма от 14 ноября 1962 года, Таруса).

**Вдарьте по мячику!** Беседу вел Сергей Шаргунов. — «НГ Ex libris», 2004, № 8, 4 марта.

Говорит Владимир Новиков: «Попробую обозначить некоторые мертвые зоны, где накопились завалы штампованной продукции. Это прежде всего антиутопическая традиция, объективно исчерпанная и закрытая еще „Москвой 2042“ Войновича. Начинают также надоедать фантастически-альтернативные версии российской истории (уже жаргонно именуемые „альтернативками“). Сколько можно тянуть постсоветскую резину, искусственно продлевая девяностые годы! Не вижу проку в реабилитации и эстетизации наркомании: потребители „наркоты“ вообще читать не любят, а запойные читатели — это люди в основном здоровые. Наконец — грязно-грубая эротика: зачем о телесной любви писать так, чтобы при чтении приходилось зажимать нос? <...> А в реальной жизни я вижу нарождающуюся молодую интеллигенцию, грамотную, трудолюбивую, не склонную ни к идеологическому, ни к сексуальному разврату. Воссоздать эту новую среду сюжетно — интересная творческая задача».

**Игумен Вениамин** (Санкт-Петербург). «Эти китайцы не настоящие...» — «Литературная газета», 2004, № 9, 3 — 9 марта <<http://www.lgz.ru>>.

*Полемика: прогрессивный игумен против писательницы-реакционерки.* «<...> автор [Олеся Николаева] страшно не любит католичество (как, похоже, и Запад в целом), даже более, чем некоторые не запрещенные в служении священнослужители. Не любит автор католичество от всей души, причем не объясняя ни одним словом за что, очевидно, полагая, что это и так должно быть ясно. Именно этой симпатии к католичеству (прозападного увлечения) автор не может простить своему духовнику игумену Ерму (прообраз, вероятнее всего, архим. Зинов; прототипы многих персонажей „конспекта“ вообще легко узнаваемы). И тут овца взбунтовалась! Католичество настолько невыносимо, что после пережитого антикатарсиса („сделалось невыносимо тревожно, душно“) немедленно подключаются и природные силы: хляби небесные разверзнутся, и огромные градины падают с неба, как в русской былине».

Здесь же другое мнение — **Павла Басинского** («Самые искушаемые»): «<...> удивительно, что игумен Вениамин именно светский, именно открытый для простых людей, написанный на понятном им языке роман Олеся Николаевой [„Мене, текел, фарес“] обвиняет в „ортодоксии“ и сопротивлении [церковным] реформам. Да уже одно то, что монастырские проблемы описаны в светском журнале, но описаны человеком, знающим монастырскую жизнь изнутри, само по себе есть факт религиозной свободы. Может быть, опасной, не знаю».

**«Вера и святые — самое дорогое, что есть у истинного христианина».** Заявление Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. — Официальный сайт Русской Православной Церкви, 2004, март <<http://www.mospat.ru>>.

«<...> осквернение священных изображений, символов и икон должно решительно осуждаться и отвергаться обществом, кто бы такое осквернение ни совершал — художник, писатель или журналист, чиновник или торговец, „народный лекарь“ или простой обыватель. <...> Церковь настаивает на том, что любое публичное осквернение иконографических изображений Господа Иисуса Христа, Божией Матери и святых — то есть совмещение их с чуждыми изображениями, помещение в ненадлежащий контекст, употребление в книгах, фильмах и постановках, пропагандирующих человеческие страсти, использование в рекламе, в объявлениях колдунов и знахарей, на этикетках бытовых товаров — оскорбляет чувства верующих».

**Егор Гайдар.** I. Богатые и бедные. II. История пенсий. — «Вестник Европы». Журнал европейской культуры. 2003, № 10 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>.

«Когда Ю. Цезарь ввел систему военных пенсий в Риме, он вряд ли отдавал себе отчет в том, что создает прецедент, который серьезно усугубит финансовые трудности Римской империи несколько столетий спустя». Начало цикла историко-экономических очерков Е. Т. Гайдара — «Вестник Европы», 2003, № 9.

**Рената Гальцева.** Что делать? — «Русский Журнал», 2004, 19 февраля <<http://www.russ.ru/politics>>.

«Два эти популярные понятия надо было бы поменять местами в плане сущего и должного — чтобы „административный ресурс” наконец вошел в силу, а „стабильность”, наоборот, уступила место сдвигам».

См. также: **Рената Гальцева**, «Воздушные замки стабильности. И механизм бездействия вертикали власти» — «*GlobalRus.ru*», 2004, 12 марта <<http://www.globalrus.ru>>; «Порвалась связь миров, горнего и дольного. Колесики не зацепляют, приводные ремни истерлись. Сдвинешь камень с места, а он, как сизифов, тут же возвращается назад; вытащишь колеса из расхлябанной колеи, глядишь, а повозка опять въехала в нее. Не всегда тут вина центральной власти, чаще беда ее. Однако затянувшаяся беда становится виной».

**Голос Церкви.** — «Завтра», 2004, № 7, 11 февраля.

Против *идентификационных номеров*: «<...> любые, даже предвиденные, ограничения политических и хозяйственных прав и свобод граждан с помощью технических средств при христианском линейном восприятии времени, которое направлено к своему концу, приобретают эсхатологическое измерение и не могут не беспокоить совесть членов Церкви <...>. В религиозном контексте названные действия [украинской] власти приобретают апокалипсическую составляющую, что может расцениваться как сознательное или невольное содействие созданию технической базы, которая оказывает содействие воцарению антихриста» (из «Заявления Священного синода Украинской Православной Церкви», Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 20 декабря 2003 года).

См. также: «Согласно статистике официальных государственных органов, на начало 2004 года по всей Украине в судах находится около 2000 (!) судебных дел православных христиан за право жить без идентификационных номеров. Каждое такое судебное дело насчитывает от 1 до 300 и более православных истцов, которые готовы до конца отстаивать свое право жить без личных антихристианских номеров-кодов. Вместе с прихожанами в суд подают и священнослужители. И сейчас уже почти все судебные инстанции выносят свои решения против налоговой администрации в пользу православных! <...> Таким образом, сейчас на Украине уже каждый православный христианин, имеющий соответствующие религиозные убеждения, имеет возможность в судебном порядке доказать свое право жить без дьявольского кода, в соответствии с Законом Украины № 1003-XIV, принятие которого Верховной Радой 16 июля 1999 года было вымолено стараниями православного народа Украины, священнослужителей и архиереев Украинской Православной Церкви» («Седмица. Православные новости за неделю», 2004, № 138, 19 марта <<http://www.sedmica.orthodoxy.ru>>).

**Антон Громов.** Трагический символ эпохи. — «Наша страна». Орган русской монархической мысли. Основан И. Л. Солоневичем 18 сентября 1948 года. Редактор Н. Л. Казанцев. Буэнос-Айрес, 2004, № 2742, 10 января <<http://www.nasha-strana.narod.ru>>.

«Для миллионов читателей, благодаря средствам массовой информации, Лени Рифеншталь так навсегда и останется символом нацистского кино. Символом кино немецкого ей стать не дали. <...> Однако для людей, не искалеченных левацим воспитанием, она будет иным, трагическим символом. Ее судьба — это трагедия яркой личности в эпоху, когда независимый образ мысли, индивидуальность, талант, не пожелавшие служить „прогрессу”, влекли за собой приговор к гражданской смерти. <...> Раз она „сотрудничала с нацистами”, то обречена нести „клеймо позора”. Иное дело „прогрессисты”. Тысячи западных интеллектуалов сотрудничали с советской тиранией, пожравшей десятки миллионов жизней. <...> Похоже, что в мире демократии „заблудиться” можно только налево. А иначе — тюрьма, психушка или, как в случае Лени Рифеншталь, — гражданская казнь. Хотя ей повезло больше, чем П. Н. Краснову, Кнугу Гамсуну или Эзре Паунду».

**Олег Давыдов.** Не согрешишь — не покаешься... Синусоида русской истории как функция национальной идеи. — «Политический журнал», 2004, № 7 (10), 1 марта <<http://www.politjournal.ru>>.

«<...> основополагающий русский миф (не просто байки о деяниях богов и героев, но сценарий, определяющий ход исторической народной драмы, в которой мы все участвуем) сводится к необходимости создания условий для поражения, которое оборачивается победой и следующим за ней социальным, экономическим, политическим, культурным и каким еще угодно подъемом. Это, собственно, и есть русская идея. Она настолько повсеместно присутствует в русской культуре (функционировании социальных институтов, методах хозяйствования, политике, литературе, религиозных представлениях), что только диву даешься, почему ее еще надо искать».

**Михаэль Дорфман.** Секс и еврейский город. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2004, № 364, 29 февраля <<http://www.lebed.com>>.

«В воскресенье, 22 февраля 2004 завершился последний сезон сериала „Секс и Город“. В российском прокате его, как всегда неудачно, назвали „Секс в большом городе“. Американцам, особенно на Восточном побережье, не надо объяснять, какой Город. Город — он и есть город с большой буквы. Понятно, что Нью-Йорк — он и есть Город, Сити. <...> Наверное, только сериалы „Сейнфилд“ и „Умерьте свой энтузиазм“ более еврейские, чем „Секс и Город“. Еврейские не потому, что про евреев, и не потому, что в титрах огромное количество евреев, делавших сериал, а самим еврейским духом и темпом, неповторимой манерой рассказывать истории. <...> В фильме есть еще один, главный и, несомненно, еврейский герой — Город, Нью-Йорк, вот уже более ста лет — крупнейший еврейский город на планете».

См. также: **Евгений Берштейн,** «Эпопея городской сексуальности» — «Критическая масса», 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/km>>.

**Денис Драгунский.** Шлагбаум. «Михаэль Кольхаас», новелла Генриха фон Клейста. Комментарий-2003. — «Космополис». Журнал мировой политики. Выходит четыре раза в год. № 4 (6), зима 2003/2004 <<http://www.risa.ru/cosmopolis>>.

«Чувство справедливости — возмещения невозмещаемого — невозможно утолить».

**Денис Драгунский.** Достигнутое торжество. — «Искусство кино», 2004, № 2 <<http://www.kinoart.ru>>.

Власть=волшебство, всегда выигрывает.

**Юрий Дружников** (Дейвис, Калифорния). «Закаляйтесь на брани критиков». Беседа вел Александр Ананичев. — «Литературная Россия», 2004, № 7, 20 февраля.

«Режиссер А. Сокуров в своем фильме „Русский ковчег“ за свой выдал сюжет из моего романа „Ангелы на кончике иглы“ — мистическое появление маркиза де Кюстина в России нашего времени. Теперь это не стыдно».

**Александр Дугин.** Короли и жрецы. Беседовал Владимир Поляков. — «Литературная газета», 2004, № 10, 17 — 23 марта.

«Путину нужен иной, свой, национальный Мерлин. И он его, я полагаю, ищет. <...> У него очень ограниченный выбор. Либо оборонное укрепление жесткого национального государства, либо наступательный вектор строительства новой демократической империи — Евразийского Союза».

**Евгений Евтушенко.** Порядочный порядок. — «Литературная газета», 2004, № 10, 17 — 23 марта.

«<...> однажды, выйдя на рассвете из дома Вильяма Голдинга в Южной Англии, я увидел очертания каких-то старинных полуразрушенных строений, поросших мхом.

— Это так похоже на древние акведуки, — заметил я.

— Это и есть акведуки Римской империи, — ответил Голдинг.

— А разве она здесь была? — бесхитростно спросил я.

Как мне потом передавали, Голдинг удивлялся моему чисто английскому чувству юмора. За юмор — на сей раз удачно — сошло мое невежество». Здесь же — новые стихи Евтушенко.

**Борис Егоров.** Далекое-далекое детство. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 6 <<http://www.veneportaal.ee/vysgorod>>.

Воспоминания петербургского профессора Б. Ф. Егорова. *Сны.* См. также: «Вышгород», 2003, № 3, 4; там — про еду и питье 20 — 30-х.

**Михаил Жванецкий.** Верлибры. Предисловие Валерия Краснополяского. — «Октябрь», 2004, № 3.

«И убедимся, что верлибр Жванецкого — это не парадокс» (В. Краснополяский). Убедились.

А вот что я писал в «Новом мире» (1997, № 7) о цикле Жванецкого «Простые вещи» («Известия», 1996 — 1997): «Неужели он не устал? Нескончаемый монолог, разрезанный на кусочки. Резать можно наугад, в любом месте. Заунывный, как бубен шамана, и невоспроизводимый, как бурятское горловое пение. Слушать Жванецкого не надоедает никогда. В любом месте можно забыть. Очнулся — все говорит. <...> *Литература*, как теперь говорят, *существования*. Сильно ритмизованная. Почти верлибр. Узкую газетную колонку хочется сделать еще уже.

Выдох  
чище вдоха.  
Питьевая вода  
из фенолов и нитратов  
кипячению не подлежит.

Танка, однако».



**Женский логос Светланы Семеновой.** Беседу вел Сергей Луконин. — «Литературная газета», 2004, № 9, 3 — 9 марта.

Говорит **Светлана Семенова**: «В книге о [Николае] Федорове я обобщила свою многолетнюю работу над наследием великого отечественного мыслителя, Учителя и пророка, как его не раз называли. На взгляд многих, в том числе самых мощных умов и талантов России, он (а не Христос? — *А. В.*) открыл Земле полноту благого идеала, высшую цель, касающуюся буквально каждого жившего, живущего и кому еще предстоит жить <...>. <...> Именно активное христианство Федорова призывает всех на богочеловеческое дело выкорчевывания гнилого, но и упорного смертного корня зла, вводит вектор высшей цели в историю, созидательное действие землян, призванных к творческому стяжанию новой бессмертной природы — в полном составе всех поколений. При этом, испуляя зло и порок, спасаются все (и те, кто не хотят спасения? — *А. В.*)».

**Александр Жолковский.** Новые виньетки. — «Toronto Slavic Quarterly», 2004, № 7 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/07/zholkovskij07.shtml>>.

«Хемингуэя спросили, как становятся писателем.

— Как становятся писателем? Я думаю, надо любить предложения. Вы любите предложения?

Я как раз люблю предложения».

**Юрий Жуков.** Хозяин демократии. Первые альтернативные выборы в СССР должны были состояться в 1937 году. Но инициатива Сталина обернулась массовыми репрессиями. — «Политический журнал», 2004, № 7 (10), 1 марта.

О том, что прямые, тайные, равные выборы (формула, введенная сталинской конституцией) будто бы предполагались Сталиным еще и как *альтернативные* (с несколькими кандидатами) — как средство мирного обновления политической элиты. Случилось иначе...

**Заложничество: на весах — человеческая жизнь.** — «Мемориал». Информационный бюллетень. 2003, № 27, декабрь <<http://www.bulletin.memo.ru>>.

Двойной тематический номер — в специальной картонной папке: история, современность.

**Алексей Иванов.** «Все мы изнасилованы Голливудом». Беседу вел Александр Гаврилов. — «Книжное обозрение», 2004, № 9-10, 9 марта <<http://www.knigoboz.ru>>.

«— Когда я читал „Сердце Пармы“, было сильное ощущение, что эта история регионального барона в России вечна. Что ваш Михаил Пермский, что какой-нибудь Анатолий Быков...»

— Да это же русский архетип! У нас что в XV веке, что в XX, что в XXI — всегда, по-моему, так...

— Насколько вы это в уме держали?

— На сто процентов.

— Какие-то реальные современные истории приходили при этом в голову?

— Да как... Любую газету открой — вся история повторяется. С другими именами, другими суммами, другими мотивировками, а основа та же самая».

**Из Ф. И. Тютчева.** Перевод с французского. — «Вестник Европы», 2003, № 10.

Несколько французских стихотворений Тютчева в переводе Арона Липовецкого. «Работа была сделана при постоянном обращении к подстрочникам К. В. Пигарева, настолько виртуозным и деликатным, что порой мне казалось, будто я просто подправляю их ритм». Здесь же — французская статья Тютчева «Римский вопрос» в переводе Б. Н.Тарасова.

**Из-под глыб.** Беседу вел Павел Нуйкин. — «Литературная газета», 2004, № 8.

Философ **Григорий Померанц** отвечает на вопрос собеседника, верит ли он в *мировой прогресс*: «Идет прогресс в частностях, и идет, все больше идет регресс в непосредственном чувстве целого».

**Отар Иоселиани.** «Достойны ли люди сострадания?» Беседу вел Юрий Коваленко. — «Русский курьер», 2004, № 45, 4 марта <<http://www.ruskur.ru>>.

«Давно, еще при Николае I, у царской администрации грузины вызывали большое беспокойство своей неспособностью к торговле».

**Аркадий Ипполитов.** Последний человек Серебряного века. Освобождение Авринцева. — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2004, 27 февраля <<http://www.globalrus.ru>>.

«История — удивительная гнусность. <...> Глупая история с рылом миргородского хряка была обманута, и нежнейшие слова Романа Сладкопечца вливали в душу уверен-

ность, что ничто не потеряно и что ни осквернение храмов, ни сожжение библиотек, ни кровь, ни грязь, ни гибель Константинополя, ни переименование Петербурга, ни замена крестов звездами, ничто не способно истребить человека. Преданная и поруганная Византия, которую все винили в собственной гибели, называя ее порочной, продажной, обреченной и виновной во всех грехах, неспособной к развитию и жизни, сверкала удивительно чистой лазурью, и становилось предельно ясно, что нет провалов в истории человечества. Сквозь полуторатысячелетнюю муть времен Византия улыбалась тому, что тогда считалось современностью, и жить хоть на минуту становилось легче. <...> Вместе с Сергеем Сергеевичем ушел из современности Серебряный век, и что же плакать, зачем томиться — Серебряному веку нечего делать среди пластикового хлама, и смерть не есть конец, а лишь освобождение».

См. также: **Андрей Немзер**, «Человек „большого времени“». Памяти Сергея Аверинцева — «Время новостей», 2004, № 31, 25 февраля <<http://www.vremya.ru>>; «Читая Аверинцева, слышишь его неповторимый голос (в прямом, „физическом“, смысле) и видишь спектакль, напоминающий о тех, что прежде разыгрывались в его лекциях. Артистичность и неотделимая от нее популярность опасны, ибо обаятельное лицо рассказчика может оказаться важнее, чем суть рассказа. Так случалось (и по сей день происходит) с Честертоном, которого Аверинцев горячо любил (давая понять, что надо бы тут быть по-сдержаннее) и часто с удовольствием цитировал (обычно именуя при этом Честертон „легкомысленным писателем“). Ясно, что Аверинцев, назвавший филологию „службой понимания“, высоко ценивший дух смирения старых книжников и ученых, полностью подчиненных толкуемому слову, напряженно переживал эту проблему. Дело усугубляли кулуарные шепотки о „ненаучности“, „звездной болезни“, „эстрадности“ и даже „даровании, которое не тому досталось“. Зная, как твердо умел Аверинцев говорить о слабостях своих героев (например, того же Честертон, Брентано, Гессе или Вячеслава Иванова), можно предположить, что заведомо несправедливые речи о себе он воспринимал не только с юмором. И оставался собой. Быть просто академическим исследователем он не мог и не хотел. Публичные выступления и популярные статьи не были случайностями, как не был случайностью удививший многих поход Аверинцева „во власть“. Его гражданское служение продолжало то общественное бытие, без которого невозможно представить себе этого изощренного европейского интеллектуала, всегда ошущавшего себя русским интеллигентом».

См. также: **Ольга Седатова**, «Он помогал не сдаваться „духу времени“» — «Новая газета», 2004, № 13, 26 февраля <<http://www.novayagazeta.ru>>; «Сложность и простота не относятся как добро и зло, вот что говорит Аверинцев. Есть благо сложности и благо простоты. Сердце когда-то просит одного и когда-то — другого. Зло в другом: в дурном упрощении и в дурной запутанности. „Различай!“ — одно из любимых слов Аверинцева. Этому он нас и учил. Не „реагируй“, а „различай“. Не бойся сложного, поскольку без него мы можем возвести напраслину и на мир, и на себя самих. Не бойся простоты, поскольку без нее жизнь обрывается».

См. также: **Наталья Трауберг**, «Он умер, потому что повзрослел» — «Огонек», 2004, № 9 <<http://www.ogoniok.com>>; «Я не знаю, как рассказать, что в семидесятые годы в Москве жили люди, дававшие христианские обеты написать или перевести книгу ради конца советской власти. Сегодня в это никто не поверит. Тем не менее это было так, и в больницу ко мне пришел однажды Аверинцев — рассказать о третьей книге трилогии Льюиса „Мерзейшая мощь“. Он пересказал мне этот толстенный роман так, что я взялась за перевод и к восьмидесяти третьему году закончила, ибо дала обет во имя краха советской власти. Обет мой, видимо, был услышан, и наступило то, чего все мы так ждали. Мы вовсе не питали иллюзий, что это будет прекрасно. Мы надеялись лишь, что кончится гнет. <...> С восьмидесяти шестого началась плата за распад империи и за все наши обеты».

См. также — *Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II направил соболезнование в связи с кончиной академика С. С. Аверинцева его вдове Н. П. Аверинцевой*: «<...> В трудные годы нашей истории такие работы Сергея Сергеевича, как „Поэтика ранневизантийской литературы“, „Культура Византии IV — первой половины VII века“, „От берегов Босфора до берегов Евфрата“, помогали многим нашим соотечественникам найти дорогу к Церкви, а его поэтические переводы Ветхого Завета позволяли донести до современников смысл и красоту библейских текстов. Молюсь, да упокоит Господь душу раба Своего Сергея в селениях праведных. Вечная и блаженная ему память» («Литературная газета», 2004, № 9, 3 — 9 марта).

См. также: **Рената Гальцева**, «Высший дар» — «Литературная газета», 2004, № 9, 3 — 9 марта <<http://www.lgz.ru>>; «Как-то в телефонном разговоре Аверинцев сказал: „Бывали времена упадка, безумия, но времен, когда было разрешено все, кроме гармонии, — таких времен не было“. Великий „сдвиг“ всех смыслов, подобный тому, какой пережило человечество в описываемый Аверинцевым момент встречи античности и Средне-

вековья, умозрения и откровения, переживаем мы сейчас, с той, однако, радикальной поправкой, что идет „сшибка” духовных ориентиров, уже не находящихся между собой ничего общего, ибо там, где „нет никаких критериев” (тоже слова Аверинцева), нет места ни для откровения, ни для умозрения, а значит, и для смысловой непрерывности истории. Впечатление от встречи с новым веянием, либеральной идеологией ценностного релятивизма, сменившей тоталитарную идеологию коммунизма, запечатлено Аверинцевым в неувядающем афоризме: „У дьявола две руки”».

См. также: **Сергей Иванов**, «Ушел последний духовный авторитет России» — «Еженедельный Журнал», 2004, № 109, 2 марта <<http://www.ej.ru>>; «Как ни старался Аверинцев казаться человеком девятнадцатого века, как ни объявлял себя „не от мира сего”, совсем высвободиться из смрадных объятий Совдепии было не под силу даже ему; так что представителя Серебряного века он напоминал лишь с одной своей стороны, а с другой, как ни странно это может кому-то показаться, — Веничку Ерофеева: тот же ужас перед миром и любопытство к миру; тот же своеобразный аристократизм в сочетании с непоказной демократичностью, та же нестатная вера рука об руку с застенчивым юмором; та же завороченность мировой культурой при глубоком осознании своей укоренности».

См. также: **Константин Крылов**, «Памяти Сергея Аверинцева» — «Топос», 2004, 2 марта <<http://www.topos.ru>>; «Я не имею ничего общего с ближним кругом друзей и поклонников Сергея Сергеевича Аверинцева. Я видел его несколько раз в жизни; читал какие-то его книги; не любил его. Тем не менее я считаю нужным воздать ему должное — именно в качестве постороннего. <...> Мой голос — это голос даже не из партера (где сидели и сидят люди почище), а с балкона. Но все-таки и мне не зазорно вспомнить его. Незлым тихим словом».

См. также: **Ирина Роднянская**, «Открытое письмо Константину Крылову» — «Русский Журнал», 2004, 10 марта <<http://www.russ.ru/culture>>; «Будучи другом покойного Сергея Сергеевича, я не без волнения читала Вашу некрологическую статью. Конечно же, взгляд постороннего имеет свою ценность „для истории”, возможно, большую, чем взгляд людей из ближнего окружения. Но позиция постороннего должна сопровождаться осведомленностью, согласитесь...»

См. также: **Денис Иоффе**, «Антропология эпитафий» — «Русский Журнал», 2004, 12 марта <<http://www.russ.ru/culture>>; «<...> текст Крылова полон достоинств, главнейшим из которых может считаться, вероятно, некий „неавтоматизм исполнения”, своеобразный взгляд малотривиального размышления-на-заданную-тему. Во всех словах, которые Крылов избирает для описания роли и места покойного в отечественной „истории ментальностей”, в том принципе „рассказа”, который оказывается узаконен для данного ракурса некрологического письма, сквозит искренняя *попытка понять*. <...> Стоит сказать, что своего рода „идеальным некрологическим текстом” о С. С. явилось открытое письмо Ирины Роднянской, опубликованное в качестве *sui generis* отповеди Константину Крылову. Думается, что именно Роднянская оказывается наиболее (в первую голову — чисто *биографически*) *конгенциальным автором*, который может и должен расставить самые верные акценты, призванные присутственно ощущаться даже не столько *в публичном разговоре*, связанном с Аверинцевым, но скорее в самой внутридискурсивной мысли о нем».

См. также: «Политически это был человек совершенно чуждый. „Имиджево” — закругленное воплощение Настоящего Русского Интеллигента (со всеми комическими коннотациями). Но для русского интеллектуализма 60 — 80-х годов он был огромной величиной, человеком исключительной культурной значимости, заслуживающим глубочайшей благодарности. <...> Именно он сделал Византию и христианскую древность-средневековье *модными*. И это очень важно с точки зрения социологии науки и интеллектуализма. Талантливые молодые люди всегда хотят заниматься чем-то самым интеллектуальным из интеллектуального и самым элитарно модным из элитарно модного. И вот в мое время и в более ранние годы все были абсолютно уверены в том, что Византия — это Самое Оно. Этой репутацией Второй Рим был обязан прежде всего „Поэтике ранневизантийской литературы”, книге, без сомнения, уникальной. <...> И ее автор заслуживает самых искренних и горячих слов благодарности. И прижизненной, и, теперь, посмертной. Пусть земля ему будет пухом», — читаем в сетевом дневнике Егора Холмогорова от 23 февраля 2004 года <<http://www.livejournal.com/users/holmogor>>.

См. также: **Священник Георгий Чистяков**, «Памяти Сергея Аверинцева» — «НГ-Религии», 2004, № 3, 18 февраля <<http://religion.ng.ru>>.

См. также: **Ирина Сурат**, «Умер Аверинцев» — «Русский Журнал», 2004, 25 февраля <<http://www.russ.ru/culture>>.

См. также: **Павел Нерлер**, «Он был всегда нужен — как человек, как ученый, как легенда...» — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 27 февраля <<http://www.polit.ru/publicism/culture>>.

См. также: **Григорий Померанц**, «Последний из Серебряного века» — «Московские новости», 2004, № 7 <<http://www.mn.ru>>.

См. также *последнее интервью Сергея Аверинцева* (беседу вел Илья Медовой) — «Московские новости», 2004, № 7: «Для меня интеллигенция — что-то вроде сословия, цеха, гильдии; у нее есть или должны быть свои корпоративные правила. Особую обязанность интеллигента вижу вот в чем: ему платят за то, что он занимается работой мысли, и он обязан делать это дело как следует, непрерывно подыскивая возражения самому себе и борясь за большую степень свободы своей мысли от собственных личных и групповых предубеждений, не говоря уже о социальном заказе. <...> А самые мелкие эмоции — это сентиментальное умиление „интеллигентностью” и, еще хуже того, антиинтеллигентский аффект. Интеллигенция имеет право и обязанность критиковать себя — в конце концов, сборник „Вехи” написали русские интеллигенты. Но аффект ненависти против своей гильдии — это психическая патология, если в основе лежит надрывная ненависть к себе самому, и вульгарная низость, если в основе лежит ненависть к коллегам и конкурентам».

**Фазиль Искандер.** «Внутри свободы, если взглядеться в нее, можно найти формы несвободы». Беседу вел Кирилл Решетников. — «Газета», 2004, 5 марта <<http://www.gzt.ru>>.

«Наибольшее духовное влияние на меня имел Лев Толстой — и в юности, и позже. Я его до сих пор перечитываю. Для меня это самая крупная фигура в прозе, и не только в русской. Ничего крупнее не было. Но во времена моей поэтической юности самое большое значение для меня имели Маяковский и Пастернак. Я их обожаю, я и сейчас их люблю. С Маяковским, конечно, сложно. <...> Пастернак, с другой стороны, сохранил свое влияние и до сих пор. На мою прозу существенным образом повлиял Бабель. Я впервые прочел Бабеля уже достаточно взрослым человеком и был потрясен его стилистическим совершенством. Это сыграло заметную роль в моем переходе к прозе, я понял, что можно в прозе оставаться поэтом. <...> Из критиков мне близки Бенедикт Сарнов и Станислав Рассадин, я с ними просто по жизни был тесно связан. Замечательный прозаик, сейчас почему-то подзабытый и критикой, и издательствами, — Юрий Домбровский. Я бы хотел, чтобы его имя снова вспомнили».

См. также беседу **Фазили Искандера** с Бенедиктом Сарновым (материал подготовлен Анной Фединой): «Хорошо, когда в стране есть три-четыре крупных моральных авторитета» — «Известия», 2004, № 41, 6 марта <<http://www.izvestia.ru>>; «На меня новая литература, созданная в условиях свободы, производит какое-то мелкотравчатое впечатление. <...> Свобода достигнута, что еще говорить. Но мне кажется, что писатели должны в любой свободе находить элементы новой несвободы и против этой несвободы бороться так же вдохновенно, как мы боролись против несвободы тотальной. Но для этого нужно время и более опытный глаз, способный видеть новые формы несвободы и выработать способы сопротивления. Пока это время не пришло, и сейчас мы имеем достаточно поверхностную литературу. <...> интеллигенция слишком много ждала от литературы, которая была единственным выходом в гармонию и свободу. Может быть, сейчас ей стоит примириться с тем уровнем литературы, который есть на данный момент».

См. также беседу **Фазили Искандера** с Андреем Сотниковым: «Ржавеет мой абхазский язык» — «Новые Известия», 2004, № 35, 1 марта <<http://www.newizv.ru>>; «А из Пелевина полностью прочел только одну вещь, „Чапаев и Пустота”. Она показалась мне странной и печальной, хотя видно, что автор не без таланта. Если все держится на единственном желании всех превзойти, когда нет социальной и поэтической почвы, это всегда оборачивается занудством. Чапаев — наполовину неграмотный вояка, преподносится как самородок Гражданской войны — носитель высокой восточной философии? Это не смешно!»

См. также: **Сергей Шаргунов**, «Белые нитки и алые струи» — «НГ Ex libris», 2004, № 9, 11 марта <<http://exlibris.ng.ru>>; «Этот писатель всегда был честен и не беда — если наивен. <...> Искандер — блистательный ремесленник. Берет не идеи, но исполнением. В сюжетах же и моралях подписался под „общественным договором” (а в бывательствах возню входят и вздохи о Совести и Братстве) и поэтому не может не раздражать излишне обособленное сознание. <...> В плане морали книги Искандера шиты большими нитками. В художественном плане — он классик».

См. также: **Татьяна Бек**, «Трижды двадцатипятилетний» — «Литературная газета», 2004, № 10, 17 — 23 марта <<http://www.lgz.ru>>.

См. также: **Станислав Рассадин**, «Пришелец» — «Новая газета», 2004, № 15, 4 марта <<http://www.novayagazeta.ru>>.

**Игорь Клех.** Проспер Мериме: самый «русский» французский писатель. — «Топос», 2004, 16 февраля <<http://www.topos.ru>>.

«Так на Вольни уже в советское время начальники караулов строго предупреждали часовых, чтобы на посту не совокуплялись с цыганками, потому что цыгане тем временем таскают кирпич из части».

**Дмитрий Комм.** Перезагрузка закончена, революция отменяется. — «Искусство кино», 2004, № 1.

Гностицизм. «Матрица».

**Сергей Костырко.** Весть из будущего, она же — из прошлого. — «Русский Журнал», 2004, 17 февраля <<http://www.russ.ru/culture/literature>>.

«Сам герой, ощутивший себя „белым“ в Азии, в Москве чувствует себя азиатом». Это — о новой повести Олега Ермакова «Возвращение в Кандагар» («Новый мир», 2004, № 2).

**Григорий Кружков.** Изба-писальня. В гостях у Шеймаса Хини. — «Иностранная литература», 2004, № 2 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

Нобелевский лауреат Шеймас Хини — о Манделъштаме, Йейтсе и других. См. беседу Григория Кружкова с Шеймасом Хини: «НГ Ex libris», 2003, № 43, 27 ноября <<http://exlibris.ng.ru>>.

**Сергей Кузнецов.** ZOO, или Фильмы не о любви. — «Искусство кино», 2004, № 1.

«<...> троица Гена — Шапокляк — Чебурашка — это базовые составляющие нашей поп-культуры, нечто вроде единого в трех лицах Микки-Мауса. Более того, Чебурашка стал единственным русским персонажем, получившим культовый статус за границей <...>».

«Гена и Чебурашка — не муж и жена, не пара любовников и, конечно, не просто друзья. Если искать аналог в более современном кино, то это Леон и Матильда из фильма Люка Бессона».

См. также: «Иными словами, [„Бременские музыканты“] это мультфильм про молодежный бунт 60-х, первая часть которого не случайно снята в год Вудстока и Лета Любви», — пишет Сергей Кузнецов («Вместо надгробного псалма» — «Искусство кино», 2004, № 2).

**Инга Кузнецова.** Поэт и лирический герой: дуэль на карандашах. — «Октябрь», 2004, № 3.

«<...> причина кризиса — не смерть „поэта“, а смерть *лирического героя*».

**Борис Куликов.** «При пике и на коне...» Воспоминания о Шолохове. Послесловие Виктора Левченко. — «Дон», Ростов-на-Дону, 2004, № 1.

Среди прочего — о том, как М. А. Шолохов Б. Н. Куликова из тюрьмы спасал (середина 60-х). Воспоминания написаны в 1987 — 1988 годах.

Судя по сводному содержанию журнала за 2003 год, в нем было много интересных публикаций, связанных с Шолоховым, в частности — беседа с младшим сыном писателя (2003, № 9-10).

**Станислав Куняев.** Крупнозернистая жизнь. — «Наш современник», 2004, № 3 <<http://nashovr.aihs.net>>.

«Я попытаюсь восстановить некоторые особенности Советской цивилизации, вглядываясь в судьбы и творчество Осипа Манделъштама (две ссылки, арест и смерть в лагере), Николая Заболоцкого (семь лет тюрем, лагерей, ссылок), Даниила Андреева (двадцать пять лет тюремного заключения, из которых отсидел десять)...»

**Константин Крылов.** Дурной глаз. Салтыков-Щедрин как дедушка Шендеровича. — «НГ Ex libris», 2004, № 6, 19 февраля.

«С историей мы знакомимся не по учебникам, а по „художественным книжкам“. То есть настоящие учебники — это романы. <...> На протяжении последнего столетия *основным учебником русской истории в России является история города Глухова*. Любые другие учебники только накладываются на эту изначально заданную картинку. <...> Иногда мне кажется, что Салтыков-Щедрин и ему подобные *сглазили* Россию. Навели на нее порчу. В деревне бы — собрались мужички ночью да пожгли бы избенку, где ТАКИЕ живут. Потому что — рожь не родится, а это серьезно. Но мы — городские, культурные».

Здесь же — в рубрике «Внеклассное чтение»: «„История одного города“ — это самая великая книжка на русском языке», — считает **Миша Вербицкий** («Русское колесо»).

См. также: **Константин Крылов**, «Сглаз. М. Е. Салтыков-Щедрин и его „История одного города“» — «Топос», 2004, 27 февраля <<http://www.topos.ru>>.

См. также: **Елизавета Веденева**, «Лжепророк» — «Наша страна», Буэнос-Айрес, 2004, № 2744, 14 февраля <<http://www.nashastrana.narod.ru>>; «Полемизируя со славянофилами, Салтыков-Щедрин писал, что, мол, „золотой век не позади, а впереди“. Вот кнуты бы его носом во сталинские времена, в гулаги, в ужасы раскулачивания, в гонения на интеллигенцию, в моря крови, лжи и грязи, затопившие нашу несчастную родину! <...> Да даже и погляди он на нынешнюю постсоветскую Россию — *pardon*, Эрэфию. Кто рискнет сказать, что в ней народу живется лучше, чем во времена великих царей Александра Второго и Александра Третьего?»

**Константин Крылов.** Неглупый русский, которому повезло. Интервью брал *AnArcHISt*. — «Блаженство и Окаянство», 2004, 6 марта <[http://www.livejournal.com/users/anarchist\\_2001](http://www.livejournal.com/users/anarchist_2001)>.

«<...> „законы“, по крайней мере российские (а вообще-то „и везде“), писаны людьми, живущими по понятиям».

«**Курт Кобейн для меня свой в доску**». Беседу вел Кирилл Решетников. — «Газета», 2004, 18 февраля.

Говорит прозаик, поэт, сценарист **Юрий Арабов**, *получивший главную премию имени Аполлона Григорьева* за роман «Биг-бит» и работающий в настоящее время над сценарием по «Доктору Живаго»: «Роман в принципе непереложим на язык драматургии и кино. Я пытаюсь выразить смысловую сторону романа Пастернака в реалиях моего поколения, которые экстраполированы на начало века. Такая вот художественная задача — довольно спорная и сложная».

См. также: «Кинокомпания, которая заказывала мне работу, предложила мне делать на выбор или „Доктора Живаго“, или „Мастера и Маргариту“. Я спрашиваю: „Скажите, а распятый Иешуа в ‘Мастере’ будет?“ — „Конечно!“ Я говорю: „Тогда нет, я лучше за ‘Доктора Живаго’ возьмусь“, — рассказывает **Юрий Арабов** в беседе с Игорем Шевелевым («Огонек», 2004, № 11, март <<http://www.ogoniok.com>>).

См. также беседу **Юрия Арабова** с Ларисой Малоковой: «В душе мы все немного вожди. Только маленькие» — «Новая газета», 2004, № 15, 4 марта <<http://www.novayagazeta.ru>>; «В то время мы просматривали много документального материала, делились впечатлениями. Как-то Саша [Сокуров] сказал: „Посмотри, какие у Сталина необыкновенные глаза“. Я вспомнил, как Даниил Андреев в „Розе Мира“ описывает именно такие глаза — черные, ничего не выражающие провалы, — и согласился: „Действительно, необыкновенные“. „Это глаза совершенно свободного человека, — продолжил Саша. — Наверное, он свободен именно потому, что избрал путь зла, не добра“. <...> Миф о свободе как главной ценности человеческой жизни не угасает до сих пор. Это стало уже своеобразным клише — от докладов в Госдепартаменте США до рок-музыки. Но если проблему свободы рассмотреть в контексте истории культуры человечества, то можно прийти к неожиданному выводу: добро — это как раз несвобода. <...> И я понимаю так, что добро, по-видимому, — это некое привнесенное качество, иррациональное природе человека».

См. также: **Андрей Немзер**, «Битловская венгерка» — «Время новостей», 2004, № 29, 19 февраля <<http://www.vremya.ru>>.

**Олег Лекманов.** Про «Потец». Некоторое количество наблюдений. — «Литература», 2004, № 7, 16 — 22 февраля <<http://www.1september.ru>>.

«Потец = отец + пот».

См. также: **Сергей Бирюков**, «Сто лет Александра Ивановича Введенского» — «Топос», 2004, 21 января <<http://www.topos.ru>>.

**Виктор Лихоносов.** «Литература стала изощренно-бездушной». Беседу вел Сергей Луконин. — «Литературная газета», 2004, № 10, 17 — 23 марта.

«Я не верю в такую литературу, которая не читается сегодня, а будет якобы читаться завтра. Все изумительное в искусстве напоминает красивую женщину: она производит впечатление мгновенно».

**Владимир Личутин.** Душа неизъяснимая. — «Завтра», 2004, № 11, 10 марта.

«Либералы своей ненавистью воскресли Сталина».

**Михаил Лотман.** «Давайте без паранойи...» Интервью брала Людмила Глушковская. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 6.

О времени и об отце.

**Валентин Лукьянин.** Литературное сегодня сквозь призму «русского Букера». — «Урал», 2004, № 3 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

«Подтверждением этих наблюдений может служить любое произведение из нынешней букеровской шестерки...»

**Ксения Лученко.** Беседа с диаконом Андреем Кураевым. — «Русский Журнал», 2004, 22 февраля <<http://www.russ.ru/culture/network>>.

Говорит **Андрей Кураев**: «Интернет — это замечательная форма аскетического взросления. Дело в том, что иногда нам бывает трудно защищать наши святыни именно потому, что мы любим нашу веру и нашу Церковь. <...> Я считаю, что открытые интернет-форумы — это социологическая модель нашего современного общества. И если на этих площадках, в тепличных условиях, мы не научимся защищать Православие, если православные люди будут убегать с форумов при виде любого сектанта, это будет значить, что для нас и в реальной России нет места».

**Сергей Малашенок.** Тотальность и сомнамбулизм пропаганды (гормонально-литературный аспект) — «Топос», 2004, 12 марта <<http://www.topos.ru>>.

«И роман Достоевского „Идиот“, и, скажем, „Преступление и наказание“ потому и актуальны снова и снова, что написаны *достаточно плохо*».

**Игорь Манцов.** Свидетель. — «Русский Журнал», 2004, 14 марта <<http://www.russ.ru/columns/street>>.

«Комикс — разновидность поэзии».

**Сергей Маркедонов.** Либерализм в России? Не спешите хоронить! — «Посев», 2004, № 2 <<http://posev.ru>>.

«<...> никогда еще в российской истории либеральные ценности не получали столь весомого признания и у политической элиты, и в обществе, как в последние 12 лет». В частности, автор пишет об изменении *политического языка*: по сравнению с началом 90-х «он более либерально однороден».

**Михаил Назаров.** Россия накануне революции и февраль 1917 года. — «Наш современник», 2004, № 2.

«Царя тогда предал почти весь высший генералитет. По описанию адмирала А. Бубнова, в Ставке царя атмосфера заговора». Из готовящейся к печати книги М. Назарова «Вождю Третьего Рима».

**Наталья Нарочницкая.** «Аналитические институты» — глаза, уши и мозг Америки. — «Наш современник», 2004, № 3.

«Для этих „университетов без студентов“, как их называли еще перед войной, „студентами“ являются и правительство [США], и политический класс в целом». Автор — доктор исторических наук, депутат Государственной Думы.

**Андрей Немзер.** Бочкотара осьмнадцатого столетия. — «Время новостей», 2004, № 38, 5 марта <<http://www.vremya.ru>>.

«Как зацвела некогда бочкотара, так и благоухает. Журчит ручьем, гремит грозой, голосистым соловьем заливается. Хоть в Рязани, хоть в Казани, хоть в заморском Мичигане...» Далее — подробный пересказ нового *старинного романа* Василия Аксенова «Вольтерьянцы и вольтерьянки» («Октябрь», 2004, № 1, 2 <<http://magazines.russ.ru/October>>).

См. также: **Анатолий Найман,** «Переписка пейзажного масла. Василий Аксенов о России и Западе» — «НГ Ex libris», 2004, № 8, 4 марта <<http://exlibris.ng.ru>>; «Попробуем прочесть эту вещь как произведение некоего неизвестного нам автора...»

**Татьяна Окуневская.** «...не в своем обществе, не в своем времени и не с теми людьми». Беседу вел Павел Макаров. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 6.

«Почему он [Берия] насильовал именно меня?»

«Я железная, как кровать».

**Наталья Осминская.** Замужем за богом. Мелодрама с хеппи-эндом и отложенным катарсисом. — «НГ Ex libris», 2004, № 9, 11 марта.

«Зинаида Николаевна [Пастернак, по первому браку — Нейгауз] принялась за мемуары в 1962 году, через два года после смерти Бориса Леонидовича и за четыре года до собственной кончины. То был для нее очередной бедственный период: после обеспеченной жизни дамы высшего света она оказалась одна, в больнице, да еще и без средств к существованию...» См.: **Зинаида Пастернак,** «Воспоминания» — М., «Классика-XXI», 2004.

**Вера Павлова.** Систола говорит «да». Стихотворения. — «Новая Юность», 2003, № 6 (63) <[http://magazines.russ.ru/nov\\_yun](http://magazines.russ.ru/nov_yun)>.

Плачу тебе в пупок.  
Знаешь, стихи врут:  
слезы, они не приток  
Леты, они — пруд  
и никуда не впадут.  
Ивы, кувшинки... Итог:  
все останется тут.  
Вот, полный пупок.

**Перемена участи поэта.** Беседу вел Сергей Шаповал. — «Независимая газета», 2004, № 39, 27 февраля <<http://www.ng.ru>>.

Говорит **Тимур Кибиров,** работающий ныне редактором на НТВ: «<...> больше всего меня бесит лукавство, когда говорят: что делать, у народа есть потребности, мы должны их удовлетворять. По сути, это логика наркодилера, который сначала подсаживает на наркотик, а потом удовлетворяет растущие потребности».

«Меня искренне волнует, в каком мире будет жить моя дочь. <...> Если бы я был абсолютным материалистом, то ничего, кроме отчаяния, я бы не ощущал. Но, поскольку я христианинствующий агностик, остается надежда на то, что не все в этом мире зависит от воли людей. Поэтому есть основания, говоря высоким стилем, продолжать сопротивление».

**Дьякон Михаил Першин.** Подвал на двоих. Опыт прочтения «Мастера и Маргариты». Беседовал Роман Маханьков. — «Фома». Православный журнал для сомнеющихся. 2004, № 1 (18).

«<...> роман был написан для одной аудитории, а прочитан совсем другой. И в результате <...> он начал жить не той жизнью, на которую надеялся сам Булгаков».

**Лев Пирогов.** «Господин нехороший». Б. Акунин и вокруг. — «Литературная газета», 2004, № 7, 18 — 24 февраля <<http://www.lgz.ru>>.

«Мир, предстający перед нами в „современных” романах г-на Акунина, фальшив до безобразия».

**Михаил Поздняев.** Туда и обратно. — «Вестник Европы», 2003, № 10.

Стихи → проза. И обратно.

См. также *просто* стихи Михаила Поздняева — «Октябрь», 2004, № 3 <<http://magazines.russ.ru/October>>; *очень хорошие*.

**Алэн Польш.** Женщина и война. Перевод с венгерского Елены Шакировой. Предисловие Александра Мелихова. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 2 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

«Совершенно серьезно я хотел бы, чтобы воспоминания Алэн Польш „Женщина и война” были включены в программу „дополнительного чтения” для старшеклассников — именно сегодня, когда им со всех сторон дуют в уши, что они живут в какое-то небывало трудное время и что человек не более чем бессильная игрушка материальных обстоятельств <...>» (А. Мелихов).

**Григорий Померанц.** Новое нестяжательство. — «Вестник Европы», 2003, № 10.

«4 августа скончался Антоний Блум [митрополит Антоний Сурожский]. Смерть человека в возрасте 89 лет нельзя назвать безвременной. Но для многих из нас это случилось безвременно. Хотелось, чтобы он нас пережил, а не мы его. <...> Мы сохраним закуску Антония, если свяжем ее с наследием нестяжателей. Я вижу внутреннюю необходимость возрождения нестяжательства как ответ на вызов общества, где вор у вора дубинку крадет».

**Гжегош Пшебинда.** Россия в преддверии Страшного суда. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 1 (49), январь <<http://www.novopol.ru>>.

«Анджей де Лазари в послесловии к [польскому изданию] „Энциклопедии русской души” [Виктора Ерофеева] обращает внимание на сходство энциклопедических фрагментов данного произведения с „Философическим письмом” Чаадаева 1829 года».

«Надо признать, на сей раз Ерофеев не очень-то способствовал умножению богатства русской речи».

См. также: «Именно Бердяев приучил меня к русской философии. Потому что он такой „плодовитый кролик” русской публицистической и журналистской философии, которая доступна очень молодому человеку, и я с первого курса им заболел. <...> Привкус этой философии до сих пор ощущается в моем, скажем так, творческом сознании», — отвечает **Виктор Ерофеев** на юбилейную бердяевскую анкету («НГ Ex libris», 2004, № 10, 18 марта <<http://exlibris.ng.ru>>).

**Вячеслав Пьецух.** Баллада о блудном сыне. — «Вестник Европы», 2003, № 10.

«<...> люди бывают людьми по преимуществу в детстве и старости, а пространство времени между ними, то есть собственно жизнь, — это более или менее несчастье, репродуктивный период, связанный со многими бессмысленными мучениями, которые написаны на роду».

См. также повесть Вячеслава Пьецуха «В предчувствии октября» — «Октябрь», 2004, № 3 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

**Станислав Рассадин.** Недочитанный Пушкин. — «Новая газета», 2004, № 13, 26 февраля <<http://www.novayagazeta.ru>>.

«Как бы уродлива ни была доставшаяся нам реальность, как ни бессмысленно жестока власть и покорен „электорат”, надобно жить, веря в возможность... не обретения гармонии — нет, что недоступно, то недоступно, но в возможность обрести и не уступить свободу и самостоятельность сознания. Жить, не продолжая — куда нам! — так хотя бы дочитывая Пушкина».



**Евгений Рейн.** Свидетели обвинения не знали, о ком идет речь. — «Известия», 2004, № 29, 18 февраля <<http://www.izvestia.ru>>.

18 февраля 1964 года начался суд над Иосифом Бродским. «Известия» посвящают этой дате целый разворот (страницы подготовил Алексей Филиппов), основу которого составляют две мемуарные беседы. Вспоминает **Евгений Рейн**: «К Бродскому в деревне относились замечательно. Крестьяне совершенно не понимали, за что его сослали. Они приходили к нему, он выдавал им лекарства... Его приписали к совхозу, но работа была не ахти какая: каждый день он часа два что-то делал, потом возвращался, и мы обедали. Хозяйством [в ссылке] Иосиф заниматься не хотел. У него была огромная банка югославской ветчины, и он, закатав рукав, вытаскивал полную горсть мяса и ел, запиная ледяной водой из бочки. Я пытался протестовать: „Вот супчик, давай поедим тушенки с картошкой...” Бродский отвечал: „Я не хочу привыкать к этой жизни. Я не сдался”...»

Здесь же — вспоминает **Виктор Гольшев** («Он жил за стенкой и гудел»): «У него одно замечательное свойство было — он почти по любому вопросу знал, как правильно. Но это у него на всю жизнь осталось. — *Он и в самом деле знал, как правильно?* — По-моему, да. А так никаких странностей у него не было — если не считать того, что он гудел: „Ду-ду-ду-ду...” <...> Бродский типичный человек моего поколения. <...> Отношение к тому, что тебя окружает, было примерно одинаковое у всех цивилизованных людей. Некоторый космополитизм, американомания и англомания — тоже вполне характерная черта. В смысле умственной энергии он другой человек. В отношении вкусов — нет; его классицизм развивался постепенно, он сперва классицистом и стойком не был. Первые его стишки вообще похожи на Слуцкого. А в смысле вкусов целая кодла была: и Марамзин, и Довлатов, и Валера Попов. Рейн с Найманом менее заражены этим делом, но все равно они на Запад смотрели. Бродский выламывался из общего ряда только за счет способностей и некоторой непреклонности. Он знал, как правильно: двойственности в его литературных и политических оценках не было. Была эмоциональная двойственность — он бесился из-за бабы».

Здесь же — неизвестные стихотворные письма **Иосифа Бродского**, адресованные Виктору Гольшеву. Цитирую: «<...> Считаю для себя лафой / писать онегинской строфой. / Итак, со мною приключился / инфаркт. Но, честно говоря, / здесь явно виноваты числа: / 13-е декабря / пришлось в тот раз на понедельник. / Пришлось надеть казенный тельник / и провалиться двадцать дней / в Свердловске в больничке. В ней / валяясь, прочитал я „Иды”. / Что было в жилу: я сейчас / преподаю весь этот джаз...» (1977).

См. также: **Александр Черкасов**, «Изгнанные правды ради... К 40-летию осуждения Иосифа Бродского» — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 14 марта <<http://www.polit.ru/publicism/culture>>.

**Михаил Ремизов.** Инженеры социального пространства. — «Русский Журнал», 2004, 27 февраля <<http://www.russ.ru/politics>>.

Выступление на «круглом столе» (НИГ) на тему «Кадровая революция»: «<...> противоречие состоит в том, что „стабилизация” пробуждает активные элементы общества, но одновременно разом захлопывает перед ними двери „наверх”, закупоривает элиту. <...> самое главное — чтобы рамка сетевой элиты не уходила куда-то в анонимное мировое правительство, а замыкалась здесь, в суверенном национальном государстве».

**Александр Родионов.** Война молдаван за картонную коробку. — «Искусство кино», 2004, № 2.

Театр.doc: «В основе спектакля — подлинная криминальная история, рассказанная драматургу Александру Родионову начальником одного из московских отделений милиции».

**Владимир Рудинский.** «Новый мир» за 2003 год. — «Наша страна». Орган русской монархической мысли. Буэнос-Айрес, 2004, № 2743, 24 января.

«Под заглавием „Книга о жизни” [2003, № 3] А. Василевская рассказывает о своей работе медсестрой на Ленинградском фронте во время Второй мировой войны. Труд, конечно, святой; и то, как она себя приносила в жертву, трогает до глубины души. Но горько, что все это служило черному делу большевизма, которое несло рабство и уничтожение не только по несчастной России, но и далеко за ее пределы».

«В романе А. Азольского „Глаша” [2003, № 4] дается совершенно ложная интерпретация исторических событий переворота в Индонезии (которая прямо не названа, но явно подразумевается), когда здоровые национальные силы, опираясь на армию, разгромили коммунистический заговор (строившийся при активном участии многочисленных в данной стране китайцев). Это был редкий в нашем веке случай, когда добро восторжествовало над злом, когда победило безусловно правое дело, посрамив темные, преступные козны».

«Душа отдыхает на милом коротком рассказике А. Волоса „Путевка на целину” [2003, № 5], о молодых супругах, которым любовь помогает переносить трудности. Это — единственная вещь, ради которой номер стоит читать».

«Не можем согласиться с рецензиями Д. Быкова. Жалеть о расстрелянном журналисте М. Кольцове, человеке насквозь бессовестном, мы не в состоянии. Любить Хемингуэя тоже не можем. Оба, за то, что писали о гражданской войне в Испании, заслуживали стенки (которую Кольцов и получил: туда ему и дорога!)».

**Денис Савельев.** Константин Воробьев. Несвоевременное. — «Топос», 2004, 5 марта <<http://www.topos.ru>>.

«В Божественный замысел несомненно вкралась досадная ошибка. Человек одновременно может быть и плохим, и хорошим — и это есть нехорошо. Человек, творящий зло, — это, несомненно, тот же самый человек, который делает добро. Адольф Шикельгрубер действительно любил Еву. И в его любви тоже есть нечто, что его оправдывает. И это невыносимо».

«Свобода человека, свобода общества, свобода творчества». К 130-летию со дня рождения Николая Бердяева. — «НГ Ex libris», 2004, № 10, 18 марта.

Говорит **Дмитрий Галковский**: «На мой взгляд, значение Бердяева в отечественной культуре заключается в доведении до саморазоблачительного гротеска шовинистической клеветы о „национальной идее”: будто бы русские люди — это узколюбые идиоты, одержимые какой-то параноидальной „идеей”, не важно, со знаком плюс или минус».

Говорит **Валерий Подорога**: «Философия Бердяева не современна, а мемориальная, скорее объект исследования, чем поучения. Правда, часть нашей культурной элиты с удовольствием цитирует Бердяева, делая из него мудреца на все времена. Вероятно, это и влияет на „чрезмерный интерес” к философу».

**Владимир Семенов.** О пользе русофобии. Что нам ответить клеветникам России. — «GlobalRus.ru», 2004, 10 марта <<http://www.globalrus.ru/opinions>>.

«Вот, Андре Глюксман — виднейший западный борец за независимость угнетенной Ичкерии — порадовал мир открытием, что Петр Первый убил собственного отца (получается, в четыре годика мальчик это совершил). Как теперь с этим „философом” дискутировать? Возможно ли нам ему излагать соображения серьезным тоном? Но факт, что дурь очевидна, не утешает, не греет».

**Роман Сенчин.** В авторской колее. — «Литературная Россия», 2004, № 8, 27 февраля.

«<...> главная проблема — в избылии моментов, которые рассчитаны на то, чтобы „Дочь Ивана, мать Ивана” стала настольной книгой почвенника (руссофила, патриота) в ушере художественной глубине».

См. также: «Журнальная полка Сергея Белякова» — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 3 <<http://magazines.russ.ru/ural>>; «Новая повесть Валентина Распутина, на мой взгляд, художественно уступает только „Живи и помни” — недостижимой его вершине. Несмотря на идеологизированность и заметную публицистичность, она безмерно выше и „Пожара”, и рассказов 90-х. В современной же литературе не много найдется сопоставимых вещей».

См. также: **Роман Сенчин**, «Обратно, в Средние века» — «Литературная Россия», 2004, № 11, 19 марта; *о повестях Дениса Гуцко*.

**Сибирский Хемингуэй.** Беседа вел Леонид Павлючик. — «Труд», 2004, № 49, 18 марта <<http://www.trud.ru>>.

Говорит прозаик и охотник **Михаил Тарковский**: «<...> лучшие русские люди, уверен, живут сегодня в Сибири».

См. также: **Роман Сенчин**, «Острова на земле» — «Литературная Россия», 2004, № 6, 13 февраля.

**Максим Соколов.** Нам показали в кино финал Третьей Эпохи. Возможно, скоро увидим его наяву. — «GlobalRus.ru», 2004, 19 марта <<http://www.globalrus.ru/impressions>>.

«<...> одно дело — восхищаться мужеством древних королей неведомого мира [Средиземья], другое дело — понять, что это — наш мир, в котором и королей, и подданных ждут те же беды и угрозы, и другого средства против злых напастей, кроме как долг до конца и обреченное мужество, наступающая эпоха эпоса не знает».

**Александр Солженицын.** Потемщики света не ищут. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 6.

К 85-летию писателя. Перепечатка известной статьи («Литературная газета», 2003, № 43, 22 — 28 октября). Здесь же — письма Александра Солженицына к Арнольду Сузи 1963 — 1965 годов.

**Федор Сологуб.** Не постыдно ли быть декадентом? Вступительная статья и публикация М. Павловой. — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2004, № 7 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/07/sologub07.shtml>>.

«Будущее же в литературе принадлежит тому гению, который не убоится унижительной клички декадента и с побеждающей художественной силой сочетает символическое мировоззрение с декадентскими формами». Статья не датирована, ориентировочно — конец 1899 года.

**Сергей Солоух.** Коллеги. — «Октябрь», 2004, № 2.

Александр Чудаков. Игорь Клех. Андрей Геласимов. Анатолий Гаврилов. Сергей Самойленко.

**Виктор Суворов.** Героический позор. — «Вышгород», Таллинн, 2003, № 6.

Обороной Брестской крепости не руководил никто.

**Александр Тарасов.** Терроризм или сюрреализм? Книга об 11 сентября 2001 года: вопросов больше, чем ответов. — «НГ Ex libris», 2004, № 9, 11 марта.

Всей правды об 11 сентября мы не знаем, но знаем, что то, что нам об этом сказали, — неправда. По страницам книги французского журналиста Тьерри Мейссана «11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация» (М., 2003). В редакционной врезке к статье отмечено, что «уже вышла книга соотечественников Мейссана — Гийома Даскье и Жана Гиснеля „Ужасная ложь“, ее [книгу Мейссана] опровергающая».

См. также: **Александр Тарасов,** «Неопровержимые доказательства» — «Свободная мысль — XXI», 2004, № 2.

**Александр Тарасов.** «Хомскианская революция» в России. — «Политический журнал», 2004, № 9, 15 марта.

«Книги Хомского активно читает молодежь, и молодежь интеллектуально развита. А читатели и почитатели Хомского не могут стать никем, кроме противников режима, который ориентируется на принципы неолиберализма». Здесь же — беседа со знаменитым лингвистом и леворадикальным политическим деятелем **Ноамом Хомским:** «У сларых есть свои средства» (перевела Евгения Спасская).

**Роман Тименчик.** Последняя зима. Глава из книги «Ахматова в 60-ые годы». — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2004, № 7 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/07/timenchik07.shtml>>.

«Больница временами казалась ей то тюрьмой, то сумасшедшим домом. Соседи по палате казались угрозой — мы предлагаем, например, читать запись в золотообрезном блокноте „Notes“, подаренном в Лондоне Исией Берлином, как предупредительный сигнал больничному посетителю: „Ничего не говорите. Старуха слушает“». См. также: «*Toronto Slavic Quarterly*», № 6.

**Михаил Трофименков.** У кого четыре глаза, тот похож на Джонни Деппа. — «Искусство кино», 2004, № 1.

«Однажды в Мексике»: «Рок-н-ролл мертв, а Джонни Депп и Роберт Родригес — нет».

**Андрей Фурсов.** Лукач возвращается. Тридцать три признака революционной ситуации. — «НГ Ex libris», 2004, № 6, 19 февраля.

«<...> интеллектуальная фигура настолько высокого и значительного европейского уровня, что Томас Манн вывел его под именем Нафта в „Волшебной горе“. „Длинные двадцатые“ [1914 — 1934] — один из самых насыщенных и креативных периодов в современной (*modern*) европейской и мировой истории. Французский историк Бродель как-то заметил, что Карты Истории сдают не один раз, но все же очень редко. „Длинные двадцатые“ были временем пересдачи Карт Истории — властных, экономических, интеллектуальных, духовных — на весь XX в., по крайней мере до 1991 г. хватило. „Длинные двадцатые“ были фантастическим периодом по накалу мысли и творчества. Они брызнули таким количеством (и такого качества) интеллектуальной и художественной спермы, что за глаза и для „*deep throat*“ хватило на весь XX в. Лукач — из этого времени, из времени-взрыва».

**Борис Хазанов.** Долой историю, или О том, о сем. — «Октябрь», 2004, № 2.

«Литература не аполитична, она *над*-политична».

**Егор Холмогоров.** Властелин кольца. — «Русский Журнал», 2004, 17 февраля <<http://www.russ.ru/columns/reaction>>.

«Властитель, который, пусть даже в уме, запустил хотя бы одну ядерную ракету по Вашингтону, ощутит в своей руке кольцо всевластья. И это кольцо всевластья исподволь, иногда — против его вполне либеральных намерений, начнет перековывать его в суверена, в обладателя реальной мощи. <...> Сможет ли оно выковать из власти, кото-

рая наследует режиму либерально-хаотической революции, власть подлинно национальную и подлинно суверенную? Зависит, на самом деле, от ощущения безграничности этой власти. Чем больше ее размах, тем больше она „развращает“, как кажется либеральному сознанию. „Абсолютная власть развращает абсолютно“. Сегодня этой власти не хватает как раз этой „развращенности“, не хватает ощущения абсолютности, не хватает внимания к призыву Константина Леонтьева „*властвовать беззастенчиво*“. Только власть, ощутившая в руках полноту суверенитета и *сладость властвования* (вместо сладости *кражи*), и сможет обратиться к укреплению основ этого властвования, к укреплению основы своего суверенитета, то есть государственной и национальной основы. И мало что может так способствовать этому вкусу власти, как ощущение права „решить“ жизнь и смерть „Мира“, если он покусится на „Рим“.

**Александр Цымбал.** Гонения, которых не было. — «Спецназ России», 2004, № 2, февраль <<http://www.specnaz.ru>>.

«<...> совершенно непонятно, с кем боролись люди, отстаивавшие новую науку [кибернетику]».

**Мариэтта Чудакова.** Дочь командира и капитанская дочка. К 100-летию со дня рождения Аркадия Гайдара. — «Русский Журнал», 2004, 22 января <<http://www.russ.ru/culture/literature>>.

«<...> своя, советская „Капитанская дочка“ — по пушкинской кальке. Это была повесть Гайдара „Тимур и его команда“ (1940), центральный герой которой продолжал галерею *положительных героев* русской литературы, от Петра Гринёва до князя Мышкина».

«К середине 1930-х годов только в облике ребенка, не регламентированного для литературной интерпретации социальной ячейкой, можно было, в частности, попробовать реализовать „старинную и любимую“ идею Достоевского — „изобразить положительно прекрасного человека“. „Князь Христос“ Достоевского сначала инкарнирован Гайдаром в шестилетнем ребенке — „*белокуром мальчугане*“ со „*спокойными нерусскими глазами*“ („Военная тайна“); святое дитя, Алька „Военной тайны“ (1935), убит — и реинкарнирован в „Судьбе барабанщика“ спустя четыре года в подростковом герое, четырнадцатилетнем Славке, „*белокуром мальчишке с большими серыми глазами*“...»

«Один из главных вопросов в „Тимуре и его команде“ — пути *восстановления правды*. Как соотносится с этой задачей государство? <...> В повести нет и следов партийной власти (как нет и упоминаний Сталина — от этих упоминаний не один Гайдар, видимо, спасался в эти именные годы в детскую литературу). Все „верхнее“ ассоциируется с военным, все государственное — с назревающей войной, с непреложностью участия в ней, защиты отечества (подобно тому, как все действие „Капитанской дочки“ связано с военными действиями). Это — военная империя в ее расцвете. Провозвещается *возможность* идиллии в ее рамках (подобно тому, как идиллии завершаются злоключения Гринёва и капитанской дочки), возможность обретения *покоя*».

См. также: **Андрей Немзер**, «По военной дороге» — «Время новостей», 2004, № 9, 22 января <<http://www.vremya.ru>>; «Гайдар, как и многие из „рожденных революцией“, ждал войны. Последней. Единственной великой из тех, что знала история. Освобождающей от страха, в котором слились разные чувства — надежда на самореализацию (должно же вновь прийти „веселое время“, когда я по-настоящему пригожусь); давняя смутная вина (дневниковая запись: „Снились люди, убитые мною в детстве“), требующая оправдания подвигом; испуг от террора; вера в то, что до коммунизма можно прийти только по военной дороге; наконец, само изматывающее ожидание „последнего похода“, жажда *ясности*».

См. также: **Михаил Золотоносов**, «Приключения Главного Буржуина» — «Московские новости», 2004, № 2 <<http://www.mn.ru>>; «Гайдар откликнулся на все идеологические запросы эпохи. В конце рассказа „Чук и Гек“ он — вне связи с сюжетом — например, написал, что „надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной“ („Пионерская правда“, 10 января 1939 г.). Эта пропаганда, подцепленная к забавному рассказу о двух мальчишках, внушалась посредством гигантских тиражей. Кстати, прокомментировать тут можно каждое слово. „Много трудиться“ вызвано опубликованным 29 декабря 1938 г. постановлением Совнаркома, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС „О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины...“, а любовь к Советской стране происходила из передовой статьи „Пионерской правды“ за 1 января 1939 г. (где была напечатана первая порция „Чука и Гека“): „Еще крепче и горячее любите нашу замечательную родину... Сталина...“ „Сталина“, правда, Гайдар не написал. <...> Впрочем, к одной идеологии проза Гайдара не сводится, патриотическое зомбирование разбавлено не только пафосом, но и густым слоем сентиментализма, что касается и „Военной тайны“, и даже „Тимура“. Примечательно, что смерть мальчика Альки, убитого камнем, который бросил пьяный

бандит, почти точно воспроизводит историю Илюши Снегирева („Братья Карамазовы”), умершего от удара камнем „повыше сердца”. Чтобы связь все опознали, начальника пионерского лагеря в Крыму Гайдар назвал Федором Михайловичем...»

См. также: **Константин Кедров**, «Дар Гайдара. 100 лет автору „Голубой чашки”» — «Русский курьер», 2004, 22 января <<http://www.ruskur.ru>>; «Москва в его прозе — город весьма таинственный и сюрреальный. Мотоциклисты с пакетами, запечатанными сургучными печатями. Где-то в переулках прячутся шпионы-вредители, за которыми зорко приглядывают дети случайно репрессированных комдивов. Он запечатлел не время, а кошмары своего времени. Кстати, а зачем это мама Чука и Гека устремляется в сибирские дали с двумя несмышленишками? Таежная экспедиция, отнявшая у детей отца, есть не что иное, как ссылка. Ее ужас в „Чуке и Геке” передан весьма достоверно. Оптимистический призыв — несмотря ни на что любить свою родину — лишний раз напоминает, что повесть с большим подтекстом».

См. также: **Владимир Березин**, «Пятая жизнь писателя» — «Книжное обозрение», 2004, № 2, 19 января <<http://www.knigoboz.ru>>; «Гайдар, как ни крути, гений — оттого, что жизнь его превратилась в сюжет. Это случается с немногими писателями. Итак, он был злобный сумрачный гений. <...> Он был болен, тяжело болен психически. За самочинные расстрелы его выгнали из партии, а потом и комиссовали по болезни. И это была не уловка, желание спрятаться за белый билет взамен партийного — а реальная болезнь, травматический невроз, как писали в его документах. Его много, долго и не очень успешно лечили. Горячечный бред дневников потом долго и усердно цитировали, когда пришло время зачистки пьедесталов. Никому из тех, кто резко мешал в статьях слова „благодаря” и „вопреки”, не приходило в голову, как сочетаются голубые чашки и порубанные хакасы, жизнь совсем хорошая и клаксонный крик черных воронов. И что они вообще как-то сочетаются».

См. также: **Валерия Новодворская**, «Сто лет поражения» — «Новое время», 2004, № 7, 15 февраля <<http://www.newtimes.ru>>; «Но надо ли выкидывать книги Аркадия Гайдара на свалку? <...> Этого мне делать решительно не хочется. <...> Почему? Ведь книги эти утверждают то, что я ненавижу больше всего на свете. Колхозы из „Дальних стран”, Реввоенсоветы из „РВС”; Красную Армию из „Школы”, миф о диверсантах из „Дыма в лесу”, шпионманию из „Судьбы барабанщика”; Коминтерн из „Военной тайны”; пионерлагеря, тимуровцев, „справедливую” финскую войну, бронепоезда, пионервожатых и комиссаров в тех же пыльных шлемах. Гайдаровское творчество подсвечено сполохами адского огня; в топку этого безумного энтузиазма и ложно направленной романтики были брошены все наши (и общечеловеческие заодно) ценности; сталинская эпоха с ее сталью и огнем шла в яростный поход против нормального западного мира, не выпуская из рук голубой чашки, гоня перед собой тысячи обманутых барабанщиков, отцы которых превратились в лагерную пыль. Мы не можем выпустить это из рук, потому что мы участники той же вечной российской гражданской войны, потому что мы всегда будем делить людей на своих и врагов, и наши девушки никогда не сменяют „шинели на платица”, и наши кони никогда не устанут скакать, Высоцкий зря этого опасался. Мы, может быть, последние российские либералы и западники, не готовы выживать и уживаться; в нашей крови гуляет тот же дедушкин ветер Дикого Поля, тревожный и чуточку хмельной; мы тоже пели у костров солдатские песни и в 1991-м, и в 1993-м; нам тоже вечно будет чудиться „движенье тайное в угрюмой тишине”; мы не приспособлены к стабильности, а Аркадий Гайдар, конечно, революционер и пассионарий. Наши партии и движения создавались по принципу гайдаровско-тимуровской команды, чтобы по сигналу бутылок и склянок бежать всем на один чердак или на одну площадь, к Моссовету или Белому дому, и защищать вечную истину, и чтобы один за всех и все за одного. <...> Гайдар талантливо и страстно очертил контуры мира вечных зарниц, грозových туч, стоицизма, костров и звезд, тайных войн и боевого братства, долга и мужества. Это вымышленный, виртуальный мир, не имевший ничего общего с реальностью. Знал ли Аркадий Гайдар страшную правду? Я думаю, знал. Он пил, он раскаивался за бездумную молодость, он искал смерти в 1941 году и нашел ее. Он не сказал ни слова Сталину в похвалу, он сохранил способность иронизировать и сострадать хотя бы своим. Мы можем использовать его старый наган».

См. также: **Евгений Лесин**, «Партизан, или Есть упоение в бою» — «НГ Ex libris», 2004, № 2, 22 января <<http://exlibris.ng.ru>>; «А глянешь сейчас вокруг — и страшно становится: много буржуинов, да мало наших. Гайдаров на них нет».

См. также: **Станислав Кувалдин**, «Мировой пожар в крови» — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба. 2004, 22 января <<http://www.globalrus.ru>>.

См. также: **Михаил Поздняев**, «Ускакавший вперед» — «Новые Известия», 2004, 22 января <<http://www.newizv.ru>>.

См. также: **Майя Кучерская**, «Судьба барабанщика» — «Российская газета», 2004, 22 января <<http://www.rg.ru>>.

**Максим Шостакович.** «Музыка — дар небесный...» Беседу вел Савва Ямщиков. — «Завтра», 2004, № 10, 3 марта.

«Я очень многое переосмыслил с тех пор, как пришел в Церковь. В трактовках, в понимании музыки».

«По телевидению видел жуткую передачу. Какая-то свинья с зайцем глумятся над религией, Церковью».

**Дмитрий Шушарин.** Приближение жизни. — «Русский Журнал», 2004, 4 февраля <<http://www.russ.ru/columns/pdelo>>.

«За последние десять лет в России сложилась уникальная ситуация: вслед за поколением людей, самостоятельно пришедших в Церковь, появляется первое поколение людей, воспитанных в христианских семьях. Именно в семьях, где родители сами выбирают себе духовников, а детям — воскресные школы. Вере сразу придается сокровенный, семейный, глубоко личный, персоналистский характер. <...> Чиновники же предлагают ввести вовсе не закон Божий — вот это главная бессмыслица. Обязательным может стать нечто совсем странное и уклончивое с точки зрения как раз верующих родителей, а не атеистов. Что это за „основы культуры“? Вера для христианина — основа жизни, причем не только земной, а национальная русская культура не сводится к православию, как православие к русской или какой-либо иной культуре. <...> И кто будет преподавать? Почему родители должны будут доверять квалификации такого учителя? И как будет определяться квалификация? Обязут ли учителя быть верующим? Да нет, вроде никто не имеет права контролировать профессиональную принадлежность преподавателя. Ну и потом, даже неудобно говорить: священник, преподающий в воскресной школе, — это не просто преподаватель, это духовный наставник. Школьный учитель не может быть полностью таковым для ребенка, воспитывающегося в религиозной семье. А для детей атеистов или неправославных верующих — тем более. Если же преподавателем будет священник, то он поневоле станет „казенным духовником“, то есть будут нарушены права верующих родителей, свободных в выборе наставников для себя и своих детей. Получается полная ерунда. Гражданские права неправославных (верующих и атеистов) грубо нарушаются. И при этом подрываются основы церковной жизни, наносится удар по православной семье. Вера теряет сокровенность, переносится в сферу публичную, институализированную, ставится под внецерковный контроль. Если кому и протестовать против этой напасти, так это православным».

**Это критика.** Выпуск 24. Беседу вел Михаил Эдельштейн. — «Русский Журнал», 2004, 26 февраля <<http://www.russ.ru/columns/critic>>.

Говорит **Наталья Иванова:** «А если либерал — бездарь? дурак? Либеральный проект в литературе — это совсем не обязательно замечательные тексты. Есть либеральная ерунда, псевдо; есть и просто совсем беспомощные писатели, вылезавшие за счет „идей“, есть и либеральная макулатура. Слабого, дурного, вялого и мертвого и среди либералов намного больше, чем цветущего сложного, живого. „Либеральное“ — совсем не знак качества. В либеральном (в том числе и без кавычек) проекте, в книгах и статьях, написанных людьми либеральных убеждений, отнюдь не всегда присутствует литература. <...> И никакие либеральные (или антилиберальные) клятвы не должны застилать глаза критику».

**Игорь Яковенко.** Рисковые мужики. — «Знание — сила», 2004, № 2.  
«В России исторически сложился незаконопослушный человек».

**Дмитрий Якушев.** Путин, империализм и коммунисты. — «Левая Россия», 2004, № 3 (102), 19 февраля <<http://www.left.ru>>.

«Путин спас российское государство, и огромное ему спасибо за это. Ведь буржуазное государство не есть абсолютное зло. И если мы, коммунисты, собираемся сломать буржуазное государство, заменив его пролетарской демократией, истинной властью народа, то мы совсем не заинтересованы, чтобы это буржуазное государство сгнуло в пучине сепаратизма, религиозного экстремизма, средневекового мракобесия и стоящего за всем этим империализма. <...> И если коммунистам нужен союз с настоящей буржуазной демократией против диктатуры пиночетовского типа, то это союз с Путиным против хакамад, березовских, Комитета-2008, зюгановцев и лимоновцев».

Составитель **Андрей Василевский.**

*«Вопросы истории», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Континент»,  
«Новое литературное обозрение»*

**Лев Аннинский.** Удары шпагой: о Георгии Владимове. Воспоминания. Переписка. — «Знамя», 2004, № 2, 3 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Трудно осознать, как *быстро* способны в наше время появляться подобные публикации. «Астафьев — Курбатов» — конечно, совсем другое, но тоже: как быстро появилось и нашло читателя.

В свои последние переделкинские времена Владимов уезжал в Москву на последней (перед дневным перерывом) электричке. Перед ее подачей объявляли: «Внимание! Поезд на Москву прибывает на *неправильный* путь!» Он там всегда стоял, на этой метафорической платформе, пугая наших слобожан своим неправильным лицом обожженного судьбой человека.

Аннинский: «Все, что я хотел сказать о нем, я сказал ему при жизни. И написал. И обнародовал. Кроме одного. Есть вещи, которые нельзя говорить человеку в глаза.

Я ни разу не сказал ему, что он великий писатель.

Я говорю это теперь, когда он не может этого услышать».

Хорошило его, напомню, полтора десятка человек, за его могилой начинается теперь *новый* погост, после кладбищенского участка старых большевиков, без всяких метафор, повыше и ближе к патриаршему подворью.

**Татьяна Бек.** Огромный подросток. К портрету Евгения Рейна. — «Звезда», 2004, № 2 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

«Вообще восприимчивость поэзии Рейна к магии и попросту к лабораторным навыкам других искусств поразительна. Из архитектуры он черпает приемы композиции, из кинематографа — секреты сменяющихся планов, из фотографии — виртуозную возможность остановить мгновение и вырвать из житейского хаоса опорную деталь».

**А. П. Богданов.** Патриарх Никон (рубрика «Исторические портреты»). — «Вопросы истории», 2004, № 1.

Несколько жизней седьмого патриарха Московского и всея Руси, родившегося в 1605 и умершего в 1681 году. Вообще-то получилось почти житие — и по тону, и по композиции. Убеждения патриарха («образ мира, представленный нам как бы отдельными взмахами кисти, в разное время высказанными тезисами и аргументами»), его противоборство с царем («Никон был убежден, что не царь Алексей Михайлович вручил ему власть, но благодать Святого Духа») изложены А. П. Богдановым так, что я пару раз закрывал журнал и вглядывался в обложку. Да нет, «Вопросы истории» вроде бы. Замечательно.

**Иосиф Бродский.** Помни ее. Перевод с английского и вступительная заметка Александра Сумеркина. — «Звезда», 2004, № 1.

Единственная рецензия поэта на музыкально-драматический спектакль, «дающая представление о его предпочтениях в мире музыки и, в какой-то степени, театра».

Начинается так: «Кем должен быть человек, чтобы за одну неделю дважды пойти на „Дидону и Энея“ Генри Пёрселла?..» Ответьте.

**Военные дневники Вадима Шефнера.** Публикация Д. В. Шефнера и И. С. Кузьмичева. Сопроводительный текст И. С. Кузьмичева. — «Звезда», 2004, № 1.

1942 — 1944 годы. Беспощадный, не застывший автопортрет. Улавливается ужас и упрямое бегство от наступающей внутренней пустоты, рифмующейся с душевной растерянностью и неуверенностью. Иной раз может показаться, что эта пустота отдает какой-то почти рисовкой, но это не так. Совсем не так. Внутреннее движение Шефнер не выкладывает на эти страницы. О нем можно лишь догадываться по пробегающим, как дни, фактам. «Личный поединок с войной Шефнер выиграл. Но какой ценой», — справедливо говорится в предисловии.

«4.01.44. 9.50. Всю ночь дежурил. Всю ночь — метель. Намело сугробы. Люблю утро после бессонной ночи. Совсем особое состояние. Легкость какая-то. Потом наступает депрессия. 21.10. Нашими сердцами владеет иногда печаль. Фу, какую чепуху пишу. Это от тоски. А что, если застрелиться? Глупо. Все, все это глупо. Я зашел в тупик. Дело даже не в Кате. А вообще — тоска. Тупик, который надо прошибать лбом. А ведь я сейчас на самом гребне жизни. 28 лет. До этого было небытие, потом рождение, потом детство, юность. Теперь зрелость, а потом — скат — начало старости, старость, смерть. Если жизнь не прервется на войне или от моей руки. Нет, надо быть бодрым и дышать всеми порами. Не надо тосковать».

**Н. И. Гаген-Торн.** Из дневников 1974 — 1979 гг. Публикация и вступительная заметка Г. Ю. Гаген-Торн. Комментарии Г. Ю. Гаген-Торн и А. В. Лаврова. — «Звезда», 2004, № 2.

Записи писательницы и ученого-этнографа, «двойной» лагерницы и ученицы-друга Андрея Белого. Это дневник — парадоксально! — твердой и светлой души, мучающейся слабостью и безверием. Нет никакой рассеянности: непрерывный труд над своим делом. И опять — как и у Шефнера, как и у почти всякого ищущего *смыслы* интеллигента ушедшей эпохи — тотальное одиночество. И повсюду — вспышки, прозрения (когда-то еще замеченные в Нине Ивановне тем же Андреем Белым).

**Владимир Губайловский.** Открытое окно. Поэзия русской диаспоры. — «Дружба народов», 2004, № 2 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

О Дмитрии Бобышеве: «Это вялый полураспад формы <...> [ему], в общем, наплевать на стихи». И — долгое восхищение ранней поэмой «Новые диалоги доктора Фауста».

Об Анне Горенко: «Для того, чтобы нарисовать распад, нужно находиться в совершенно здравом рассудке, но этот распад нужно близко, очень близко знать, иначе рисовать нечего».

О поэтах вообще: «Поэты вопреки установившемуся мнению — люди с резко повышенным порогом чувствительности. Им необходимы очень большие информационные дозы, чтобы они хоть что-то почувствовали. Их не удовлетворяют ни материальные богатства, ни радости отцовства или материнства, да и красивый закат, если он не ко времени, и уж тем более одуванчик этот у забора или там запах дегтя. Поэт и землетрясения-то может и не заметить — не то что одуванчик. Он ждет. Это обычное состояние поэта, вдохновение-то — редкая вещь. Поэт сидит, перышком скрипит, и вроде бы его биологической жизни ничего не угрожает. А на самом деле он живет в жесточайшей информационной аритмии: то невероятный скачок, то полная смертельная тишина. Ни опыт, ни мастерство помочь не в состоянии. Сиди и жди».

Я люблю, когда Губайловский вот так отвлекается.

**Денис Гуцко.** Там, при реках Вавилона. Повесть. — «Дружба народов», 2004, № 2.

Кровь, пот и слезы — простите за неловкий каламбур — глазами и порами молодого тбилисца, призванного в армию и оказавшегося в гуще событий, которые войдут в историю словосочетаниями «бакинские погромы», «Карабах» и «саперные лопатки». О ненависти, чистоте и изумлении *одиночества* — чем? — жестокостью *множественности*.

**Евгений Ермолин.** Место родины. К уходу Георгия Владимова. — «Континент», 2003, № 4 (118) <<http://magazines.russ.ru/continent>>.

«Истории Владимова — это притчи о человеческом уделе. О русском человеке. И его герои, с которыми ты невольно сживаешься и риднишься, — это одновременно выражения некоего универсального поприща и смысла. Вот это для меня очевидно. И это важно понять, чтобы снять те претензии к Владимову, которые обращены совершенно не по адресу. Он стремится к верности факту, опираясь на органическое стремление к истине, но вообще-то не является историком-буквалистом, не нужно этого и требовать. <...> Его этос — этос стоического одиночества. Небеса молчат, и человек должен сам сделать свой выбор. Герой нашего времени, если есть повод о таком говорить, так же несет свой выбор ответственности на сто и на двести процентов, как несут ее герои Владимова. И еще, внеплановый его урок. В каждом нашем поражении зреют зерна грядущей победы».

**Алексей Иванов.** Гиперборея. — «Дружба народов», 2004, № 2.

Никакой это не очерк про русский Север. Это замаскированная поэма: страстное, любовное признание Соловкам и — шире — северной русской земле. Энергия и музыка. Читая симфонический финал, я вспоминал известную формулу: «тема закрыта».

«Вот он стоит, мозг леса, — муравейник. Он и вправду похож на мозг с виду, состоит из какого-то бурого вещества, живой бугор, а подойдешь поближе и присмотришься — муравьи копошатся в нем, как мысли. И ведь на самом деле каждый несет информацию (мысль) и передает ее другим химическим путем, такие же процессы происходят и в мозгу. Но в отличие от человеческого мозг этот бессмертен и прекрасен. Чувствуется спиртовой запах муравьиной кислоты, все сооружение тихо, еле заметно шипит, киша телами, а прислонись попробуй, как тут же тысячи пахучих тел с тонкими, как иголки, ножками захватят тебя, вопьются не больно в кожу: высоколобые, восково-черные, роботоподобные, с нежнейшим на вид оранжевым торсом кусают, как дети, не больно, только лишь по долгу службы и одновременно, кажется, заключают мировое соглашение, усыпляя, гипнотизируя запахом здорового леса. И знаешь, что этот мозг понимает тебя, он внеличностен, но гениален, пронизан добрым и ратным копошением. Мне нравятся геометрические муравьиные телодвижения, их расчетливость и предсказуемость. Не люблю волнообразные наступления гусениц, извивы пия-



вок и червей, неуклюжесть, сизифовость взбирающихся жуков, аллергическое мельтешение бабочек, но кусачий вороной циркуль под названием „муравей” ценю за его солдатскую натуру, четкость и маршировку; за длинные цепи инфантерии — нигде не застревающий обоз, подобный часовому механизму; за жесткость в обращении с домашними дойными насекомыми — тлями. От рыжего мозга по всему лесу расплозуются высоколобые, антрацитовые, да не будет никогда твой лоб пробит вражьими клешнями. Люблю высоколобых муравьев, пчел и дельфинов, волков и тюленей благословенной страны лобастых поморов, поклоняющихся самому высоколобому святому — Николаю Чудотворцу».

**А. А. Искандеров. Токугава Иэясу** (рубрика «Исторические портреты»). — «Вопросы истории», 2004, № 3.

О великом средневековом японском полководце и политике, его долгой борьбе за целостность и государственность. Подробно рассказывается об оставленном Иэясу завещании стране, а попросту — политическом манифесте. Только пять видов смертной казни за госпредупления чего стоят. Кстати, если его с кем здесь и сравнивают, так с Бисмарком да Петром Великим.

**К 80-летию «Звезды».** — «Звезда», 2004, № 1.

В юбилейной подборке **Андрей Арьев** публикует свое эссе-напоминание «Журнал „Звезда” и идеология „попутничества”», а **Арлен Блюм** — свою «Хронику цензурных репрессий 1940 — 1960-х годов» («„Звезда” после августа 1946-го»). Много неожиданного и трагикомического.

**Конференц-зал.** Роман Арбитман, Павел Басинский, Евгений Бунимович, Андрей Дмитриев, Марина Каменева, Борис Кузьминский, Андрей Немзер. АРС'С об итогах 2003 года. — «Знамя», 2004, № 3.

Зримо описав явно отрежессированное чтение-представление Гюнтером Грассом своей новой книги на международной ярмарке (с подтанцовками специальных барышень и прочими перформансами), **Борис Кузьминский** подытоживает:

«Что говорить, у нас подобное невозможно. К счастью для горнего престижа литературы — и к несчастью для ее дольного статуса. Только по окончании вышеописанного концерта публика раскупил не менее тысячи экземпляров книги. А в топ-листе общегерманских продаж высоколобое, прихотливо-эссеистическое произведение Грасса на втором месте, выше лишь „Гарри Поттер”.

У нас ведь невозможно и это.

Никакой Пелевин не переплюнет Донцову.

За минувшие три года мы наблюдали резкий скачок интереса крупных книгопечатных фирм, контролирующих львиную долю национального рынка, к русской психологической прозе. И через короткое время — не менее резкий спад. Соответствующие линии одна за другой сворачиваются, тиражи редких внесерийных изданий (исключая публикации немногочисленных звезд жанра) падают до чисто символических цифр. Продукт отечественной выделки оказался не по зубам отечественной рекламе и распространению. Думаю, не оттого, что он низкого качества. А оттого, что чересчур высокого: принципиально штучный, неформатный, не укладывающийся в рамки примитивных рыночных аналогий. Требовалось всякий раз уламывать оптовиков, нащупывать новые стратегии продвижения, привлекать сторонних экспертов: слишком дорого, слишком хлопотно. Да и не всякий признанный эксперт согласится встроиться в издательский производственный конвейер. Точнее, практически никакой не согласится. Чистота риз.

В уставе Академии российской словесности, как раз и позиционирующей себя в качестве сливок экспертного сообщества, декларирована задача: способствовать формированию цивилизованного книжного рынка. Увы, все эти годы эксперты существовали сами по себе, а рынок — сам по себе. Академики регулярно передавали спонсорские деньги в руки отдельных (замечательных, достойных, талантливых, кто бы спорил) писателей, укрепляя благосостояние этих конкретных писателей, но не самостояние словесности в целом. Гонорары серьезных прозаиков за время деятельности АРС'С не повысились; дебютанту, особенно если он из провинции, напечататься не легче, а труднее. Между тем \$ 30 000 единовременных аполлон-григорьевских премиальных — вполне пристойный уставной капитал для маленького, но гордого издательства с бескомпромиссной и в кои-то веки по-настоящему экспертной политикой.

Ведь свято место пусто не бывает. „Психологическая проза” — реальный сегмент рынка, и нынче этот сегмент, точно комьями ваты, уже забутован переводами импортной (в основном англоязычной) беллетристики. И беллетристика в подавляющем большинстве третьесортная, и переводы, как правило, плохие. Столько хороших взять негде. Да и незачем. Рынок — как талая вода на холмистой равнине; он, коли не тормозит, не подстигивать его извне, склонен играть если не на понижение, то на усреднение общего

уровня; массивованно нивелируя планку качества сегодня, производитель развязывает себе руки для завтрашних, еще более успешных спекуляций. Дело зашло уже настолько далеко, что в голову закрадывается мракобесная мысль о законодательно закрепленных квотах на издание переводной нежанровой прозы. Как на телевидении или в кино.

...Наутро после франкфуртского действия я проснулся в испарине. Мне грезилась презентация новой книги А. И. Солженицына в Кремлевском Дворце съездов. Прославленный писатель выступал в сопровождении группы „Лесоповал”. У авансены, тощим задом на жестком полу, сидел Гарри Поттер. У подростка был бледный вид».

Тут чего не приснится.

**Александр Кушнер. Стихи. — «Звезда», 2004, № 1.**

Не люблю французов с их прижимистостью и эгоизмом,  
 Не люблю арабов с их маслянистым взором и фанатизмом,  
 Не люблю евреев с их нахальством и самоуверенностью,  
 Англичан с их снобизмом, скукой и благонамеренностью,  
 Немцев с их жестокостью и грубостью,  
 Итальянцев с их плутовством и глупостью,  
 Русских с окаянством, хамством и пьянством,  
 Не люблю испанцев, с тупостью их и чванством,  
 Северные не люблю народности  
 По причине их профессиональной непригодности,  
 И южные, пребывающие в оцепенении,  
 Переводчик, не переводит это стихотворение,  
 Барабаны, бубны не люблю, африканские маски, турецкие сабли,  
 Неужели вам нравятся фольклорные ансамбли,  
 Фет на вопрос, к какому бы он хотел принадлежать народу,  
 Отвечал: ни к какому. Любил природу.

Жаль, что Чуковский умер, он бы оценил это изящество с еле заметным музыкальным реминисцентным мотивом. И Фет был его любимым поэтом, и сбив ритма на три обращения: внутрь себя плюс — на секунду — к переводчику и аудитории — тоже бы оценил. Хорошо читается вслух. Почему-то представляю хохочущего и хлопающего в ладоши Диму Быкова. И весь Кушнер — тоже здесь, в этой грустной шутке, спутать невозможно.

**Инна Лиснянская. Воздушные виадуки. Стихи. — «Знамя», 2004, № 3.**

Много пишу. Жизненных сил избыток  
 В стих загоняю — это одна из пыток

Данных скорей землей, а не добрым небом,  
 Данных не светлым духом, а черным хлебом.

Много пишу. Но богоборца везучесть —  
 Это есть вера, помноженная на участь

Иова, что из отрепьев и струпьев гноя  
 К Богу возносит свое всепрощеное земное.  
 19 ноября 2003.

**Лев Лосев. Стихи. — «Звезда», 2004, № 1.**

Версты, белая стая да черный бокал,  
 аониды да желтая кофта.  
 Если правду сказать, от стихов я устал,  
 может, больше не надо стихов-то?

Крылышка, кошунствуя, рукося,  
 наживаясь на нашем несчастье,  
 деконструкторы в масках Шиша и Псося  
 разбирают стихи на запчасти

(и последний поэт, наблюдая орду,  
 под поэзией русской проводит черту  
 ржавой бритвой на тонком запястье).

**О. Мандельштам: поиски новых подходов. — «Новое литературное обозрение», 2003, № 5 (63) <<http://magazines.russ.ru/nlo>>.**

Среди прочего тут любопытная подборка, названная как «„Дивная аритмия”»: Осип Мандельштам в восприятии современных поэтов». «...странно, что вы меня настигли прямо с бутербродом в руке у полуразинутого рта и со стаканом сопутствующего напитка, нежно употребляемого в раздумье о переводах шекспировских сонетов студенткой

моего класса...» Ну и так дальше — о поэзии, потихоньку. Это известный поэт **Аркадий Драгомощенко**.

Рассуждения тут тоже есть. У **Игоря Вишневецкого** — о переоценках. Хотя о том, что Мандельштам для современной поэзии — этап пройденный, думаю, можно и поспорить.

Есть и маленькие радости. Вот короткий, милый и честный отзыв: «Всегда радуюсь, что он есть» (**Иван Ахметьев**). Видите как: в авторском жанре. Думаю, что это стихи.

**Майкл А. Николсон**. Иван Денисович: мифы происхождения (в рубрике «К 85-летию Александра Солженицына»). — «Континент», 2003, № 4 (118).

Глубокий разбор с привлечением ранних, в том числе — стихотворных текстов и поздней зарубежной критики творчества писателя.

«Абсолютные оценки присутствуют и глубоко укоренились в этом произведении. Правда, они очень редко комментируются с точки зрения героя и повествователя, но это вполне закономерно: таковы исходные условия самой формы, выбранной Солженицыным для данного конкретного опыта. <...> Они пробиваются сквозь щели в полу, как только Солженицын отпускает сознательно наложенные на собственную композицию ограничения».

**Памяти митрополита Антония Сурожского**. — «Континент», 2003, № 3 (117).

«Думаю, что неизбежная скорбь в связи с кончиной митрополита Антония будет все более уступать место благодарности Богу за дивный дар личности этого великого служителя Церкви Христовой, который был послан как замечательный помощник всем, кто ищет Истину и жизнь» (**протоиерей Александр Борисов**).

**Виталий Пуханов**. Когда судьба проходит мимо... — «Континент», 2003, № 3 (117).

.....  
Люби меня, моя Людмила,  
Покуда так необъяснимо  
Белье полошут в молоке,  
Пока горит огонь без дыма,  
Когда судьба проходит мимо  
Без бритвы. Налегке.

**Владимир Радзишевский**. Афоризмы разрезанного горла. — «Дружба народов», 2004, № 2.

Леонид Губанов: взвешенно, пронзительно, любовно. О человеке и поэте-феномене. О смертной (текстологической) трагедии в том числе:

«Напечатано, например, черным по белому:

Вот я весь, от корки и до корки,  
Фонарем горит моя щека,  
И меня читать, как чтить наколки  
На спине остывшего ЧеКа.

А в губановских стихах, конечно, наколки на спине не у Чека, а у зека. Ничего себе, граждане, оговорочка!

Горько, что до сих пор голос Губанова не зазвучал в полную силу...»

**Е. М. Собко**. Великая княгиня Екатерина Павловна. — «Вопросы истории», 2004, № 3.

О ней мало известно, а между тем по ее предложению была написана «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина; именно она бросила клич на повсеместную организацию ополчений во время войны 1812 года. К четвертой дочери Павла I и любимой внучке Екатерины II сватался Наполеон. Она его жестоко отшила. Удачно ездила за рубеж по дипломатической линии, заботилась об образовании и умерла в тридцатилетнем возрасте от простуды. Во дворцах, я думаю, гуляли ужасные сквозняки.

**Валерий Сойфер**. Туринская плащаница и современная наука. — «Континент», 2003, № 3—4 (117—118).

Более фундаментального ретроспективного отчета, подкрепленного десятками выкладок, размышлений, даже иллюстраций, у нас не печаталось никогда.

**Сергей Стратановский**. Творчество и болезнь. О раннем Мандельштаме. — «Звезда», 2004, № 2.

«В основе его поэзии — экзистенциальная травма, обусловленная болезнью (астмой и стенокардией. — *П. К.*) Поэта в нем формировал страх перед внезапной смертью, страх перед „пустотой“, ощущение своей нереализованности, как творческой, так и жизненной. <...> Стихи раннего Мандельштама — это также путь от приятия Судьбы

к бунту против нее. Живя под знаком ложного предсказания (или диагноза?), он стремился то стоически принять „мир болезненный и странный”, то как бы спрятаться от него в „страну воспоминаний” о детстве или в монастырь. Но одновременно росло сознание, что можно жить вопреки Судьбе, можно „чертить алмазом по стеклу” и чертеж этот останется в вечности. От понимания творчества как благосклонности судьбы он приходит к активной, мужественной концепции творчества как строительства великого здания культуры. При этом Мандельштам никогда не путал творческую реализацию с жизненной, не стремился подменить творчеством жизнь, хотя жизненная реализация, обретение себя в любви, долго не удавалась. Обретя „перстень”, он не находил „подковы”. Но впоследствии ему это удалось».

**А. Б. Сулов.** Системный элемент советского общества конца 20-х — начала 50-х годов: спецконтингент. — «Вопросы истории», 2004, № 3.

Отдельные части большой лубянской машины, люди, лишённые каких бы то ни было привилегий большей части гражданских прав. В круге первом и перед ним. Трудящиеся шарашек, поселенцы, то есть «никак не составная часть советского рабочего класса». Здесь же интернированные немцы, трудмобилизованные НКВД и некоторые другие категории.

«Последствиями „воспитания” в тюрьмах, лагерях и спецпоселках огромного количества людей стали миллионы загубленных человеческих жизней и изломанных судеб, социально-экономическая деградация, криминализация общества, во многом воспитанного зоной, приобретенные многими привычки воспринимать труд как наказание и стремление к „туфте”. В обществе утвердились культ насилия, презрение к человеческой личности, приверженность административным методам управления».

**Александр Тимофеевский.** В дни Страшного суда. Стихи. — «Знамя», 2004, № 2.

«Я книгу написал / И дал прочесть / Рязанову, / И Люське Петрушевской, / И Либединской Лиде, / И Фазилу. / Никто стихов, конечно, не прочел. / Я возроптал / И обратился к Богу. / И мне раздался трубный глас / Оттуда, — / Балдович, кто ж стихи читать захочет / В дни Страшного суда?!»

**Фредерик Жолио-Кюри и советские ядерные исследования.** Публикация А. В. Зинченко. — «Вопросы истории», 2004, № 1.

Из Архива президента РФ. Документы, относящиеся к лету — осени 1945 года (в том числе письма советских ученых Берии и Сталину), рассказывают о попытках привлечь знаменитого французского ученого-ядерщика к созданию советской атомной бомбы. Увы. Как ни симпатизировал нам камрад, как ни желал поделиться секретами об известных ему англо-американских исследованиях — ничего не вышло. Политики вели свою игру.

**С. Н. Щеголихина.** Джон Джозеф Першинг (рубрика «Исторические портреты»). — «Вопросы истории», 2004, № 2.

«Средства массовой информации, историки, политики и публицисты сделали многое, чтобы лишить Першинга живых черт. За редким исключением они перечисляли повторяющиеся сведения из его анкеты, и их общий вывод был таков: генерал Першинг не является колоритной фигурой, имеет репутацию придирчивого начальника, хотя и знающего, и справедливого. В этом кроется загадка генерала. По имеющимся описаниям, он настолько типичен и неоригинален, что даже непонятно, почему, собственно, привлекает до сих пор внимание, вызывает интерес и даже любовь. Почему он стал самым отмеченным американским генералом в США и одним из самых уважаемых в Европе американских военных?»

Трудней всего было с генералом-масоном — карикатуристам и журналистам, из него ничего не удавалось вытащить — ни примечательных черт, ни информации. В Первую мировую этот военачальник-ракета был самым молодым генералом в командовании. Русских не любил за антисанитарию. Жил задачами каждого отдельного дня. Получил боевые награды всех армий. Дожил до 1948-го и в старости напоминал ветерана войны из классического рассказа О. Генри: уж и Вторая мировая закончилась, а он все жил атмосферой Первой и, принимая гостей, говорил в основном о ней.

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные

интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



**ДАТЫ:** 9 (22) июня исполняется 100 лет со дня рождения Валентина Владимировича **Овечкина** (1904 — 1968); 14 июня исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Алексеевича **Солоухина** (1924 — 1997); 19 июня исполняется 80 лет со дня рождения Василия Владимировича **Быкова** (1924 — 2003).



### ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Июнь*

**15 лет назад** — в № 6 за 1989 год напечатана «Чернобыльская тетрадь» Григория Медведева.

**25 лет назад** — в № 6, 7 за 1979 год напечатан роман Руслана Киреева «Победитель».

**35 лет назад** — в № 6 за 1969 год напечатана повесть Федора Абрамова «Пелагея».

**60 лет назад** — в № 6-7 за 1944 год напечатана повесть Леонида Леонова «Взятие Великошумска».

## SUMMARY



This issue contains a tale by Mikhail Tarkovsky «Granny's Alcohol», a tale by Yuliya Viner «Snow in the Gethsemani Garden», as well as a story by Oleg Zobern «Quiet Jericho» and stories by Dmitry Shevarov. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Tatyana Bek, Gennady Rusakov, Mikhail Pozdnyayev, Maksim Volkevich and Stanislav Minakov.

The sectional offerings of this issue are as follows:

*Time and Morals*: «The Private Tutorship Phenomenon as a Social Practice» — an essay by the linguist Reveka Frumkina.

*Close and Distant*: «The Experience of St Petersburg Intelligentsia in Soviet Period — According to Personal Impressions», a paper by Sergey Averintsev delivered in Rome at the conference dedicated to St Petersburg 300<sup>th</sup> anniversary, as well as Mikhail Gasparov's article in memoriam of Sergey Averintsev.

*Conversations*: «It's not a Tree, It's a Forest», a conversation of poets: Tatyana Bek and Aleksander Kushner.

*Comments*: an article by Alla Latynina «Common People, Usual Work» on the novel «Net/No» by S.Kuznetsov and L. Goralik.

*The Writer's Diary*: Aleksander Solzhenitsyn goes on with his literary collection this time publishing an article on «The Queen of Froubled Times», a novel by Leonid Borodin.

---

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

---

Общественный совет: А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос,  
Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,  
А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,  
П. А. Николаев, О. А. Славникова, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, В. А. Губайловский, Р. Т. Киреев,  
С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова,  
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

---

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Луконина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

---

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi](http://magazines.russ.ru/novyi_mi)

---

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.02.2004 г. Подписано к печати 29.04.2004 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

---

Тираж 9000 экз. Зак. 4248. Цена договорная.

---

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Индекс для индивидуальных подписчиков и библиотек — 70636

Индекс для предприятий и организаций — 16410

## **ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ANTHOLOGIA»**

учреждена редакцией журнала «Новый мир»  
в феврале 2004 года в виде специальных почетных дипломов,  
отмечающих высшие достижения современной русской поэзии.

По решению Координаторского совета лауреатами премии  
по итогам 2003 года стали:

**МАКСИМ АМЕЛИН**

за книгу «Конь Горгоны» (М., «Время», 2003);

**ИННА ЛИСНЯНСКАЯ**

за поэтические подборки «Сорок дней» («Знамя», 2003, № 9),  
«День последнего жасмина» и «Без тебя»  
(«Новый мир», 2003, № 1, 10);

**ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ**

за книгу «Фифиа» СПб., «Пушкинский фонд», 2003).

Правом выдвижения кандидатов на премию 2004 года обладают  
творческие организации, критики, издательства.

Торжественное вручение дипломов лауреатам 2003 и 2004 годов  
состоится на юбилейном вечере в честь 80-летия  
«Нового мира» одновременно с вручением  
премии имени Юрия Казакова  
и ежегодных редакционных премий авторам журнала  
в начале 2005 года.

Предложения лиц и организаций,  
заинтересованных в соучредительстве/сотрудничестве,  
будут внимательно рассмотрены.

Координаторский совет:

**АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,  
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ,  
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.**

Контактный телефон (095) 209-57-02

[nmir@lenta.ru](mailto:nmir@lenta.ru)